95 коп.

Индекс 73276

«Нева», 1989, № 9, 1—208

НЕВА 9/1989

9/1989

ISSN 0130—741X

Стихи

И. ЗНАМЕНСКОЙ
В. КРИВУЛИНА
Е. ИГНАТОВОЙ
Л. ДРУСКИНА
С. СТРАТАНОВСКОГО
Е. ШВАРЦ
Е. ПУДОВКИНОЙ

Нева

Повести
и рассказы

Б. ИВАНОВА
Б. ДЫШЛЕНКО
И. ДОЛИНЯКА
В. АКСЕНОВА
И. АДАМАЦКОГО
Ю. ГАЛЬПЕРИНА
Б. ВАХТИНА



«В Екатерининском сквере на Невском»
Фотографика А. Пинчевского

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации

Нева

9/1989

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

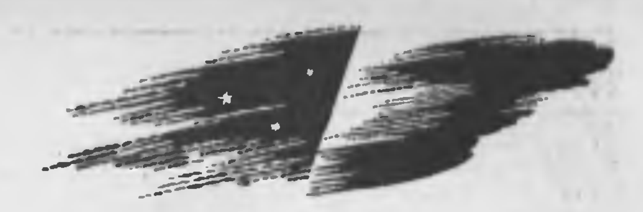


Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

В номере цветная вклейка:
«Живопись Герты Михайловны НЕМЕНОВОЙ»

Этот номер журнала — не совсем обычный. Разделы прозы и поэзии составлены из произведений, образовавшихся в последние два десятилетия так называемую «вторую литературную действительность». Их авторы не захотели или не смогли принять обязательные для всех и совершенно непреложные для начинающих правила, предопределявшие диапазон тем, меру стилистического своеобразия и даже объем словаря. Поэтому их почти не печатали. Они писали стихи и прозу без расчета, даже без надежды на скорое опубликование. Только теперь созданная ими литература — передающая трудный духовный опыт весьма нетрадиционными художественными средствами — приходит к широкому читателю. Но иные из авторов не дожили до наших дней...

Ирина
ЗНАМЕНСКАЯ



◆◆◆

Галактических выселок медвежий угол.
По ночам движок зажигает в небе
Марс и Вегу.
Наряд огородных пугал
Может дать представленье о ширпотребе.

Света край — был задуман как край болотный.
Но болота нынче — кому преграда? —
То заглянет дождик, вполне кислотный,
То защелкают пыльные листья сада.

Так что знаем точно: живем не хуже
Прочих умных людей, что поближе к богу,
К черным дырам, сверхновым... И мы не вчуже
И посильно готовимся к эпилогу:

Разбавляем соляркой живую воду,
В чащу ходим на тракторе за грибами,
Чтоб и наша трехверстка легла в колоду,
У прогресса не путаясь под ногами.

◆◆◆

Нас впрямую касается эта рука,
Да чего там — «касается» — с горла долой! —
Всей-то жизни и есть: на четыре глотка,
Полных два — из грядущей,
и два — из былой.

Но ладонь, как на вентиле,— на кадыке,
Проникающим спазмом всю душу свела,
И пытаться гадать по такой вот руке —
Как заглядывать в черное дуло ствола.

...То ль безжизненны вы, то ль бессмертны, когда
Не глядите в глаза, что хрипят: Отпусти!
Воздух весь возле губ, как живая вода,
Но рука не торопится с горла сползти.

Бесколбасье, безрыбье мы переживем,
Но безлюдье,
бесчестье,
беспомощность,
без
Огуречного воздуха в горле своем,
Без рождественских, ласковых, детских чудес —

Невозможно и больше немыслимо. Торг
Заводите, фарцуйте, дерите семь шкур! —
Но не надо мне песен, что воздух прогорк
И что неба осталось — всего на раскур...

◆◆◆

Огонь... Пожар! Горим!!! —
Соседи ли, мы — сами?
И, как Нерон на Рим,
Глядит закат на пламя.

И курица с ведром
И дед беззубый с матом:
Горит родимый дом,
Усугублен закатом.

И сколько есть живых
Еще в деревне нашей —
Все в бликах огневых
Перед разбитой чашей

Была такая сушь,
Грядет такая ночка!
Живых и мертвых душ
К воде ведет цепочка...

◆◆◆

Политика цветет в саду
В почти мичуринском эдеме
Чернобыльском, где на звезду
Глядим, как стадо в Вифлееме.

Внизу уже пора весны,
Здесь,— злей, чем истины стаканчик,
Горчей цикуты, белены
Горит зеленый одуванчик.

Какой невыносимый цвет
Вранья сиреней и черемух!

Что может выстроить поэт
Из здешних слов полузнакомых,

Полузасвеченных? Завлечь
Сюда — какою сказкой снова?
Вся эта взвинченная речь
Прощальное скрывает слово:

Мол, божьим тварям — плоть и кровь,
Кому прозрение и мука —
Тому последняя любовь,
А прочим дуракам — наука.

◆◆◆

Бытие определяет, а сознание не хочет,
Уклоняется,
виляет,
Точит когти,
слезы точит,
Обращается к природе,
Отправляется на дачу,
Ишь, как пышно в огороде —
Что же я все время плачу?
Вот и роща притерпелась,
Вот и озеро заглохло,
Вот и пеночка распелась:
— Трали-вали, кошка сдохла!
Вот и смена поколений,
Перемена ветра снова...
Что-то долго дивный гений
По складам читает слово!..
Что-то в генах, в поминанье
Не оплачено,
Быть может,
Что-то в яблоке познанья,
Что и червь его не гложет...

◆◆◆

Птицы — в Африку, эхо — в нору:
Не поет, не стрекочет, тем паче,
Утром тише в осеннем бору,
Чем в пустой заколоченной даче.

Хоть бы поезд завыл вдалеке,
Хоть бы ветер дерзнул шевелиться,
Хоть бы пульс застучал в кулаке,
Как в яйце заключенная птица...

Под листвой цепенеет река —
Как душа, неугодная Богу,
По прошествии тех сорока
Дней, отпущенных ей на дорогу.

То ли драка, то ль свадьба нужна —
От любви — столько всякого шума!..
Нежилой тишины целина
Тяжела, и густа, и угрюма.

Никого — на ближайший парсек,
Ни пернатого, ни кистеперой...
Хоть бы волк, хоть — лихой человек,
Брат-землянин, клыкастый и серый!..

Хоть врага возлюбить, если друг
В запредельные дали уехал...
Хоть бы голоса мыслимый звук!
Хоть бы рифмы подземное эхо!..

Б. ИВАНОВ

НА ОТЪЕЗД ЛЮБИМОГО БРАТА

Повесть

Мы выходим на бетон аэропорта; медленно идем рядом; более не разговариваем. Головокружительное небо, циклопические квадраты летного поля, утренняя дымка. Избегающие слов и прикосновений, мы словно раздеты. Я должен все запомнить: странную постройку, напоминающую барак,— к ней направляются идущие впереди, бесчувственность тела, то ли от вчерашней выпивки, то ли от бессонной ночи — в пустой квартире провожающие бродили и шептались... вся ночь в ожидании — тронут за плечо: вставай!

Боже мой! Боже мой! Вот подмостки жизни! Софиты ослепляют — и ни одной заготовленной реплики. Из похоронного молчания процессии смотрю вокруг. Одни уедут — другие останутся. Что будут делать небо, камень, дюраль самолетов, когда люди навсегда покинут их!..

Марк всегда элегантен, на ботинках ни одного пятнышка. Как я привык к его лицу! — знаю, каким взглядом он сейчас провожает косо бегущую бродячую собаку, какой улыбке друга соответствует вот тот чемодан в руках короткошеей дамы. В его глазах небо, в прищеминах ноздрей — сырость, я иду в запахе его сигарет, вчерашних и позавчерашних, в шагах простор, который не у всех одинаков. И все-таки это его праздник — людям в зеленых фуражках он может весело смотреть в лицо.

Идущие впереди предъявляют бумаги и оказываются за сетчатой оградой. «Марк! — с ужасом спохватываюсь я,— ты вчера сказал, что не хочешь уезжать, не позвонив Марии. Марк, ты просил напомнить. Марк!» На меня смотрит незнакомое лицо. Чуть откинутая назад голова: отступника? закланного? ...В полузакрытых глазах темнота... Взгляд мертвеца.

Я пожимаю ему руку. Затем стискиваю локоть, я хочу перенести свою улыбку на эту бесцветную маску — и чувствую, что по законам чудовищной хитрости все ближе подталкиваю его — единственного друга, в проход к таможне; все остальное только скрывает эту задачу. Марк все это понимает и тем насмешливее, полуспиной удаляясь, отстраняется. Зеленые нетерпеливо дожидаются, когда он потянется в карман за выездными документами. Марк входит в барак не обернувшись.

В толпе провожающих сдержанно заплакала старая еврейка. Не то Богу боялась не угодить, не то начальственной охране. Я позавидовал ей и присевшей на корточки девушке, которая спрятала между худыми коленями лицо

Борис Иванович Иванов родился в 1928 г. в Ленинграде. Окончил факультет журналистики ЛГУ, работал в газетах. В 1968 г. был исключен из КПСС за письмо в ЦК с протестом против гонений на участников движения в защиту Синявского и Даниэля. В последующие годы работал шкипером, электриком; в настоящее время — оператор газовой котельной. Публиковался в журнале «Звезда», альманах «Молодой Ленинград»; в 1965 г. издательство «Советский писатель» выпустило книгу прозы Б. Иванова «Дверь остается открытой». В 1976 г. стал издавать машинописный журнал «Часы», в котором публиковались авторы «неофициальной» литературы. Повесть «На отъезд любимого брата» была опубликована в этом журнале в 1979 г.

и что-то яростно шептала. Я был пуст. Однако с чем-то отказывался согласиться и надеялся, что прощание с единственным в моей жизни другом не могло быть таким нелепым, должно быть какое-то продолжение. И этого продолжения я жду у железной сетки.

Незнакомые люди в толпе знакомились. Толпа мудрела. Подтянутые, радикально настроенные молодые люди уже куда-то ее вели. Они установили, что женщин нужно разместить на сумках, рюкзаках, чемоданах, проинформировали, что таможенный досмотр длится часа полтора. Им не возражали, но называли досмотр обыском, другие — шмоном и экспроприацией. Тут же рассказывали случаи, когда удавалось кое-что провезти. За толпой несколько бородатых мужчин в помятых пиджаках пили водку. Среди них я увидел Марию. Как нелепо и непоправимо — Мария опоздала... Я бросился к ней, как будто вместе мы могли что-то исправить.

— Мы где-то встречались,— сказал галах из свиты Марии, загораживая мне дорогу.— Хотите выпить?

Я отказался. Но меня обступили, передают бутылку, ногтем отмечают на стекле допустимую дозу и следят, пока я делаю глоток.

— Вы — маргинальный тип,— говорит кто-то.

— Прекрати свой психоанализ,— сказала Мария.

— Ты глуп, Петров.

— «И мерзкий притом»,— процитировали за моей спиной.

— Вообще, что нам тут делать! «Прости» сказано, пора уходить.

— Если ты мавр, уходи.

— Но где такси, где деньги!

Я сказал, что дам трешку.

Тот, знакомство с кем я не припомнил, мое предложение отвел:

— Деньги есть. «Поиски монеты» — один из наших ритуалов. Верно, скоты?

— И один из лучших.

— Он делает нас лучше, чем мы есть.

— Он нас заводит слишком далеко.

Я подумал, что привилегии придворного штата Марии заключались в том, чтобы требовать от всех приближенных к ней исполнения некоего церемониала. Оплачивая глоток, я сказал:

— Но не далее аэропорта.

Тот, кто назвал меня маргинальным типом, спросил, не Марка ли Мильмана я провожаю.

— Вот один из немногих настоящих людей. Я знаю это от тех, кто видел его голову в деле.

— Да, да,— киваю я. Водка возвращает мне ясность. И вместе с тем, думаю, что если долго пробыть в этой компании, кого-нибудь захочется шарахнуть.

— Разница, в сущности, одна — одни уезжают, другие остаются.

— Уезжают гении,— последовало уточнение.

— Но мы остаемся. То есть, нас остается всегда достаточно много.

— То есть, ты хочешь сказать, что мы бессмертны...

Вся пятерка рассмеялась. Я понял, что между собой они ведут давно начатую игру и сейчас она идет с хорошим результатом.

— Хотите закусить?

Это сказала Мария — божья матерь клана болтунов. Она восседает на рюкзаке и держит на коленях большой желтый портфель открытым. Несколько мгновений я проблуждал в небесной эмали ее глаз.— Доставайте, там есть хлеб и ветчина. Ищите.

Наклонился — и будто вошел внутрь картины бархатного Тициана.

— Мария, кого *ты* провожаешь — Марка? — Я сказал *ты*, потому что почувствовал, на «вы», которое Мария предложила, нам все равно не удержаться.— Марк вчера мне сказал, что не хотел бы уехать, не попрощавшись с тобой... Остались какие-то счеты?

— Не выдумывай! Какие счеты! Мне жаль его. Я не уверена, что он должен был все бросить. Впрочем, не знаю. Мы расстались с ним слишком давно. Тебе это известно. Что его там ждет? Если бы решил уехать ты, это легко было бы понять.

Мне душно и тоскливо. Но я сидел и слушал, почему Марии легче было бы понять, если бы на месте Марка оказался я. Иногда хочется, чтобы тебе говорили о тебе.

— Ты, конечно, ни при чем. Уезжает все-таки Марк. Но зачем? Неужели так много изменилось за эти три года?

— Будешь слушать, тогда расскажу, почему и зачем.— Я делаю паузу. Мария поднимается. Она понимает, для посторонних слушателей я говорить не буду.

— Мария, все мы выходим из дома. Не все ли равно зачем. Итак, Мария, человек вышел из дома, и его остались ждать — жена? дети? родители? — не важно. Важно, пожалуй, что он мужчина, а ждать осталась женщина. Ты спросишь, любили ли они друг друга? — ответ тут такой: он знал, что ушел *ради общего* для них дома. Ей известно это тоже. Вот и все. Любовь это или нет, страсть или интеллектуальная блажь — такие вопросы не касаются существа дела. Мужчина вышел из дома таким, каким он был. Она осталась ждать такой, какой была. Они связаны. Он должен вернуться, исполнив то, ради чего из дома вышел, она — дождаться, ибо какой смысл возвращаться в дом, в котором тебя не ждут. Мне кажется, «свеча горела на столе, свеча горела» — об этом.

— Неправдоподобно, но продолжай,— сказала Мария.

— Я подчеркну правдоподобные моменты. Но они будут немного позже. Конечно, можно было бы начать так: «Стояло прекрасное утро юности, когда он шагнул за порог дома. Его сердце было полно надежды, а голова — чудесных планов...» и так далее и тому подобное. И потом: «Он не сомневался в том, что не успеет солнце коснуться горизонта, он вернется, и вернется в дом победителем, и руки любимой обнимут его» и так далее и тому подобное. Это более похоже на правду, ты не находишь? Но когда наступили сумерки, его дом был еще далеко. И не потому, что он заблудился, как часто думают, а потому что планы исполнены не были, а он не хотел возвращаться, не достигнув цели.

Некоторые женщины лучше мужчин знают предназначение мужчины. По вечерам они стоят на пороге дома, и не успел муж с пустыми руками и виноватым лицом появиться на улице, они начинают его поносить последними словами — так, чтобы слышали все: «Бездельник, трус, тупица! Нужно быть дурой, чтобы связаться с таким никудышником!» Некоторые женщины лучше знают свое собственное предназначение: они жалеют мужчин, потерпевших поражение, как жалеют обидчивых детей.

Здесь я остановился. Мария, вижу, улыбается. Тогда я продолжаю:

— Я уже сказал, что мужчина, о котором идет речь, в этот вечер домой не вернулся. Он решил идти до конца — вернуться домой не иначе как победителем. Одним словом, он прекрасно знал свое предназначение. Не важно, где провел он эту ночь — на скамейке вокзала или в дороге, а может быть, у костра, с человеком, который тоже не хотел возвращаться ни с чем и, возможно, станет его товарищем.

— Твоя история обещает быть красивой,— сказала Мария.

— Отнюдь,— говорю я.— Я заранее учел этот недопустимый, на мой взгляд, дефект. Однако настаиваю на том, что человек, о котором рассказываю, действительно не вернулся домой в тот вечер, а на следующий день ушел еще дальше. На длинных дорогах, где счет ведется не на дни, а на годы, мужчине иногда до безумия хочется пережить иллюзию возвращения. Это слабость? — не знаю, но, признаю, в этом случае он что-то все-таки теряет, теряет с точки зрения эстетики... Нет, мой герой не идеален.

Можно было бы продолжить так: «Однажды он проходил мимо дома, на пороге которого стояла печальная женщинв. Она кого-то ждала, как где-то, он верил, ждали и его. Он, усталый и запыленный, с тем одиночеством в глазах, которое делает мужчину похожим на бродячего зверя, разве не напоминал ей того, каким представляла она своего далекого возлюбленного...» Соответствие не полное. Но, согласись, им есть о чем поговорить. У них, как говорится,

много общего. Простим им слабость: ему иллюзию возвращения, ей иллюзию, что она, наконец, своего любимого дождалась. Однако посмотрим, с чем вошел этот мужчина в ее дом. Его руки, мы знаем, по-прежнему пусты, но как горячо он говорит о своих проектах...

Мария продолжает улыбаться,— а я говорю об этих прекрасных проектах, в которых всегда сохраняется хотя бы силуэт «прекрасного утра юности». В них сохраняется верность подлинному возвращению. Но все становится страшно сложным, хотя бы потому, что каждый может подозревать другого в неискренности. Кто возьмется рассудить, где здесь преданность, где здесь предательство? И он, например, «в темную ненастную ночь» покидает свое пристанище и бежит назад — к своей единственной, и возвращается не только бесплодным, но и грешным.

Мария задумывается — и тогда я начинаю говорить об абсурде, с которым встречается тот, кто настаивает на недостижимом или — труднодостижимом.

— Существует черта, переступив которую человек утрачивает всякую надежду на возвращение. Не обязательно видеть в этой черте государственную границу. Она существует внутри нас, хотя и не менее реальна, чем граница с проволокой и караульными собаками. С какого-то момента человек начинает понимать, что вернуться он *не успеет*. Если он понял, что зашел, как говорится, слишком далеко, то любое решение на этой черте не имеет больше смысла. Повернуть назад, чтоб умереть в дороге домой, так же бессмысленно, как продолжать свой путь без надежды на возвращение. Ничем не хуже на этой черте провести оставшиеся годы в размышлении о человеческой безысходности. Я не знаю, кто здесь прав, во всяком случае, мне неизвестны доводы, доказывающие чью-то правоту. Как, по-твоему, я ничего не прибавил и никого не приукрасил?

— Ты хочешь сказать, что Марк зашел слишком далеко?

— Да.

— И это призвание подлинного мужчины?

— Ты не согласна? Но тебе хотелось бы знать, что делают те, кто остается дома?

— Я знаю. Но говори.

— В доме ведь тоже понимают, что время возвращения истекло. И монологи, произнесенные в пустоту, более ничего не значат. Вот один из них: «Я знала, что ты настоящий мужчина, тебя ничто не может остановить — ни чума, ни звери дикие, ни каменные стены...» и так далее. Или другой: «Любимый, я все равно буду любить тебя, если даже вернешься с пустым рукавом инвалида...» и так далее. Все приготовления к встрече теперь ни к чему. Я хочу заметить, что с какого-то момента жечь свечи бессмысленно. И тот, кто продолжает ждать, прав не более того, кто свечу задувает. Марк решил переступить черту, он не отказывается от своей цели. А потом, возможно, он всю жизнь будет возвращаться домой без всякой надежды успеть вернуться. И Марк с этим согласился.

— Ты рассказал ему это?

Я кивнул. Я не ожидал, что моя байка может так Марию взволновать.

— Дмитрий, нам надо с тобой поговорить. Эта мысль каждый день приходила мне в голову. Поедем потом к тебе или ко мне? — Мария крепко сжимает мою руку и заглядывает в глаза.

— Может быть, может быть,— говорю я.

Я вижу свое место в схеме, которую сочинил сам. Схема делает все возможности прозрачными. Я думаю об этих возможностях и смотрю на ленту шоссе, на зеленеющие пустые поля, заканчивающиеся где-то там в низком дыме пригородных заводов. Но я-то знаю, подобно Марку, я на той же самой роковой черте, и выиграть невозможно. И мне ясно, что любое решение приму, как свою судьбу. Это не значит, что моя судьба мне нравится. Каково бы ни было мое будущее, оно будет хотя бы немного горчить.

— У меня есть знакомый,— сказал я, когда мы вернулись к друзьям Марии,— с общественной функцией весьма странной. К нему советуют обращаться, когда кто-нибудь умирает. Он оформляет акт смерти, заказывает похоронные принадлежности, арендует место на кладбище. И прекрасно

выглядит на поминках: красивый траурный гость, респектабельный посланец с того света...

— Мы его знаем,— прерывает меня психоаналитик.

— Я знаю, кроме этого, что высказанные истины запутывают,— сердито говорю я.— Их становится просто больше.

Психоаналитик ожидает продолжения рассказа о посланце с того света, я же перевожу взгляд на барак, который хранит тайны таможенных процедур.

— Черт возьми! Мне неизвестно продолжение. Просто есть вещи,— я зло вспыхиваю,— которые другие переживают вместе с тобой.— И ухожу в сторону, отчего-то весь вспотевший.

О, Большой Бен! Конечно, это он. Мне неизвестны его тайны, но красивая молодая полнота, священническое спокойствие, от которого, кажется, исходит благоухание, намекают на его миссию. Я киваю ему, возвышающемуся над толпой, и он прекрасно отвечает. Вчера он навестил Марка и тотчас с ним удалился на лестничную площадку. Вот как выглядит служитель переправы за реку, из-за которой не возвращаются!

— Вы всюду,— говорю я. Но, по-видимому, даже намеком не стоило обозначать его свободные обязанности. Незаурядное существо было предо мной. Я это понимаю. Чувствую, как легко мои слова входят в поле его внимания, и как прочна и эластична преграда, которая не позволяет приблизиться к чему-то такому, что отдалено от всех, не посвященных в святая святых его веры и дела. Он мог бы помочь мне додумать до конца мои мысли, обещающие спокойствие. Но догадываюсь, что научусь разговаривать с Беном лишь после того, как сам обрету спокойствие без его участия.

— Вы мне нравитесь,— сказал я самонадеянно и отошел к проволочной сетке.

Перед таможней бетон залит как попало. Из трещин высовывается овечья травка. По влажному бетону двигаются странные спаренные насекомые. Они подскакивают и падают на спину, и начинают все сначала. Некоторые были раздавлены. Меня ужасает тривиальность их бесстыдства. Я думаю о том, о чем думал уже не раз,— без физической близости в моей стране мораль не существует. Поцелуй предусмотрен и в православном, и в партийном этикете. Марк не любил фамильярности, и у меня они вызывают тошноту.

Марк, где ты? Я тебя потерял где-то между молитвенно льющей слезы еврейкой и Марией, глотком водки и непристойными насекомыми. Мне хочется возражать здесь всем, потому что не хочу смешивать моего друга ни с кем. Но в моем сердце, где ты, Марк, должен был находиться,— отверстие. Так, наверно, выглядят душевные раны. Да, именно так. Я уже видел их прежде — несколько штук — на картинах Михаила Кулакова: черные кратеры на ржаво-грязной поверхности. Но разве я не повторяю в некотором роде Марка, о котором сказал, что он похож на экспериментальный истребитель: в полете сгорает все, кроме самой топки.

Прости, я не упрекаю тебя. И когда называл тебя «расширителем вселенной», не говорил комплименты. Не будь тебя, я видел бы этот мир иначе. В каждом из нас есть что-то от тебя — во мне, в Марии... и в твоем отце (старик Мильман все-таки явился, его невозможно не узнать по вызывающей неторопливости. Машина, на которой он приехал, делает на шоссе разворот); все мы, Марк, соучастники твоей жизни.

Ты мне понравился, когда еще писал стихи, но не стихами. Должен ли я припоминать тот случай в вечерней школе — и нас, ленивых от недоеданий учеников! Контрольная по алгебре. Никто к работе не был готов. Ты взял швабру и метнул ее в клубок проводов над распределительным щитом. Там вспыхнул голубой огонь, и наш этаж погрузился в темноту. Потом перед каждой контрольной класс совещался, и если большинство решало — берем тайм-аут, та же швабра летела в проволочную бороду.

О тебе не скажешь словами Плутарха, что ты в юности выказал «величайшую приверженность к порядку и отцовским обычаям» (на всякий случай оглядываюсь по сторонам, не хочу, однако, перед другими порочить твои

юношеские годы). И все же о тебе можно сказать, что ты испытал радости человека, «окруженного почетом за совершенные деяния».

Я принуждал себя думать о Марке, как базарная торговка — восхвалять свой товар каждому покупателю. Разве я не отдаю себе отчет в том, что нет человека, которого бы я ненавидел сильнее, чем тебя, Марк Мильман. О, эта чрезмерность иронической вежливости! Ты равнодушно допускал в каждом способность быть гением и карманным вором. Тебе ничего не стоило поднять человека над всеми — и не успел он оглядеться на этой высоте, ты уже сбрасываешь его вниз; именно так ты выражал свою неприязненность к другим, тебе было важно, чтобы человек сам принимал участие в своем падении.

Недостойное занятие — шарить в коридорах чужой биографии, но жизнь Марка — это и моя жизнь. Щепетильность в нашем случае угрожает лишить прошлого нас обоих. Ты не находишь? Впрочем, на «роковой черте» все допустимо. Мы вышли в дорогу из разных домов, но стояли они рядом, хотя и через улицу.

Я был с Марком, когда, не допущенный Галей Подорожной в квартиру, он летел по зимней улице в паре яростной речи. Он влюбился — и я с изумлением узнал, какие неправдоподобные страсти способна вызвать заурядная девица с постным кабачковым лицом. Кража крупных сумм, слава поэта и математика, уголовное дело и хитроумные маневры — он все готов был привести в действие, чтобы взять приступом кассиршу гастронома. Потом наступило затишье. В школе никак не удавалось с ним заговорить, а дома — не заставал. Я ожидал всего, но никак не стоической меланхолии, с которой он стоял на переменах у окна. Я еще не знал, что Галя Подорожная сдалась и он раньше меня узнал, что это такое.

Марк был деликатен, когда, наконец, «об этом» заговорил. Но вскоре ему надоела полуоткровенность, как надоела Галя Подорожная. И на меня хлынул поток скабрезностей, трезвого анализа чувств и рассказов о тех отвратительных приемах, которыми он заставлял несчастную Галю, нелепую рядом с ним, писать выспренние письма «с того света», как иронизировал мой друг, и искать с ним встречи. И тогда я его возненавидел.

Он недоумевал, как можно встать на сторону человека, которого не знаешь. Ведь, собственно, он мог ничего мне не рассказывать — и тогда? И тогда я, как ни в чем не бывало, продолжал бы играть с ним в шахматы, ходить в кино и дурачить вместе учителей. Я отвечал: я не на стороне Гали Подорожной и не против нее,— я за то, чтобы счастливыми были все. Теория всеобщего счастья в моей голове за несколько дней споров с Марком приобрела удивительно законченный вид.

Помню субботний вечер. Мать предупредила: меня давно поджидает приятель. Вхожу в комнату в гордыне неподкупного судьи. Марк со стула улыбается — черт! наконец он понял меня. И свою неправоту. Он торжественно поднимается со стула и клятвенно произносит: «Да! Галя имеет право на счастье!» Я не могу скрыть слез. О, сладкая боль своей правоты!

Марк говорит, что готов немедленно идти со мной к Гале Подорожной, просить у нее прощения и хоть завтра зарегистрировать с нею брак. Мы вышли на улицу, я — переполненный радостью восторженной правды, Марк — своей моральной решимостью, и проговорили до начала нового дня: о справедливости, о человечности, потом о Достоевском, эсерах, большевиках, начальстве и порядке, о неграх, о Сталине, о Кирове, евреях, родителях, о власти вообще и о лжи, к которой склонны власть и родители, о вычеркнутых из истории именах, о рабочем классе, о России, о дураках, об обывателях, о честных людях, и почему-то больше всего о Кирове, как будто его кандидатура выдвигалась на президентский пост. Мы спорили, но нам не нужна была ни точность, ни победа убеждений. С высоты своей патетической взволнованности мы смотрели на мир, в котором нам было суждено родиться. Это были наши Воробьевы Горы. В несовершенстве мира мы не видели ничего устрашающего, хотя и знали, что у нашего разговора не должно было быть свидетелей. Мы верили, что несовершенный мир — арена, на которой нам будет отведено место.

Что же касается Гали Подорожной, то выяснилось, что с регистрацией придется подождать, поскольку Марку недостает нескольких месяцев до восемнадцати лет. А потом... А потом Галя была забыта.

После школы я решил идти из принципа на завод, ты из принципа — в науку. Это расхождение нас не удручало. Мы гордились своими решениями. Где-то в будущем наши пути должны были непременно встретиться. И там, в той точке встречи, мне казалось, каким-то образом объявится и Галя Подорожная. Я представлял кассиршу улыбающуюся, в летнем платье,— словно на свадебной фотографии. Предполагалось, к тому времени она, конечно, давно все поняла и простила и меня, и Марка — ради торжества всеобщего счастья!..

Вот эта точка! Аэропорт. И мне недостает ни фантазии, ни оптимизма представить впереди какую-либо другую.

— Чего здесь встал!

— Что? — переспрашиваю таможенного солдата. Мне показалось, он о чем-то меня спросил.

— Отойди отсюда! — вот что говорю.

— А,— понял я. Оторвался от сетки и встретился глазами с Юлием Иосифовичем.

Мы раскланялись. Отец Марка чувствовал себя здесь неважно. Ему трудно было освоиться среди людей неизвестных, которых — вдобавок — подозревал в своей несостоятельности. Я сказал, что здесь мы ожидаем, когда Марк пройдет досмотр. Я сказал «мы», потому что имел в виду Марию. Юлий Иосифович с наивным удивлением оглядел толпу: неужели у его сына столько провожающих! Я не стал разубеждать его, отошел в сторону — на пустые бетонные квадраты. Как это ни странно, простор был необходимым условием размышлений о Марке.

С расстояния десяти шагов смотрю на отца Марка и на других. Как все красивы! Я не говорю о Марии и об Юлии Иосифовиче: круглая голова и плечи борца позволяют отнести его к породе Давидов,— даже брадатые болтуны с расшлепанными славянскими носами, расчувствованные на всю жизнь сатиры, безупречны в своей законченности. Чем не Рахиль та бесплотная девица, которая теперь отрешенно подставила лицо бледному солнцу и ожиданию. Я прекрасно знаю, о чем пишут подпольные поэты. Они пишут о Рахили, о Самсоне, об играх в тени кущ, о Боге. И почти каждый о Хароне. Не здесь ли, на окраине хмурого города, его переправа!

Сейчас я вспоминаю, Марк, твою «лодочную» речь, которую могу повторить слово в слово. Немногое помню с такой отчетливостью, как тот час — именно час, потому что лодка была взята напрокат на один час. Я сидел на веслах и греб навстречу волнам, поднятым речными пароходиками, ты — на корме, в вязаной куртке и со студенческим чемоданчиком у ног. Я еще не сменил армейское обмундирование на гражданское и щурил глаза, как будто передо мной были все те же казахские степи: солнце и пыль.

В последние месяцы службы я о многом думал. О тебе, конечно, тоже. Когда мысли привыкают парить над землей, они на удивление логичны. В казармах дискредитацией этих мыслей я занялся сам. Я хотел иметь более правдоподобную версию мира. Мне старые твои контраргументы весьма пригодились. Я имею в виду те, которыми ты оспаривал мою теорию всеобщего счастья. Разумеется, я кичился своей реалистичностью, хотя и за твой счет, в которую, однако, внес ту самую логическую последовательность. Или максимализм. Это одно и то же.

Я сказал тебе, что кое-что понял за то время, пока мы не виделись. Теперь я знаю, кому в этой жизни принадлежит всё и какими несложными приемами цели достигаются — расчет, воля, сила! Свою силу чувствую и сумею отвоевать свое место под солнцем. Мне жаль тех, кто доверяется школьным иллюзиям. С меня их хватит. Я тебе предложил что-то вроде союза при условии — ты разделяешь со мной веру в эти постулаты.

— Знаешь,— закончил я,— я не особенно жалею, что, пока мне вдалбливали в голову: «карабин состоит из семи основных частей», другие зарабатывали дипломы. Я сумею их обойти...

Возможно, я хотел набить себе цену. Ты молчал и смотрел в сторону.

— Так вот ты какой путь решил избрать! — так начиналась твоя речь, со сдержанного удивления и с правом на патетику в конце, если такая потребуется.— Если не шутишь, советую тебе пореже излагать свое кредо. На этом пути вещи своими именами не называют. Добавь к своим постулатам еще два: ложь и притворство. Это мой вклад в твою новую теорию.

Я не сразу понял, ты иронизируешь или со мной соглашаешься. И довольно глупо улыбался. Ты продолжал.

— Ты хочешь немногого. Но сейчас тебе кажется, что ты гигант. Вдумайся в то, что ты говоришь: «Я был наивен, принимал мечты за действительность, но теперь знаю, каков мир на самом деле». Ты отказываешься от больших, так сказать, целей, но почему ради этого немногого готов пустить в ход всё: силу, расчет и — как ее? — волю. Ты же капитулировал! Я бы тебя понял, если бы в тебе увидел разочарованного человека. Ты же *поверил* в грязь жизни, в чудеса демагогии, в ненаказуемость беспринципности. Ты поверил в силу низости и решил подчинение ей превратить в попутный ветер своей карьеры. И мнишь, что познал все. Твоя правота в слабости, в неверии в себя. Но почему, я не могу понять, у тебя такой гордый вид? Ты ведь сдался! Тебе показалось, что ничто и никто не устоит перед людьми, действующими по приказу, вдохновленными вознаграждениями и фамильярностью начальства. Ты заметил, что отличившиеся живут в особняках, прибывают на службу в собственных машинах. Ты прав, далеко не все проводят свое время на плацах,— некоторые пишут диссертации, другие сочиняют солдатские песни, пьют коньяк, провозглашая тосты за то, чтобы мир остался таким, каков он есть. Ты заметил это — и гордишься своим реализмом. Но когда-нибудь ты почувствуешь, как ты страшен. Точнее: безобразен.

Ты же знаешь, что есть люди, которые никогда не согласятся с тобой. Да, ты превратишь их в своих врагов, и, вместе с тебе подобными, сделаешь все, чтобы обречь их на вымирание. Те, кого ты избираешь в образцы, знают больше тебя,— хотя бы то, что «несложные приемы» успеха нуждаются в драпировках, и то, что противнику нельзя давать возможности для возражений. Люди со «школьными иллюзиями» должны лежать под нагробным камнем и даже право сочинять эпитафии на их могилах нужно сохранить за собой. Ради моего прежнего хорошего отношения к тебе, даю тебе совет: побольше помалкивай с чужими...

Я был изумлен. Осторожно посмотрел по сторонам: в сторону набережных, пустующих в эти часы, на пароходики, пробегающие свои маршруты без единого пассажира, но по расписанию. Корма лодки словно входила в измышленный тобой спектакль, как часть декорации. Я ни черта тебе не верил, ни одному слову! Твой монолог выходил за все мои представления о том, *что* и *как* можно сказать. Такое возможно только в театре — вот суть моего изумления. После того, как ты закончил свой монолог и закурил, должны были раздаться аплодисменты. И если бы я сам догадался тебе крикнуть «браво», уверен, ты сумел бы это оценить улыбкой щедрой, но и опустошающей, ибо она заставляла быть тебе благодарным.

Я не мог долго прийти в себя от изумления еще и потому, что в армии сделал из тебя идола. Мне не на кого было опереться. Из меня сделали бы «швейка», либо я сам стал бы «ефрейтором». Я пускал в ход твои жесты и интонации, я разучил манеры холодной вежливости, я освоил твой прием: защищаясь, никогда не прибегать к общим заявлениям,— ухватиться, пусть за ничтожный, промах противника, ухватиться и давить в незащищенное место до тех пор, пока он не признает себя побежденным.

Я неплохо подражал тебе. Меня стали побаиваться и без нужды не задевать. И, наконец, назначили охранять какой-то хлам в подвале казармы. Здесь я начал вести дневник и спать. В этом подвале я успел превратиться в оппонента самого себя. Но ты вернул меня себе.

Бью кулаком по бедру: но где же враги? Опять небо, бетон, кучка людей у изгороди. В мареве круглый купол астрономической обсерватории. Жизнь — это паутина и путаница, пляска пыли в солнечном луче. Смысла нет, мы следуем предзнаменованиям. Этими знаками благоприятствования и противопоказаний иногда становятся выражения единственного человеческого лица. Все дело в том, что мы не можем предложить друг другу умереть, если даже смерть — плата за абсолютно справедливое дело.

— Простите меня,— говорю Юлию Иосифовичу,— мне не совсем по себе.

Профессор кивает. Его губы принимают участие в речи чуть больше, чем обычно.

— Трудный поступок... Трудный поступок... Надеюсь, мы сохраним с вами связь... дружбу.

— Конечно. Безусловно. Я в этом уверен.

Еду на край бетонного поля и падаю в траву. Еще секунду наблюдаю занятия насекомых на дне травяного леса. Удары сердца — и забылся.

...Что-то делаю. Уясняю что-то серьезное. Здесь люди, и я говорю им про обнаруженное. По мере того, как рассказываю, вижу, как растет их озадаченность и тревога. Я иду и меня ведут — словно передают из рук в руки. Отчетливо: расправляю на столе не то газету, не то карту, не то что-то напоминающее рентгеновский снимок,— смотрите, вот тут! Встревоженность сгущается и распространяется. Все тотчас принимают *необходимые меры*. Никто не смотрит на часы,— даже такая заминка недопустима. За этим слежу я и другие. Постоянно напоминаю, что нечаянно допущенная неточность должна требовать быстрой и точной коррективы. Сознательно не произношу слово «коэффициент», ибо догадываюсь, что оно само содержит опасную неточность. Нужно внимательно следить и за другими подобными словами. Мое удовлетворение растет, но позволительно лишь отметить: *опасность не приближается*. Понимаю, что все мы суеверны, но это также не то, о чем позволительно говорить, как непозволительно придавать значение Голосу, который повторяет одну и ту же фразу. Возможно, весь сон — всего лишь одна длящаяся фраза:

ВЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТЕ.

Вскочил на ноги и в панике почти побежал,— неужели ошибка все-таки вкралась: я пропустил выход Марка из таможни. Но нет, небольшая группа продолжает стоять у ограды. Теперь, можно было бы сказать, «в честь отъезжающих давался лишь скромный камерный концерт». Пожилой таможенный солдат подобрел, он даже сказал, что одного нашего уж слишком долго проверяют. Чувствовалось, что он перешел на сторону тех, кто болел за благополучный исход досмотра.

Я улыбаюсь не только от симпатии к солдату, не только молнии, толщиной в канат, упершейся в далекий холм, не только башне обсерватории, в которой по ночам люди сосредоточенно рассматривают, во что превратило небо несовершенство их телескопа,— да, мы никогда ничего не узнаем,— но я улыбаюсь оттого, что ничто не мешает нам задавать друг другу вопросы. Вот человеческое право, которого нас никто не может лишить. Познать все — и умереть, такой финал слишком удручающ. Уж лучше умирать, задавая последние свои вопросы.

Подхожу к Марии и присаживаюсь на корточки в тепловом излучении ее тела.

— Дорогая, ты любила Марка?

Она подозревает, что я выпил где-то еще.

— Не надо говорить со мною так.

На ее коленях все тот же желтый портфель: съестная лавка, бар, аптечка, архив. Мария — натурщица. С нее пишут «весну», «молодую мать», «партизанку», «комсомолку на стройке», я слышал: художественный совет утвердил настенную роспись ресторана, в которой «девушка на качелях» — тоже Мария. Обремененная занятиями этого мира, который не знает о ней ничего и тем не менее находит для нее все новые и новые употребления, затасканная в штудийных этюдах и помыслах глупеющих на обнаженной натуре студентов,

изнывающая в одуряющем тепле рефлекторов, Мария проницает в себе какой-то смысл и в свите быстро стареющих циников, не жалуясь, идет бесконечными коридорами нашего времени с теми неувядающими веснушками, которые дарованы лишь аристократической породе в ее полном цветении.

Соглашаюсь с Марией: «Нельзя говорить так». Разве я забыл о том, что «нужно внимательно следить за словами». Задаю вопрос иначе:

— Ты любила Марка?

— Да, одно время да.

— А вашего покорного слугу?

— Да.

— Мария, ты любила нас обоих! В одно и то же время?

— Нет. Может быть...— и замолкает. Я знаю, Мария хочет, чтобы я ее понял. Она знает, как ее слова легко могут обидеть и как легко в отместку ее оскорбить. И продолжает: «...только некоторое время». Но я забыл начало фразы. Но соглашаюсь. Соглашаюсь с тем, что я, Марк и кто-то другой (другой представляется мне почему-то с тщеславными бакенбардами, потом — гладко выбритым мужчиной в фуражке с кокардой Аэрофлота) — все мы — фрагменты этого мира, участники процессии, проходящей мимо дома, на пороге которого стоит она.

— Мария,— осторожно говорю я,— я любил тебя.

— Я тебя тоже.

Ее голос уютно разместился в моем. Я не беру ее руку в свою только из чувства меры. Я ничего не понимаю, но у меня нет и вопросов. Чтобы задать новый, я должен еще немного прожить.

Не все уважают прошлое. Этого не скажешь о Марии. Я всегда удивлялся, почему она не художница. Возможно, она больше художник, чем все те, кто просит ее позировать. Но она не хочет отделываться набросками. Каждый фрагмент жизни должен быть блистательно завершен. Но если ты всего-навсего деталь ее жизни, она ею дорожит. Я уверен, что, если у Марка будет сын и когда-нибудь сын спросит у Марии об отце, он не услышит пустых фраз: «Он любил со мной говорить об искусстве...» Она скажет:

— Да, твой отец был замечательным человеком. В тридцать лет он мог занять кафедру, а в сорок стать академиком. О нем говорили, что целая отрасль промышленности могла питаться его идеями. Твой отец любил повторять: «Ученый не должен торопиться брать предмет в руки. Тогда наука превращается в ремесло». «Настоящее открытие — это травма, которая никогда не забывается. Вот поэтому великие ученые привязаны к своим открытиям всю жизнь, даже тогда, когда бунтуют против собственных выводов...»

Сын Марка сможет спрашивать, зная, что Мария точно остановит свой рассказ там, где для других начинается самое главное — они сами.

Мария продолжает сидеть на чьем-то рюкзаке, я на — бетоне. Нас обступила свита Марии. Оказывается, начинается дождь. Перед сетчатым забором осталось всего лишь несколько человек. Среди них Юлий Иосифович. Конечно, он хотел, чтобы Марк увидел: он здесь.

Это было месяца три назад, когда Марк собирал документы для выезда из страны. Требовалось заявление отца о том, что к сыну у него нет материальных претензий. Марк мне говорил, что отец, по-видимому, откажется такую бумагу подписывать — вдруг это скажется на его служебном положении. И попросил меня стать свидетелем разговора с отцом. «Родители,— объяснил он,— легко доказывают свою правоту — для этого нужно сослаться лишь на преимущества возраста и опыта. Но логика старше и нас и наших родителей. При нашем разговоре требуй от сторон логичности. Но ни в коем случае не вставай на мою сторону. И приговор выносить — не твоя обязанность. Учти: все-таки „Авраам родил Исаака“».

Я бывал в доме Юлия Иосифовича нечасто, но выслушал немало суждений друга о своем семействе и с точки зрения Ветхого Завета, и политэкономии,

и Зигмунда Фрейда. Марк приветствовал отца так: «Как дела на почтамте?», поскольку Юлий Иосифович, выписывавший всю литературу по узкой области фармакологии — отечественную и зарубежную,— имел нередко неприятности с почтой. Молодая мачеха благоволила пасынку, и у моего друга не раз возникала бесовская мысль поухаживать за нею всерьез — и посмотреть, что из этого выйдет. «Мой отец — Моисей, но не выдержал земных соблазнов и стал царем Соломоном».

Шутливая интрига началась с прихожей. Марк галантно поцеловал руку мачехи. Вероника Павловна улыбалась, и этой улыбкой Марк, по-видимому, мстил отцу за то, что тот не Моисей. Но к тому времени, когда отец вышел из кабинета, он уже перешел на почтительный тон, и интрига осталась между нами, но в воображении продолжалась: все мы стали шутливыми персонажами комедийной ситуации. За обедом Юлий Иосифович осведомился о делах Марка. Он, очевидно, считал, что сыну стоит напомнить о «величайшей глупости» — намерении покинуть страну, за которую тот уже поплатился переводом с должности начальника отдела в младшие научные сотрудники.

Марк ответил патетически:

— Катастрофа! Катастрофа! — и осведомился у Вероники Павловны, какой тип женщины она считает идеальным для брака с предельно серьезным молодым человеком. Вероника Павловна прижала салфетку к губам.

— Марк Юльевич, вы просто невозможны.

Марк — это его чудовищная способность — создал положение, при котором Юлий Иосифович остался один, один с рюмкой вермута в руке, одиноким рядом со своей женой и сыном, одиноким в доме, который создал сам. Мне стало жаль его. Вероника Павловна напрасно пыталась помочь мужу ласковыми взглядами. Юлий Иосифович рассматривал свою тяжелую умную руку.

— Папа,— с этого начал свое наступление Марк,— ты не чувствуешь себя евреем?

Отец обдумывал ответ так, как если бы выбирался из-под развалин,— осторожно, не желая без надобности тревожить ненадежные камни. Он не одобрял вопроса.

— Не чувствую. Но я не знаю, как меня воспринимают другие. Возможно, у некоторых есть дополнительный орган чувств. Но согласись, эта тема неинтересна.— Юлий Иосифович попытался развить свой ответ до шутки: — Я понимаю, если бы этот вопрос задал Ефим.— Пауза давала возможность представить Ефима, дядю Марка, и улыбнуться его колоритной внешности: курчавые волосы, приплюснутый нос, оливковые зрачки — так евреев изображают антисемиты.— Почему этот вопрос так волнует тебя? — Юлий Иосифович напомнил — сказано это было, по-видимому, для меня,— что мать Марка была русской.

— И тем не менее ты — еврей. Ты — профессор, ученый с именем, член разных комиссий,— но еврей, хотя бы потому, извини, что так уклончиво отвечаешь на прямой вопрос.

Юлий Иосифович скользнул взглядом по моему лицу. Я понял, не будь меня, дальнейший разговор пошел бы по другому руслу. Но Марк для того и пригласил меня.

— Меня интересует только одно,— продолжал Марк,— какое самочувствие следует из признания себя евреем. Два умных человека — еврей и русский — могут найти общий язык, на котором они обсудят предрассудки своих народов, но их самочувствие даже при этом разговоре будет далеко не одинаковым. Мне кажется, если еврей признает себя евреем, он признает не только сам факт, от которого никуда не деться, но и свое самочувствие как свою суверенность. Нужно быть искренним!

Мы перешли в кабинет Юлия Иосифовича. Марк с удовольствием смотрел на могучую спину родителя, который, однако, как говорил Марк, предпочитал, чтобы даже легкий чемодан с поезда до такси нес носильщик.

Марк мне говорил, что каждый народ создал об евреях свою легенду: об алчности, беспринципности, революционности, о стремлении к господству, чувственности и тому подобное — эти легенды лучше защищали евреев, чем

верное их понимание. Для евреев и достоинства и пороки — лишь оболочка, двойная, тройная, сотая. Все, что называют культурой или миссией, духом или «судьбой нации», среди которой еврей живет, он наращивает себе, как капуста новый лист. Когда еврей отстаивает свою партийность или компетентность, он отстаивает их с той точки зрения, насколько это его прикрывает и насколько благоприятствует тому, чтобы нарастить на кочан новый лист. Но евреи не настолько глупы, чтобы за эту оболочку умирать. В погромные годы они швыряют антисемитам золото или членскую книжку, которые до поры до времени, как свое лучшее достояние, без устали таскали на себе. У еврея можно отобрать имя, звание, лавку, дом, жену,— и все-таки никакая экспроприация не затронет его существа. Он начнет свой новый исход. Никакой народ не умеет так благоразумно расставаться со своими идолами.

— Марик,— сказал Юлий Иосифович,— неужели пропаганда этих бездельников могла тебя в чем-то убедить? Я могу понять более умных людей, стоящих за их спиной, им нужны солдаты, инженеры, химики, но позволь заметить: родину не придумывают.

Марк закурил. Отец приоткрыл форточку и опустился было за письменный стол, но обошел его и сел рядом с нами.

— «Многочисленны стада твои, и богат дом твой...»

— Не читал. А дальше?..

— Не помню. Прочти как-нибудь сам.

— Ты очень русский.

Марк оценил комментарий отца и замолчал.

— Да,— подтвердил наконец он,— я решил признать себя евреем воистину по-русски. Русские имеют удивительную восприимчивость к неудобоносимым одеждам и идеям...

Юлий Иосифович явно скучал. Возможно, он думал о том, что бы он делал, не будь этого пустого разговора.

— Твой дед был шорником и торговал тряпьем на белоцерковском базаре.

— Когда мне грустно,— сказал Марк,— я не могу утешить себя тем, что не торгую лохмотьями.

— Ты должен думать не только о себе.

— Но, надеюсь, ты не мнишь, что, занимаясь фармакологией, ты, в частности, решаешь и мои проблемы.

— Тебе никто не запрещает заниматься своим делом. Более того, от тебя требуют, чтобы ты только своим делом и занимался.

— Представь себе, что от моего деда только и требовали, чтобы он занимался своим тряпьем! Однако он поехал в Одессу доказывать, что его сын вундеркинд. Я не убеждаю тебя ехать со мной «в Одессу», но поверь, что я еду «по своим делам».

— Вот и хорошо. Но я не собираюсь быть соучастником дела, которого не одобряю.

Марк рассмеялся, потом обратился ко мне с вопросом, что по этому поводу думаю я.

Я сказал, что когда политические проблемы обсуждаются в семье, то, в конце концов, обсуждают приоритет родительского права. Именно это и следует обсудить: какое право авторитетнее — сына или отца, то есть, значение благодарности родителям или значение преданности родителей интересам детей. Поэтому обе стороны прежде всего должны взвесить удельную тяжесть этих авторитетов для себя.

— Возможные оговорки,— продолжил я,— не стоит принимать во внимание, например, «я благодарен отцу за то, что он дал мне, но...» и так далее, и другие «но», например, «я готов помогать сыну, но...» и так далее.

— Как четко! — воскликнул Марк.— Ужасающая логика! Никаких оговорок, хотя и жестоко. Но ясность сразу, а не по каплям. В этом что-то есть... Папа, я должен признать, что я неблагодарный сын...

— Вон! — поднялся с кресла Юлий Иосифович.

Мы молча вышли из квартиры. На лестнице Марк вытащил из портфеля бланк стандартного заявления и попросил меня вернуться и дать отцу расписаться. Я позвонил.

— Что вам от меня нужно?

— Вам нужно расписаться вот здесь.

Юлий Иосифович расписался молча.

Когда я думаю о ненависти к Марку, о невыносимости видеть его в некоторые минуты, то имею в виду и эту сцену: «Ужасающая логика! Никаких оговорок...» Его патетика перед чем-то таким, что якобы принуждает его к поступкам, которые он будто бы никогда сам не совершил. Разве не он подготовил всю сцену с отцом,— я был лишь актером, который по расчету режиссера в определенный момент должен выступить на авансцену. Вот что мучило меня все шесть лет лагерей. Вчера на проводах мы подсчитали, сколько лет мы с ним друзья,— оказалось семнадцать, но я не сказал Марку, что все эти годы мучительные подозрения не покидали меня.

Никогда не мог думать на эту тему спокойно. Разве я не пытался изгнать Марка из своей жизни много раз, не встречаться, забыть, развенчать до конца. Поверх того, к чему я стремился, рука Марка чертила другое — и моя собственная судьба кажется мне кем-то подсунутой. Если хотите, он человек, который составлял режиссуру драки, но смотрел на нее со стороны. Не странно ли обнаружить после семнадцати лет дружбы, что у нас не было дела, обоих соединяющего! Вел он или толкал, просветлял или провоцировал?.. Неуловимость грани бесит меня.

О, я всегда был готов предоставить тебе алиби за свой собственный счет. Я тоже видел твою «голову на деле», как выразился сатир из свиты Марии.

Должен согласиться, вначале я не увидел ничего особенного в том, что где-то на Урале построили... старый химический завод. Я понемногу приходил в себя после армии. Меня более занимала «законодательная деятельность Петра I» — тема курсовой работы: «Антинаучная фантастика» отнюдь не затрагивала моего воображения. Ты перечислял: «между разработкой проекта и строительством двадцать лет» (Ну и что! Я мог представить, что какой-нибудь проект разработали в середине прошлого века, а сейчас его вытащили на свет божий). «*Специально* заводам заказывали старое оборудование», «миллиард рублей — кошке под хвост», «можно было бы обеспечить квартирами сто тысяч человек»... «Не успели просохнуть чернила подписей членов комиссии, принявшей комбинат, он уже нуждался в полной реконструкции...»

Я уже читал примерно о таких же безобразиях в «Правде»,— нормально! нормально! — причем примерно в таких же выражениях. Окажись на твоем месте — одним из членов приемочной комиссии,— я бы, наверно, возмущался не менее тебя и, возможно, решился бы занести в акт тоже свое особое мнение. Хотя прекрасно понимаю очевидную дерзость «особого мнения», которое ничего изменить не может, но повышает бдительность по отношению к тому, кто его имеет.

Я не спешил возмущаться вместе с тобой,— а ты и не собирался представлять несчастный комбинат как трещину в мироздании. «Но если мяч подкатился к твоим ногам, нужно сыграть честно, послать мяч в верном направлении»,— сказал ты. Я согласился, игру всей команды не исправишь, если будешь бегать по всему полю за мячом. Однако ты, как потом я увидел, в это правило вносил другой смысл.

Два года я наблюдал, как ты катил мяч и набирал «команду». Ты сделал невозможное, если понимать под невозможным «превосходное в своем роде». Когда я приходил к тебе, ты открывал папку и показывал мне новый «уникальный», как ты говорил, документ. Это были письма ученых и производственников, в которых выражалась озабоченность крупными недостатками в проектировании и строительстве химических предприятий и выражалась поддержка твоего проекта организации новых отраслей промышленности. Ты считал, что проект со временем мог изменить систему организации всей инду-

стрии. Уникальность писем была в том, что тебе удалось привлечь на свою сторону людей маститых. Ты сказал, что эпиграфом к твоей папке могут служить слова Виктора Гюго: «За благополучие двора отвечают как короли, так и дворники».

Через два года — почему-то помню, что было первое апреля — ты сказал, что за благополучие двора решили отвечать только короли, и показал ответ, полученный из министерства. Завязывая папку, ты улыбался, как человек, который закончил решающий эксперимент. Ты был доволен, ибо результат не мог опровергнуть чистоты поставленного опыта. И это меня поразило. Я не верил твоему хорошему настроению — в доме был покойник, присутствие которого тщательно скрывалось. Ты предложил выпить. Ну вот и поминки! Но я надеялся, что мне удастся убедить тебя, что так дело оставлять нельзя. Ты отправился в магазин, а я, пока ты отсутствовал, успел воодушевиться идеей общего дела. Помнишь, когда ты вернулся, на проигрывателе стоял Вагнер? Я видел тебя, себя и других: кого-то еще и еще — в сражении с богами.

Но ты хотел тишины и одинокой беседы. После того, как два года ты гнал мяч по полю, тебе захотелось отойти в сторону. Бутылка коньяка — что ж, так легче поразмыслить над тщетой благих человеческих намерений. Я не соглашался с тем, что ты имеешь право сложить оружие. Но победить твои философские резиньяции не мог — и остался один с идеей общего дела, с Вагнером и выводом — «подгнило что-то в Датском королевстве».

Я стал избегать с тобою встреч и не знакомил со своими новыми друзьями. Возможно, мои друзья недоумевали, почему так яростно я нападаю еще на один «изм» — «скептический объективизм». А мне виделся ты, бледный и отрешенный, волнуемый ходом мысли, которая на каждом шагу рискует оказаться в тупике: пальцы сжимают фужер и ослабевают. Потом я о тебе забыл. Ты потерялся для меня среди тех, кого называл «рабом существующего порядка вещей». И только в лагере я снова вернулся к теме «ты и я» и иначе оценил эксперимент и твое бегство в метафизику.

Приятель из свиты Марии тронул меня за плечо. Он сказал, что Мария плачет:

— Вы не попробуете успокоить ее?

Мария, оказалось, ушла к зданию аэропорта. Возле цветника на скамейке сидела она. Ее друзья бродили взад и вперед на почтительном расстоянии.

— Дорогая Мария,— сказал я, опускаясь рядом,— поверь, никто не говорит о нашей вине. Наше преступление — нечто такое, о чем лучше было бы помолчать. Обвинения нет, но есть наказание. Каждому из нас предоставляется право найти оправдание этому наказанию. Я знал человека, который сидел по 58-й, пункт первый, но считал себя виновным лишь в том, что недостаточно сердечно относился к женщине, которая его любила. Его не смущал тот факт, что семь лет — слишком суровое наказание за такое прегрешение. К тому времени, когда я с ним познакомился, это был один из деликатнейших мужчин мира. Я не буду приводить другие примеры. Я хочу сказать, что тот. кто не хочет быть наказанным просто так, ни за что, должен придумать вину себе сам. В этом что-то есть... Верно? Я отказался наказание оправдывать и стал обвинителем сам. Человек может стать ходячим досье: все, что видит и переживает, он когда-нибудь предъявит как обвинительное заключение. Но сейчас я больше всего хотел бы получше рассмотреть нас, а не тех, против кого собирался выступать в мантии прокурора.

Мария утихла. Она вспомнила, что я уже об этом ей рассказывал. Мария не плачет — и я вижу благодарные взгляды болтунов, подаренные мне. Но еще не решаются присоединиться к нам. Я начинаю их уважать, потому что догадываюсь: в этом клане заботятся друг о друге. Тогда не так уж плохо там, куда ушла Мария. Восхитительно нежная и неправдоподобная женщина когда-то оказалась рядом со мной.

— Мария, неужели мы с Марком были соперниками! — наконец-то я сумел сформулировать свой вопрос.

Мария отрицательно качает головой.

Мы смотрим на посадку самолета и слушаем голос диктора. По расписанию самолет на Вену должен стартовать через пятнадцать минут. Что с Марком? Почему его держат до сих пор! Мы направляемся к бараку. Я думаю, что идти рядом с такой женщиной — это все-таки большая честь.

Марк еще не знал, что меня освободили, когда на улице попался человек, который стал меня убеждать, что Марк меня предал. В «Сайгоне» я выпил кофе с этим странным существом, тщеславным от своей порядочности и жалким от страха перед своей смелостью, загоняющего его в бдительное исполнение служебных обязанностей. Я был знаком с ним прежде и знал, что он продвигается по жизни как-то боком между альтернативами, которые, думается, со временем разрешит кто-то за него, скорее всего женщина, которая заинтересуется: что же все-таки из него можно сделать. Собеседник уверял, что честные люди избегают компании Марка, что ему не удалось бы сделать блестящей карьеры, если все было чисто.

Оказывается, старое дело не забыто и общественное мнение существует. Я сказал, что Марк не был «в курсе» и предать меня не мог, даже если бы был на это способен. Попрощавшись с болельщиком моей команды, я почувствовал, что все, кого я уже встречал, вменяли мне в обязанность харизму величия. Я должен был согласиться с тем, что все, кто меня знал и продолжал, когда я отбывал срок, жить мирской жизнью — подонки. Меня возвеличивали, унижая себя и других. В случае с Марком вдобавок ко всему прибавлялись — карьера, статьи в журналах, деньги.

Это, конечно, стереотип, который нетрудно объяснить хотя бы тем, что следователи и суд нагнетают одну и ту же тему в десятке вариантов: «А вот ваши друзья ведут себя иначе и думают не так». И ты, чтобы обезопасить друзей, сам доказываешь,— да, они думают иначе и не имеют к делу никакого отношения. И сам, стало быть, кладешь камень в пьедестал своей исключительности. Ты сам доказываешь отсутствие каких-то связей с другими — с теми, с кем жил, думал, дышал одним воздухом, и, когда твоя версия приобретает достаточно правдоподобный вид, ты предстаешь перед судом, и предстаешь как отщепенец. Но Марк это другое, меня не покидало ощущение, что его роль в моей жизни страшнее. Но тем не менее рефрен: «я обязан обо всем, что увидел в лагере, рассказать всем» — наполовину состоял из цели: «я должен об этом рассказать *ему*». Он должен понять, что химкомбинат не идет ни в какое сравнение с тем, что я увидел. Но, пожалуй, я еще не скоро бы решил встретиться с Марком, если бы не разговор в «Сайгоне». Мне захотелось задать ему вопрос: «Ты знаешь о тех слухах, которые ходят о тебе по городу?» — и взглянуть в лицо.

За стеклом поезда метро увидел его, сумрачного, чужого. Он выскочил из вагона и потащил меня за локоть сквозь толчею Гостиного двора:

— ...Зачем ты на это пошел! Я же *проверил!* Ты же видел. Два года снизу до верха. Шаг за шагом. Зачем? Разве дело в том, что там не понимают! — понимают, хотят, но не могут. И это при всей власти, рвении... Сила, гигантская сила, аппарат, умы трезвые и радикальные — все есть, и не получается... Крепостное право исчезло всего лишь сто лет назад. Исторически — это вчера. Но шесть лет для тебя больше, чем сто лет для истории. Я был в ужасе. Глупо, глупо... Мы проиграли, еще не родившись. Мы родились слишком рано.

Марк постарел. Лоб обнажился, нос стал чутче и острее. Он был в ярости, он не терпел поражений. Почему «мы», медленно думал я. Какого черта он перебрасывает мост между нашими биографиями.

Первый стакан вина мы выпили где-то рядом с метро, пили без тоста. Второй у вокзала. Уже стемнело, когда спустились в пивной бар. Марк выговаривался. Его основная мысль заключалась в том, что быть в системе — это значит ее репродуцировать, хочет ли этого человек или не хочет. Выйти из нее — значит неминуемо проиграть, хотя проигрывать можно красиво.

— Эту мысль я вынес из Константина Леонтьева.

Я слушал его и думал о том, что он, по-видимому, считает себя мне обязанным за то, что его не тронули. Неожиданно Марк меня спрашивал:

— Как ты себя чувствуешь? — Это повторялось несколько раз.

— Ничего,— удивлялся я вопросу и пожимал плечами.

— Абсурд гораздо глубже, чем на первый взгляд нам кажется, он глобальнее, а если абсурд глобален, то где тогда точка отсчета?

Вот эта мысль, как мне показалось, больше всего старила Марка. Я не согласился с ним. Но он уточнил, что не хочет этим сказать, что в нашей жизни нет смысла. «Жизнь — не средство, а цель». Тогда я заподозрил Марка в том, что он избрал путь человека, который все, что угрожает его благополучию, старается обойти за три квартала. Он сказал, что не спорит со мной и, конечно, лучше всего понимает себя, а не других, и о том, что только наука сегодня — крепость. «В ней я сижу, как феодал, и не позволяю входить к себе, предварительно не вытерев ноги». Я спросил его, верно ли, что он защитил кандидатскую диссертацию. «Я сделал больше, больше, чем думают другие». И тогда я догадался, что Марк абсолютно одинок.

Он привык не замечать людей вокруг, только озирался, как среди своих противников, но противников слабых. Я жалел его, чувствуя, какой дубленой за годы, которые мы не виделись, стала моя кожа. Напивался он с удивлением и с сожалением. В сущности, моя защищенность объяснялась торможением: ни одним движением не обнаружишь себя, пока не сработает контроль зековского умысла. Марк давно не обращал внимания на то, слушаю я его или нет. Но именно он заметил, что его портфель исчез, и пулей выскочил из бара.

Я увидел портфель у парня, который уже добрался до перекрестка. Потом мы с Марком припомнили какого-то человека в берете, сопровождавшего нас из одной питейной в другую. Бедняга, наверно, перепил и дал маху. Драка под светофором. Толпа становится то красной, то желтой, то зеленой... Марк разбивает похитителю нос и отбирает портфель. На место происшествия прибыли дружинники. Марк шепчет: «Друг, мы не свидетели, а пострадавшие и народные мстители». Мы улепетываем вовремя, потому что нас начинает разыскивать милиция. Я не хотел оказаться в отделении,— у меня еще не было ни паспорта, ни прописки.

Эпизод был сверхъестественным и смешным. Марк уводил меня с места драки проходными дворами. Мы зашли в подъезд какого-то мрачного дома, поднялись на лифте, прошли темным чердаком, распугивая голубей и кошек, и опустились на другом лифте вниз. Наконец, мы оказались на глухой уличке. Марк снова заговорил об абсурде. Случившимся он был доволен, это был новый довод в подтверждение его мыслей. В его портфеле случилась книга, которую в отделении милиции он не хотел бы признать своей. В полночь добрались до квартирки Марка. Я пристраивал на вешалке свое пальтишко, когда Марк меня снова спросил: «Как ты себя чувствуешь?»

Мы допивали остатки марковских вин за черным журнальным столиком. Две схваченные увяданием розы каменели в синей вазе. Пластинка, которую поставил друг, была бесконечной. Очищенные от бытия голоса доходили до меня словно укоризна робкой красоты через слои и слои исторического бессилия человека. Что-то фантастическое было в этом проникновении, фантастичнее, чем те мнимые сигналы живых существ из звездного пространства.

Шести лет не было, они были свалены в мусорную корзину безжалостного редактора,— вот что я почувствовал в первый раз в гостях у Марка. Я хотел одиночества, собственно, не его ли жаждал все эти годы: «Стройся в колонну», «Выходи на работу»... Что может быть утомительнее бессильного присутствия одного человека подле другого!.. Борьба не имеет смысла. За себя не стоит, а каждого другого страх сделает твоим противником. Все дело в силе угрозы. За истину можно бороться, если в ней нуждаются, за честь женщины, если она чувствует, что ее оскорбили...— говорил это Марку, но не было другого желания, как остаться одному, да, одному в комнате с окном на канал, с тихим журчанием электросчетчика в коридоре и пластинками старой музыки. На полках друга я видел книги, которые хотел бы прочесть, и хотел бы лежать и ждать, когда перестану чувствовать сбитую вату казенного матраца, в ноздрях — хлорный запах, и перестану волочить ноги, как все приговоренные.

Марк на колени поставил телефонный аппарат и набрал номер. Мне были слышны длинные гудки. Я не спрашивал, кого он решил разбудить в середине ночи. Наконец, когда трубку сняли, Марк сказал:

— У меня Дмитрий. Возьми такси.

Когда приехала Мария, я с опозданием заметил: меня *встретили*, есть все — откровенный разговор, боль и пирушка. Я знал, что должен быть Марку благодарным.

Мы продолжали разговор, а руки Марии довершали уют, который казался неправдоподобным. Но кто усомнится, что он действителен! — подавала мне сигареты, добавляла вино, поправила закатанный рукав моей выцветшей рубашки. Потом готовила омлет и кофе, и на кухне всплакнула.

Светало. Мария спала в кресле. Ночевать я не остался.

Какое нелепое занятие представляться таким же, как все, но знать, что у тебя всё изъято: от и до. Я шел по улице обкраденным пьяницей, который не помнил, что пил и с кем. Я был инвалидом, еще не привыкшим к обезобразившему его уродству. Но у себя в каморке, лежа на постели под косо падающим светом начавшегося дня, я еще упрямился. Вот нары, вот дымка испарений над спящими, и — вдруг — истошный вопль зека, который ложится в мою молчаливую боль, как в свою собственную форму.

Мое тело знает цену гордости. Послушное самоутверждению, оно роптало и мудрело в мерзко зловонном карцере. Через десять дней голодовки мне стало казаться, что меня освободят тихие монахи. Однажды на пороге камеры увидел начальника режима и чиновника из прокурорского надзора. Они были серьезны в схватке со своим опьянением. Они боролись за слова, которые должны были по форме произнести в ответ на мой протест. Их невменяемость превращала мою борьбу в нелепость.

Тогда я понял, что в наш век гордый человек обречен умереть как персонаж комедии. Костер на площади как-никак имитировал сцену Страшного суда. Гордость стала смешной, когда не стало вечности, а смерть зрелищем. Но все же я хотел удержать в себе то, в чем концентрировались основные мотивы моей жизни. Чтобы я сожалел о прожитых в неволе годах — нет, я чувствовал себя обманутым. Но не в прямом смысле, а как-то предельно глубоко, как потом объяснял: «кто-то пошуровал в моей голове кочергой». Это выражение тоже слабое.

В то утро, когда я возвращался от Марка домой, я воспринимал себя абсолютно нелепым — нелепым в этот час и не менее нелепым в будущем. Все, что я мог вообразить: вот я устроился на работу, вот что-то говорю и что-то говорят мне, еду, просто еду трамваем, просто вытираю полотенцем лицо,— все возбуждало подозрение в гадости, продолжение жизни — не более, чем обмен шутовскими гримасами. Совершенно уверен в том, что если бы в то утро я встретил на пути знакомого человека, достаточно было бы одного слова приветствия, чтобы я сошел с ума. Даже щель почтового ящика на дверях квартиры поразила меня своей способностью к угнетению.

Закатанная под подбородок простыня. Прямоугольник окна и зеленая крыша, овеваемая ветром.

Я уснул с предчувствием беды. И, по-видимому, во сне опасность предстала передо мной неоспоримо существующей.

Марк пришел вечером. Я молча скатал и спрятал постель. Долго мылся, грел чай. Даже если человек принужден согласиться — ампутация необходима, вряд ли он отведет хирургу роль духовника. Да, и в этот вечер, Марк, я ненавидел тебя. Помнишь, ты устроился на подоконнике и рассказывал о своих делах. Тебя как русского утвердили руководителем новой исследовательской группы, но как еврея не пустили на научную конференцию в Брюсселе. У тебя был план: собрать группу молодых людей, умных и нескучных, год они будут читать литературу, где ты им будешь объяснять свои идеи. А в это время публикуешь в журналах, которые читают «вагоновожатые и маршалы»,

статьи и отыскиваешь сановника от науки, который бы согласился стать отцом нового направления в коллоидной химии... Ты был невыносим.

Я вижу Марка! Он выходит из таможни. Рядом с ним двое служащих. Хмурясь на наши крики, Марк продолжает служащим что-то говорить. Один из мундиров возвращается в барак. Марк, отделенный от нас полосой чистого бетона, добродушно смотрит в нашу сторону. Вот и хорошо, что он меня не замечает. Я могу продолжать думать о роли этого человека в моей судьбе. Редко, должно быть, выпадает случай показать на кого-нибудь со словами: «Вот от кого зависело, что моя жизнь стала такой, а не какой-то иной».

Я любуюсь другом. Так держаться на сцене! Без подпорок высокомерия или самоуничижения. Он удерживает трудное равновесие между собой и небом, и нами — зрителями, которые гадают, что происходит между ним и таможенной службой.

В тот вечер без всякого видимого повода я ему сказал, возможно для того, чтобы он, наконец, перестал трепаться:

— Марк, ты еще не знаешь силы зла...

Марк больше не улыбался. Он побледнел, и на глазах его блеснули слезы.

Из барака вышел чиновник и отчетливо послышалось:

— Кому из родственников или знакомых вы хотите вещь передать?

Что ответил Марк, слышно не было, скорее всего что-то вроде «кому-нибудь из них». Таможенник подошел к ограде, держа перед собой за цепочку медальон с Богородицей. Юлий Иосифович протиснулся в первый ряд.

— Я его отец,— сказал он служащему.

Марк уходил, помахав нам рукой. Чиновник сопровождал его к самолету. Марк вдруг обернулся. Теперь расстояние между нами почти удвоилось.

— Папа,— крикнул Марк,— передай это Дмитрию.

Я поднял руку, и его глаза отыскали, наконец, меня. Юлий Иосифович с извиняющимся видом протягивал мне медальон. Я сунул его в карман.

На пустом трапе лайнера виднелась нетерпеливая фигурка стюардессы,— отправление самолета задерживалось. Мария и ее компания двинулись в сторону шоссе. Меня подождали и попросили показать медальон, который по каким-то соображениям вывезти запретили. Я его вытащил, и вещичка обошла всех. Комментарии были глупы. Когда мы подошли к автобусной остановке, самолет уже выруливал на стартовую дорожку. Автобуса еще не было. Мы стояли на обочине шоссе, и постепенно здесь собрались все. Самолет Ленинград — Вена начал свой разбег. Все замолчали. За фюзеляжами готовящихся к рейсу самолетов промчался, как плавник акулы, хвостовой киль эмигрантского корабля. Мы его еще увидим из окна машины, когда лайнер станет ложиться на курс.

Оказывается машина, на которой Юлий Иосифович приехал, его ждала. Он отыскал меня и предложил подвезти. Я отказался:

— Спасибо, я не один,— и показал на Марию и ее друзей.

В конце концов Юлий Иосифович, я, Мария и неизвестный мужчина — он сказал, что «преступно опаздывает на работу»,— оказались в такси.

Сейчас мне кажется, что наше прощание с Марком началось в тот вечер, который я только что припомнил. Тогда произошло странное. Марк молча посмотрел мне в глаза, потом на мгновение отвлекся и — вдруг — обнял. Мы коснулись друг друга щеками. Я ничего не понимал. Марк сказал «прости» и быстро вышел. Я увидел его в окно, он так и не надел берет, нес его в руке. Я помахал ему, но он не мог меня увидеть.

Юлий Иосифович сказал, что приглашает нас на завтрак, но, к сожалению, к одиннадцати часам он должен быть в институте. Мы с Марией отказались от завтрака, попросили нас высадить у метро. Отец Марка вышел из машины и галантно открыл дверцу Марии. Я пожал ему руку и, как когда-то Марк, коснулся его щеки. Мария это сделала тоже, но, безусловно, красивее. Какое-то время мы с Марией препирались — куда направимся? — но за нас решил все тот же рыжий портфель, в нем оставались ветчина и водка. Мы решили ехать ко мне.

Подумать только, день еще только начинался! Я усадил Марию в кресло. Под ноги бросил старый пиджак, чтобы она могла сбросить туфли. Я поставил на газ чайник и вымыл чашки. Мне показалось, что Мария очень устала,— должна была устать. Но я не допускал и мысли, что у Марии может быть горе. Нет, наше поколение такого допущения... не допускает. Отсутствует альтернатива — счастье.

— Юлий Иосифович тебя не любит,— сказала Мария.— Он тебя считает, извини, причиной всех колобродств Марка.

— Это новость. Я не знал... Значит, вышел поцелуй Иуды.

— У машины?.. Налей немного. А он не прав? Знаешь, почему в аэропорту я так рассопливилась? Поэтому. Марк хотел тебя забыть. Но разве мог! Когда мы с ним познакомились, он в первые вечера мог говорить только о тебе. Я никогда не встречала мужчин, которые могли говорить о другом с поклонением. Нет ни одного поступка, который бы он совершил без оглядки на тебя. Знаешь, что восхищало его в тебе? — готовность идти до конца. В твоей истории он верил, что ты сделал все, что мог,— все, что вообще можно сделать. Он считал, что если у тебя не получилось, то у любого другого могло получиться только хуже. Я говорю тебе все это, потому что Марка ты не любишь. Чувствую, что не любишь. Он остерегался тебя — это верно, потому что не хотел повторений, а бессмысленные жертвы не признавал...

Мария, Мария, Мария! Я опасаюсь, что ты уйдешь прежде, чем я успею в ответ что-либо сказать,— и потому что у тебя новое лицо и потому что удерживаю неуместный смех: возвращаешь мне мои обвинения Марку, и само слово «повторение» произносишь словно по подсказке нашего общего суфлера.

— А я, что ж, Клитемнестра мужского пола! — глупо восклицаю. Но мне нужна передышка: — Говори, говори. Я давно не слышал на свой счет что-нибудь новенькое.

— Мне всегда казалось, что вы плохо понимаете друг друга, чего-то не договариваете между собой. Если бы я не любила Марка, а потом тебя...

— Если бы сперва Марк, а потом я не любил тебя...

— Мне это мешало. Вы с Марком ужасные люди. Мне не объяснить. Ужасные, потому что хорошие. Но Марк лучше тебя. Однажды он меня ударил. За тебя. Ты об этом знаешь?.. Незадолго до твоего освобождения мы были в компании. Он, я тебе уже говорила, в это время очень нервничал. Как раз в последний год он сделал в науке колоссальные успехи. Марк был в ударе, острил удивительно удачно. Кинозвезды — там все были артисты — не могли поделить его между собой. Наверно, я ревновала. Я попросила его подойти ко мне. Он наклонился. Я сказала ему: «Где твой брат, Марик?»...

Я оглушен.

— Неужели Марк действительно предполагал, что я предъявлю ему какие-то счеты!

— Вы действительно ужасные люди. Я сказала тебе, что *Марк меня ударил*. Но тебе важнее узнать, что он думал о тебе. Я оказалась между вами — нет, не в глупом, и не в положении лишнего человека, и даже не случайного, но, в общем, в положении человека, у которого ничего не спрашивают. Я видела, что между вами в последнее время разыгрывалась драма,— началась до меня и после меня продолжалась. Я не хочу сказать, что вы пренебрегали мной. Как женщиной, допустим... Впрочем, речь не обо мне. Я живу. Неужели ты не чувствуешь, что вам невозможно было больше оставаться вместе! Неужели, Дмитрий, ты не понял, что Марк сбежал от вашей дружбы. Иначе вся его жизнь будет искалечена. Он ведь бросил все. А ему было что терять. Неужели ты не чувствуешь ненормальность того, что я говорю о вас.

— Мария... Поверь, я сам постоянно чувствовал какое-то наваждение. Признаюсь, на аэродроме у меня было гадкое ощущение, будто я толкаю Мар-

ка, толкаю в пропасть. Но успокойся. Поверь, и я, и Марк никогда не позволили сказать о тебе что-то унижающее. Даже смешно, что такое можно представить. Я не прибавляю: твое имя было окружено нами культом... Почему ты стала возиться с этими подонками? В лагере про таких говорят: «они ходят на цырлах». Из них можно сделать все, что угодно. Они ставят только на выигранные деньги, но никогда не ставят на капитал...

— Представляю, что будет с ними, если я передам им твои слова! Я их жалею. Я им нужна. У каждого из них я — новый «период». Хотя они — не Пикассо. Я знаю их слабости. Какая-нибудь подлая история в Союзе художников или заметка в газете, написанная невеждой, делает их больными. Кажется, что циники, но их может ранить такой пустяк, на который бы ни вы с Марком, ни я не обратили бы внимания. Может быть, мне удается им помогать только потому, что знала вас.

Мария улыбается. Я чертовски рад. Бегу на кухню лишь для того, чтобы не показать свою радость. Я догадался, кто наш общий *суфлер*. Я не должен сомневаться в том, что Марк улетел лишь для того, чтобы проверить еще одну неизвестную мне возможность. Возвращаюсь с чайником.

— Послушай, Мария. Когда я вернулся из лагеря, Марк посчитал меня за святого. Блеск голодных глаз он принял за энтузиазм потустороннего происхождения. Я и сам не знал, что моя плоть, как заготовленное для сжигания полено, может воскреснуть. Я цвел со всеми нелепостями настоящего обалдения, хотя мне казалось вначале, что лучше всего сдохнуть. Обалдение было неприличным. Что я им мог сказать, ожидавшим от меня анафем профессионального страдальца! Что я переменил «профессию»? Разве это не было видно! Впрочем, что я тебе про все это рассказываю,— ты была уже со мной. До сих пор не могу понять, как все произошло. Ты права, мы с Марком плохо слушали друг друга. Я замечал, что он был в плену собственного представления обо мне. И ты полюбила не меня, а его обо мне миф... Здесь тебе кое-что не скажу.

— Можешь не говорить. Нет, Марк лучше тебя.

Пропускаю сравнение, пробурчав что-то вроде: «Это я и хочу доказать».

— Неужели ты думаешь, что меня можно подарить!

Я вижу, как Мария поражена своими собственными словами. Она допустила такую возможность и не совсем понимает, что из ее предположения может следовать. Я вспомнил, не без улыбки, «структуру капустного кочана», прислушиваясь к шлягеру: во дворе студент включил проигрыватель.

Ничего не изменилось. Мария сложила руки на коленях. Между прекрасными пальцами дымит сигарета. Я отправляюсь к телефону. Звонят приятели Марии. Говорю им, что с Марией все в порядке, она позвонит им, как только решит один вопрос. Мой ответ вызывает удивление. «Наберитесь терпения!» — и вешаю трубку: что может быть яснее. Мы опять сидим друг против друга. Смотрю ей в глаза и качаю головой.

— Я не ожидала,— наконец произносит она,— что потеряю в этот день так много.— Мария стала собираться.

— Я не ожидал, что потеряю в этот день так много,— повторяю за Марией со всей серьезностью.— Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил?

— Отчего же! Ты поможешь мне уйти.

— Это совсем не обязательно.

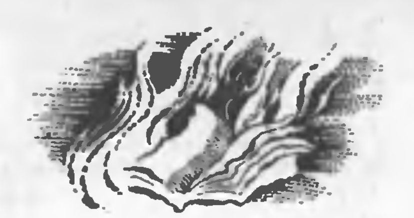
— Ты убежден, что Марк должен был уехать?

— Мария, но какое теперь это имеет значение!

Мы вышли на улицу. Это был все тот же длинный день. Я беру Марию под руку с намерением сказать, что я, кажется, впервые в жизни выговорился до конца. Совершенно пуст. Рука Марии бесплотна. Мне кажется, мы избегаем смотреть на небо. Резинка, которую натягивает улетающий лайнер, когда-нибудь лопнет раз и навсегда. Еще задолго до того, как это случится, она ударит и там и здесь. История — кошмар, подтвердить этот вывод можно, не прибегая к книгам, написанным другими. Однако нет другой точки отсчета, которая бы позволила так связать нас: Марию, Марка, меня. Страна должна быть изменена,— я знаю, что именно так называется наше безумство.

1974—1977 гг.

Виктор КРИВУЛИН



◆◆◆

Горят безлунные слова
невидимо, как спирт...
Как пламень, видный едва,
над городом стоит.
Рванется ветер, и язык
качнется, задрожит...
Ни треск, ни сполох и ни крик,
ни шороха в ушах —
бензин бесформенно горит
в пожарных гаражах.
Тайком гудит ректификат
в больницах под стеклом,
где половицы не скрипят,
где догорающие спят
товарищи рядком.
В книгохранилищах звенит
упругий пепел книг,
когда сжимаются листы,
входя винтообразно
в родные дыры немоты,
в разверстые пустоты,
во мглу и в тленье...— Что ты?!

1969

Крыса

Но то, что совестью зовем,—
не крыса ль с красными глазами?
Не крыса ль с красными глазами,
тайком следящая за нами,
как бы присутствует во всем,
что ночи отдано, что стало
воспоминаньем запоздалым,
раскаяньем, каленым сном?

Вот пожирательница снов
приходит крыса, друг подполья...
Приходит крыса, друг подполья,
к подпольну жителю, что болью
духовной мучиться готов.
И пасть, усеяна зубами,
пред ним, как небо со звездами —
так совесть явится на зов.

Два уголька ручных ожгут,
мучительно впиваясь в кожу.
Мучительно впиваясь в кожу
подпольну жителю, похожу
на крысу. Два — Господен суд —
огня. Два глаза в тьме кромешной.
Что боль укуса плоти грешной
или крысиный скрытый труд,

когда писателя в Руси
судьба — пищать под половицей!
Судьба пищать под половицей,
воспеть народец остролицый,
с багровым отблеском. Спаси
нас, праведник! С багровым ликом,
в подполье сидя безъязыком
как бы совсем на небеси!

1971

Флейта времени

О времени прохожий сожалеет
не прожитом, но пройденном вполне,
и музыка подобна тишине,
а сердца тишины печаль не одолеет,

ни шум шагов, бесформенный и плоский...
Над площадью, заросшею травой,—
гвардейского дворца высокий строй,
безумной флейты отголоски.

Бегут козлоподобные войска.
Вот Марсий-прапорщик,
играющий вприпрыжку,
вот музыка — не отдых, но одышка,
вот кожа содранная — в трепете
флажка!

Прохожий, человек партикулярный,
парада прокрадется стороной...
Но музыка, наполнясь тишиной,
как насекомое в застылости янтарной,

движенье хрупкое как будто сохраняет,
хотя сама движенья лишена...
Прохожему — ремни и времена,
а здесь возвышенная флейта отлетает!

И зов ее, почти потусторонний,
ее игла, пронзающая слух,
в неслышном море бабочек и мух,
на грядках рекрутов, посаженных
в колонны,
царит и плачет — плачет и царит...
И музыки замшелый черный ствол
в прохожего занозою вошел,
змеей мелодии мерцающей обвит.

1972

Клио

Падали ниц и лизали горячую пыль.
Шло побежденных — мычало дерюжное стадо.
Шли победителм крупными каплями града.
Горные выли потоки. Ревела душа водопада.
Ведьма история. Потная шея. Костыль.

Клио, к тебе, побелевшей от пыли и соли,
Клио, с клюкой над грохочущим морем колес,—
шли победители — жирного быта обоз,
шла побежденная тысяченожка, и рос
горьких ветров одинокий цветок среди поля.

Клио с цветком. Голубая старуха долин.
Клио с цевницей и Клио в лохмотьях тумана,
Клио, и Клио, и Клио, бессвязно и пьяно,
всех отходящих целуя — войска, и народы, и страны
в серные пропасти глаз или в сердце ослепшее глин.

1972

◆◆◆

С вопроса: а что же свобода?
до воя, до крика: «Я свой!»
не время прошло, но природа

сместила кружок меловой.
Во весь горизонт микроскопа,
страну покрывая с лихвой,

стеклянная капля потопа
под купол высоко взяла
вопрос, нисходящий на шепот,

прозрачней и площе стекла.
Лицо ледяное приплюсну:
что было? какого числа?

Известное только изустно
по клочьям, по ломким листам
в кружках, сопричастных искусству,

в губах, сопредельных устам,—
известное лишь белизною
название времени-храм —

пространство займет речевое
и костный состав укрепит
где известью, где и слюною —

но схватит. Но держит. Но спит
единство тумана и кровли,
шрифта и поверхности плит

надпамятных. Ты обусловлен
подпольем. Ты полночь письма,
при свете вечернем торговли,

при гаснущем свете ума
ты спрашиваешь у страха:
какая грозила тюрьма

подпольному зренью монаха —
слепца монастырских ворот?
катилась ли под ноги плаха

отпущенному в расход
у липкой стены подвала,
где сточная слава ревет?

Тогда и спроси у кристалла,
что в горечи был растворен:
где точка твоя воскресала,

в каком перепаде времен?

1975

Елена
ПУДОВКИНА



◆◆◆

Были и те, чей единственный след — это свет
над мерзлотою, над тундрой, где мощи хранятся;
на деревянных табличках ни даты, ни имени нет —
будут теперь номера вписаны в святцы.
Так и ушли, и ушли, не оставив имян,
как, вероятно, молитва уходит на небо:
авторства нет, но отслужена светлая треба,
автора нет, но и лагерь, и край осиян.
Хлеб отдавали тому, кто нуждался сильней,
утихомирив овчарок кроткою речью,
и отмолив нашу жизнь, восскорбевши о ней
ночью полярной, оцепленной, нечеловечьей.

1988

◆◆◆

У бледнолицых жителей столицы
привычка есть — не жить, а только сниться
коням, грифонам, сфинксам, львам, химерам
и людям, что ни в чем не знают меры.
Привычка есть: не приходить — являться,
и не письмо писать, а ставить знаки,
и не соседа злобного бояться,
а мрака.

Столице не бывать уже столицей.
Она в чулане времени пылится,
как старые часы с внезапным боем,
который будит тех, чье роковое
дыханье над Невой клубится...

1976

◆◆◆

Двух ртов соприкасанье, а не уст.
Дыхание с простудой вперемешку.
И нищих наших чувств
скитанье по ночлежкам:
где ночью дом, там утром, смотришь,— куст.

Все так и было. Было, да не так.
День поднимался призрачен и наг,
с толпой мешался, вспоминал с натугой:
дела, дела, сто тысяч разных дел,—
здесь опоздал, там что-то не успел...
И нас терял, как слезы, друг за другом.

1978

Борис
ДЫШЛЕНКО



ЧТО говорит ПРОФЕССОР

Повесть

> *Мал огонь, а сколько опалить может. Язык — огонь, прикраса неправды, таково место языка в теле человека, что все тело может он осквернить и опалить круг жизненный, и сам опаляем адом. Ибо все живое — звери и птицы, гады и рыбы — укрощено людьми и повинуется им, язык же никто не может подчинять — необуздано это зло и полно яда смертельного.*
>
> *Иван Грозный*

Я наблюдал его в одни и те же часы зимой и летом, весной и осенью на протяжении нескольких лет, а когда я не наблюдал его, я его слышал. У него был приятный голос, мягкий низкий баритон с большим диапазоном всевозможных оттенков и модуляций, менявшийся в зависимости от того, что и от чьего имени он говорил. Он много говорил. Иногда его ни к кому не обращенная речь (а может быть, ко всем обращенная?) прерывалась глуховатым покашливанием, к которому он, видимо, привык и не замечал его, но по утрам его прямо-таки раздирал чуть не до рвоты выворачивающий кашель, кашель упрямого несдающегося курильщика,— я слышу его до сих пор.

Он был похож на отставного английского полковника, какими их изображают в кино, а вернее, он был похож на сэра Энтони Идена в последние годы его жизни. Он был высок, статен, прям, снисходительно благожелателен, и — странное дело! — эта черта была в нем и тогда, когда он был один,— она была так же неотделима от него, как его походка или цвет глаз, но и его голос присутствовал с ним, даже когда он молчал. И хоть я говорил, что наблюдал его в любое время года, теперь он мне почему-то видится в его темно-сером, почти черном, строгого покроя пальто, в темной шляпе «Борсалино», всегда с длинным черным зонтиком в руке. Я мог бы рассказать, как он был одет летом или поздней весной, но так я не вижу его, он становится для меня посторонним, одним из многих встречаемых случайно. Ведь в наших краях редко и недолго бывает хорошая погода, и поэтому образы часто встречаемых людей, если только это не твои домочадцы или сотрудники, связываются обычно с уличной одеждой.

Да, он, пожалуй, был похож на Энтони Идена, и полагаю, он добросовестно относился к своей внешности и привычкам, и часто недоброжелатели упрекают таких людей в филистерстве, не учитывая того, что в наше время именно нарочитая простота одежды и дурные манеры являются характерной чертой буржуа. Что до его привычек, то мы, наверное, знали их не хуже его самого, и если бы он почему-либо забыл что-нибудь сделать, то могли бы ему подсказать. Но он никогда ничего не забывал, так что первые месяцы нас это даже раздражало. Он даже никогда не болел, точнее, не заболевал, и всегда выходил в одно и то же время, чтобы каждый раз шаг в шаг в минута в минуту совершить соответствующий дню недели маршрут. Выйдя из своего подъезда, он проходил по проспекту мимо овощного магазина (туда он заходил на обратном пути) до ближайшей булочной на углу, но в нее он тоже не заходил, а, сверившись со светофором, переходил улицу и шествовал дальше, в гастроном. Отсюда начинался его путь назад, к дому, но прежде он покупал в гастрономе сыр, сто граммов масла, сто граммов колбасы или бекона или еще чего-нибудь, и на обратном пути, постепенно загружая портфель, он заходил в мясную лавку за куском говядины (ему здесь всегда оставляли хорошие вырезки), в булочную, где он брал один длинный батон или две французские булочки (по вечерам на бульваре он скармливал остатки голубям), оттуда в овощной магазин, там в особую матерчатую сумочку он набирал овощей и зелени, если в сезон; в бакалею он ходил раз в неделю так же, как в парикмахерскую. Однажды смеха ради мы поменяли парикмахерскую и булочную местами. Мы ожидали какого-нибудь замешательства с его стороны и заранее пересмеивались и перемигивались, увидев его приближающимся по проспекту, но он, дойдя до угла, только пожал плечами и вошел туда как ни в чем не бывало. Когда он через двадцать минут вышел оттуда, то на мгновение еще приостановился на каменном порожке, чтобы снисходительно улыбнуться невидимым шутникам (то есть нам), а уже потом мы сообразили, что устроили шутку во вторник, именно в тот день, когда он ходил подправлять свою «английскую» прическу. Тогда, сидя в парикмахерском кресле, он, вероятно, заодно разузнал у парикмахера, куда перенесли булочную, а может быть, еще и почему это вдруг, а выйдя, без лишних поисков направился прямо туда. После этой, в общем-то хорошо задуманной, но неудавшейся шутки мы сделали вывод, что профессор, несмотря на стойкость привычек, совсем не педант.

Винный магазин находился напротив его дома, через дорогу, и туда он, как и в парикмахерскую, ходил раз в неделю. По количеству спиртного, которым он запасался по средам, мы определили, что пил он немного, но постоянно, и что его любимые напитки — ром, коньяк и портвейн, но режим и очередность употребления этих напитков были нам неизвестны, потому что по звуку наливаемой в стакан жидкости не угадаешь, что именно наливают. Мы хотели в мельчайших нюансах изучить его быт и деятельность; хотели знать точно, что и как он делает в такое-то время и что через час. Мы были очень любопытны, однако для того, чтобы видеть все, что нас интересовало, пришлось спилить раскидистое дерево во дворе его дома — оно, как мы думали, заслоняло окна его квартиры. С деревом были не единственные хлопоты, так как до этого еще пришлось улаживать отношения с жильцами внутреннего крыла профессорского дома, которые, как оказалось, использовали для сушки белья чердак, на котором мы устроили наш наблюдательный пункт. Поначалу мы ничего об этом не знали, и какая-то женщина, пришедшая туда с охапкой детских пеленок, обратилась к нам с жалобой на протечку у нее в потолке — очевидно, она приняла нас за какую-то комиссию,— но

Борис Иванович Дышленко родился в 1941 г. в Новосибирске. Работал художником в кино, в книжной графике, дворником, сторожем, кочегаром. Публиковался в журналах «Нева» (1986) и «Родник».

потом мы сменили там замок, чтобы нам никто не мешал, и только когда спилили это дерево, выяснилось, что все зря, что мы напутали, разбираясь в планировках, и то, что мы принимали за квартиру профессора, было на самом деле чьей-то другой квартирой, а профессорские окна располагались по другой стене, и хотя их можно было увидеть из нашего слухового окна, но — наискосок, а это нам ничего не давало. Так что нам только и оставалось, что разыскать ту женщину, которая жаловалась нам на протечку, и вручить ей ключи от нового замка, но она, естественно, не выразила нам никакой благодарности, потому что так со своей протечкой и осталась.

В общем, нам пришлось пока довольствоваться подглядыванием за профессором на улицах и на бульваре, да мелкими шуточками в стиле той, которую я уже описал, и они, может быть, и даже наверняка, сбили бы с толку кого-нибудь другого, но от него они отскакивали, как горох, он их как будто не замечал, вернее, не обращал на них внимания,— все так же невозмутимо шествовал дальше и только иногда, время от времени, улыбался в свои «английские» усы. Я не понимаю: откуда что бралось? Ну хорошо,— породистую физиономию иногда можно увидеть и у бармена, если, конечно, сам он при этом не трезвенник, но откуда у профессора взялись эти манеры, этот неподдельный, совершенно органичный аристократизм? У сына мелкого ремесленника, с детства болтавшегося по всевозможным интернатам... У него были седые, просто серебряные, слегка вьющиеся волосы, не короткие и не длинные, темные внимательные глаза, глаза человека, готового к любому вашему вопросу, да так, чтобы не ответить, а объяснить вам вашу ошибку; и седые усы английского фасона, но об этом я уже говорил, так же, как и о его невозмутимой снисходительной благожелательности ко всем и ко всему. С этой манерой он смотрел и на влюбленных в него студенток, еще когда он преподавал, но я наверняка знаю, что любовь их была несчастна, сколько они ни старались. Иные пытались завоевать его расположение бескорыстно, насколько может быть бескорыстным желание нравиться руководителю курса; другие были из нашей компании, но и эти относились к нему с таким энтузиазмом, что мы переставали им доверять, однако никому не удавалось поколебать эту его невозмутимость.

Он прожил в единственном браке до серебряных волос и, похоронив жену, продолжал жить в своей двухкомнатной квартире один. Вот как раз тогда или чуть попозже мы и заметили профессора. Из-за его первой книги. (Мы — это экстрасенсы...) А его книга... Вообще-то и до этого, время от времени, то здесь, то там, а все больше в университетских изданиях появлялись разные его статьи — большие или поменьше,— а раз или два, то есть именно два раза, его статьи выходили отдельной книгой, и каждая имела, как мы потом узнали, шумный в определенных кругах успех, но это были его научные, в области социопсихологии, труды, и нас они не особенно интересовали, потому что все мы (я имею в виду нашу компанию) любители почитать что-нибудь веселенькое, а вот когда вышла *та* его книга, тогда мы вволю нахохотались. И это действительно была очень смешная книга. Она называлась «Тайна Мидаса», и в ней рассказывалось о каких-то людях, которые, имея ослиные уши, не могут не подслушивать, и это вызвано не столько такой исключительной особенностью, сколько желанием эту особенность скрыть. Но так как все остальное у них тоже ослиное, то скрыть ничего не получается, а все подслушанное они понимают наоборот. Впрочем, какой смысл пересказывать то, что и так всем известно? Скажу только, что мы были восхищены профессором, и даже заводила, наставлии нас, едва мог удержаться от смеха, когда говорил об этой книге.

Мы решили посмотреть на профессора (внешность его я уже описал), и надо сказать, что и с первого раза он не разочаровал нас, то есть именно меня, потому что это мне выпало сходить на разведку. Я побывал на его лекции, но, по совести говоря, мало что понял, хотя, изредка поглядывая на лица студентов, увидел, что они прямо-таки захвачены его выкладками. Время от времени вся аудитория разражалась бурным хохотом, и хотя я не видел в сказанном ничего смешного, мне вместе со всеми приходилось выражать такую же веселость, но пару раз я попал некстати, и на меня с удивлением оглядывались. А в перерывах между взрывами веселья я так же увлеченно, как и они, строчил в своей тетрадке шариковой ручкой, только я писал свое. Честно говоря, я в тот раз немного разозлился на профессора за то, что не понимал его шуток. Я еще подумал тогда, что хорошо смеется тот... и так далее, и что и когда-нибудь тоже хорошо пошучу, потому что в нашей компании есть свой юмор, но, в общем, я не держал на профессора зла, да и ребята должны были остаться мною довольны.

А вообще, в той лекции шла речь о психологии подростков, и я, как мне тогда казалось, разбирался в этом деле, поскольку незадолго до этого сам был подростком, и если бы профессор говорил на нормальном человеческом языке, я бы, наверное, его понял и не злился на него, но он употреблял очень много специальных терминов. Я записал одно слово, так, на всякий случай, потому что это слово показалось мне подозрительным, но потом я долго не мог найти его в разных словарях, пока не наткнулся на него в одной юридической книжке вместе с объяснявшей его сноской. Это было слово «делинквент», и когда я наконец узнал, что это такое, я увидел, что при желании и меня самого можно подвести под эту категорию, если не знать моих подлинных намерений, а я их, конечно, никому не буду объяснять. Уже узнав значение этого слова, я заподозрил профессора в том, что он именно надо мной издевался в своей лекции, но теперь нельзя было это проверить, да и профессор меня тогда не знал, как, впрочем, и потом. С другой стороны, мне-то известно, что я никакой не делинквент, а просто веселый человек, так что, и узнав это слово, я подумал и решил, что не стоит обижаться на профессора, а может быть, у него еще есть чему поучиться.

Но все это было так, между прочим, мы пока просто прикидывали что к чему, потому что было совершенно неизвестно, выйдет ли вообще из этого какой-нибудь толк; и мы только присматривались к профессору на всякий случай: вдруг да что-нибудь выйдет. Тогда же вся наша компания вволю посмеялась над его книгой, вернее, над тем, что там происходило, но в этом мы, конечно, не были исключением — а это время смеялся весь мир. Один профессор был серьезен — он готовил свою следующую книгу, только эта книга оказалась далеко не так смешна. Но выяснилось это лишь через пять лет, после того, как она была напечатана, а профессор ушел вроде бы на покой. То есть в этой книге тоже были забавные места, потому что профессора даже и в самые мрачные минуты не оставлял его юмор, и потом, даже если уж не смешную, то, во всяком случае, комическую сторону можно открыть в любом явлении,— но в целом эта книга была, скорее, грустной. Тогда же, то есть после его первой книги, вокруг его имени поднялся невообразимый шум, и одна за другой то тут, то там стали выходить его научные книжки, писавшиеся, вероятно, в течение всей его ученой карьеры, потому что их оказалось довольно много, и то тут, то там его стали избирать какими-то почетными членами и докторами — до этого никто и не знал, что он такой известный ученый,— так продолжалось все пять лет, пока не вышел в свет этот его новый роман, но здесь он все-таки хватил через край, и заводила нахмурился. Да, эта книга, несмотря на присутствовавшие там смешные (скорей, иронические) места, кое на кого произвела неприятное впечатление. Должен сказать, что у профессора, при всей его громкой известности, все эти пять лет было мало причин веселиться. Хотя первая его книга и вышла в свет спустя считанные месяцы после смерти его жены, но, судя по всему, написана была до. А вот между первой и второй, помимо уже упомянутого несчастья, у профессора было много неприятностей: коллеги и начальство отчасти по доброй воле, отчасти из зависти, что то же, а отчасти из соображений высшего порядка, гадили и пакостили ему как могли. И хотя все их гадости были слишком мелки и ничтожны против этой величины, я понимаю, что кому-то может и не доставлять удовольствия работать в такой среде. Короче, они своего добились: едва достигнув шестидесяти лет, профессор, как говорится, ушел на заслуженный отдых.

Однако я не скажу, чтобы это было каким-нибудь просчетом, потому что если у профессора теперь появилось много свободного времени, то и мы, в конце концов, занемели от скуки, и наша восприимчивость (а мы ведь экстрасенсы) постепенно притуплялась, и последнее время мы очень нуждались в профессиональной игре, которая была бы нам и делом и развлечением одновременно. И мы рассчитывали втянуть профессора в нашу игру, и понимали, что в любом случае втянем, даже если он ничего о ней и знать не будет. Потому что вот, скажем, человек идет по улице и ничего не подозревает, а ты вдруг подставил ему ножку, и он шлепнулся,— игра это или не игра? Ну хорошо, допустим, это еще не игра, но когда ты заглядываешь к человеку в окно, а он в ответ закрывает шторы, вообще ты пытаешься что-то о нем узнать, а он пытается скрыть — это игра? Так вот, человека всегда можно втянуть в какую-нибудь игру, и мы решили это сделать. Я не хочу сказать, что мы собирались как-нибудь вредить профессору. Наоборот, попробуй ему кто-нибудь пакостить (я не имею в виду служебные интриги), мы бы показали такому «шутнику», но сами мы хотели повеселиться и рассчитывали, что профессор нас поймет. Так оно впоследствии и оказалось, только он нас уж слишком хорошо понял, так хорошо, что это нас на первых порах даже озадачило, но потом мы поняли, что это не только ничуть не мешает нам, так как ничего не меняет в расстановке сил, но так даже веселей. Как выяснилось позже, и ошеломляюще выяснилось, профессор с самого начала знал о нашей игре. Мало того, он с самого начала занял правильную позицию, но пока мы об этом еще ничего не знали.

Пока что мы занялись тщательным изучением нашего будущего партнера, так сказать, выяснением всей его подноготной, и начали, как водится, с биографии. Но его биография, за тот период, пока он еще не попал в поле нашего зрения, естественно, складывалась из документов. Даже сплетен (такое обычное, казалось бы, дело) сколько-нибудь толковых не набралось — так, одни только мнения. Из документов же получалась обычная профессорская биография, исключая разве что происхождение (сын мелкого ремесленника) да первые годы его самостоятельной жизни (опять-таки: учеба в ремесленном училище, работа на мебельной фабрике и так далее до университета). Просто не всегда у рабочего паренька проявляется такая тяга к ученью. Остальное было обычным.

Разумеется, мы не обошли вниманием и квартиру профессора: уж что-что, а жили-

ще человека иногда больше может сказать о нем, чем он сам, тем более, что беседовать с профессором мы пока не собирались. Мы посетили его квартиру, чтобы примерно представить себе что и как. Не то чтобы нас интересовали творческие планы профессора, хотя, естественно, они нас интересовали, а рукописи в его квартире тоже, конечно, оказались, и мы заглянули в них, но оставили на месте,— однако сейчас это было не главное: нужно было на будущее, на всякий случай, изучить характер нашего партнера — чего от него можно ожидать в случае активной игры, а чего можно не опасаться. Конечно, на основании только такой информации нельзя прогнозировать поведение человека, этот осмотр был всего лишь частью работы по воссозданию образа, но в какой-то мере знакомство с бытом профессора помогало определить стереотип мышления, а в нашем деле это немаловажный фактор.

Раздобыть ключи (собственно, не ключи, а ключ) было делом, не стоящим даже упоминания. Мы вошли в квартиру, когда профессор был на прогулке. Время было летнее, и не только шторы были не задернуты, но и окна были открыты настежь, так что нам не нужно было включать электричество. Мы ожидали увидеть типичную профессорскую квартиру (то есть квартиру одинокого профессора), пыльную, захламленную, заваленную книгами и научными журналами, с остатками обеда в кастрюльке на письменном столе среди рукописей, с грудами окурков, под которыми едва можно найти пепельницу, все разбросано, все не на своих местах,— но все, абсолютно все, оказалось совсем по-другому. В чистой, устланной потертым ковром прихожей на вешалке не висело никаких старых плащей и вязаных кофт, а висела на стене картина с изображением морского пейзажа, и еще там был сундук и старинное трюмо, впрочем, не представляющее какой-нибудь антикварной ценности; книг в первой комнате, точно, было много, но не каких-то там профессорских, с золочеными корешками, хотя были и такие, а самых разных и на разных языках, солидные издания и книги в мягких обложках, глянцевых и без глянца, и они занимали целую стенку и еще один шкаф у окна (естественно, профессору нужно много книг), а те, с которыми он работал (наверное, работал), лежали довольно аккуратной стопкой на письменном столе, и одна, лежавшая отдельно, была раскрыта и придавлена на странице бронзовым бюстиком неизвестного мне деятеля. Еще на столе была пишущая машинка и всякие мелочи, не в строгом порядке, но и не разбросанные как попало — обычный рабочий стол интеллигентного человека. Рядом с письменным столом стоял другой столик поменьше, и на нем старинный мельхиоровый кофейник на спиртовке, початая бутылка коньяка и курительные принадлежности. Вот этого было много: целый набор аппетитных, отблескивающих темным деревом трубок, инкрустированная шкатулка с отделениями, с сигарами нескольких сортов, пачки с разными сигаретами и папиросами, несколько зажигалок, настольных и карманных,— впервые я видел, то есть не видел, а имел дело не просто с завзятым курильщиком, а с любителем покурить. У стола (у письменного стола) стояло удобное вольтеровское кресло, рядом корзинка для бумаг, в ней — ничего интересного; в ящиках стола папки с рукописями — частью научными, частью профессорской прозой. В некоторые мы заглянули, но сейчас некогда было в них копаться, ведь мы пришли не для того, чтобы что-то найти. Однако заглянули под крышку рояля, стоявшего у одной из стен (его покойная жена была пианисткой), а также в другие потаенные места, но это для того, чтобы узнать, в характере ли профессора что-нибудь прятать — профессор ничего не прятал.

Во второй комнате тоже было достаточно книг и еще целый шкаф пластинок — все серьезная музыка и, как мы думали, наследство его покойной жены, но это предположение оказалось лишь отчасти верным, потому что потом нам не раз еще приходилось проклинать профессора за его пристрастие к музыке; был дорогой стереофонический проигрыватель с двумя колонками; был платяной шкаф и диван-кровать. Платяной шкаф мы также обследовали: в бельевом отделении аккуратно сложенное белье, под бельем ничего не спрятано; в другом отделении несколько костюмов профессора — все в отличном порядке. Его пальто и плащ хранились во встроенном шкафу в прихожей (я забыл о нем упомянуть). Рядом с диваном стоял маленький столик, на нем настольная лампа и опять-таки курительные принадлежности. Под диваном чисто выметено — там комнатные туфли. Больше, кроме пары картин, в этой комнате ничего не было, но больше, пожалуй, и не надо.

На кухне уютно гудел холодильник, было чисто. Здесь не было ничего интересного. Я на всякий случай заглянул в банки для круп, видимо, оставшиеся от его жены, но в них было пусто. Я открыл дверь в туалет, потом — в ванную. В ванной висели два полотенца и купальный халат. На полочке под зеркалом стаканчик с зубными щетками, тюбик с пастой, две опасные бритвы в футлярах, помазки. На другой полочке полиэтиленовые флаконы с шампунями, мыльницы, щетки.

На прощание я выглянул в окно кухни, чтобы узнать, что может профессор увидеть оттуда, и увидел через двор глухую стену противоположного дома, внизу — детскую площадку и недалеко от нее крепкий круглый пень спиленного по нашему заказу дерева, которое, как оказалось, никому не мешало.

В общем, квартира была благоустроенной, обжитой, и все в ней было в порядке, все в чистоте, хотя и не до культа, каждая вещь знала свое место, и все здесь было со вкусом, крепко, по-мужски — и я даже позавидовал профессору в его умении жить и от всего в жизни получать удовольствие, даже от таких обыденных вещей, как, скажем, курение или бритье.

Вот так кропотливо, шаг за шагом, мы воссоздавали характер профессора и его образ там, где мы не могли его наблюдать, и в целом этот образ получался вполне органичным, однако для его завершения нам недоставало голоса профессора, да и содержания его разговоров. Во-первых, телефонных разговоров, в том числе междугородных, и особенно международных, с его дочерью, потому что других, например, с иностранными коллегами, у него, как мы выяснили, не случалось,— но, кроме того, и другие разговоры, те, которые могли вестись у него в квартире с тем или иным визитером, опять-таки с его дочерью, когда она приезжает, или с ее шведом (она была замужем за шведом). Для этого, разумеется, втайне от профессора, пришлось установить в его квартире специальную аппаратуру, то есть особо чуткие микрофоны — мы их установили везде, кроме клозета, так как туда не ходят вдвоем. Итак, мы хорошо подготовились к игре с профессором.

Теперь мы не выпускали его из поля зрения ни на минуту, исключая только то время, когда он спал, а его режим при помощи аппаратуры мы установили за несколько дней. В час ночи оператор выключал магнитофон — не тратить же пленку на профессорский храп! — а в половине седьмого уже включал снова, чтобы записать его утренний надсадный, раздирающий душу кашель — потом мы стали просто прокручивать его, уж очень он нас раздражал. В девять утра кто-то из нас прослушивал записи за предыдущий день — ведь очень спешного никогда не было,— а в случае, если бы было, «слухач» должен был немедленно сообщить,— но, повторяю, спешного никогда не было, и потому записи всегда прослушивались за предыдущий день. Они же по своему ритму (не по содержанию, конечно) всегда были одинаковы, так что прослушивать можно было выборочно.

Наибольшей речевой активности профессор достигал после вечерней прогулки. Придя домой и раздевшись, он наливал себе что-то в стакан и садился в кресло (мы слышали его уютный скрип), затем раздавался его вздох, серия незначительных звуков, которыми всегда сопровождается не только действие, но и безделье: щелчок гипотетической зажигалки, стук не менее гипотетической передвигаемой по столу пепельницы, более или менее громкое покашливание и прочее, после чего начинался монолог, временами сопровождаемый отчетливым стрекотом машинки. Собственно, это лишь условно можно было назвать монологом, просто потому, что профессор был один и говорил как бы сам с собой,— на самом деле это были диалоги и даже коротенькие пьески, разыгрываемые в лицах и, кроме того, сопровождавшиеся ремарками, занимавшими иногда многие десятки метров пленки, так как эти ремарки включали в себя не только фон, на котором совершалось действие, но и само действие, и рассуждения автора, а вообще это была проза. И мы были редкими счастливчиками, которым повезло наблюдать настоящий творческий процесс, причем на всех его стадиях.

Когда он повторял одну и ту же фразу по многу раз, варьируя и «обкатывая» ее, и мы слышали, как с каждым повторением она становится все более осязаемой и емкой, все более завершенной в своем внутреннем ритме, пока она не садилась на место так точно, что ее уже ничем было не вытащить; слышали, как реплики в диалогах все прочней и прочней сцепляются каждым своим словом, малейшим смысловым оттенком, или, наоборот, отчуждаются до абсолютного несоответствия, что поначалу казалось нам нелепостью, но потом мы научились находить смысл в полном его отсутствии, так же, как бездействие может оказаться хорошо рассчитанным действием, и наоборот, результатом бешеной активности может явиться нуль. Да, мы все лучше понимали профессора, и теперь мы, наверное, самые благодарные его читатели, и из его произведений мы знаем даже те, которые никто никогда не прочтет.

Но и помимо прослушивания мы аккуратно, не попадаясь ему на глаза, «пасли» профессора во время его утренних и вечерних выходов, передавая его с рук на руки, меняясь шляпами, кепками и плащами; то следуя за ним по другой стороне, то срезая угол проходным двором, чтобы перехватить его на перпендикулярной улице,— словом, мы вели игру по всем правилам. Вот тогда мы для эксперимента и поменяли булочную с парикмахерской местами, и если шутка не очень удалась, то это только оттого, что профессор был достойным партнером, вернее, оттого, что он сразу занял верную позицию. И мы не ожидали от нашей игры немедленного результата, напротив, целью игры как раз и было предупреждение возможного результата.

Пока мы раскачивались, изучали его биографию и вели наружное наблюдение,— а он тем временем жил все так же уединенно, никуда не ходил и у себя никого не принимал, а телефонные разговоры, если случались, были самые незначительные, и его абонентов мы тоже потом проверили,— в общем, за это время вышла его новая книга, на этот раз сборник статей. Поскольку никто из нас ничего в этом не понимал — ведь

мы только экстрасенсы,— нам пришлось обратиться к его коллегам, психологам и социологам, поскольку профессор был и то, и другое. Естественно, они охаяли этот сборник, хотя некоторые статьи, которые в него вошли, появлялись в печати и раньше, но мы не могли им доверять, так как видно было, что все они завистники и посредственность, нам же пока нужна была объективная оценка, а не их злопыхательство. К тому же они не могли договориться между собой, и в спорах у них чуть не доходило до драки, так что нам пришлось их прогнать, то есть вежливо отказаться от их услуг, и они вконец разозлились, но это было уже их дело. А мы пока сосредоточились на другом: нас интересовало, каким же образом все это выходит в свет, если профессор практически ни с кем не встречается. Нет, вряд ли нас провел бы какой-нибудь разведчик, будь он хоть черт знает каким асом, а ведь тому надо было бы попросту сунуть связному или там бесконтактно передать какой-нибудь крохотный ролик микропленки. Здесь же должна была быть солидная рукопись. Впрочем... И тут мы задумались над такой возможностью.

Для начала мы проверили всех его абонентов, то есть тех, кто еще поддерживал с ним телефонную связь. Ведь любая, самая безобидная фраза могла послужить условным сигналом. Конечно, рукопись не передашь по телефону, но книги могли быть написаны и раньше и где-нибудь по надежным адресам дожидаться своего часа. Нас, правда, смущало, что некоторые детали в последнем его сборнике указывали на то, что это написано сравнительно недавно, но мы пока решили не отвлекаться на это обстоятельство.

Итак, мы проверили всех его абонентов, то есть своими путями установили, когда квартира того или другого остается без присмотра, и не очень законно (но мы ведь и не юридические лица — так, шутники, экстрасенсы, бескорыстные исследователи) проникли в эти квартиры и устроили там веселые обыски, не очень заботясь о том, чтобы не оставлять следов. Мы не заботились об этом (вот пример целенаправленного бездействия) в надежде, что вдруг кто-нибудь из них, переполошившись, первым делом позвонит профессору, и это даст нам основания больше этого абонента подозревать. Но никто ему не позвонил, так что мы только даром потратили время.

Следующей акцией была замена всех продавцов в магазинах, где он отоваривался, а в ближайший вторник и в парикмахерской, для чего пришлось предложить более выгодное место парикмахеру, который постоянно его обслуживал, а вместо него поставили молодую и очень способную практикантку, правда, не совсем по этому профилю. Это был единственный случай, когда мы достигли цели, то есть удивили профессора. Мы наблюдали, как от магазина к магазину меняется его лицо, вот только менялось оно не совсем так, как нам хотелось, но это детали, а когда он уже дошел до своего дома, то перед тем, как войти, он пожал плечами, как будто спрашиваемый им студент в ответ сморозил уж слишком очевидную глупость. Что касается парикмахерской, то тут, что называется, «работали — веселились». Мы действительно покатывались со смеху, пока где-то в глубине парикмахерской наша практикантка уродовала профессора, но потом, когда он проходил мимо нас по улице, вид у него был такой, как будто он и не стригся у нее, то есть он был таким, как всегда, а мы были разочарованы.

Тем не менее, мы все-таки достигли своей цели — изолировали профессора от всяких контактов и теперь могли наблюдать за ним, как будто он был в стеклянной банке.

К этому моменту и прослушивание дало свои результаты, но опять-таки не те, которых мы ожидали, потому что на этот раз профессор позволил себе роскошь посмеяться над нами. Сидя (видимо, сидя в своем кресле), профессор бормотал, как всегда повторяя по нескольку раз каждое предложение,— он разрабатывал свой очередной сюжет. Вдруг я почувствовал, что начинаю краснеть, так как профессор стал рассказывать эпизод с подменой продавцов, а затем и с парикмахерской, и все это с полным пониманием всего дела, его развития и подоплеки. А потом пошли уже такие подробности, о которых профессор вообще не мог знать, просто не мог, о некоторых из них даже мы не знали, исключая разве что заводилу, но он как раз присутствовал при прослушивании этой записи. Мы с недоверием посмотрели друг на друга. Мы были красные, и только заводила был белый. Как мел. И, кроме того, он стал заикаться.

— Как-к-к! — стал заикаться заводила.— От-т-ткуда? Он не-не-не... Он не-не-не может эт-т-того знать.

Заводила был поражен. Да и любой бы тут испугался: старик знал такие вещи, о которых мог знать только заводила. Однако через несколько минут заводила стал спокойней: он услышал... он услышал такие вещи, которые и ему до этого были не известны.

Очевидна была утечка информации, но эта утечка была где-то над нами, там, где и заводила был уже не заводилой, а просто одним из рядовых исполнителей у другого заводилы, которого мы видали только издали. Поэтому наш заводила очень боялся подавать рапорт, так как он мог попасть не в те руки, и кому-то там, наверху, может быть, тому заводиле, могли выйти большие неприятности, и наша тепленькая компания

тоже могла бы развалиться, или кто-то там мог бы решить, что нам по нашему положению знать не должно, и опять-таки, нас бы убрали от этого дела, а мы уже привыкли к профессору, и нам было жаль расставаться с ним,— но, с другой стороны, не подать рапорт тоже было нельзя, так как запись уже имела исходящий номер, и из песни слова не выкинешь, и так далее. Заводила очень обижался на профессора за то, что тот сообщил нам эту совершенно лишнюю информацию, он считал, что было бы корректней воздержаться, хотя формально профессор не нарушил правил: имел же он право делать вид, что не знает о прослушивании и только поэтому говорит, что ему вздумается. На самом деле он, конечно же, знал о прослушивании и знал, что мы знаем, что он это знает, но все мы, то есть обе стороны, делали вид, что никто ничего не знает, мы как бы без слов договорились об этом, а теперь он воспользовался этим молчаливым соглашением. А то, что он знал о прослушивании, со всей очевидностью явствовало из этой самой записи, из-за которой весь разговор, однако профессор изложил суть дела в таких обтекаемых выражениях, что формально его не в чем было упрекнуть. Тем язвительнее все это звучало.

Но нам нужно было заняться и последней книгой профессора, тем сборником статей, о котором я говорил. Было ясно, что эта книга не лежала где-нибудь, дожидаясь условного сигнала, чтобы выйти в свет, потому что некоторые статьи в ней были совсем недавнего происхождения, судя по содержавшемуся в них фактическому материалу, в частности, по некоторым статистическим таблицам последних лет, которые, что особенно интересно, до этого нигде не публиковались. И мы точно выяснили, что к этой статистике профессор вообще доступа не имел. Теперь возникали сразу два вопроса. Первый — откуда профессор взял эти таблицы или на основании какого материала он их составил; второй — каким образом все-таки этот сборник появился в печати.

— Господи! Ребята, да ведь это же очень просто! — внезапно хлопнул себя ладонью по лбу заводила.— Как же это я раньше не догадался!

Мы посмотрели на него с интересом.

— Все очень просто,— повторил уже спокойней заводила,— этот сборник не имеет к профессору никакого отношения.

— То есть? — удивился один из нас, а именно я.

— Действительно,— сказал заводила,— они (кто они, он не уточнял) составили сборник, в который и на самом деле вошли некоторые статьи профессора, но остальное — чистая липа. Это чьи-то другие статьи. Кто-то решил воспользоваться авторитетным именем профессора, чтобы привлечь внимание к своим, надо сказать, довольно сомнительным статьям.

Мы вознегодовали. Но еще больше мы были оскорблены за профессора, когда в одном солидном, казалось бы, журнале была перепечатана одна статья из этого сборника. Эта статья называлась «Экспансии субкультуры». Да, мы были оскорблены за профессора, за то, что кто-то пытается спекулировать его именем в своих грязных политических целях, тем более, что эта статья вызвала шумную полемику в печати. Теперь нам было ясно, что публикация сборника не была каким-нибудь проколом в нашей работе, то есть он не просочился мимо нас, а что это была просто очередная, хотя и очень умело сработанная фальшивка, рассчитанная на скандал.

После небольшого совещания, а также консультаций кое с какими специалистами заводила решил сыграть с профессором в открытую, и момент показался нам очень удачным для такого хода,— в конце концов, речь шла о реабилитации профессора в глазах общественности. Заводила нанес профессору визит и очень корректно, даже исподволь и отчасти шутливо повел разговор о публикации как о чем-то еще неизвестном профессору и достаточно курьезном, чтобы просто посмеяться над этим. В ходе беседы он объяснил профессору, что нарушены его авторские права, что кто-то злоупотребляет именем профессора (ведь мы точно знали, что профессор никому ничего не передавал) и что в его собственных интересах немедленно и решительнейшим образом опровергнуть авторство. Профессор, нисколько не колеблясь, выражает полнейшее согласие с мнением заводилы, но,— говорит он,— прежде мне необходимо ознакомиться с переводом. Заводила, крайне довольный, что дело уладилось так просто, передает профессору журнал, а тот, прочитав перевод, заявляет, что все правильно, что перевод сделан добросовестно, без искажений, что статья входила в его последний сборник (тот самый сборник!) и что он не видит причин отказываться от авторства.

Заводила хватается за голову: что такое, профессор! Этого просто не может быть. (Ведь он-то хорошо знает, что этого не может быть.) «Ну хорошо, я раскрою все карты. Это, конечно, неудобно. Ну, каюсь-каюсь, действительно нехорошо. Но, понимаете, профессор, вы не могли этого сделать. Физически не могли. Сознаюсь, мы за вами наблюдали, можно сказать, не спускали глаз. Вы не могли передать эту рукопись».

Профессор только пожимает плечами, никак не комментирует, но стоит на своем. Заводила убит вероломством профессора.

— Значит, вы готовы подписаться под любой фальшивкой, которую от вашего имени напечатают наши политические противники? — с горечью говорит заводила.

— Нет,— возражает профессор,— ни в коем случае. И я был весьма удивлен, когда вы заговорили о фальшивке, однако решил проверить. Но, как я и ожидал, перевод оказался верным. Это моя статья.

— Но тогда объясните мне, как, ни с кем не встречаясь, вы смогли передать рукопись сборника?

Профессор ничего не объясняет. В общем-то, он и не обязан.

Таким образом, прокол в нашей работе сделался очевидным. Разумеется, мы могли и не верить заявлению профессора о том, что он действительно является автором «Экспансии субкультуры», но анализ текста, сделанный специалистами, почти на сто процентов подтверждал аутентичность. Кроме того, оставался невыясненным вопрос: откуда профессор узнал подробности нашей работы. Наверху категорически отрицали утечку информации, и это в известной степени нас устраивало по уже описанным выше причинам, но за появление сборника заводила получил большой втык.

А в той беседе с заводилой на вопрос, где профессор взял статистические таблицы, которые были опубликованы в его сборнике, он ответил, что сам составил их на основе многолетних наблюдений и газетных материалов. В доказательство он предъявил эти таблицы и кое-какие черновики, а также список материалов, которыми он пользовался, и хотя заводила не очень много понял из его объяснений, позже на наш запрос нам ответили, что таблицы такого рода обычно составляются иначе, так что не было оснований подозревать профессора во лжи. Что касается фактической стороны дела, то цифры, приведенные в таблицах, были даже, пожалуй, занижены,— на самом деле в этой области все обстояло еще хуже. Однако прогнозы профессора в целом были верны, но все это не относится к делу — уж и то хорошо, что хоть с этими таблицами нам удалось что-то выяснить.

Поскольку наверху по-прежнему категорически отрицали утечку информации и, по заверениям заводилы, там были самым скрупулезным образом проверены все возможности чьих-либо контактов с профессором, как прямых, так и косвенных, поразительная осведомленность профессора временно переходила в разряд неизученных явлений. Но если мы не могли этого явления объяснить, то в любом случае обязаны были с ним бороться. Мы собирались помериться с профессором силами в практической психологии. Операция «Предупреждение» была разработана заводилой тщательно, методично и во всех подробностях, и вот однажды заводила привел в нашу контору какого-то самоуверенного седоватого малого в замшевой куртке и вида одновременно и богемного, и респектабельного, который (этот парень, а не вид) оказался кинорежиссером, автором многих известных кинодетективов. Он долго беседовал со всеми нами тремя и еще подолгу с каждым в отдельности о самых разных вещах. Больше всего о своих кинофильмах — как они нам нравятся,— о художественных выставках, о знаменитых рок-группах, о хоккее, о торговле наркотиками и даже о бабах. И последнее мне не очень понравилось: во-первых, потому что я человек семейный и других интересов в этой области у меня нет, а во-вторых, я вообще не люблю фамильярностей. Но он говорил, что это ему нужно для выявления наших индивидуальностей, чтобы найти образ для каждого в отдельности и для всей группы в целом, потому что это достаточно сложная задача — поставить такой спектакль, одновременно и краткий, и впечатляющий. Так он изучал нас некоторое время, потом несколько раз отрепетировал всю мизансцену, сам же он при этом все время присутствовал в центре, то стоя, то сидя на полу, а один раз даже лег на спину, чтобы посмотреть на нас из такого положения. В следующий раз он привез с собой костюмера и гримера и взялся за создание образов. Больше всего претензий у него было ко мне: ему не нравились мои веснушки — уж очень неубедительно я с ними выглядел,— но он, конечно же, нашел способ превратить недостаток в достоинство. Он называл это: «идти от веснушек». Мне на голову надели огненно-красный парик из жестких, как проволока, волос и приклеили такую бородищу, что веснушек, в общем-то, и видно не стало, но и без веснушек получилось что-то невероятно грубое и хамское, что-то от мясника, а то и палача, если соответствующим образом одеть. Он и об этом позаботился: ярко-желтая нейлоновая куртка, грубые, тяжелые сапоги с застежками — это должно было издали привлекать внимание. Ребята животы надорвали от смеха, увидев, что из меня получилось, но и они тоже были ничего. Один выглядел как отбывший срок уголовник: он был острижен «под ноль» и еще три дня обрастал щетиной, чтобы быть пострашнее; одет он был в грязные хлопчатобумажные штаны, под которыми явно угадывалась еще одна пара, а может быть, и две, замызганный черный ватник, на голове сдвинутая на затылок суконная ушанка, заскорузлые, все в засохшей грязи, ботинки на ногах. Третий выглядел интеллигентно и отчужденно: неопределенного цвета пальто, темно-серая шляпа, в руке черный обшарпанный дерматиновый портфель, на болезненно-тонком лице очки в роговой оправе,— какой-то чахоточный гестаповец из школьных учителей. В общем, компания получилась не просто разношерстная, а состоящая из самых не подходящих друг к другу типажей — и это должно было действовать угнетающе. Нарядившись и загримировавшись таким образом, мы направились на операцию.

Это была утренняя экспедиция профессора по магазинам, и в это время он возвращался с портфелем, уже наполненным продуктами, когда мы встретили его на пути из гастронома до овощного магазина. Я начал первым: идя навстречу ему и как будто предполагая разминуться, уже поравнявшись с ним, я сделал ему уро-маваши (удар ногой, слишком сложный, чтобы его здесь объяснять). Заводила предупредил нас о том, чтобы мы случайно не причинили профессору сильных повреждений, и мы еще перед репетициями как следует изучили его медицинскую карту. Поэтому я не стал бить профессора по почкам, а впечатал ему свой каблук под правую лопатку (и больно, и безвредно), так что, резко охнув, профессор полетел вперед. Выбросив руки (одну с портфелем), он упал на тротуар, я потом впереди упала его шляпа, которую «гестаповец» тут же отфутболил на мостовую,— этот момент тоже был заранее продуман и отрепетирован. Когда он попытался встать, «уголовник» дал ему пинка в зад, он снова упал на вытянутые руки, а из раскрывшегося портфеля еще потекла, мешаясь, белково-желтковая лужица. Он снова встал на четвереньки, и «гестаповец» с правдоподобной неумелостью пнул его носком ботинка в бок. Больше не нужно было его бить, и мы не стали — ведь задача состояла в том, чтобы только предупредить его, показать, что мы не оставим его в покое. Как-то полулежа-полусидя и опираясь запачканными руками об асфальт (день был не то чтобы дождливый, но какой-то слякотный, а тут еще и эта яичная лужа под рукой), он поднял голову и смотрел на нас с выражением, которого я не мог объяснить. Одно я понял: даже если бы я был один и не владел каратэ, все было бы точно так же — он не стал бы драться со мной. Казалось бы, что особенного в том, чтобы, защищаясь, дать хулигану (а кем он, учитывая все тот же негласный договор, должен был меня считать?), да, что, казалось бы, такого в том, чтобы, защищаясь, дать хулигану в челюсть? — ведь не убил бы он меня... Да, дать по морде хулигану, которому доставляет удовольствие бить и унижать другого человека... (Оговорюсь, правда, что это никому из нас не доставляло удовольствия.) Но противопоставить хулигану силу,— дать ему понять, что не все и не всегда сойдет ему безнаказанно — мог он по крайней мере хотеть этого? Нет, я понимаю, он знал, что на самом деле мы никакие не хулиганы, а совсем другое, но по ситуации... И я спрашиваю: должен же он был хотеть набить нам морды? Так вот он не хотел. Может быть, я преувеличиваю, и он просто не мог, а если бы мог, то все же предпринял бы какие-то меры к защите. К защите, но не к наказанию, не к тому, чтобы ставить нас на место. Так почему же? Если в свое время он входил в сборную по боксу, то не мог же он быть таким гуманистом, для которого и человеческая челюсть неприкосновенна. И на войне он был, как я знаю, вовсе не сестрой милосердия. Так в чем же дело? В чем дело, я стал догадываться несколько позже, но для этого пришлось прослушать еще не одну сотню метров магнитной пленки.

А тогда, сделав свое дело, мы быстро, но не бегом дошли до ближайшего перекрестка, где за углом уже ждала обогнавшая нас машина вместе с сидевшим в ней режиссером, который перед тем наблюдал поставленную им мизансцену. Физиономия у него была кислая, и он старался на нас не смотреть. «А что ты думал, когда репетировал с нами?» Я был рад, когда через два квартала он, холодно с нами попрощавшись, вылез из машины: этот чистоплюй внушал мне отвращение.

Вечером, не дожидаясь записи, мы вместе с оператором прослушивали монолог профессора. Не скажу, чтобы мы чувствовали себя как киношные дебютанты, которым не терпится увидеть свою физиономию на экране, но нас чисто профессионально интересовало, как профессор будет реагировать на сегодняшнее нападение, что он будет об этом говорить, если вообще будет говорить. Профессор говорил. Он говорил как обычно, задумываясь, по нескольку раз выверяя вес той или иной фразы, иногда заполняя паузы ритмичным стрекотом машинки, чтобы после этого разрабатывать следующий абзац. Он говорил не о нас, но мы сразу поняли: это не было нашим выигрышем — он просто продолжал начатую тему, а нам с нашим нападением приходилось дожидаться своей очереди.

Потом мы долго молча сидели. В комнате было накурено и пахло вагоном.

— Профессор вызывал рассыльного из химчистки,— как-то отчужденно сказал заводила.— Пусть кто-нибудь сходит. Надо зашить ему в подкладку «аспирин». До сих пор у нас не было такого случая.

Но, говоря это, заводила думал о чем-то другом.

Да, нападение не дало нужных результатов. Точнее, это было нашим первым ощутимым поражением в игре с профессором. Я не хочу сказать, что до сих пор мы в этой игре хоть что-нибудь выиграли, но до сих пор мы и не делали ни одного решительного хода. Теперь, сделав его, мы сразу же и недвусмысленно проиграли — профессор не перестал говорить. Более того, он даже не остановился на нашем нападении: нет, не не заметил его, но оно не прервало последовательного развития его романа. До нападения еще не дошло, хотя некоторые события, описываемые там, наоборот, опережали действительные происшествия. Действительные, но случившиеся после того, как он их описал. В том-то и вопрос. Здесь было нечто большее, чем утечка инфор-

мации — профессор предсказывал будущее. Однако тогда мы еще не знали этого будущего и не поверили старику. И в этом тоже была наша ошибка: мы опять были сбиты с толку его осведомленностью о настоящем и из-за этого принимали предсказания за вымысел. Правда, в последнем я до конца не уверен, потому что, может быть, было и то и другое, иначе как объяснить все дальнейшие события, особенно то, что касалось профессорской квартиры?

Пока же профессор продолжал свое повествование, где какой-то тип, избрав себе нелепую профессию, занимается какими-то нелепыми делами, а попав впросак, каждый раз еще и удивляется, как это его дурацкая деятельность не дает положительных результатов.

На этот раз речь шла об одной операции, части все той же истории, в которой мы сами на нашем уровне не могли разобраться. То есть, во всей истории в целом. Я не имею права ее рассказывать, хотя теперь с подачи профессора она известна всему миру,— но у нас она засекречена. Так что я не буду о ней здесь распространяться, тем более, что для моего рассказа подробности особенного значения не имеют — важно лишь то, что профессор опять какими-то своими путями ее узнал, и это угрожало спутать наши карты. Этот свой роман (или повесть?) он писал от первого лица, которое странным образом, вплоть до веснушек, походило на мое, хотя профессору (в этом я абсолютно уверен) неоткуда было меня узнать, а кроме того, многие из тех вещей, которые у него рассказывал якобы я, на самом деле я узнавал только из магнитозаписей с этим самым романом. Тем не менее я боялся, как бы мои товарищи-экстрасенсы не узнали меня по профессорскому описанию, потому что тогда меня могли бы заподозрить в передаче профессору информации, и хотя, повторяю, многого из того, что рассказывал профессор, я тогда не знал, да и знать не мог, теоретически такой информации нельзя было исключить. Так что мне не очень хотелось, чтобы мои друзья идентифицировали меня в этом придурковатом малом. Но похоже, пока этого сходства никто, кроме меня, не замечал, а может быть, я стал слишком мнительным и случайное совпадение принимал за намек.

Да нет, это точно был я: дальнейшее развитие сюжета подтверждало это, хотя, как я и говорил, некоторые описываемые там события опережали действительные происшествия, и поэтому, по мере того, как повествование приближалось к концу, я постепенно переставал понимать, где подлинный я, а где описываемый, и что делаю я, а что тот. Я находил себя в том и переставал чувствовать свою собственную подлинность, и мое существование начинало казаться мне вымышленным и искусственным. Я был, как под гипнозом, вообще, как будто профессор подменил меня своим персонажем и теперь определял мою судьбу через мою собственную деятельность, и я ничего не мог изменить в своем поведении, чтобы опровергнуть его. Это была какая-то странная игра, смысл и направление которой я все меньше и меньше понимал и которая с развитием сюжета все меньше и меньше мне нравилась, но и выйти из этой игры я не мог. Правда, это уже зависело не от профессора, а от тех исходных данных, которые обусловили мое участие в этой игре, но, может быть, и профессор, в отличие от меня, имел эти данные и на основании их лишь прогнозировал мое поведение, а вовсе не определял его. Но то, что я знал о его прогнозах, не могло не влиять хотя бы на мою оценку собственного поведения и поведения моих друзей. Однако я, подобно профессору, забегаю вперед, хотя, в отличие от него, мне уже до конца все известно — я ничего не прогнозирую.

А мои друзья... Впрочем, они были не совсем точно воспроизведены в его персонажах, и их было меньше, чем на самом деле, а иногда их, наоборот, было больше, но порой мне казалось, что нас может быть ровно столько, сколько необходимо профессору — не больше и не меньше. Все это, я думаю, объяснялось творческими соображениями профессора, так же как и то, что кто-нибудь из нас (я имею в виду его персонажей) вдруг высказывал чуждые нам мысли (вероятно, мысли профессора), а иногда (в то время мы с нашей примитивной логикой еще не научились делать допущения) вообще начиналась какая-то невнятица, и преследуемый почему-то превращался в преследователя или расследовал преступление, которое сам же совершил и даже продолжал совершать, и идя по собственным следам, не мог догадаться, в чем дело; или один человек имел несколько имен; или, что еще более странно, несколько совершенно разных людей носили одно имя,— но все это мелочи, потому что человек, посвященный в это дело, вполне мог понять, что вся эта история пишется с натуры и что если где-то что-то искажено, то это только для того, чтобы запутать расследование. Так я думал в те времена, потому что еще не понимал, что для профессора в его романе просто не важна хронологическая последовательность событий, а та или иная психология, связь действий и рассуждений не присваивались как функции определенному лицу. Несмотря на это, роман содержал слишком большую фактическую информацию, и это ставило под угрозу всю нашу работу. Роман еще не вышел в свет, но и не должен был выйти — мы не должны были этого допустить.

Но теперь, когда в подкладку профессорского пальто был зашит «аспирин», стало совершенно очевидно, что профессору никто не помогает, и даже предположить было

нечего о том, как поступает к профессору информация о нашей работе и как потом в обработанном виде (статьи, повести, эссе и прочее) вся эта информация попадает в печать.

Это был совершенно новый радиомикрофон размером с таблетку аспирина, за что он и получил свое название, и прослушивать или записывать с него можно было в радиусе ста — ста пятидесяти метров, следуя, например, за объектом в машине. Дорогая штука — его трудно было получить, но профессор стоил классного шпиона, а то и двух, и нам не отказали, хотя к тому времени радиомикрофон был нам уже не нужен: мы и так были уверены в том, что профессор ни с кем никаких связей не имеет. Теперь этот микрофон сопровождал профессора в его прогулках, а кто-нибудь из наших (иногда это был я) следовал за ним в машине по другой стороне улицы, если эта сторона была правой, и занимался бессмысленным делом: записывал профессорское молчание, изредка прерываемое теми репликами, которыми он обменивался с продавцами в магазинах.

В это время появилось новое обстоятельство: явление, которого мы не могли объяснить, но оно было, может быть, и случайной помехой при прослушивании, в остальном в нем не было никакой видимой связи с описываемыми событиями,— так, дополнительная странность, возможно, просто совпадение, но все-таки загадка, а нам их и без того хватало.

Я уже говорил, что во время нашего негласного осмотра профессорской квартиры мы видели там проигрыватель и довольно большое, но, пожалуй, несколько тенденциозное собрание пластинок, и теперь в наших магнитозаписях регулярно попадались длинные музыкальные вставки, которые нам, хотя и выборочно, ежедневно приходилось прослушивать, и, естественно, это была самая нерезультативная часть нашей работы. К тому же и вкусы профессора далеко не во всем совпадали с нашими. Это не значит, что мы ничего не признавали, кроме танцевальной музыки. Все мы люди образованные, специалисты в своей области, но и помимо этого не чужды культуре. Кому не бывает приятно задуматься под квинтет Моцарта или «Хоральную прелюдию» Баха? — и мы задумывались, тем более, что было о чем. Или погрустить под вальсы Шопена... Меньше мы любили Стравинского и Прокофьева, но и этих мы приучились слушать через какое-то время. Спустя два-три года после начала прослушивания нас перестали раздражать Шенберг и Веберн, но профессор в порядке «отдыха» иногда слушал таких композиторов, среди которых даже Штокгаузен показался бы слишком академичным и старомодным. Мы уже потом узнали, что и как называется, от одного музыковеда, но пристрастие профессора к авангарду часто нас утомляло. Эти длинные музыкальные «паузы» наступали где-то в середине дня, а потом занимали еще час перед сном, после работы. И все-таки все бы это было терпимо, но тут музыка иногда стала накладываться и на монологи профессора — что такое?! неужели он пишет под музыку? Мы предположили, что профессор в целях конспирации глушит свои монологи пластинками, а сам... ну, может быть, затыкает уши ватой? Но против последнего говорил тот факт, что музыка начинала иногда звучать и среди ночи, когда профессор уже давно спал,— мы специально сделали несколько ночных записей, чтобы это узнать. Более того, она стала иногда включаться во время его отсутствия, что могло быть объяснимо только специальным стремлением дурачить нас: поставить какое-нибудь реле, это не трудно сделать. Мы решили проверить такую возможность и для этой цели опять навестили квартиру профессора, выбрав момент, когда он был в отлучке, а музыка звучала. Мы не нашли никакого устройства, и проигрыватель не работал, и в квартире вообще не было никакой музыки, но все это время и то время, что мы там находились, она (это уже ни в какие ворота не лезет!) записывалась на магнитофон. Наши разговоры в квартире вместе с музыкой попали на пленку, но мы так и не обнаружили ее источника. На всякий случай мы в ходе нашего визита испортили профессору проигрыватель, но это, конечно, ничего нам не дало — в дальнейшем музыка все так же появлялась, когда хотела. Теперь уже не один оператор, а целая группа занималась тем, что отфильтровывала профессорские монологи от этой музыки, существовавшей, видимо, только для нас, потому что больше никто, включая и жильцов этого дома, ее не слышал. Было такое впечатление, что она существует в этом доме, как в эфире, но кто и откуда ее передает, оставалось невыясненным. Заводила, обладавший одним замечательным талантом задавать самые неординарные вопросы не только другим, но и себе, подошел к этой загадке с другой стороны. Он связался с одним музыковедом, крупным специалистом в области современного авангарда, и все мы вместе в течение нескольких дней прослушивали эту какофонию. Музыковед был озадачен не менее, а может быть, и более нас. В конце концов он заключил, что это, несомненно, авангард, но не только никогда им доселе не слышанный, а что еще интересней, он, музыковед, не может найти ему аналога ни в отечественной, ни в зарубежной современной музыке. «Не могло же это возникнуть на пустом месте!» — удивлялся музыковед. Еще он сказал (но мне кажется, что здесь он противоречит самому себе), что в этой музыке, в самой ее логике, угадывается национальная традиция. Он оговорился, правда, что когда дело

идет об авангарде, трудно вообще говорить о традиции, и в данном случае он не может указать хоть сколько-нибудь определенного влиянин современных композиторов, однако можно найти некоторые предпосылки в отечественной музыке конца прошлого века. «Здесь какая-то другая линия развития,— сказал он,— другой вариант истории. Истории музыки»,— уточнил он. Мы пожали плечами — мы же в этом не специалисты. А в чем, собственно, мы специалисты? Впоследствии мне всерьез пришлось задуматьсн над этим, но пока нам приходилось думать о другом, о том, чтобы не дать новому роману профессора (все это время мы о нем не забывали) появиться в печати, а музыкальное оформление этой истории мы временно отложили в сторону.

Профессор жил своей обычной жизнью: произносил монологи, спал, смаковал по вечерам коньяк или портвейн, прогуливался со своим персональным микрофоном, который он, кстати, уже описал,— а мы жили жизнью профессора, его романами и привычками, и никак не могли установить ни малейшего намека на контакт. Похоже, что его не было. Тем не менее, профессор каким-то путем получал информацию и как-то ее передавал.

— Старик сам экстрасенс,— сказал однажды заводила,— только не такой, как мы. Настоящнй экстрасенс,— вздохнул он,— и, пожалуй, гений.

Мы засмеялись: то, что профессор гений, знал весь мир, и наконец это дошло до нас.

— Старик гениальный экстрасенс,— сказал заводила,— не нам чета.

— Ну и что? — спросил кто-то из нас.— Что из этого?

— А то, что он получает информацию экстрасенсорным способом,— сказал заводила,— другого объяснения я не нахожу.

— А передает тоже экстрасенсорным?

— Возможно. Нужен специалист.

Какой там специалист! Какой специалист мог переплюнуть профессора? Мы вдруг почувствовали, что давно уже восхищаемся нашим стариком, что мы гордимся им и за него болеем. Мы почувствовали ревность.

Пришел какой-то тип, от которого за версту несло невежеством, несмотря на всю его спесь и дорогой костюм. Его ассистенты притащили громоздкий ящик и еще один чемодан и удалились, так как у них не было допуска, а чародей достал из чемодана медное кольцо с двуми торчащими из него антеннами для транзистора и длинным проводом. Провод он подсоединил к ящику, а ящик, в свою очередь, включил в сеть. Потом надел на голову свой обруч и сел посреди комнаты на стул. Так и сидел, похожий на улитку и такой же глупый. Некоторое время он молчал, потом жестом подозвал заводилу и довольно похоже описал местонахождение профессора в комнате и его положение в кресле. Потом воспроизвел некоторые жесты профессора: наливание чего-то из бутылки в стакан, закуривание и прочее. Как впоследствии мы проверили по магнитозаписи, все это было аерно, но это было все, что было... Слов профессора, а тем более его мыслей колдун угадать не смог. Мы сидели и смотрели, как он камлал, и постепенно мрачнели. Колдун не был полным профаном, но он не умел ни читать мысли, ни предсказывать судьбу. На наш вопрос о направлении он ответил, что мысли профессора распространяются во все стороны, как радиоволны, и что так бывает с мыслями каждого человека, только у каждого своя мощность и диапазон, а расшифровать передаваемую информацию он не может, если это не образы и не желанин. Зато возможно установить телепатическую связь, если известны индуктор и перцепиент, и он скажет, существует ли такая связь, если ему укажут точное местонахождение нашего начальства. (Он предварительно был введен в курс дела). Более того, он обещал в этом случае дать нам перцепиеита — индуктором в данном случае был профессор.

— Ну уж дудки! — ответил заводила.— Я и спрашивать не рискну,— потом подумал, махнул рукой и пошел звонить.

Разумеется, вместо такого разрешепия он получил только лишний втык, тем дело и кончилось.

На самом деле такая скрытность была делом чисто уставным, потому что местопребывание нашего начальства давно уже было секретом полишинеля, благодаря все тому же профессору, который в свое время в одной повести о зеркалах (тоже с нашим участием) описал и улицу, и дом, не приводя, конечно, номера и подлинного названия, а дом, так даже с планировками, хотя сам он там никогда не бывал. Но все это он изобразил, как всегда, в таких обтекаемых выражепиях, что нельзя было с уверенностью сказать, наше ли это начальство изображено или какое-нибудь другое, сидящее на его месте. Да и сам этот дом был и тот, и вроде бы не тот, и к тому же имел одно дежурное отличие от того, одну черту, столь характерную, я бы даже сказал, издевательски характерную, что она как бы заявляла: это не тот дом.

И каждый раз он ускользал так же ловко, и всегда его не за что было ухватить. И дело не только в том, что он писал не о ком-то, а о чем-то, и говорил не о человеке, целостном типе, чтобы это можно было хотя бы принять за намек, а о тех слагающих, которые этого человека делают (он ведь был психологом и прекрасно владел этим

искусством); и он синтезировал нечто новое, певероятно комическое и уродливое, чего, в общем-то, нет, то есть пока нет, как это было в истории с зеркалами, но появится, может появиться. А еслн он зашифровывал нечто реально существующее, то лишь коллизию, фабулу, типы же, действовавшие там, были всегда абсурдны, но со временем и реальные ситуации из нашей жизни стали казаться мне абсурдными. Абсурдной стала мне казаться и игра, которую мы вели, а ведь она, очевидно, не была абсурдной.

Когда он использовал наш профессиональный жаргон, но это была та самая книга, где мы (или это были пе мы?) были действующими лицами, и когда мы это поняли, было естественно предположить, что он будет пародировать нас и издеваться над нами, над нашими убеждениями и мыслями, что он изобразит нас тупыми и фанатичными держимордами,— однако ничего этого не было. Он не стал издеваться над нами, а что касается наших убеждений, то он повернул дело так, что никаких убеждений у нас просто не было, а то, что мы счнтали нашими убеждениями, на самом деле оказалось все теми же нелепыми правилами нелепой игры, и в эти правила входили такие условия, как Долг и Честь, только это не были настоящие Долг и Честь, потому что здесь это жаргонные слова, в контексте данной игры они потеряли подлинный смысл и превратились в свою противоположность. И по мере продвижения этой повести к концу я все лучше и лучше понимал, почему я был прав, когда предположил, что профессор и при физическом превосходстве не стал бы драться с нами,— он видел в нас не злых и жестоких негодяев, а скорее жертвы все той же нелепой игры, жертвы в гораздо большей степени, чем он, потому что мы не понимаем этого. Обидно, конечно, когда тебя считают дураком, да только на кого обижаться? И в общем-то, мы уже давно не обижались на профессора. Напротив, пока мы играли с ним в нашу игру — строили против него всяческие козни, подслушивали да подглядывали за ним,— мы и сами не заметили, как он стал для нас наивысшим авторитетом, причем почти во всех вопросах: не только в вопросах искусства или своей науки, но — смешно признаться! — даже в быту мы начинали равняться на него. Сначала стала выправляться наша дикция и интонации, потом мы заметили, что строже, чем прежде, относимся к языку (более четко формулируем вопросы, что в профессии экстрасенса иногда и не в его пользу, так как некоторые вопросы должны быть неясны и двусмысленны, чтобы ответы на них были по возможности более пространны); постепенно смягчился и стал не таким специфическим наш юмор, впрочем, здесь было много буквально профессорского, так как у нас с языка не сходили всякие его шуточки и остроты, за которые начальство бы нас не погладило; потом мы помимо воли стали подражать его манерам и если так и не выучились на джентльменов, то это наша вина, и, наконец, однажды заводила появился в черном пальто и «Борсалино», но при этом сам выглядел, как Борсалино [1]. «Нет,— с грустью подумал я тогда,— такая внешность, как у профессора, даром не дается — она вырабатывается годами совершенно другой жизни». И еще я подумал, что когда профессор полулежал-полусидел там, на грязном асфальте, он не выглядел ни жалким, ни униженным,— он выглядел достойно, как раненый, а жалкими и униженными выглядели мы.

Теперь, когда профессор описал нас со всеми нашими комплексами, я понимал, что он наперед знает все наши ходы, а мы просто беспомощны против него, и что нам давно пора сложить оружие, но мы продолжали наши действия против него, прекрасно понимая, что единственным нашим выигрышем будет безнаказанность, но нужно же нам было хоть чем-то оправдать свое существование. Что же касается безнаказанности, то здесь мы знали, на что рассчитывали. Конечно, профессор видел нас насквозь и мог прогнозировать наши действия, но за это время и мы в какой-то мере узнали характер профессора и тоже могли предположить, чего от него можно ожидать, точнее, чего от него нельзя ожидать. Например, мы наверняка знали, что от него не приходится ждать какой-нибудь подлости, хотя подлость, конечно, понятие условное: скажем, все, что вызывается общественной необходимостью, не может оцениваться в обычных нравственных категориях — ведь если дело идет о пользе целого общества... Ну ладно, я ухожу не в ту степь. Я говорил о том, что от профессора не следовало ожидать какого-нибудь подвоха,— так, какая-нибудь шутка,— и если иногда он загонял нас в угол, то спортивно, по-джентльменски, между нами, не навлекая на нас гнев нашего начальства, ведь он и начальство ставил в тупик. И тогда, после нападения, он повел себя как мужчина, то есть не стал делать никаких заявлений, поднимать шум в прессе, привлекать к этому делу мировую общественность и так далее — видимо, он посчитал это своим личным делом. А ведь если бы он сделал заявление, то наше начальство потом отыгралось бы на нас за нашу грубую работу. Но он по своей манере свел счеты более тонко, опосредованно. Он заставил смеяться над нами весь мир. То есть персонажи были как бы вымышленные, но мы-то знали, над кем смеются. Конечно, когда я говорю «весь мир», я имею в виду читающую публику. Еще уже: публику, читающую профессора. Но это тоже немало. Так или иначе, я хочу сказать, что откровенного, склочного,

[1] Зваменитый гангстер, давший название весьма элегантвой шляпе.

кляузного подвоха от профессора ждать не приходилось. Во всяком случае, пока он жив. Вот если бы с ним что-нибудь случилось, тогда поднялся бы невообразимый шум, потому что к этому времени профессора выдвинули на Нобелевскую премию, и теперь он был, как на сцене.

Но — Боже упаси! — мы и не хотели делать ничего подобного, и я уверен, наше начальство — тоже. Конечно, необходимо было обезопасить профессора, но не менее необходимо было разгадать его загадку, потому что если один раз появилось нечто непонятное, то какие гарантии, что не будет повторения?

И здесь наш расчет строился как раз на том, что профессор будет жив и здоров, а логическая ошибка была в том, что если профессор не ищет защиты у мировой общественности, то как раз потому, что он не трус, а если не трус, то, значит, и не испугается. Понимаете, о чем я говорю? Но именно этой простой вещи мы не учли. То есть мы даже, пожалуй, и учли, просто нам ничего другого не оставалось, так как наши научные изыскания до сих пор не увенчались успехом, а ситуация с каждым днем становилась все острее и острее, а кроме того, у каждого из нас в глубине души все-таки теплилась надежда, что профессор каким-либо образом отреагирует на нашу провокацию и тем самым даст нам какую-то хотя бы слабую зацепку. С другой стороны, нам хотелось какого-нибудь диалога, потому что профессор все никак не вовлекался в игру. Ну и, наконец, наше начальство требовало от нас конкретных действий, а не пассивного наблюдения, не забывая, впрочем, напоминать об осторожности.

Режиссер, извлеченный для этого из какой-то киношной экспедиции, на этот раз крайне неохотно согласился помогать нам, но все-таки профессионализм взял верх, и все в конце концов сладилось. Мы выбрали перекресток, похожий на тот, где намечался эксперимент, и отрабатывали там наш трюк целый день, замаскировав его под съемки политического детектива. Конечно, как всегда в таких случаях, вокруг площадки собралась толпа, и любопытство этих зевак сильно нервировало нас и мешало работать, но когда мы просмотрели видеозапись, сделанную как бы с того места, где находится профессор, то увидели, что все выглядит очень внушительно. Правда, и сделано это было по профессорскому уже написанному к тому времени сценарию, вернее, по написанной части этого сценария, и этот эпизод мы тогда принимали всерьез — ведь мы не знали, что он снова нас надул, надул еще раньше, до того, как мы приступили к делу. Но я опять забегаю вперед, тогда же, несмотря на все репетиции, я очень волновался, когда на следующий день на ходу пристраивался в уличной сутолоке где-то сзади профессора: ведь нужно было не только не отстать от него — нужно было настолько точно скоординировать свои движения с его движениями, чтобы в нужный момент (не раньше и не позже) оказаться рядом с ним, и сделать это нужно было так, чтобы он до этого момента ни в коем случае меня не заметил. Думаю, что он и в самом деле меня не заметил, даже не подозревал о моем присутствии. Возможно, он даже не знал, что это произойдет именно в тот день, но ведь он сам подсказал нам эту мысль... Однако профессор, как обычно, величественно и невозмутимо шествовал по проспекту, я же довольно ловко маневрировал среди встречных и невстречных прохожих, оставляя между нами двух-трех человек, чтобы, выйдя на угол, оказаться как раз за его спиной. Моя роль была, пожалуй, самой ответственной, потому что в этом спектакле малейшая моя неловкость могла стать для нас всех роковой.

Зеленый свет загорелся точно к тому моменту, когда профессор вышел на перекресток. Профессор шагнул на проезжую часть, и здесь... Черная машина, выверну в на бешеной скорости, юзом вылетела из-за поворота и, перескочив правыми колесами через угол тротуара, наверняка сшибла бы и размолотила профессора в пух и прах, если бы я за какую-то ничтожную долю секунды не выдернул его с такой силой, что он отлетел к стенке дома и едва удержался на ногах. Это был мой шедевр. А автомобиль, громыхнув днищем о панель, умчался, но из него еще успела высунуться зверская рожа в темных очках и в кепке — жаль, если профессор не успел этого заметить. Но ведь ты же сам это предсказал,— ну так вот, получай!

Тем не менее я должен был сыграть свою роль до конца, то есть разъяснить профессору, если он чего-нибудь не понял, а потому я бросился к нему, чтобы поддержать его. Профессор был немного взволнован, но старался не подавать виду.

— Что это? — задыхаясь, спросил я.— Вы заметили номер?

— Номер был заляпан грязью,— сказал профессор.

— Это не случайность,— крикнул я,— не лихачество.

Профессор пожал плечами.

— Это покушение. Они хотели вас убить!

— Вы думаете? — оживился профессор.

Меня разозлила его тупость.

— Конечно! — крикнул я.— Ведь машина ехала прямо на вас. Если бы меня здесь не было...

— Но вы были,— иронически улыбнулся профессор и перешел улицу.

Разочарованный, униженный, я смотрел ему вслед. В этот момент я по-настоящему ненавидел его. Да, по оплошности, то есть увлеченные репетициями и предстоящим спектаклем, мы в этот день не прослушали запись, сделанную накануне, а если бы мы ее прослушали, мы бы просто отменили спектакль.

«Для того, чтобы поставить точки над i, для того, чтобы закрепить впечатление — и в этой излишней обстоятельности выразился недостаток вкуса, как раз то, что иногда губит и очень хорошо задуманные произведения,— понадобились круглые от страха глаза и разинутый рот, да созвездие веснушек на простоватой физиономии. Может быть, две-три минуты потребовались бы, чтобы прийти в себя и понять, в чем дело, но мальчик растолковал это в ту же секунду».

Да, все «созвездие веснушек» пылало на моей «простоватой» физиономии, когда я слушал этот отрывок, но «недостаток вкуса» мы не без удовольствия оставили режиссеру.

Черт возьми! Что бы профессору изложить всю историю последовательно, и тогда мы бы не затевали этого дурацкого мероприятия, но профессор, начав рассказывать эпизод с покушением, ушел по своей манере далеко в сторону, пустился в отвлеченные рассуждения и добрался до меня только через несколько дней, а за это время мы с профессиональной оперативностью уже успели отрепетировать и исполнить вокруг него наш идиотский танец. Надо же так опозориться!

После этой неудачи мы уже не ломали себе особенно голову над тем, каким образом профессор предсказывает наши действия. Мы приняли за основную версию мнение одного социопсихолога (кстати, ученика профессора и его преемника на кафедре социальной психологии), который после наших настойчивых уговоров (но, как я полагаю, его сомнения были отнюдь не нравственного порядка) в конце концов согласился высказать свои соображения относительно этого феномена. Он сказал, что структура нашего детерминированного общества может породить очень небольшое количество комбинаций, причем довольно несложных. Поэтому при определенном образовании принципиально возможно смоделировать ту или иную ситуацию, и каждая из этих ситуаций, в свою очередь, имеет малое количество тенденций. Так что нужно только выбрать доминирующую, и сюжет будет развиваться как элементарная логическая задача. «Короче говоря, дедуктивный метод»,— сказал он.

Конечно, эта теория объясняла далеко не все связанные с профессором загадки. Откуда, например, бралась та музыка, которая время от времени по-прежнему досаждала нам, или как появлялись произведения профессора в печати? А потом, моделирование моделированием, но всевозможные подробности — ну хоть мои веснушки — откуда они? Однако повторяю, теперь у нас уже не было времени ломать себе над этим голову, а кроме того, мы, наконец, поняли, что все наши неудачи вовсе не оттого, что он знал наперед все наши ходы, а оттого, что он не играл. Я же говорю, что профессор с самого начала выбрал верную позицию. Ведь мы вели тактическую игру, а какая тактика возможна без взаимодействия? Зато его поведение можно было расценивать как стратегию, но это вообще была его жизненная стратегия, заключающаяся как раз в том, чтобы не играть. В общем, это была стратегия локомотива, идущего по рельсам — попытайтесь-ка с ним фехтовать. Если у вас нет средств разворотить рельсы, никакие тактические ухищрения, финты и обходные маневры вам не помогут.

И все-таки заводила нашел выход, то есть именно средство разворотить рельсы.

— Если профессор так крепко стоит,— сказал он,— нужно разрушить то место, на котором он стоит.

Сначала мы не поняли, что он имеет в виду.

— Ты имеешь в виду его... «пьедестал»? Его известность? — уточнил я.— Это не в наших силах: мы не можем бороться со свершившимся фактом. Даже отвлечь от него внимание мы не можем. Свеженький нобелевский лауреат — это же кормушка для журналистов.

(К этому времени профессору уже присудили Нобелевскую премию.)

Но заводила только отмахнулся от меня.

— До сих пор профессор стойко держался благодаря чувству своей правоты,— продолжал он.— Нужно лишить его этого чувства. Наоборот, заставить почувствовать себя виноватым.

— Как ты это сделаешь?

— Нужно выжечь землю у него под ногами. Буквально выжечь.

И мы были настолько увлечены этой идеей, что пошли уже на самые крупные ставки.

Сначала ударил гейзер неподалеку от профессорского дома: прорвало трубу теплосети, и горячая вода, пробившись сквозь толщу земли, забила под давлением в шесть атмосфер и в облаках пара захлестнула тротуар. Образовалась огромная, в несколько сот квадратных метров, дымящаяся лужа. Несколько дней жители, проклиная

районные власти, обходили лужу по противоположной стороне улицы, но они еще не знали, что ожидает их в ближайшем будущем. Оказалось, что неисправность нельзя устранить иначе, как отключив отопление во всем квартале, но когда это сделали, погас свет. Его, правда, никто не отключал. Просто замерзающие жители квартала включили все электроприборы, и на подстанции пробило щит. Тогда голубым огнем замерцали окна кухонь от горелок и включенных духовок газовых плит. Кое-где в незашторенных окнах наблюдалось лихорадочное оживление — это жильцы перетаскивали из комнат на кухни матрацы, ватные одеяла и другое пригодное для экстренной ночевки барахло. Но и тут им не повезло: на следующую ночь в одном из концов квартала взлетел на высоту второго этажа желто-красный факел и, не убывая, горел всю ночь, зловещий восклицательный знак, предупреждающий об опасной зоне. На время ремонта пришлось перекрыть газопровод, и к вечеру началось массовое бегство жильцов из квартир. Где и как они устраивались, я не знаю (этим занимались городские власти), но население квартала уменьшилось в эти дни по крайней мере на треть. Возле домов круглосуточно дежурили команды из добровольцев во избежание грабежей. У всех входящих и выходящих проверяли документы. Когда погасло электричество, нам пришлось покинуть нашу лабораторию, которая находилась в том же квартале, напротив и немного наискосок от профессорского дома, и не столько от холода, сколько из-за того, что в связи с аварией на подстанции бездействовали наши магнитофоны. Так что профессор на целые сутки выпал из поля нашего зрения.

Наутро начали земляные работы, но никто не знал места повреждения трубопровода, поэтому пришлось вырыть глубокую и широкую траншею, выбросив оттуда сотни кубометров земли, которая потом, уже и после ремонта, до самой весны возвышалась плотным бруствером, протянувшимся от одного перекрестка до другого.

Однако ремонт теплосети и газопровода не решил всех проблем для жителей квартала. Следующая катастрофа хотя и не угрожала жизни и здоровью жильцов, все же доставила им немало неприятных минут, заставляя их при выходе из дому, а равно и приближении к дому, плеваться, зажимать носы и чуть ли не надевать противогазы. Почему-то прорвало трубу канализации на улице, пересекающей проспект, да так, что зловонная жижа хлынула в уже вырытую траншею и затопила только что отремонтированную трубу теплосети, и это сделало невозможными работы по ее изоляции. Нагреваясь от трубопровода, нечистоты наполнили квартал невыносимым смрадом. Нам было противно ходить на работу. Чтобы разыскать повреждение, вырыли еще одну траншею, которая перегородила проспект, и теперь пришлось перекрыть движение трамваев и троллейбусов, вообще всякое, кроме пешеходного, движение в этом квартале, и соответственно перенести остановки. Во время земляных работ повредили телефонный кабель, и население совсем озверело.

Все это, конечно, стоило району кучу денег, а кроме того, на все эти аварийные службы, строительные и ремонтные организации, вообще на районную администрацию сыпались бесконечные жалобы во все инстанции, и, в конце концов, к этому подключилась вечерняя газета — там ведь не знали, что все это наши хлопоты, а те, кто непосредственно занимался вредительством и ремонтом, не знали, что отвечать и когда обещать, и тем более никто не знал, что за все это надо благодарить одного-единственного человека, который все никак не желал угомониться.

Наконец наша фантазия и возможности истощились — ведь мы не могли управлять силами природы,— и наступило временное затишье. То есть улицы по-прежнему оставались перекопанными, и жителям, в том числе и профессору, приходилось каждый день, а то и по нескольку раз в день пробираться через обледенелый бруствер и через траншею по узким и ненадежным мосткам или делать большой крюк, чтобы обойти это безобразие,— но новых шуточек мы придумать уже не могли и приостановились. Внезапно началась оттепель, в квартале была слякоть и грязь, настроение у всех было подавленное, и в этот момент нас вдруг лишили нашего профессора. Когда мы узнали о предстоящем расставании, нашим первым чувством было чувство облегчения, такое, какое испытываешь после того, как у тебя вырвали долго болевший зуб, но уже в следующий момент оно сменилось чувством невосполнимой утраты — мы как будто вдруг осиротели. Мы посмотрели друг на друга сначала с недоумением, потом с любовью и печалью: мы так долго были участниками одного общего дня нас дела, дела, в котором он объединял нас, как отец объединяет семью, и вдруг эта семья распалась — мы отвернулись друг от друга.

Заводила сходил к профессору (это был его второй визит) и имел с ним беседу.

— Меня это утомляет,— сказал профессор заводиле.— Я вообще-то собранный человек, но и мне с каждым днем становится все трудней отключаться, так что мой последний роман, по существу, написан не мной, а вами.

— Однако,— сказал, помолчав, профессор,— я старался не обращать внимания на ваши враждебные действия до тех пор, пока они были направлены протиа меня, но когда вы, как террористы, взяли заложниками население целого квартала...

Мы чувствовали себя очень неуютно. Я не хочу сказать, что мы вдруг осознали всю безнравственность нашей цели. Мы вообще с самого начала не преследовали никакой цели — просто играли,— но сейчас я совершенно ясно увидел, что профессор вовсе не считает, не может считать себя виноватым в несчастьях своих соседей. Это не важно, и уж во всяком случае мы могли бы считать его виноватым, но была еще одна мысль.

В школе (правильно это или неправильно) в нас воспитывали благоговение перед великими людьми. Ну и, конечно, эта сакральная формула «Гений и злодейство — несовместны»... А сейчас, поскольку гениальность профессора ни у кого не вызывала сомнений, нам приходилось усомниться в чем-нибудь другом: либо в самой формуле, а сомнение в священной формуле уже само по себе как бы отступничество, либо, признавая формулу, вместе с ней приходилось признать, что мы сами отнюдь не на стороне добра,— так сказать, по другую сторону баррикад. В общем, как ни верти, а все получалось, что не правы мы, а профессор прав. Но и без этого затея заводилы была пустой. С самого начала она была обречена на моральный провал, и нас мало утешало то, что мы наконец достигли какого-то результата. Это была позорная победа. Профессор уходил с развернутым знаменем. Он уходил не потому, что чувствовал себя виноватым, а потому, что чувство долга выражалось у него средствами, отличными от наших.

— Я думаю, что такое решение будет каким-то выходом для обеих сторон,— сказал профессор в ответ на предложение заводилы. Мы услышали, как он отодвинул кресло, видимо, встал.

Заводила пришел грустный и какой-то пристыженный.

— Писали? — спросил он, посмотрев на всех нас.

— Писали.

— Шпионы проклятые,— сказал заводила.— Сотрите.

Мы и сами хотели стереть эту запись, только ждали распоряжения заводилы.

Цель, которой мы не добивались, была достигнута, и мы чувствовали себя, как изгнанники.

Вот и все. Теперь начался какой-то странный отдых, и как бы отвратительно мы себя ни чувствовали, а все-таки облегченно вадохнули. В конце концов, даже поражение может принести вам чувство облегчения, освободив, наконец, от неразрешимой иным способом проблемы. Как бы то ни было, а поединок с профессором, длившийся столько лет, был закончен. И когда я подумал это, подумал буквально этими самыми словами, вслед за тем я подумал и о самих словах, о том, как мы несвободны, как подчинены абсурдным построениям жаргона, и, по существу, наша деятельность собственно и есть жаргон. Для профессора, для любого нормального человека поединок — это борьба на равных условиях, а для нас поединок — это «все на одного». И даже в этой нашей «дуэли» мы не могли обойтись без поддержки. Нам помогали всякие специалисты — почему они нам помогали? Да, сейчас, имея время заниматься отвлеченными рассуждениями, я спросил бы (не у них, у себя): отчего все эти специалисты, все эти психологи и парапсихологи, социологи и режиссеры, электротехники, сантехники и музыковеды,— отчего все они с такой охотой брались помогать нам? По этому поводу я хотел бы привести цитату из одной не опубликованной, а лишь записанной нами статьи, которая, правда, не имеет прямого отношения к нам, а рассматривает некоторые теоретические вопросы юриспруденции, но по аналогии может кое-что объяснить в поведении наших добровольных помощников.

«Гражданину, не искушенному в общении с юристами, но обращающемуся к ним в поисках справедливости, свойственно отождествлять закон с этими его представителями; приписывать последним качества, присущие, по его мнению, Закону...»

Мы не представители Закона — мы экстрасенсы, но, видимо, отношение к нам всех этих людей — наших добровольных помощников — было обусловлено принятой в обществе как аксиома, но по существу неверной посылкой, отождествляющей всякое право с обязанностью. Исходя из этой посылки, естественно было для них сделать и неверный вывод; наделяя нас сверхъестественными качествами, они готовы были дать их нам взаймы. Ведь как экстрасенсы мы были о*бязаны* знать и быть всемогущими, а они считали, что это наше *право*.

Была ранняя, еще холодная весна, отпуск брать никому не хотелось, и поэтому мы просто бездельничали, лениво, не спеша приводили в порядок документы и просто так, чтобы еще немного потянуть и не включаться до лета в новое дело, записывали с радиоприемника пресс-конференции профессора, интервью с ним разных журналов, радиостанций и телекомпаний и передачи о нем, которыми в это время был просто забит эфир. Профессор был героем дня. Он триумфально шествовал по свету, и везде (видимо, это все же не только мое провинциальное отношение к местной знаменитости) восхищались его замечательной внешностью, его старомодной элегантностью и естественной простотой его безупречных манер, его великолепным английским и таким же великолепным французским, и немецким тоже — языками. Да, я говорил, что мы всегда были в восторге от его английской, джентльменской внешности, только теперь

я подумал, что она, пожалуй, вовсе не английская, такая же не английская, как его романы и статьи, как его социология и психология,— все это наше, свое, только мы не желаем этого иметь и упорно боремся с этим, чтобы всегда восхищаться чужим.

А профессор продолжал свое турне. Он побывал в Скандинавии и на Дальнем Востоке, и даже в странах Восточной Европы (как оказалось, он владел и некоторыми славянскими языками) и раздавал направо и налево свои остроумные интервью, но о нас он ни разу даже не вспомнил. Даже чтобы посмеяться над нами. И хотя мы по своей профессиональной скромности никогда особенно не стремились к славе — наоборот, всегда избегали рекламы,— такое его пренебрежение, по совести говоря, нас обидело. Впрочем, мы понимали, что были всего лишь частностью в жизни профессора, пусть неприятной, досаждающей, но частностью, а может быть, он просто считал ниже своего достоинства сводить счеты. Теперь профессор все больше и больше отдалялся от нас, и его голос слышался уже издалека, как эхо, отраженный во многих мнениях и толкованиях, но иногда бывает так, что именно эхо в своем отдаленном и очищенном звучании сделает для вас понятным то, что вы не успели расслышать, когда вам говорили в лицо. В своей Нобелевской речи профессор говорил о языке. «В начале было Слово»,— сказал профессор, но я не буду пересказывать эту речь — она достаточно широко известна. Скажу только, что в этой речи я совершенно по-новому увидел весь опыт его общения с нами. Ведь мы действительно его понимали, а он говорил, что язык освобождает человека, что добросовестное отношение к языку, по сути дела, единственное, что может решить самые серьезные проблемы, стоящие как перед отдельными людьми, так и перед всем человечеством. И я подумал: «Почему же мы, зная профессора, любя его, доверяя ему, продолжали нашу игру? — И сам себе ответил: — Потому, что наша игра — это все тот же жаргон. Это замкнутый самодовлеющий язык, язык, не рассчитанный на коммуникацию».

И может быть, именно из-за нашего косноязычия нам не удалось вовлечь профессора в диалог. Вот если бы мы бросили свой дурацкий жаргон и обратились к профессору на нормальном языке, просто спросили бы, как ему удалось достичь такого совершенства, потому что здесь могла быть разгадка главной тайны профессора, потому что, может быть, она заключалась как раз в совершенстве языка, а вовсе не в телепатии... Да, может быть, нам удалось бы перехитрить профессора, и если бы он объяснил нам, как этого достичь... Нет, он не стал бы нам этого объяснять и правильно бы поступил. Потому что мы бы первым делом изобрели глушилку.

И вот теперь профессор с его загадками, вернее, с его одной общей загадкой, все дальше и дальше уходил от нас, и в этой ретроспективе проявились некоторые детали, на которые в свое время никто из нас не обратил внимания. Когда мы, приступая к работе, изучали биографию профессора, мы были ориентированы на практические действия, и это обстоятельство настолько определило нашу точку зрения, что из нашего внимания выпали многие важные подробности, которые при правильно сформулированной задаче (феномен профессора, а не его деятельность) еще тогда стали бы ключом к разгадке многих таинственных явлений. Но в то время мы не предполагали заняться исследовательской работой и проглядели целый ряд фактов, именно ряд, потому что это были факты одного порядка и они в немалой степени объясняли исключительную одаренность профессора и даже, может быть, природу всех подобных явлений. Но мы, увлеченные предстоящей игрой, искали в биографии профессора другое: что-нибудь компрометирующее, что дало бы нам возможность шантажировать его; или еще какое-нибудь уязвимое место, в которое в случае надобности можно было бы его поразить. В общем, мы искали слабости профессора вместо того, чтобы искать объяснения его необыкновенным способностям.

Но после того, как дело профессора потеряло для нас практический интерес (то есть мы думали, что оно закончено), я решил снова заняться этой биографией, еще не представляя хорошенько, что я буду там искать. Однако что-то в ней раздражало меня, что-то казалось мне нарочитым, вернее, была в ней какая-то закономерность, какой-то повторяющийся мотив, которого я все никак не мог уловить. Разгадка была где-то здесь, именно в биографии, может быть, даже не разгадка, а всего лишь гипотеза, которая к тому же еще только должна была появиться, но в таком деле и гипотеза — это много. Конечно, гипотеза не доказательство, но доказательства, конкретные улики нужны для суда, а для теории важней доказательств могут оказаться связи, логическая цепь, в которой каждый отдельно взятый элемент ничего не объясняет сам по себе,— короче, мне нужна была общая схема, и эта схема вот-вот должна была проявиться. И тут (так кстати!) произошло одно событие, которое подтолкнуло меня к решению.

Суть в том, что после того, как дело профессора формально было уже завершено, заводила распорядился не снимать квартиру профессора с прослушивания, и это его указание тогда показалось нам в высшей степени нелепым: каким-то тупым бюрократическим упрямством. Но мы на этот раз недооценили заводилу, мы забыли о его способности принимать в неординарных случаях неординарные решения. Имея дело с профессором, можно было ожидать самых невероятных происшествий — так оно

и случилось. На третий или четвертый день, когда мы, естественно, ничего не ожидая услышать, прокручивали очередную кассету с магнитозаписью, в динамике отчетливо раздалась богато аранжированная музыка, точнее, то, что считал музыкой наш консультант-музыковед, на самом же деле гремел и бесчинствовал звуковой авангард, но я не собираюсь пропагандировать здесь свои личные вкусы. Важно то, что мы опять обнаружили это загадочное явление, происхождение которого нам до сих пор не удалось установить. Но что особенно интересно: с музыкой было то же, что и с профессорскими монологами — при повторении нам удалось узнать некоторые пассажи, но в различных вариантах. Некто отрабатывал эти пассажи так же, как профессор свои монологи. Меняя отдельные музыкальные фразы, добавляя или убирая некоторые инструменты, он, видимо, добивался какого-то неуловимого нами порядка.

Мы вошли в квартиру профессора. Все было так же, как и при тех наших незаконных обысках (если этот обыск считать законным), все было на своих местах (мы знали, что профессор, уезжая, ничего, кроме своего портфеля, с собой не взял), только все было, как выпавшим снегом, покрыто пылью, и казалось, что этот общий чехол приглушает наши шаги.

На этот раз все осмотрели еще более тщательно, благо могли переворачивать и ломать, что было нужно. Но не стали много ломать, только оторвали пару подоконников, да в двух-трех местах поковыряли ломиком стены. Все это время заводила стоял в стороне и иногда улыбался в свои «профессорские» усы. Мне показалось, что он тоже о чем-то догадывается.

— Может быть, это какой-нибудь новый вид радиосвязи? — неуверенно предположил один из нас, когда мы закончили осмотр, но заводила покачал головой.

— Не ближе к истине, но уже дальше от ошибки,— загадочно сказал он.

Вот в этом, собственно, и заключалась моя гипотеза. Музыка, звучавшая в доме профессора, определила направление моих поисков, и если я еще до этого чувствовал в биографии профессора какую-то закономерность, то теперь я уже знал, что это закономерность, и не мог считать обнаруженные мною факты простым совпадением. Но прежде чем говорить об этом с заводилой, я, чтобы не быть голословным, снова взял биографию профессора и выписал из нее те факты, которых все это время не видел в упор.

Оказалось, что интернат, в который поместили будущего профессора, после того как он осиротел, был в прежние времена общежитием духовной академии, в которой когда-то учился наш великий национальный философ — его юбилей несколько лет назад торжественно отмечался ЮНЕСКО. Позже профессор учился в школе, которую задолго до него окончил знаменитый писатель, а спустя два десятилетия — ученый, в корне изменивший представление о математике. Ремесленное училище гордилось своим выпускником, впоследствии сделавшим крупные открытия в области радиотехники. Что касается университета, то стоит ли об этом даже упоминать? — всему миру известно, сколько оттуда вышло блестящих имен. Конечно, мои предположения оставались только предположениями, но я решил обратиться с этим к заводиле. Правда, теперь нам это ничего уже дать не могло, но хотя бы из чисто научного интереса...

Но тут заводила сам вызвал меня по телефону в лабораторию. Он ничего не сказал, только посмотрел на нас со значением и поставил какую-то кассету. Сначала мы подумали, что это одна из старых записей с профессорским голосом. Мы сидели, слушали какой-то кусок из какой-то статьи и недоумевали.

— Вы что, не поняли? — спросил заводила, когда воспроизведение закончилось.

— Честно говоря, нет,— сказал я,— это слишком специально.

— Я не об этом,— сказал заводила. Он обвел нас всех долгим взглядом и наконец сказал: — Это вчерашняя запись.

До нас не сразу дошло.

— Не может быть! — сказал кто-то из нас.

Заводила посмотрел на него и только усмехнулся.

— Который час? — спросил заводила.

Я посмотрел на часы:

— Ровно девять.

— Тогда начнем,— сказал заводила и включил прямое прослушивание.

Послышался скрип, негромкое покашливание, потом что-то звякнуло, и забулькала наливаемая в стакан жидкость. Бормотание постепенно становилось все более членораздельным. Снова предложение «обкатывалось» у нас на глазах, то есть не на глазах, конечно, но в нашем присутствии. Раздался ритмичный стрекот машинки, опять покашливание. Стрекот прекратился. Мы услышали начало следующей фразы.

— Теперь все ясно? — спросил заводила, и хотя никому, включая и заводилу, решительно ничего не было ясно, мы оделись и вышли.

Мы перешли проспект наискосок через две уже зарытые теперь траншеи, оставив на свежей земле, как на контрольной пограничной полосе, свои следы. Лифт в доме профессора снова работал, мы поднялись и, разорвав бумажную полоску с печатью,

открыли ключом дверь. Тихо, не скрипнув, не прошелестев по стене плащом, мы просочились в прихожую и замерли. Из-за приоткрытой в комнату двери доносился приглушенный голос профессора. Оттуда на пол падала узкая полоска света. (Мы помнили, что, переходя проспект, посмотрели на профессорские окна, и там было темно.) Резким рывком заводила открыл дверь и, выхватив из кобуры пистолет, влетел в комнату, и сразу же за ним гурьбой ввалились и мы. Мы толкали друг друга в темноте, пока кто-то из нас не нашел выключатель. Большая комната была пуста. Ничто не изменилось в ней со дня нашего последнего присутствия, только пыли еще больше скопилось на предметах и на полу, и не было никаких следов, кроме тех, которые мы оставили в прошлый раз.

Заводила сдвинул пистолетом на затылок свою «Борсалино» и отвалился к стене.

— Что за летающие тарелки! — на грани истерики воскликнул он.

Я прошел по комнате и подошел к письменному столу. Из машинки торчал лист бумаги, на котором мы прочли те самые слова, которые совсем недавно слушали.

Теперь как раз настало время поделиться своими соображениями с заводилой, что и и сделал, как только мы остались одни. Я сообщил ему все, что нашел в биографии профессора, включая и этот дом. Заводила крепко задумался.

— Ты знаешь,— наконец сказал он,— что-то подобное приходило мне в голову. Может быть, здесь и в самом деле действует какое-то энергетическое поле... Но чем все-таки объяснить эту музыку?

— А композитор? — живо откликнулся я.— Ты что, забыл, что он жил в этом доме?

— Кругло у тебя получается,— сказал заводила,— да не все сходится. Этот композитор жил в конце прошлого века. Не мог он писать такую музыку.

— Тогда — нет,— сказал я,— а сейчас? Пойми, этот композитор по тем временам находился в самом крутом авангарде, его в глаза называли шарлатаном. Неужели ты думаешь, что сейчас такой человек стал бы повторять зады девятнадцатого века?

— Но ведь он не живет сейчас! — разозлился заводила.

— Ты думаешь?

Заводила молчал.

Конечно, моя гипотеза была самым фантастическим из всех возможных объяснений загадки профессора, но разве все, что касалось профессора, не было фантастично? Итак, сейчас мы приняли в качестве рабочей гипотезы существование какой-то энергетической среды, и не только в квартире профессора, но и во многих других местах, в которых по ходу своей биографии профессор задерживался на более или менее долгий срок. Какое-то биополе, только на одних оно действовало, а на других — нет. Но там, где на это биополе ложилась биография профессора... Я вдруг вспомнил, что оба эти слова имеют общий корень, и этот корень означает жизнь. И может быть, эти поля существовали не сами по себе, но были созданы, накоплены разными людьми, такими, как тот философ или композитор, а потом затаились и только и ждали профессора, чтобы напитать его или, наоборот, ожить самим, потому что профессор обладал счастливым даром оживлять все, к чему он прикасался, так же как мы — убивать.

Но как много, оказывается, существует таких мест, если даже на одного профессора выпало столько. И как много было людей, создававших эти места. Так вот откуда этот профессорский аристократизм, происхождения которого я не мог объяснить, но о котором я так много говорил. Но тогда я имел в виду его внешность и прекрасные манеры, и хотя я уже тогда догадывался, что все это не только наружный лоск, а результат его безупречной биографии — биографии порядочного человека,— но и это оказалось не все. Был просто аристократизм. Самый настоящий аристократизм: его происхождение от могучего генеалогического дерева, выросшего на тех самых полях; генетический код его благородных предков — ученых, художников, поэтов — первооткрывателей, связанных с ним той общей родиной, которую они сами создавали, которой без них не было бы и у меня.

Мы с заводилой сидели и курили одну сигарету за другой и чашку за чашкой пили крепчайший кофе. Мы молчали, но нам и не нужно было разговаривать: мы экстрасенсы и понимаем друг друга без слов. Мы думали о профессоре, о его исключительной судьбе и его исключительном даре, о таланте, от которого немного досталось и нам, но это были лишь крохи с его стола, а ведь мы как противники рассчитывали на все. Когда наполненная дымом комната уже, казалось, готова была воспарить, как аэростат, одна соблазнительная идея вползла в наши одурманенные сигаретами и кофе головы, и мы встали. Мы отдали дань уважения нашему противнику, и теперь пора было возвратиться к исполнению служебного долга: пора было вспомнить, что идея биополя для нас прежде всего рабочая гипотеза, которая может послужить началом интересному эксперименту, если, конечно, начальство его санкционирует. У нас не было никаких доказательств справедливости нашей версии, но мы понимали, что у начальства вообще ничего нет, и потому не исключено, что оно будет готово пуститься и в чистые авантюры. Для нас риска особенного не было, но при успехе предприятие могло принести нам

значительные дивиденды. Заводила предложил идти к начальству вместе как соавторам этой нашей идеи. Он всегда был хорошим другом и всегда был готов прикрыть, если что, но взять в долю... Раньше он бы все-таки так не поступил. Теперь... что-то изменилось в наших отношениях, да и в самих нас за последние годы. Может быть, это тяжелое многолетнее дело сплотило нас, а может быть... Трудно сказать, что.

— Только ты там не называй меня заводилой,— на всякий случай предупредил он.

— Конечно! — сказал я.— Что ж я, по-твоему, по уши деревянный?

Человек в роговых очках, которого до тех пор я видел только на праздничных приемах два раза в год, внимательно выслушал нас и в целом одобрил идею:

— Если не удается оторвать профессора от биополя, нужно уничтожить это биополе.

И он рассказал нам миф об Антее, знаменитый тем, что о нем уже когда-то упомянул другой большой начальник.

Договоренность с городскими властями была достигнута относительно быстро. Через неделю дом профессора был признан аварийным и назначен на слом. На его месте впоследствии предполагалось разбить небольшой скверик с обелиском. Все шло как по маслу, но когда тротуар возле дома уже обнесли забором и рать строительных рабочих со своими стенобитными орудиями уже готова была подступиться к его стенам, мы получили первый удар с той стороны, откуда никак не ожидали. Как же мы могли не учесть этого обстоятельства!

Вечерняя газета выступила с огромным подвалом о готовящемся акте вандализма, как назвал эти действия корреспондент. Мы не успели опомниться, как крупнейшая в стране газета, занимающаяся вопросами культуры, разразилась истерической статьей по поводу разрушения памятников архитектуры — мало ли их разрушено! Подключилось «Общество Охраны Памятников Старины» и какой-то «Союз Инвалидов», все как с цепи сорвались. Вспомнили, наконец, и великого композитора, осчастлививщего когда-то этот дом своим проживанием, и тут же спохватились, что не повесили там в свое время мемориальную доску. Орали все и при этом орали о патриотизме — ведь они не знали, что за этим стоит самая патриотическая организация в стране.

Нам пришлось отступиться — не могли же мы объявить во всеуслышание, что это наших рук дело, а затыкать рты этим газетчикам, общественникам, ветеранам и всей остальной сволочи было уже поздно.

Наш главный начальник опять вызвал нас, и мы ожидали от него больших несчастий, но он только мягко пожурил нас. Он сказал, что мы обманули его доверие, что он не знал об архитектурном и историческом значении этого дома, как будто в прошлый раз не об этом именно и шла речь,— что и в самом деле не очень-то патриотично разрушать культурные ценности нации и вытравлять память о ее великих людях, наконец, он снова упомянул миф об Антее, но на этот раз в том смысле, что наша сила в родной земле, ее истории и культуре, и во что превратимся мы сами, оторвавшись от нее. В общем, с разрушением биополя у нас ничего не вышло, только все эти газетчики, эти ветераны и культурные деятели, вообще вся эта патриотически настроенная общественность,— все они не знали, что этим своим заступничеством за отечественную культуру они подписали профессору смертный приговор.

Все время подготовки операции мы не вылезали из лаборатории. Мы с трепетом, с замиранием сердца прослушивали каждый метр записи из этого дома. Мы ничего так не боялись, как услышать что-нибудь о себе. Мы боялись вдруг услышать детали предстоящей операции в каком-нибудь новом романе этого писателя или этого дома, или я уж не знаю, кого. Но наши страхи оказались напрасными. Последнее, что сделал профессор, это — наказал нас молчанием. Видно, он поставил на нас крест.

Он умер от инфаркта, мгновенно, не успев даже осознать свою боль, и его смерть даже у самых предвзятых людей не вызвала и тени подозрения — у профессора было действительно слабое сердце.

И в конце концов, профессору ведь было уже за семьдесят, он прожил долгую и, я смело могу сказать, счастливую жизнь и написал много прекрасных книг, и ведь он же умер любимый и почитаемый всеми, умер в зените славы, которой, может быть, именно мы не дали померкнуть, потому что в свои преклонные годы он вряд ли создал бы что-нибудь достойное уже созданного им...

Но каждый день мы аккуратно прослушиваем записи из пустующей, опечатанной, навсегда засекреченной квартиры. Мы по-прежнему слышим его остроумные рассуждения и интригующие отрывки каких-то историй, но мы не знаем, как собрать, смонтировать это, и в книгах, опубликованных уже после его смерти, мы этих отрывков не встречали. Все равно: всю ночь — теперь уже всю ночь — вращаются кассеты, и мы слушаем, слушаем, слушаем, что говорит профессор.

Ленинград, 1985 год

Елена
ИГНАТОВА

◆◆◆

Ничего не проси у страны — ни любви, ни суда,
Первородства души не оценить ее чечевицей.
Сколько можно несу непосильное бремя труда
Современника, очевидца.

Робкий шепот окраин, столиц заговорщицкий шум
Чуть колеблет и дразнит листы летописного свода,
Но как тайный судья, соучастник судьбы, тугодум,
Вывожу на полях неизвестное слово «свобода».

Не возьму ни гроша и ни капли вина не пролью
В причащенье души ко стыду нерастраченной силы,
К нерожденной душе, к одиночеству в отчем краю,
К этой грязной бумаге, где жизнь изошла на чернила.

◆◆◆

Муза гражданственной скорби, гражданка Петрова...
Время линяет, теряет былой колорит,
Только она не стареет, смотрит сурово,
Пламя котельной за ней непреклонно горит,
Скорби народной...
Лампочка слабо мигает.
Что мы — пороли горячку? Смыкали каркас
Времени?
Дарья, Савраска, Сенная —
Все из беспамятства вырвет пылающий газ,—
И под луною Сенатскую, спящую глухо...
Тенью от бронзы мерцает бумажный конек,
На невезухе-лошадке писатель-непруха
Гиблого слова из лесу вывозит возок.

◆◆◆

Ты прав — расправленный простор,
Трава, присоленная снегом,
И в полночь жизни — смутный вздор,
Что не излечишься побегом,
Судьба... больна... или страна...—
Все это было, было, было,
Как бы истертое кино
Перед глазами зарябило.

По мне же — горсточка тепла,
Свободный говор, гонор нищий
И страшная живая мгла,
Что за моей спиною свищет,
Важней... В любой из наших встреч
Сквозь проговорки и усталость
Земная соль, родная речь
Тесней сбивается в кристаллы.

◆◆◆

На улицах города, где снег и ветер,
Где мы узнали, что человек смертен,
Где мы пьянели в глухом цветенье,
А ночь прикалывала наши тени,

Я присягаю вам в прежней вере.
О, бредни о Бабеле и Бодлере,
О, девушки в бабушкиных перчатках,
Дворянской складки, железной хватки,
С коими мне ни в чем не тягаться,
Я не забыла о прежнем братстве!

Прощай же, полдень любви несчастной,
Желанья славы, молитвы страстной,
Когда вступали, не зная броду,
В свершенья пору, в забвенья воду...

◆◆◆

С рожденья, сколько помню — степь и снег,
Я ощущала — дышат у затылка.
И жизнь не сложнее, чем развилка
Осенняя: и грязь и дождь смурной,
Земля остыла, смерзся перегной...
Но как царевна в чаще ледяной,
Не умерла, а спит и грезит пылко.

Что знаем о стране? Что нет колбас,
Что бредим и болеем, что в неволе...
Но эти новости перекрывает бас
Простора небывалого. И в боли
Не сознаем, что это диким полем,
Родимым, кровным — сманивает нас.

Неосмыслима с родиною связь,
А наши дни — листва для перегноя.
Она крушит меня, не изменясь,
Не как крошат комок земли весною:
Вдыхая, и завися, и гордясь —
А так, как в осень стряхивают грязь
С подошв — и оставляют под стеною.

Спас-на-крови

Теперь скажу: тяжеловесный Спас
поставлен на крови царя и террориста.
Сюжет трагический. Но отчего ребристый,
лазоревый, глазурный, в завитках
собор сверкает весело для глаз?
О, Александр больной, о нищий Гриневицкий!

Две горсти праха спорят до сих пор:
— Тиран, душитель, если б знал ты тяжесть!
— Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть!
Но общая их повенчала тяжесть —
оплывший светом, лакомый собор.

Ай, молодцы художники России —
отпраздновали, счистили, замыли,
любая кровь — фундамент для искусств!
И молодцы сапожники России —
собор под склад сначала запустили,
потом взорвать хотели да забыли,
и он стоит теперь, смертельно-пуст,
неясный символ, странное строенье —
храм Светлого Христова Воскресенья!

Игорь
ДОЛИНЯК

ПРОГУЛКА В ДУРНОЕ ОБЩЕСТВО

Повесть

Можно провалиться во время, словно в некую дыру, там все современное, прошедшее и будущее, и тебе не понять, есть ли это Прошедшее Настоящее или Настоящее Будущее. *Г. Белль*

В проходной Ерофеева встретил Громов, парторг механического цеха. Ерофеев не первый год выступал на заводе с лекциями и знал в лицо всех заводских руководителей. Иногда через проходную его пропускали «по списку» — вахтер сверял фамилию в паспорте со списком, лежащим под стеклом, иногда заводское партийное начальство забывало о приходе Ерофеева, и тогда приходилось звонить в партком, и, чтобы провести лектора на территорию, с запиской от секретаря присылали всякого, кто подворачивался под руку. Сегодня же, в заранее установленное время, его ждали. «Чувствуют, голубчики, что пошел в гору»,— подумалось Ерофееву.

— По вам часы можно сверять, Александр Иванович! — сказал Громов; поразительным было то, что Громов помнил имя и отчество лектора, который бывал на заводе не чаще одного раза в месяц, а в механическом выступал, дай Бог, три раза в год.

В приподнятом настроении Ерофеев вслед за Громовым миновал турникет, стараясь не вымазать пиджак о засаленную рабочей одеждой вертушку. Огибая маслянистые лужи, они гуськом пошли чахлой заводской аллейкой, в проход между двумя черно-кирпичными корпусами, построенными еще при царе.

Кончался пятый час сентябрьского дня, недавний ливень смыл с асфальта всю гарь и на дороге остались лишь кусочки шлака и просыпанный с какого-то грузовика кирпичный бой. Мрачная туча, из которой пролился ливень, еще висела над трубами, и столбы дыма из них, казалось, подпирали ее. Дальше, над Волгой, невидимой за цепью цехов, деревянных складов и одиноких деревьев, туча, разветвляясь на множество мелких волокон, светлела и уже совсем воздушной сливалась с голубым небом. Голубизна рождала надежду на ясный и безветренный вечер.

Под лозунгом, пересекавшим аллею поверху — «Ознаменуем XXXV годовщину Великого Октября трудовыми победами»,— Ерофеев поравнялся с парторгом.

— Как сегодня с явкой?

— Народу должно быть порядочно, подойдут еще люди из литейного цеха. Поэтому я назначил лекцию на полчаса позже. Вы уж подождите, после лекции мы с Леонидом Харисанфовичем поедем на вторую площадку и забросим вас домой.

И это тоже было приятной новостью. Леонид Харисанфович никогда прежде не приглашал Ерофеева воспользоваться своей служебной машиной. Разница между сегодняшней встречей и всеми предыдущими происходила из нового положения лектора: прежде он выступал от университетской кафедры марксизма-ленинизма, которая шефствовала над заводом, а теперь на бланке его путевки значилось — «Обком ВКП(б)». Ерофеев был отныне *обкомовским* лектором, хотя по-прежнему преподавал в университете историю партии.

— Теперь с пропагандой будет больше порядка,— продолжал Громов.— И нам спокойнее, и вам.

Игорь Васильевич Долиняк родился в Ленинграде в 1936 г. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, работал проектировщиком, инженером-сантехником, строителем; в настоящее время — служащий ВОХРа. В 1968 г. в Лениздате вышла книга его стихотворений «Поверь в меня»; книга прозы запланирована на 1991 г. издательством «Советский писатель».

— Да, теперь пропаганда будет идти только через обком.

— И кто мог знать, что Прегер окажется такой сволочью?

Прегер был коллегой Ерофеева, старшим преподавателем. Весной, прямо на первомайской демонстрации, его неожиданно забрали. Ерофеев помнил этот момент так же хорошо, как если бы в двух шагах от него разорвалась бомба, разнесла в клочья соседа, но его самого ни чуточки не задела.

В тот день университетская колонна, иногда останавливаясь, иногда в полный шаг, направлялась улицей Ленина к центру города, разноголося и запевая песни. Студенты, которые замыкали колонну, своими голосами старались перекрыть пение преподавателей, они балагурили, скандировали всякую чепуху и несколько раз со страшным свистом исполнили «Соловья-пташечку». Прегер находился впереди Ерофеева и в толпе шагал одиноко, держа в руках длинную красную палку с портретом Молотова наверху. Когда колонна оказалась рядом с тюрьмой (не символично ли! не заранее ли задумано!) и студенты в ответ на преподавательскую песню «По долинам и по взгорьям» опять грохнули «Соловья», в колонну, словно стараясь перебраться на другую сторону улицы, втиснулись двое, в габардиновых макинтошах, в темных шляпах, при галстуках,— один толстячок с лицом пьяницы, другой нормального сложения, квадратнолицый и нарочито корректный.

— Прегер Герман Генрихович?

— Я...

— Пройдемте с нами.

— Куда? И что мне делать с портретом?

Толстячок бережно взял портрет за красную палку и протянул ее Ерофееву.

— Отдадим гражданину, он как раз с пустыми руками.

Все трое — габардиновые макинтоши впереди и сзади, Прегер посередине — вышли из людского потока и пропали в толпе на тротуаре. В колонне, кроме Ерофеева, кажется, никто ничего не заметил. Студенты пели «Соловья-пташечку», а преподаватели, сознавая, что им не перекричать молодые глотки, группами переговаривались о всякой всячине.

Ерофееву было чему испугаться. Прегер выступал с лекциями на том же заводе по шефской программе университета.

Арест всполошил всю кафедру, на закрытом партийном собрании каждый заклеймил ловкость затаившегося оборотня и призвал к бдительности. Задним числом выяснилось, что на лекциях, и в университете, и в других местах негодяй, искажая смысл, вольно перефразировал изречения товарища Сталина. Тогда-то, после разоблачения, тексты всех лекций стали утверждаться обкомовским отделом пропаганды, а университетские лекторы были зачислены в отдел внештатными сотрудниками. Это и подразумевал Громов, сказав о *бóльшем* порядке.

Перед входом в механический цех, под крупным портретом Сталина тридцатых годов со смеющейся девочкой на руках, Громов пропустил Ерофеева вперед на рифленую металлическую лестницу.

— Вот здесь и подождите с полчасика,— предложил он, останавливаясь у стола, когда они вошли в большую комнату с рядами стульев, казенный вид которой никак не соответствовал ее уютному названию — красный уголок. Посередине красного уголка, стукая шваброй о ножки стульев, подметала пол старуха-уборщица, одетая в какую-то рваную телогрейку.

— Не помешаю вам? — спросил ее Ерофеев, усаживаясь за стол, вынимая и раскладывая перед собой аккуратно завязанные папки.

Он проявился весь в этом вопросе и особенно в его интонации. Ерофеев имел вид добрейший. Мягкие черты, округлая лысина, приветливый карий взгляд, обещающий внимание и обходительность, скорее бы подошли артисту, играющему в детском театре Айболитов, Гулливеров и добрых молодцев, чем научному работнику, занятому драматической историей ВКП(б). Вежливая внешность двадцатисемилетнего Ерофеева находилась в полном ладу с его незлобивой душой. Когда он представал перед собеседником или появлялся перед студентами, все начинали испытывать к нему невольное дружелюбие, а самые озлобленные по крайней мере думали: «Ну, от этого-то можно не ждать пакости». Никто никогда не слышал от него суровых слов,— обнаружив шпаргалку, Ерофеев краснел и переживал, кажется, более самого уличенного.

— Да как же вам не стыдно,— говорил он, словно робея, и глаза его стыдились встретиться с глазами виноватого.

— Приходите в следующий раз,— мучаясь, выдавливал он.

Вообще твердость давалась ему затруднительно, но при необходимости Ерофеев не отступал.

И другое счастливое качество было у него — трудолюбие, ни секунды не упускал он во время перерывов между лекциями, в паузах между совещаниями и в минуты таких же коротких ожиданий, какое выпало сегодня.

— Не помешаешь, голубь, не помешаешь,— ответила уборщица.

В папках, раскладываемых Ерофеевым, находилась его кандидатская диссертация, пока еще не принесшая ничего, кроме бесчисленных переделок. Первую крупную переделку пришлось провести после объявления войны иностранщине, когда названия кинотеатров и ресторанов, вроде «Норд» или «Эдисон», срочно изменялись на русские.

Труд Ерофеева был как бы историко-экономическим, в нем автор старался проследить возрастание экономического базиса колхозов родной области и возможность в недалеком будущем преобразования их в сельскохозяйственные коммуны. Вначале, когда еще было не ясно, как далеко зайдет процесс борьбы с иноязычными словами, научный руководитель из ВПШ посоветовал Ерофееву выждать; и в самом деле, некоторое время никто не знал, можно ли пользоваться такими словами, как, скажем, эволюция или тенденция. К тому же, лишенная научных терминов, диссертация могла показаться излишне простой.

Наконец, борьба пошла на убыль, а Ерофеев, для страховки еще раз навестив московского наставника, снова взялся за перо. Уже были собраны все необходимые отзывы и даже назначен день защиты, когда радиостанции и газеты Советского Союза заговорили о том, что вышла в свет эпохальная книга Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В книге упоминалось о некоторых противоречиях в условиях социализма между производительными силами и производственными отношениями, а Ерофеев-то в своих диссертантских рассуждениях опирался на отсутствие противоречий, как общепринято считалось до появления «Экономических проблем». Диссертацию теперь нужно было не исправлять, а большей частью переписывать заново. Отправившись в очередной раз в Москву и бродя коридорами ВПШ, Ерофеев столкнулся со своим двоюродным братом, а тот — о роль случайности! — заведовал там одной из кафедр. Встреча оказалась практически полезней всех цитат из классиков марксизма-ленинизма, переписанных добросовестной ерофеевской рукой. Защиту новой, еще не сделанной диссертации определили на конец года и теперь только и оставалось ее закончить. В случае удачной защиты (а неудача, по словам могучего брата, исключалась) Ерофееву было обещано место старшего преподавателя в одном из московских вузов.

В обращении Громова по имени-отчеству, в ожидании у турникета в условленный час Ерофееву почудилась полная посвященность заводских партийцев в его, Ерофеева, успешные дела. Не знавший доселе стремительных взлетов, он и не предполагал, что о существовании диссертации и даже могучего вышепартийного брата на заводе никто не знал. В проходной было принято встречать *всех* обкомовских лекторов как представителей непосредственного начальства. В таком качестве и встретил его Громов.

— Значит, вы немного посидите после лекции, подождете машину? — спросил Громов вполоборота с порога, держась за ручку и собираясь закрыть дверь.

— Конечно, подожду,— ответил Ерофеев. И пошутил: — А сидеть-то мне уже недолго, скоро буду работать в Москве.

Он не знал, что этими словами низвел свою личность в громовских глазах до полного нуля. В минуты встречи и сопровождения в красный уголок парторг чтил в фигуре Ерофеева частицу обкома, способную как-то влиять на заводские судьбы, а «до царя далеко, до Бога высоко»,— что была ему Москва? Заранее мог он догадаться — не сделается в Москве Ерофеев сокрушительно высоким лицом. Закрывая дверь, он твердо решил не заезжать за лектором на машине, «сам доберется до дому!»

Несмотря на дневной час, красный уголок освещался главным образом электрическим светом, прокопченные маленькие окна смотрели в глухую и близкую кирпичную стену. Где-то рядом ухал паровой молот, гремело железо, шипел в трубах воздух, матерились люди. Кроме бордовых штор, красных лозунгов, кумачовой скатерти и портретов вождей, комната не украшалась ничем. За спиной Ерофеева над черной школьной доской висело красное полотнище с каким-то изречением Ленина. Красное и черное, цвета-символы того времени, были настолько обычны в казенных интерьерах, что не воспринимались глазом критически.

Сосредоточив свое зрение на плюшевой шторе, не замечая резких движений уборщицы, деревянного стука ее швабры и машинально развязывая папки, Ерофеев восстанавливал в памяти фразу, которая пришла ему в голову по дороге сюда. Это была очень важная фраза, она должна была спасти в диссертации некоторую часть уже написанного до появления «Экономических проблем». Но фраза и даже то, что она должна была за собой вытянуть, никак не вспоминалось. «Вот черт,— проворчал мысленно Ерофеев,—сколько раз говорил себе, нужно сразу же записывать», и принялся листать рукопись в надежде натолкнуться на нужное место и таким способом все-таки вспомнить. Перед ним замелькали разделы диссертации: «Первые безбазисные с/х коммуны», «Борьба с кулачеством как перевоспитание крестьянских масс» и еще какие-то, все отпечатанные на машинке, с диаграммами, графиками и таблицами, сделанными твердой неторопливой рукой. Рука принадлежала Вере, и вместо забытой фразы в ушах Ерофеева прозвучали слова матери: «Чего же ты, дурак, на ней не женишься?» Оторвавшись от портьеры, он обратил взгляд на уборщицу. С Верой-то он

впервые поближе познакомился, когда она была одета подобно этой старухе и тоже протирала ступеньки университетской лестницы тряпкой, намотанной на швабру. Тогда он остановился, ожидая, когда швабра освободит ему дорогу, а Вера подняла лицо, и он узнал ее. Она была самой прилежной студенткой на его семинарах, готовилась не по философским словарям и учебникам, а читала подлинные работы марксистских классиков и конспектировала их. Училась она на историческом факультете.

Между ними сразу же произошел шутливый разговор о сближении труда умственного и труда физического, об исчезновении между ними граней.

— Только вот грани ступенек тереть не очень-то приятно,— сказала Вера.

Ерофеев сам жил бедно (со своей матерью, работницей охраны, они старательно прикидывали недельные расходы, но никогда в них не укладывались) и понимал, что девушка моет лестницы не из желания поразмяться. Как ни странно, в те нищие времена подобный приработок у студентов считался зазорным, студенты предпочитали репетиторство. Позже Ерофеев узнал, что Вера занимается и этим; из дома не получала она ни копейки — сама отправляла домой деньги. Небоек был Ерофеев с женщинами, но не впервые пришлось ему обниматься в парадных, в отсутствие матери (благо — работала она ночью) на цыпочках пробираться с Верой в маленькую комнатенку длинным коммунальным коридором, впервые ощущал он, пожалуй, чувства, похожие на любовь. Мать увиделась с Верой в его отсутствие, когда Вера занесла те самые графики и диаграммы, перечерченные с черновиков. О чем они говорили, Ерофеев не знал, но мать, в прошлом тоже деревенская, сказала о женитьбе: «Хорошая девушка, не избалованная. Учти, лучше деревенских, вернее их и работящее не отыскать тебе». Но странной была девушка Вера, чересчур странной. Чаще она молчала, гладила его по голове, как маленького, долго смотрела в глаза, а потом смеялась:

— Телóк ты еще, Сашенька, телóк.

Позже выяснилось, что под словом «телок» подразумевает она не его неуклюжесть и неумелость, а жизненную неопытность. Выяснилось во время разговора о его диссертации. Заговорила она в постели, ночью, когда по окошку летели вниз тени снежинок, зыбкой массой заслоняющих единственную уличную лампу. Громадный деревянный двухэтажный дом-барак спал. Громадным он был не по размерам, а по количеству комнат и жильцов. Стенки двух его сквозных коридоров представляли из себя сплошные двери, и в клетушках за этими дверьми жило иногда человек по семь. Ерофеева с матерью считали людьми избранными, поскольку занимали они восьмиметровую комнату вдвоем. Сейчас, ночью, иногда слышалось, что где-то за множеством деревянных перегородок кто-то бормочет во сне, что в уборной, пропуская воду, завывает смывной бачок, что под полом настойчиво скребется крыса. Тень снега рябила на стекле, словно на него лил свет бесшумный кинопроектор.

— Слушай,— сказал Ерофеев,— мне все хочется тебя спросить о своей диссертации. Ты ведь ее читала. Какое у тебя мнение?

— В ней все правильно, если судить по книгам.

— Как же можно судить по книгам и не по книгам?

— Теория проверяется практикой.

— Но я писал,— рассердился Ерофеев,— на основе фактов.

— Каких фактов? — спросила Вера.— Ты хоть раз в деревне был? Бывал, да так — проездом. А ты пожил бы там, поработал, а потом сравнил свои сельскохозяйственные артели с настоящими.

— Я тебя не понимаю,— недоумевал он.

— Меня легко понять. У меня — мать, две маленькие сестренки, десяти и двенадцати лет. Вот они, заметь,— все трое, работают в колхозе с утра до вечера. И за эту работу матери насчитали в трудоднях недоработок, а откуда недоработок? Работают-то они не покладая рук. Мать задолжала колхозу тысячу рублей, ее могли посадить, но сжалились. Явилась милиция забрать вещи в счет долга и унесла последнее, старую швейную машину и шаль, больше ничего стоящего не было.

— Какая связь с моей диссертацией? — искренне удивился он.— Частный случай.

Неприятное ощущение, словно от мелкого щипка, испытывал Ерофеев, вспоминая иногда этот разговор, а вскоре Вера исчезла. В отделе кадров ему сказали, что она забрала документы и куда-то уехала, в общежитии тоже ничего не знали, и он, занятый делами, скоро совсем перестал о ней думать.

Сейчас, глянув на графики и диаграммы, он представил ее лишь на несколько мгновений и тут же перед глазами промелькнул нужный раздел. Вот! «Последний этап в перестройке колхозно-собственнического мировоззрения членов с/х артелей». Сразу же припомнилась и нужная фраза. Он написал фразу на бумажке и скрепкой прикрепил к найденной главе.

Хлопнула дверь, и в красный уголок вошли два чумазых литейщика в прожженных робах. Переговариваясь, они уселись на задний ряд. За ними потянулись женщины в грязных пиджаках, в кофтах, в черных от копоти косынках (спецодежда выдава-

лась только литейщикам), с неестественно темными от графита бровями и ресницами. Более чистая публика, не чета формовщикам и литейщикам, принадлежала механическому цеху, но и она могла поразить своей ветхой и грязной одеждой какого-нибудь западного борца за права человека.

Ерофеев давно привык к босяцкому виду рабочих, он и сейчас не отмечал глазами потных маек в потеках масла, лопнувших на спинах гимнастерок, штанов с бахромой и разорванных внизу полосками, дырявых пальто, обрезанных по пояс, бесформенных замызганных кепок. Да и кого могли удивить эти лохмотья, если по утрам и вечерам транспорт и улицы заполнялись людьми подобного вида.

Рабочие рассаживались молча, ни одного любознательного взгляда не обратилось к лектору, ни одного оживленного лица не повернулось, и содержание доклада и границы его откровенности большинству были тягостно ясны или безразличны.

Тем временем Ерофеев сортировал цитаты, выписанные на карточки, и укладывал их в нужном порядке. Карточки недавно были сверены в обкоме с соответствующими статьями и книгами.

Ерофеев встал, и легкий сонливый шум затих.

— Товарищи,— начал он,— вы все уже, наверное, прочитали в объявлении тему сегодняшней лекции: «Советский человек — борец за мир во всем мире». К этой теме мы обратились и еще не раз будем обращаться не случайно, борьбой за мир пронизана вся деятельность Советского государства с первых часов его существования до наших дней. Тема эта особенно — я подчеркиваю — особенно актуальна сейчас, когда американские империалисты ведут в Корее чудовищную бактериологическую войну, когда они устраивают провокацию за провокацией против народного Китая, когда они до зубов вооружили Западную Европу. История ничему не научила их, очень быстро забыли они недавний урок второй мировой войны. Товарищ Сталин на девятнадцатом съезде партии сказал...

В который раз говорил Ерофеев подобные фразы? Если бы он вел им счет, то сам давно бы сбился: на семинарах, на лекциях вроде этой, на собраниях, на экзаменах, когда учился, при защите кандидатского минимума. Сегодняшняя лекция, впрочем, как и все другие, строилась на резких противопоставлениях. Вначале он ругал империалистов вообще (они не могут жить без войн, агрессия в Корее с применением бактериологического оружия, на острове Кочжедо уничтожаются тысячи военнопленных; затем гневно прошелся по гибнущему империалистическому стану: безработица, голод, трущобы, самоубийства, бандитизм), а потом заговорил о Советском Союзе, о странах, строящих социализм, о неизбежной победе коммунизма. Таким сложным путем он, наконец, добрался до личности, указанной в названии лекции, до советского человека.

— Товарищи, вот что сказал о советском человеке товарищ Микоян: «Вы только посмотрите,— говорит товарищ Микоян,— каким гордым, каким исполненным достоинства, каким духовно красивым стал советский человек. Ему не нужно теперь унижаться перед хозяином, перед приказчиком, перед помещиком. Советская власть раскрепостила сознание миллионов трудящихся».

Ерофеев переложил карточку в кучу уже использованных цитат.

— В самом деле, товарищи, в нашем обществе нет эксплуатации человека человеком!

Здесь он снова возвратился к проклятому империализму, к недавнему газетному сообщению:

— А посмотрите, каких людей воспитывают империалисты. Недавно американские солдаты изнасиловали корейскую женщину и после этого пилой распилили ее. Каким же должно быть общество, воспитывающее таких убийц?!

При слове «изнасиловали» в группе нескольких молодых людей, среди которых выделялся парень в фетровом колпаке, произошли шевеление и шепот.

— Товарищи, даже наши немногочисленные преступные элементы, наследие прошлого, не способны представить таких злодеяний. Вам, без сомнения, памятен случай, когда группа заключенных, бывших хулиганов, обратилась в газету «Коммунист» с просьбой разрешить им поставить подписи под Стокгольмским воззванием? Чувство братской солидарности с корейским народом, чувство ответственности за мир не обошло даже временно изолированных нашим обществом граждан.

В течение пятнадцати минут Ерофеев говорил об ударном труде, о социалистическом соревновании, о моральной чистоте, о непримиримости к любым недостаткам, и все это, по его замыслу (а точнее — согласно установке), раскрывало тему лекции. Разумеется, не был забыт и личный вклад товарища Сталина в дело борьбы за мир. Еще десять минут Ерофеев отдавал дань значению «Экономических проблем» и в конце выступления объявил о великом значении сталинской книги в деле защиты мира. Он так и сказал: «У нас появилось новое могучее оружие».

— Товарищи, вопросы будут?

Обычно вопросы почти не задавались, их ставили в основном руководящие люди, начальники цехов или участков, их заместители и парторги. На этой лекции никого из них не было, и только одна пожилая женщина полюбопытствовала о бактериологической войне.

Трижды обратившись к залу: «Вопросы есть? Значит, вопросов нет? Значит, все понятно?», Ерофеев провозгласил:

— Итак, лекция закончена! До следующей встречи, товарищи!

Толпа удалялась куда оживленнее, чем входила в красный уголок,— с шуточками, с похлопыванием по ягодицам, с посвистыванием. Рабочие проходили мимо лектора, мгновенно забыв о нем, да и он сам уже не видел их, складывая бумаги в портфель.

С последних ступенек металлической лестницы Ерофеев увидел в открытые двери отъезжающую «Победу». За стеклами ее мелькнули набухший подбородок партийного секретаря, Леонида Харисанфовича, конопатая физиономия Громова, и «Победа», набрав скорость, умчалась в направлении заводских ворот. Бессмысленно бросившись ей вслед, Ерофеев больно стукнулся при выходе с взлохмаченным очкастым человеком и тут же признал в нем начальника цеха.

— Они совсем уехали?

— Совсем,— ответил начальник.— Только что забрали у меня документацию. Сходите в литейный цех, это туда, к Волге. Там парторг на месте.

Процедура подписывания путевки была формальностью, на бланке указывалось время начала лекции и ее продолжительность, но формальность формальностью, а в обкоме путевка являлась отчетным документом.

Ерофеев покачал головой — не дождались! — и зашагал в сторону далекого литейного корпуса, указанного начальником. Крыша корпуса со стеклянным, побитым кое-где фонарем густо заслонялась более мелкими постройками, стоявшими по склону выше. Ерофеев вскоре потерял ее из виду, потому что берег спускался к Волге уступами, образуя низины и гребни. К тому же весь он был завален пирамидами бревен, застроен какими-то складскими сарайчиками, мелкими мастерскими, которые заставляли то и дело сворачивать.

Небо очистилось совершенно, воздух был тих, солнце уже било вкось, почти с самой линии невидимого горизонта. Ярко освещалась им лишь самая высокая часть берега, внизу же едва намечались сумерки. В проходах среди штабелей старых шпал Ерофеев окончательно потерял направление. Он огляделся, и, как показалось ему, сверкнул за грудами всякого хлама купол знаменитой церкви, с паперти которой выступал перед народом Емельян Пугачев. Если бы Ерофеев шел правильно, эта часть города должна была оказаться слева от заводской территории, но она увиделась справа, и он повернул назад.

Шпалы, сложенные выше человеческого роста, образовывали замысловатые коридоры, не всегда геометрически правильные, иногда стенки сближались, еле пропуская человека, иногда расширялись в целые площади. Ощущая легкую панику заблудившегося в исхоженном лесу, Ерофеев уже не пытался двигаться в одном направлении, а кидался то в один сворот, то в другой, думая скорее выбраться из лабиринта, но запутываясь все более. Устремившись в очередной тупик, он увидел в пяти шагах перед собой группу людей, сидящих по обе стороны коридора на выступающих из стенок шпалах.

— Скажите, как пройти к литейному цеху? — громко спросил он, но уже в следующую секунду пожалел, что подал голос. Расположив на столе, из шпал же сложенном, нехитрую закуску — сушеных мальков (за ними недавно в очередях бились люди), хлеб, стаканы и бутылки водки,— в этом просмоленном убежище пировала шпана. «Вот черт,— подумал Ерофеев,— наверное, я проскочил в какую-нибудь дыру заводского забора».

Шпана, столь привычная взгляду горожанина и опасная даже на людных улицах, а в подобных закутках и подавно, дружно повернула головы.

Под шпаной принято понимать определенных молодых людей, и, действительно, здесь их было большинство: приблатненных, в кепках с короткими козырьками, в клешах, с фиксами, в тельняшках под распахнутыми пиджаками. Но компания не ограничивалась ими: почти на самой земле, на костыле, и рукой опираясь на перекладину другого костыля, торчащего выше головы, сидел одноногий инвалид в черном бушлате, а рядом с ним полулежала беззубая пьяная женщина, по виду — привокзальная шлюха.

Не дожидаясь ответа, Ерофеев повернулся, но успел заметить, что кто-то из сидящих, быстрый, как обезьяна, вскочил на штабеля. Оп-па! — перед ним, словно спрыгнувший с небес, очутился юный шпаненок лет тринадцати. Наступая нарочито расхлябанной походкой и растопырив руки, он сказал:

— Садись, дяденька, закуси!

Шпаненок смотрел снизу на высокого Ерофеева, и тот, бессмысленно перебегая взглядом с золотушной головы пацана на слюнявый окурок в его губах, растерянно пятился.

Страха не было, он пока еще подбирался к его душе. Два только ненадежных

способа отпускала судьба Ерофееву. Если бы он сам вывернул свои карманы, снял и отдал бы пиджак, отстегнул часы и потом стал униженно умолять не трогать его,— может быть, предварительно отдубасив, шпана бы и смилостивилась. А на второй — сшибить шпаненка и броситься бежать в надежде на свои ноги и мускулы — не был он способен.

Снова обернулся он к хулиганам и забормотал:

— Понимаете, читал я сейчас на заводе лекцию... Я из обкома партии... я преподаватель университета...

Боже! Что за лица, что за выражения на этих лицах увидел он. На одних проступило предвкушение издевательства, даже веселость проглядывала, другие же, скорчив гадкие гримасы и прищурившись, ждали какого-нибудь его слова или действия, чтобы еще больше распалить свою ярость. Приняв расслабленные позы и сознавая свою власть, вся эта городская шушера только и караулила (не повода, нет!) малейшей зацепки, чтобы броситься на беззащитного человека и утвердиться в собственной мерзости.

— Ша! — сказал инвалид.— Не горячись!

Для чего-то захотел он приостановить расправу, и Ерофееву почудилась в нем единственная поддержка.

Давно известно, относительны все наши впечатления. Если бы смотрел Ерофеев на эти физиономии из недосягаемого убежища, смешными бы показались они ему. Совершенно глупые лица с мимикой театральных злодеев, на многих угадывалось даже, что подражают они тому или иному киноактеру, «создавшему» на экране образ колоритного хулигана. Три молодых парня выглядели так, словно поспорили, кто из них будет иметь наиболее подлый вид. Фиксы, черные пиджаки и клеши, косые челки были как бы униформой, уже о многом говорившей (и юный шпаненок одет был так же), но гримасы на лицах отличались индивидуальностью. На длинном парне, сидевшем ближе всех к Ерофееву, тельняшки не было, под пиджаком открывалось грязное тело с неказистой, но густой татуировкой, лицо, которым он обладал, словно просило, чтобы назвали его лошадиным,— чрезмерно вытянутое, с длинными зубами и узеньким лбом. Но парень лица своего не стеснялся, а умышленно оттопырив вперед нижнюю челюсть, подчеркивал его лошадиность. Маленькие злые глаза сидели почти на переносице крупного горбатого носа. Двое других не были столь примечательны: один идиотски улыбался, показывая десны, второй, черненький, смотрел на Ерофеева с напускной яростью, без сомнения, полагая про себя, что взгляд его жгуч и страшен. Женщина, подперев рукой нечесаную голову, вперила в Ерофеева выцветший от водки взор.

— Подь сюда,— позвал инвалид, качнув костылем.

Ерофеев безропотно подошел.

— Рассказывай, сколько тебе лет?

— Двадцать семь...

— Не воевал с фашистской гадиной?

— Я учился...

— Не пьешь, падло?

— Не пью...

— Наверно, он и с бабами не...— хохотнула женщина.

— Тихо! — прохрипел инвалид.

Морщины его лица были сложены так, что казалось, он вот-вот рассмеется. Вглядевшись, Ерофеев обнаружил: правая часть лица представлялась смеющейся из-за отсутствия глаза, щелка между веками и порождала такое впечатление. Зато другой глаз водянисто и жестоко-пронзительно смотрел на Ерофеева из-под седой кустистой брови, ненавидя за то, что он двуглазый, что он двуногий. И еще осознал несчастный — инвалид задержкой с расправой продлевал свое удовольствие. Даже с расстояния в три шага пахло от него мочой и водкой. Вот здесь-то страх и заполнил ерофеевскую утробу.

— Тут жизнь отдаешь, под танки бросаешься, а эта гнида кровь нашу заместо водки пьет!

— Нет, нет,— заговорил Ерофеев,— нет... я кровь не пью... у меня мать-старушка... пожалейте...

Но компания обходила столик и обступала жертву. Обходила не спеша, торопиться шпане было некуда.

— Нет! Нет! — уже выл Ерофеев.— Меня знают в обкоме! Ценят! Всю милицию на ноги поднимут!

Всякий в те времена знал, даже малосмышленый ребенок, не любит шпана угроз, а тем более угроз, не обеспеченных зримой силой. Зря вырвались у Ерофеева эти слова и особенно слово «милиция». Иначе, может быть, изувечили бы его — и только...

— Сука! Мусор! — зашипела женщина.

Множество рук вцепилось в беднягу, стаскивая с него одежду. Поваленное на землю голое тело, еще сильнее сознающее от ужаса, что оно есть Ерофеев Александр Иванович, били ногами, металлическими прутьями, торцами узких шпал. Вначале он

пытался вырваться, извивался, цеплялся пальцами за штабеля, стараясь на них взобраться, но инвалид ловко перешибал суставы костылем.

Последним видением почему-то мелькнула сквозь кровавую бахрому корейская женщина, изнасилованная и распиленная, и еще услышал он слова одноногого:

— Заложим гада в шпалы и запалим, ни один хрен не докопается.

Александр Иванович Ерофеев очнулся на чем-то жестком, в полной темноте. «Не убили, значит»,— подумал он. Ожидая боли, он сел, опустил ноги с деревянной лежанки и провел по ней руками. Скорее всего, это была одна из тех тяжелых скамеек, которые стоят в залах ожидания и помечены буквами МПС. Удивительно, но боли не было. Александр Иванович сжал руки в кулаки и снова распрямил побитые накануне пальцы. Но они нисколько не болели. «Куда же девалась боль?» — вопрошал его мозг; очень отчетливо помнилось, как инвалид бил по суставам костылем, и одна фаланга, совершенно отбитая, даже повисла на кожице. Скорее всего, решил Ерофеев, я тогда, теряя сознание, бредил. Но кто его подобрал? Куда его отвезли потом? Где находится он сейчас? Слева, чуть отличимый от сплошной темноты, очевидно, на стене, светился бледный прямоугольник. Окно! Ерофеев, вытянув руку и чувствуя, как прогибаются под ногами половицы, подошел к едва тронутому светом прямоугольнику и ладонью ощутил чуть влажное прохладное стекло. Значит, где-то был выключатель. Он засеменил вдоль стены, натыкаясь на стулья и ведя по шершавым обоям, под которыми прощупывались доски, рукою. Первый шнур, задетый им, оканчивался розеткой, но зато второй вел к выключателю. Ерофеев щелкнул им и очутился в низкой комнатке, похожей на строительную конторку. У одной стены стоял деревянный диван, где он только что лежал, рядом другой, напротив — два канцелярских стола и несколько стульев, с потолка свисала не прикрытая абажуром, засиженная мухами лампочка. На столах и обоях виднелись потеки чернил, кляксы, записанные наспех телефоны и адреса. Черный телефонный аппарат, старого образца, помещался у двери на небольшой полочке, однако, когда Ерофеев снял трубку, наушник ответил могильной тишиной.

И вдруг Ерофеев, вспомнив все, вскрикнул и сел на диван. Как же могла произойти такая путаница! Ведь в *том* году, в приволжском городе, где родился он и вырос, его никто не убивал. Ведь он, Ерофеев, в 52-м уехал беспрепятственно в Москву, защитил диссертацию, потом заведовал кафедрой, стал уважаемым человеком, доктором наук, членом всевозможных обществ, депутатом Верховного Совета, у него жена Софья Абрамовна, трое детей... Потом... когда начались сильнейшие боли в почках — ему уже шел шестой десяток! — он лег в больницу. И последнее, что запомнилось ему,— длинным кафельным коридором его везли на операцию. Но при чем здесь тогда 52-й год, давно позабытый завод, нападение хулиганов? Постой, постой... Он знал отчетливо, что напали на него вчера... Как же могло так случиться? На операцию его везли в 76-м году, после Нового года, но отчего-то, проснувшись, очнувшись, он был полностью убежден, что живет в 52-м и что вчера его убили. Неужели наркоз рождает такие ясные видения? Да полно, видение ли это было? Видение — вспышка, миг, невозможно во время работать, ощущать долготу времени, думать на разные темы, вспоминать, а главное — ощущать реально миллионы житейских обстоятельств и прикосновений, которые и перечислить трудно. Но если это не было видением, то что же это такое? Нельзя, дожив до 76-го года, вдруг очутиться в 52-м году! Постойте, постойте... он даже вспоминает, как было на самом деле в том далеком дне... двадцать четыре года назад. Автомашина, действительно, его не дождалась, он пошел в литейный цех и подписал путевку. Да, подписал, в вечером позвонил ему из Москвы двоюродный брат и сообщил, что срочно надо ехать. Он уехал в тот же вечер, и потому события дня запомнились так отчетливо.

Ерофеев взглянул на окно и увидел, что оно совсем посветлело и за стеклами открылось пространство, какие-то бараки, кучи ящиков, железные и деревянные бочки. Он бросился к двери, стал дергать ручку, но дверь не поддавалась, и тогда понял причину необычайного волнения: если нападение хулиганов все-таки было бредом, не объяснимым жизненным опытом, но бредом, то как мог он после операции очутиться в этом помещении? Неужели бред продолжается? Он еще раз дернул ручку двери, еще раз послушал немую телефонную трубку, еще раз подбежал к окну и на бегу заметил на столе перекидной календарь. Он был открыт на дате 12 января 1977 года! Ерофеев скостенел. Что это такое? Время прыгнуло вперед? Ведь в январе 76-го его повезли на операцию кафельным коридором. Накануне в его отдельную палату заходила жена, а еще днем ранее сын и дочка. Неужели он снова в бреду? Но какой же это бред, если мысли трезвы и присутствует чувство времени? Ерофеев взглянул на свои руки, держащие листок перекидного календаря, и отпрянул — на них виднелись следы мазута, мазута, покрывавшего шпалы! Чертовщина! Все запутывалось... Если происшествие с хулиганами было бредом, то не мог же бред оставить на руках реальные следы? И еще 77-й год? И это помещение? Значит, он бредит и сейчас. Но можно ли в бреду так логи-

чно мыслить? Вон, на спинках стульев видны зарубки, кто-то, томясь ожиданием, словно школьник, вырезал их от безделья. Неужто они тоже видение? В углу — паутина, на стене проснулась муха и ползет к потолку, на полу видны грязные разводы, оставленные плохо отжатой тряпкой, за окном на бочке сидит воробей и чистит перья. Ерофеев потрогал себя. На нем незнакомый костюм, в карманах пусто, на подкладке, под карманом, этикетка «Красный Октябрь». Нет! Нет! Нет! Надо открыть дверь, кого-нибудь найти и все выяснить. Не сошел ли он с ума?

Дверь открывалась не вовнутрь, он зря дергал ее на себя, а наружу. Страшно было открывать ее, но еще страшнее оставаться. Строение, которое он пересекал, походило на строительные прорабские бытовки (Ерофееву приходилось в свое время выступать в таких с лекциями), коридор, с одной стороны — окна на улицу, с другой — кабинетики, подобные тому, где он только что находился. На пути Ерофееву попалась умывальня, и он подошел к зеркалу. Ну да, вот отражается он сам, лицо пятидесятилетнего человека. Костюм, правда, не его... Но сам он — весь как был, выходит, он не изменился — нелепо изменилась лишь обстановка вокруг.

Под одной из дверей Ерофеев увидел световую полоску и одновременно услышал спокойный низкий голос, говоривший что-то монотонное. Он немного приоткрыл дверь, чтобы просунуть только голову, и заглянул. В комнате, похожей на ту, из которой он только что вышел, спиной к нему, на стуле, сидел полный мужчина, а напротив, за столом,— существо с человеческой фигурой, с человеческими руками, но с кабаньей мордой и короткими рожками над ушами. Глаза у кабаньей морды были умные и добрые, собачьи. Морда говорила, обращаясь к лысому, и свиной пятачок морщился в такт словам:

— Вы совсем не чувствуете слова. Поражаюсь, как вы писали книги? В иных предложениях у вас равнозначны «душа» и «дух». А ведь есть разница даже между понятиями «нищие духом» и «духовная нищета», которые вы тоже путаете. В историческом контексте «нищие духом» означает «лишенные гордыни», но человек, лишенный гордыни, может быть как угодно духовно богат. Плохо вы знаете Библию, хотя всю жизнь с нею воевали.

— В свободное время я усиленно работаю над собой, но я устаю от всевозможных метаморфоз,— сказал лысый знакомым Ерофееву голосом.

— Но вы их заслужили,— ответила кабанья морда.— Идите, у вас мало времени.

Лысый встал со стула, повернулся и пошел к двери. Увидев Ерофеева, он кивнул, пробормотал: «Здравствуйте Александр Иванович» — и удалился коридором. Это был дальний родственник жены Ерофеева — Лурье, известный антирелигиозный деятель, автор нескольких десятков противоцерковных книг, *умерший* семь лет назад!

— Заходите, заходите, Александр Иванович,— предложила кабанья голова пораженному Ерофееву.— Садитесь, пожалуйста.

«Это бред, бред, бред,— думал Александр Иванович, усаживаясь на место Лурье,— свиная морда — не грим какой-то, а настоящая морда, никаким гримом или маской так правдоподобно не сделаешь. Но какой явственный бред!»

— Это не бред,— тут же поправила его морда.— Просто вы, Александр Иванович, умерли и теперь находитесь в аду, на том свете. Я, заметьте, пользуюсь земными терминами.

Ерофееву с того момента, как он сел на место Лурье, не стало вдруг страшно, а когда существо заговорило, вообще сделалось легко. Он даже усмехнулся.

— Напрасно смеетесь,— заметила морда,— у меня много возможностей заставить вас поверить моим словам мгновенно, но это противно нашим методам. Еще два-три таких происшествия, какие вы пережили только что в 52-м году, и насчет ада у вас исчезнут сомнения.

— Позвольте,— вмешался Ерофеев.

— Не перебивайте, я знаю, вы материалист...

Человеку-кабану не очень было удобно выговаривать слова, во время речи он приподнимал длинные губы на своей морде только с одной стороны, выпуская слова как бы вбок. Иногда губа задевала торчащий клык и задерживалась опуститься, тогда существо пальцами оттягивало ее и опускало вниз. На нем были надеты свитер и брюки, под столом иногда барабанили в такт разговору раздвоенные копытца, качался хвост с кисточкой на конце.

— Вы материалист,— продолжало существо,— и у вас появится ко мне множество вопросов. На некоторые, экономя время, я отвечу сразу. Как очутились вы в пятьдесят втором году и, более того, были там убиты? Вы, естественно, умерли в семьдесят шестом, после неудачной операции, и ваша душа оказалась в наших руках. Я — падший ангел, если хотите — дьявол, много тысячелетий назад я совершил преступление, с земной точки зрения пустяковое, и Господь направил меня сюда работать, говоря вашими словами, в один из отделов; его можно назвать, опять же прибегая к земным терминам, идеологическим. Исправление душ основывается на следующем: если бы любой человек знал земную жизнь глубже, он уже на земле исправился бы сам по себе

душой. Но скоротечность жизни не всякому уму дает постигнуть себя. Из-за этого мы вынуждены как бы продлить жизнь человека и выборочно помещаем его в различные периоды прожитой жизни. Это один из приемов, есть и другие; вас, например, мы отправили вчера на один день в 52-й год.

— Но...

— Вы хотите сказать, что в заправдашном 52-м вас никто не убивал? Не убивал, но *мог бы* убить. Вы действительно тогда чуть-чуть не прошли через дыру в заборе и чуть не натолкнулись на хулиганов. В тот раз хулиганы убили другого человека, не вас. Но *могли бы* и вас.

— Вы хотите спросить,— бес наполнил стакан из графина и выпил, как лекарство, запрокинув голову,— за что вас убивать? За что вас мучить? Вы вроде бы зла не творили, да мы и не караем души за измену, скажем, жене или за пьянство. Мы вынуждены заниматься вашей душой из-за общественной лжи, лжи, предназначенной обществу. Это большее преступление.

Бес встал, прошелся по комнате и почесал большим пальцем пятачок.

— Вы лгали всю жизнь или повторяли чужую ложь, а это то же самое. Почему мы наказываем вас, в частности, за ту лекцию в красном уголке механического цеха? В половину вами сказанного, кроме нескольких наивных женщин и подростков, никто не поверил. Не поверили, когда вы расписывали прекрасную жизнь советских людей, но про империалистов поверили полностью. Поверили и в зверское убийство кореянки.

— Но...

— Из-за того, что ложь была напечатана в газетах, она не сделалась правдой. На самом деле с женщиной расправились местные корейские бандиты. Но эти подробности нам сейчас не нужны. Мы заставили и заставим вас мучиться за ту половину лекции, где вам не верили, и за ту, где вам не верили. Ибо ваша ложь если и не убивала правды, то отнимала у нее время. Учтите, вам теперь придется попадать в ситуации, напоминающие вчерашнюю, бесчисленное множество раз. Ваша душа сможет очиститься, если ответит за каждое слово лжи. А времени у вас — вечность, времени хватит.

— Но...

— Вас интересуют, так сказать, технические подробности, как все это делается? Этого вам не понять. Можете думать, что вы находитесь на какой-нибудь земной пылинке или как угодно далеко от земли.

Продолжая говорить, бес приблизился к Ерофееву, взял его под руку и повел сквозь коридор на улицу.

— Идемте, идемте, я познакомлю вас с нашим хозяйством, чтобы окончательно прояснить окружающее. Вас удивляет барак, строительный пейзаж, бочки за окном. Это делается для того, дабы слишком не травмировать души. Строительный мусор, битый кирпич, разбросанная тара привычны всякому русскому человеку и не вызывают шока. В редких случаях мы меняем декорации.

Ерофеев шел, ведомый ловкой бесовской рукой, и, наверное, какое-то невидимое воздействие все-таки на него оказывалось, потому что не было ни боязни, ни сожаления о прошлом, ни сомнений, и все рассказываемое запоминалось дословно.

Бес виртуозно направлял его тело, помогая обходить растворные узлы, компрессоры, подъемники и кучи схватившегося раствора.

— Несколько столетий назад мы применяли другие ситуации и другой пейзаж. Мы порою пользовались и котлами со смолой, и серными испарениями. Святые апостолы не лгут, они просто описывали божественные видения языком своего времени, они-то были сыновьями эпохи, в которой жили. Они говорили так, как понимали, да и в противном случае их не поняли бы современники.

Они вышли на людную, вполне современную улицу, наполненную говором и гулом автомобилей. Однако здания, толпа и транспорт то и дело меняли свой облик в глазах Ерофеева. Иные здания становились то розовыми, то красными, то желтыми, громадные небоскребы временами беззвучно оседали, превращаясь в мелкие дома, потом снова вырастали до небес, да и само небо ежесекундно принимало всевозможные оттенки, начиная от бесцветного северного до темно-синего южного.

— Каждая фигура здесь — душа,— объяснял бес,— и всякой душе окружающая обстановка представляется такой, какую выбираем мы. Вас убили вчера вон за тем домом, но вам чудилось, что вы находитесь на территории завода, на берегу Волги. Мы применяем наказания с определенной частотой, впутываем объект в историю, подобную вашему убийству, а потом даем время поразмыслить, полностью возвращая память. Вы, например, хвалили душевную чистоту советского человека, даже советского уголовника, и те же уголовники с вами разделались. Теперь вы можете порассуждать. Давайте проследим за некоторыми душами, здесь скрещиваются презабавнейшие судьбы. Вот, видите, видите? Это бежит журналист-международник, он умер в прошлом году.

Действительно, вдоль стен мчался полный седой мужчина, он резко останавливался, прятался за выступы зданий, пригибался и оглядывался.

— Ему приходится очень туго,— вздохнул бес,— видите ли, ситуация примерно такая: неделю назад он с семьей как бы выехал в Америку, в США, и стал посылать в советские газеты страшные статьи о повальном гангстеризме, о тотальных грабежах, убийствах, то есть занялся тем, чем занимался всю сознательную жизнь. Он писал, писал, и вдруг обнаружилось, что он ничуть не лжет, что все написанное — правда. За ним стали охотиться гангстеры, похищать его детей, по три раза в день насиловать его жену. Вы помните, сколь реальной была обстановка, когда вы искали литейный цех? Он пребывает в такой же реальности, не помня, что в жизни происходило иначе. В бесчисленных происшествиях с вами вы тоже никогда не будете догадываться, что все подстроено.

Журналист-международник со стеклянными от ужаса глазами вскрикнул и метнулся в подворотню.

— Там его сейчас убьют американцы итальянского происхождения. Вам, Александр Иванович, на первый раз повезло. Шпана разделалась с вами за полчаса, а журналист страдает уже пять дней. Скоро он придет со мной побеседовать и поделиться впечатлениями. Ему достается поделом, он у многих людей создал впечатление о Соединенных Штатах, об Англии и ряде других государств как о сплошном ужасе.

— Но журналист лгал и не верил в свою ложь, а я лгал с чужих слов и верил,— возразил Ерофеев.

— Э-э-э,— бес поднял палец,— только уж здесь не врите, иначе вы безмерно усугубите свою вину. Вы говорили о достоинстве советского человека, о процветании страны, о критике снизу доверху. И в то же время вспомните свою реакцию в момент ареста Прегера или как вы не пожелали говорить с Верой о состоянии сельского хозяйства? Помните? Нет, батенька, вы знали и про необоснованные аресты, и про голод в деревне (это Вера посчитала вас наивным), и многое-многое вы знали. Другое дело — вам выгодно было даже себе не признаваться, что вы знаете. А?

Бес не закончил своей мысли, он увидел нового человека и дернул Ерофеева за рукав.

— Глядите, этот взлохмаченный и небритый тип — один из поборников новой социалистической морали. Газеты, журналы и радиопередачи он заполнял высказываниями о нравственной чистоте, клеймил прогульщиков, пьяниц и многоженцев, но сам был алкоголиком, вымогателем и бабником. Сейчас он долго живет в обществе, за которое ратовал, среди трезвенников, нравственных и честных людей. Он пристает к женщинам — и получает пощечины, пытается хапнуть взятку — и его, стыдя, выгоняют с работы. Последим за ним немного, сейчас он направляется в магазин за водкой.

Небритый тип вошел в гастроном, выбил чек и стал протискиваться к прилавку. Едва он протянул продавщице чек и сказал: «Бутылку!», вокруг возникло возмущение:

— Вы только посмотрите, на кого он похож?!

— Он погубит себя алкоголем!

— Ни в коем случае не давайте ему спиртное!

Разочарованного моралиста под руки вывели из магазина.

Тем временем у другого прилавка возникла толчея, перебранка на многих иностранных языках, даже оскорбления. Люди, давя друг друга, стремились пробиться вперед.

— Это в прошлом так называемые прогрессивные западные журналисты. Для своих народов они всячески расхваливали жизнь в Советском Союзе, и теперь мы поместили их в русский провинциальный городишко с обычным снабжением: три четверти своего времени они простаивают в очередях за овощами и крупами. Я поражаюсь наивности многих людей. Они на земле даже не догадываются, что отвечать придется за все, за каждый подлый поступок. Вы хотите спросить, отчего Господь Своей властью не пресекает подлость на земле? Людям Он отпустил определенную свободу действий, и если слишком ее ограничить, жизнь превратится в схему и перестанет быть разумной жизнью.

Величественный мужчина, весь в синяках и ссадинах, тоже привлек внимание служителя ада:

— Очень не идут ему синяки, не так ли? Сей деятель на земле числился поэтом, многократным лауреатом всяческих внутригосударственных премий. У него было столько званий, что их количество выходило за границы приличий. Он много писал о партии, о народе и, пользуясь должностями, душил проявления настоящей поэзии и свежей мысли, он испортил жизнь сотням даровитых авторов и при этом любил на Пушкинские дни отправляться в Михайловское и выступать с публичными речами о великом поэте. В аду мы ничего не стали менять в его занятиях, но с единственной поправкой. В кульминационный момент его выступления, когда он превозносит солнце русской поэзии, из кустов выскакивает Александр Сергеевич и до полусмерти избивает его тростью. Впрочем, случай не единичный. Смотрите, за лжепоэтом следует целая вереница побитых советских писателей, многих вы знаете, если не лично, то в лицо. Им не повезло еще более, каждого из них избивают ежедневно несколько русских классиков, а некоторых колотят представители всей мировой литературы, включая слепого Гомера. Классики — люди тонкие, занятия подобного рода им чужды, но иного способа наказать негодяев они не видят.

Бес говорил безостановочно, он едва успевал охарактеризовать в толпе то или иное лицо.

— Вы не забыли, Александр Иванович, что отдел наш строго идеологический — убийцами, мучителями, экономическими мошенниками занимаются мои коллеги в других отделах... Иногда попадаются преступники смешанного типа, и тогда мы разрабатываем наказания коллегиально. Но, впрочем, я отвлекаюсь. Видите большую толпу — это идут поэты-песенники, бодрячки, которые никогда не видели ни тундры, ни тайги, никогда по-тяжелому не работали, не держали в руках даже молотка, но восхваляли труд в самых наипакостнейших условиях. Теперь им приходится с утра и до вечера вкалывать в шахтах и на лесоповалах, замерзать за полярным кругом или тонуть в штормовом море. Среди них выделяется пропагандистский работник, которому пришла в голову мысль взять на вооружение песенные слова, чтобы люди работали «за себя и за того парня». У нас этот работник трудится и за себя и за того парня, но на дядю, поскольку не получает ни копейки. Посмотрите, как он похудел, скелет и только. Мне кажется, автора слов ждет более страшная кара. К бодрячкам за чужой счет примыкают авторы изобразительной продукции, вот тот напуганный скульптор еженощно переживает встречи со своими произведениями: каждую ночь бронзовые, мраморные, гранитные и гипсовые Ильичи спрыгивают с пьедесталов, долго за ним гонятся и забивают насмерть бронзовыми, мраморными и гипсовыми кепками. Иногда, правда, они ограничиваются одной погоней. Вы вспоминаете «Медного всадника»? В жизни скульптор без стеснения заявлял, что все свое творчество посвятил разработке образа вождя, он сделал на этом карьеру и обрел богатства, достойные миллионера. Следующая изнуренная и замученная группа — кинематографисты, наиболее истощены из них прославившие в своих лентах органы государственной безопасности. У нас ими занимаются те же органы сталинского периода.

Бес говорил, говорил, говорил, и Ерофеев словно погружался в сон. Говор перешел в бормотание, затем из него стали вырастать слова какой-то песни, вокруг зашелестели знамена, заиграли оркестры. Александр Иванович снова был преподавателем университета, снова шел в толпе сослуживцев, а вокруг гудело и пело Первое мая 1952 года, впереди с высокой палкой в руках, увенчанной портретом Молотова, одиноко вышагивал Прегер. Ерофеев ничего уже не знал о будущем, он помнил лишь о том, что случилось с ним до этого первого мая, и размышлял, куда же уехала Вера? Студенты голосили «Соловья-пташечку», мальчишки бросали раскидаи, а раскрытом окне какой-то пьяный залихвасто играл на гармошке. Перед глазами Ерофеева маячила жирная шея Прегера в толстых складках.

В колонну, словно желая перебраться на другую сторону улицы, вошли двое в габардиновых макинтошах и черных шляпах.

— Ерофеев Александр Иванович?

— Да...

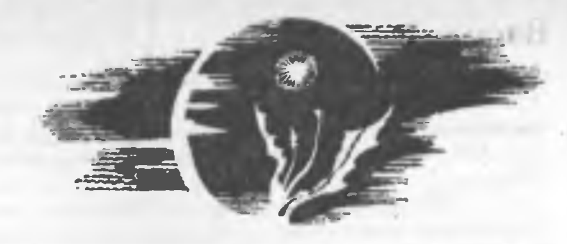
— Пройдемте с нами.

— Куда... и зачем?

— Пройдемте, вам говорят!

1978 г.

Елена
ШВАРЦ



◆◆◆

Земля, земля, ты ешь людей,
Рождая им взамен
Кастальский ключ, гвоздики луч,
И камень, и сирень.
Земля, ты чавкаешь во тьме,
Коснеешь и растешь
И тихо вертишь на уме,
Что всех переживешь.
Ну что же — рвдуйся! Пои
Всех черным молоком.
Ты разлилась в моей крови,
Скрипишь под языком.
О древняя змея! Траву
Ты кормишь, куст в цвету,
А тем, кто ходит по тебе,
Втираешь тлен в пяту.

1981

Детский сад через тридцать лет

За Балтийским вокзалом косматое поле
лежит,
Будто город сам от себя бежит,
Будто здесь его горе настигло, болезнь,
Переломился, и в язвах весь.
Производит завод мясокостную
жирную пыль,
Пудрит ею бурьян и ковыль,
Петроградскую флору.
И кожевенный там же завод и пруд,
Спины в нем табунов гниют.
Ржавые зубы кривые растут из бугров,
Изо ртов больших тракторов.
Кажется: будет —
Народятся из них новые люди
И пойдут на Исакий войной, волной,
Вой-не-вой — все затопят.
Если птица здесь пролетает, то стонет,
Глаза закрывает, крылом эти пустоши
гонит.
Там же и раскольничье кладбище
дремлет,
Сломана ограда и земля ест землю.
Здесь же детский мой садик.
Здесь я увидела первый снег
И узнала, что носит кровь в себе человек,
Когда пальчик иглою мне врач
окровянил.
Ах, за что же, Господи, так меня ранил?
Детский садик, адик, раек, садок
Питерской травки живучей таит пучок.
В полночь ухает не сова, не бес —
старый раскольник растет в армяке
до небес.
Он имеет силу, он имеет власть
Ржавые болезни еще раз проклясть.
Из муки мясокостной печет каравай
Красного хлеба, и птицам крошит.
Он зовет Императора биться на топорах
До первой смерти и новой пороши.
Он берет из прудов черные кожи
И хлещет воздух по роже,
И пускает их по небу, как тучи,
Весть нести —
Город, как туша, разделан,
У дикой тоски в горсти.
Так человек в середине жизни
Понимает — не что́ он, а где он.
Труб фабричных воет контральто,
И раскольник крестится под асфальтом.
И за то, что здесь был мой детский рай,
И за то, что здесь Ты сказал: играй,
И за то, что одуванчик на могилах рвала
И честно веселой, счастливой была,
О дай мне за это Твою же власть
и Тебя, и детство свое проклясть.

1986

Василий
АКСЕНОВ

СЕРАФИМ ВТОРОЙ, ПАДШИЙ

Рассказ

Был у Марьи Митривны и Егора Гаврилыча Солончаковых баран в хозяйстве их немалом. Чудной был баран, сказать надо, точнее: чудаковатый. Со стадом овечьим дел не имел, жил отщепенцем, с сородичами своими не знаясь. В тридцатые годы такому лютому единоличнику Игарки было бы не избежать, «как пить дать, верно дак уж верно»,— так говорили про него в Ялани.

Выхолостили барана хозяева молоденьким, на мясо проча. Однако проку из него не вышло. Выглядел баран чрезмерно тощим, да и был таким, а на шкуре его висело больше грязи и репья, нежели шерсти. Всякий раз, когда приходило время забивать скотину, ощупывал Егор Гаврилыч бока рогатого чуда, беззлобно обзывал его коцеем и оставлял в живых до следующей осени, таким вот образом и дотянул баран до средних лет бараньих.

Прозвали его в Ялани Серафимом Вторым — в память о сгоревшем года три назад от водки Серафиме Павловиче Дуракове, после кончины причисленного к лику иланских святых. Говорят разное, когда и с чьей легкой помощи Серафим Второй пристрастился к спиртному. Большинство соглашается с тем, что случилось это за несколько дней до смерти Серафима Павловича, в Пасху, и при содействии Чекунова Кости да товарища его Носкова Гришки. Ну, а было это будто так:

Празднуя как-то на природе Христов день, Костя и Гришка поверх водки пили медовуху. Земля толком к той поре еще, похоже, не прогрелась, и возлежать на ней друзьям скоро стало невмоготу. Покидая полянку, они поймали за рога гуляющего, как на грех, рядом Серафима Второго, имени этого тогда еще не носившего, и влили ему в глотку остатки хмельного. На Девятое мая на том же самом месте, куда случай — или «дурная тяга»? — снова привели барана, они повторили злодейство. Так оно было или нет, сказать с уверенностью трудно, тем более, что Костя и Гришка без какой-либо фальши в голосе отнекиваются, божатся и припоминают тот праздник иначе, а именно:

Полянка представляла собой маленькую, мол, проталинку. Снег вокруг полянки был настолько, дескать, глубок, что пробирались они туда с двумя бутылками водки, ведром медовухи да с рюкзаком закуски по-пластунски и не менее трех часов. По-пластунски, говорят, и выбирались. А проталинка, мол, оказалась до того «махонькой», что не то что барана приглашать, но и рюкзак-то негде было поставить, рюкзак и тот, дескать, пришлось держать на коленях. Да и вообще, насколько хватало их взора, нигде никакой скотины не наблюдалось. а вся эта скотина, на то уж коль пошло, сидела еще по дворам да завозням и «носу на улицу не казала».

По Марьи Митривны словам, все выходило по-другому:

Василий Иванович Аксенов родился в 1953 г. в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского университета, работал дворником, лесником, пожарником; в настоящее время работает по договору в издательстве «Советский писатель». Публиковался в коллективном сборнике «Круг» (1985); издательством «Советский писатель» на 1990 г. запланирована книга его прозы.

Весна того года выдалась ранняя, а Пасха — поздняя. Снега уж и к Вербному воскресенью не было не только на полянах, но и в тайге, где уж вовсю цвели медунки, так что скотина — в том числе и молоденький, глупый тогда еще баран — паслась как раз там, где «гарцевали» Костя с Гришкой.

Зрелых свидетелей преступления, кроме малолетних ребятишек, только и способных все напутать или просто-напросто выдумать, не нашлось, да и не могло найтись, так как все были заняты по избам застольными интересами, как, кстати, и сама Марья Митривна, а потому и следствию конец, тем паче, что потерпевшему от этого — определись виновный или нет — легче не стало бы.

Добавить надо только то, что некоторые яланцы до сих пор убеждены, что пристрастие к алкоголю у Серафима Второго было в крови и когда-нибудь так или иначе бы да проявилось, и неизвестно, говорят яланцы, убежденные на этот лад, что сталось бы с любым другим бараном, позволь ему долго жить или хоть раз преподнеси ему чеклашку водки, про медовуху уж и не толкуя.

Напивался с того злополучного момента Серафим Второй часто и, «подфартит когда», мертвецки, потешая яланских пацанов и мужиков, а баб вводя в отчаяние. Поглазеть на барана-алкоголика приезжали люди и из соседних сел, а уж из города — оттуда целыми экскурсиями. Ну так вот, в то время, когда все овечье стадо щипало по косогорам траву, нагуливая вес, Серафим Второй околачивался возле Пятачка — места сельского общения, или у конюховки, где мужиками раскуривалось и распивалось. Приблизившись к гуляющим, он сипло блеял, стараясь обратить к себе их внимание. Захмелевшие мужики искренне радовались его приходу, отыскивали пустую широкогорлую посудину и наливали ему по-братски. Серафим, не суетясь, выхлебывал налитое и закусывал исключительно папиросами, предпочитая «Беломор». Измусолив и проглотив пачку, подобрав отвислыми губами рассыпавшийся табак, он отходил, покачиваясь, в сторону и ложился в тенечке, чтобы не мешать разговору. Продолжая бражничать, мужики наведывались к нему изредка, толкали его ногой и спрашивали:

— Эй, морда! Серафим! Не хочешь треснуть, а? А если хочешь, дак вставай, смотри, проспишь, кого там... мало.

Если хотел, мало того, мог если, Серафим приподнимался сначала на задние ноги, смотрел стеклянными глазами, вставал на передние и плелся за пригласившим. А выпить Серафим Второй мог не меньше любого мужика, не меньше и своего покойного тезки.

Мальчишки веселья ради воровали дома бражку и спаивали Серафима до рвоты, после чего он — не евши, не пивши — дня три-четыре отлеживался в репейнике или в крапиве. Потеряв и отыскав, набегавшись, питомца своего, Марья Митривна накидывала на его рога веревку и по грязи или пыли, а то и по снегу, почти волоком тащила полутрезвого к себе на двор. Неделю-две после привода сидел Серафим в хлеву — в «отрезвителе», как говорил Егор Гаврилыч,— томясь от вынужденного воздержания. Но, то ли сжалившись, то ли побаиваясь, что узник сломает дверь или захлестнется об стену, Марья Митривна его выпускала, надеясь втайне, может быть, что тот образумится.

— Беги, беги, сдрешной! — говорила вслед ему Марья Митривна.— Может, допьешься — свернешь где-нибудь башку-то или сдохнешь, как Серафим Павлович, покойничек. Какой хозяин, такая и скотина... правду ведь люди толкуют,— добавляла она.

Смерть всегда выждет случай или все случайности сведет к одному:

Меньшиков Семен на летней кухне варил медовуху. Серафим Второй тем временем отдыхал на берегу Куртюмки в зарослях лебеды. Уловив принесенный утренним ветерком запах варева, Серафим встрепенулся, мотнул головой, вытряхнув из нее сон, поводил носом, сорвался с места и посеменил к Семеновой постройке. Подбежав к забору и уткнувшись в него лбом, заблеял сипло.

— Тут как тут! — увидев гостя в щель между заборинами, сказал Семен.— Нюх у тебя, парень, как у моей Марфы. Нет ничего. Проваливай. А? Че ты там?.. Парная еще эта, не созрела, с нее и толку никакого, другой, прости уж, нет, не припасли.

Но убедить Серафима оказалось не так-то просто. Заборины едва держались.

— Во, нахалюга! — сказал Семен.— По-русски говорю же: нет! Че если было бы, дак жалко, че ли! А-а, подожди-ка,— заглянул Семен в приготовленную для свежей медовухи флягу, поднял ее, побултыхал и вылил в ведро старую гущу, затем переставил ведро через забор и сказал:

— На, морда, жри! Гущей и закусишь, не барин, нечего мне подавать... Как-то не выплеснул еще.

Знать бы Семену наперед, к чему приведет его щедрость, не взял бы греха на душу, да «ведь не знатьё же», как объяснил он вечером того же дня жене своей Марфе, на что ответила та:

— Как был дураком, так им и умрешь, наверно, и на могиле на твоей напишут: мол, дурак лежит тут, люди, плюньте! Делают другие — пусть делают, а ты от греха подальше. Еще ляпни где-нибудь — ума-то хватит,— что гущей ты его поил. Марья узнает, совсем со свету сживет. Так-то все проходу не дает, чуть че, так и вспомнит, как вы с Костей тогда, огород ее с конюховским двором перепутав, всю картошку у нее поистоптали. Мало тебе, дурак?

А Серафим выхлебал то, что удружил ему Семен, постоял еще, покашлял, пока угостивший его хозяин, перегнувшись через забор, брал ведро и уходил к плите, затем, бодая землю, побрел к своему лежбищу. Но подремать ему не довелось: досаждали мухи и слепни, приставали нахальные сороки, да стрекотал занудно под самым ухом кузнечик. Серафим поднялся, покинул лебеду, перешел вброд Куртюмку и направился к Пятачку.

А там, на Пятачке, с утра до вечера последние предсенокосные дни канителились мужики. И среди них — не на лавочке и не на чурке, а на корточках,— покачиваясь и изредка упираясь рукой в полянку, пребывал на этот раз Чекунов Константин. Покачивался он потому, что был не просто навеселе, а в великом восторге. Навеселе Константин мог застыть и не колыхнуться в таком положении часа на два — на три и в свое время пересиживал так привычного ко всему китайца Ваню Ма, у которого, вероятно, и выучился по-соседски отдыхать подобным образом, выучился и превзошел учителя. Ни к слову сказать, знаменит Костя еще и таким случаем. Сидел он как-то так же — в позе этой и в таком же состоянии — у конюховки. Подчалил к нему сзади здоровенный бригадирский пес по кличке Гитлер и, безразлично скосив глаза на мужиков, расписался на Костином выходном, черного сукна, пиджаке. После этого с год, наверное, приставал Костя к бригадиру с тем, чтобы тот возместил ему порчу, так как ходить и пахнуть гитлеризмом он не может, а, дескать, дух его ничем не извести, но бригадир ловко при этом выкручивался, говоря, мол, что не он же нанес эту порчу, а Гитлер, с него, мол, и спрашивай. А с Гитлера какой спрос. Тогда Костя публично пригрозил бригадиру, что он, Константин Чекунов, гадом будет, но избавит Ялань и всех добрых людей от этого фашиста, однако по отходчивости и мягкости своего характера угрозу так пока и не осуществил.

И вот (все к одному: не сиди на Пятачке Константин в таком положении и состоянии, не подоспей сюда к этому времени и в таком расположении духа Серафим Второй — никто не знает, как сложилась бы его, то есть барана, дальнейшая судьба) обошел Серафим большую лужу и предстал перед обществом. Собравшиеся, поприветствовав его, забыли о нем скоро, а тот, кто и держал его в поле зрения, не придавал значения его странным наклонам головы и перебиранию ногами: дескать, подвыпивши баран, ну так и пусть себе куражится. Но тут — и кто бы мог подумать! — закончив прицел и примерку да нащупав опору, Серафим стартовал, набрал возможную для него скорость и боданул Чекунова Константина Савельича в спину. Сбив с чурки зятя своего, пчеловода Треклятова Прокопия, Костя вытянулся среди харчков и окурков, не более как через минуту резво, словно отпружинив, вскочил, сообразил, в чем дело, и, подбежав к застывшему как памятник барану, ударил сапогом его под бок, да раз, да другой, после чего «памятник» и опрокинулся вверх копытами. Ухватив падшего Серафима за рога, Костя потащил его в грязь, где и натыкал мордой, потом уж только — под гром попадавших со смеха с чурок мужиков — так высказался:

— Пьянь! Ну, выродок, в овечку-мать!

Тем же днем в самый жаркий час у конюховки, куда он кое-как доковылял, Серафим Второй, вздохнув тоскливо, себя яланцам долго помнить приказал. Так и лежал он — одним глазом, запечатанным грязью, к земле, другим, открытым,— к белесому небу. Мухи облепили его многочисленные ссадины и гнойное веко. Сороки и вороны, рассевшись по забору и столбам и скребя своими клювами, были готовы справить по нему поминки — покойный, часто их катая на спине, при жизни снисходительно к ним относился.

Вечером Егор Гаврилыч и Марья Митривна, погрузив труп Серафима на телегу и прикрыв холстиной, повезли его в ельник. Переезжая Куртюмку, Марья Митривна, ткнув мужа в спину и указав на заросли лебеды, спросила:

— Кто это?
— Где? — спросил Егор Гаврилыч.
— А евон.
— А-а.
— Дак, кто?
— Да Костя.
— У-у, выродок, у-у, пьянь,— сказала Марья Митривна, погрозив лежащему в лебеде.

Телега, поскрипывая, вкатилась в гору, миновала дом Меньшикова Семена и скрылась в ельнике.

Игорь АДАМАЦКИЙ

ИЗ ЦИКЛА «ПРИТЧУДЫ»

СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь граничила с чудом, чудо граничило с абсурдом, абсурд граничил с бредом, бред перетекал в жизнь, и этот импульс мог бежать бесконечно, как сигнал в кольцеобразно замкнутой нервной системе медицинской пиявки.

Он родился перед войной и потому младенцем счастливо избежал родовой травмы, синдрома социального испуга, гепатита, абсцессов, пищевых и экологических отравлений и благополучно прошел этапы свинки и краснухи. Когда его принимали в пионеры, ему рассказали о героической гибели Павлика Морозова, убитого злодейской рукой дяди-кулака с помощью традиционного народного топора. Чуть позже он верил в Чапаева, Ворошилова, Чкалова, папанинцев. Ему хотелось стать моряком или разведчиком, но почему-то

Игорь Алексеевич Адамацкий родился в Ленинграде в 1937 г. Окончил филологический факультет ЛГУ, работал на заводах; в настоящее время — учитель литературы в школе. Публиковался в коллективном сборнике «Круг» (1985) и в журнале «Киносценарии» (1989).

никогда не хотелось стать Лениным или Сталиным, и за свою жизнь он не встречал людей, которым хотелось бы стать Павликами Морозовыми.

Он читал книги, но они ни о чем не спрашивали, так как отвечали на свои собственные вопросы, которые им никто не ставил. Он не умел воодушевляться и потому был равнодушен к праздникам трудовых будней освоителей целинных земель и строителей сверхдлинных магистралей. Он пытался искать смысл и понял, что там, где ищет, смысла нет, а где смысл может быть, ему не дадут искать. Разливанное море пошлости затопляло все: образование, науку, производство, политику, искусство. Среди мастеров всеобщей пошлости были свои гении и дилетанты. Гении пошлости получали дополнительную пайку, дилетанты упивались перспективами. Он жил пошлостью, дышал ее воздухом, чувствовал ее чувствами. Исследовать пошлость было невозможно, для этого требовалась иная, не пошлая жизнь. Так, лучшими теоретиками полета являются не птицы, которые летают, а люди, которые не летают. Он утешал себя, что он — Робинзон, и следует перетерпеть, завести козу, Пятницу и ждать брига избавления, но и сама эта надежда была надеждой пошляков.

Жизнь граничила с чудом, чудо — с удивлением, удивление — с непрестанным ожиданием, ожидание — с согласием, согласие — с лицемерием, лицемерие — с ложью, ложь пропитывалась пошлостью и втекала в жизнь, и все это длилось бесконечно, как сигнал в замкнутой системе нервов медицинской пиявки.

Так живет скучный человек, и когда умрет, его скучная жизнь будет продолжаться без него, потому что она неизменна, спонтанна, неисчерпаема и неистребима вплоть до второго пришествия. А там — Суд.

УЛОВКИ БЕСА

Сатана обычно не является по пустякам. Он приходит, как удар колокола, издалека и трагическим выбором: победить или погибнуть. Направленные к нему обвинения и мольбы обычно не достигают его слуха. Горной вершине безразличны долинные дожди.

Иное дело — несметная рать бесов. Сатана один, а бесов много. Но их значительно меньше, чем людей, и бесы с людьми составляют пропорцию один к тысяче. Но и в этом случае не всякий бес станет заниматься тысячей гуманоидов, но выбирает достойных, как партнеров по теннису.

Сатану я не хотел бы встретить ни в полдень, ни в полночь. Он не по моей святости, ему со мной скучно, но бесовские уловки мне знакомы.

Это напоминало игру в кошки-мышки в лабиринте, выходы из которого тебе неизвестны. Но они неизвестны и бесу.

Сначала неделя за неделей у тебя создается замкнутая ситуация, откуда все-таки нужно выбираться. Ты бросаешься к одному выходу — он закрыт спиной беса, и в лунном свете блестит короткая, черного лоска шерсть. Ты стремишься к другому выходу — перед тобой все рушится. Ты проскальзываешь к третьему — и там замечаешь тень бесовской ладони. Самое важное — перестать суетиться, попытаться успокоиться. Расслабить мускулатуру, уровнять дыхание, обострить и утоньшить слух, зрение, обоняние. Этим промедлением можно вывести беса из равновесия, заставить его проявить себя. Обычно он занимает место у наилучшего выхода, но думает, что ты знаешь, где находится он, бес, и бросишься к другому выходу. И бес готовится мгновенно переместиться туда. В этом случае можно сделать обманное движение, бросить ботинок, и как только бес метнется, ты выскальзываешь из лабиринта.

Мастерски сыгранная партия доставляет удовольствие обоим партнерам, и если это удалось, ты можешь надеяться, что бес не оставит тебя без внимания.

Конечно, всегда есть аварийный выход — положиться на волю и милость Господа нашего, но ведь Он дал нам душу и разум, чтобы мы научились ими пользоваться.

Бесы стареют вместе с людьми, и тогда лабиринтные игры все более приобретают не реальный, бытийный характер, а воображаемый, философ-

ский, и это еще увлекательнее. И в конце концов ты с удивлением замечаешь, что все чаще инициатива оказывается в твоих руках, что именно ты начинаешь игру и примериваешься закрыть спиной выход для беса.

К чести беса следует заметить, что и он играет с закрытыми глазами. И у него есть аварийный выход — воззвать к Сатане, но я не помню случая, чтобы бес этим воспользовался.

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА

Профессор филологии Сенлуисского университета приехал с женой. Сначала они прилетели в Мюнхен, оттуда в Хельсинки. Финские транспортники бастовали, и связь с Россией временно прервалась.

Профессора доставил веселый полицейский на велосипеде с тележкой. Профессор сидел на багажнике, а жена профессора на тележке. Они смотрели по сторонам, ожидая встречи с таинственной славянской душой. Полицейский, хорошо знавший местность, высадил их на углу широкой улицы и сказал:

— Ит из Невский стрит. Кам элонг.

Так профессор оказался в России, где его ожидали на обусловленную встречу четырнадцать загадочных славянских душ. Из них трое были славяне, остальные — мутанты. Они собрались на чердаке разваливающегося дома. Было жарко и дымно. Многие курили, волнуясь.

Профессор вытащил бутылку водки. На нее замахали, опасаясь преследований. Профессор, удивляясь, убрал бутылку в портфель, который не выпускала из рук жена профессора, боясь одесских воров.

Четырнадцать приготовились навести мосты дружбы. Одни числили себя литераторами, вторые намеревались стать ими, третьи были ими когда-то, но запамятовали, как это делается, и хотели освежить с помощью профессора. Четвертые привыкли общаться, потому что от иностранцев о себе узнаешь больше, чем сам знаешь. Пятые пришли, потому что в этот вечер им некуда было деться. Шестые — потому, что их позвали, и они хотели узнать — зачем. Седьмые вспоминали прежние сувениры. Восьмые случайно. Девятые по причинам, о которых умолчали, десятые — по соображениям высокого порядка, а одиннадцатые — по соображениям низкого свойства...

Скинулись на чай, смотались за чаем, вскипятили чай, стали друг у друга отнимать заварной чайник. Отовсюду слышались настойчивые смущенные голоса: «И мне, плииз, и мне, плииз, и мне». Это веселило. Затем половина из них облепила профессора и шепотом, по-английски предлагала навести мосты или, по крайней мере, понтоны. Профессор плохо понимал, что происходит, но соглашался на паром, чтобы в случае изменения международного климата сказать: «Сорри, паромщик тю-тю, фюить!»

Те, кто не поместился на профессоре, облепил его жену, но она крепко прижимала к коленям портфель с водкой и тоже соглашалась только на паром.

Время от времени все разом умолкали и прислушивались, не раздадутся ли на лестнице крадущиеся шаги репрессивных органов. Но в окно доносился лишь сладострастный вой насилуемых кошек. При этом жена профессора заталкивала портфель под стул, загораживала ногами и смотрела в угол.

Профессор был голоден и серьезен. Он с вожделением и страхом рассматривал плесневелые пряники в вазочке на столе и думал, что он еще не готов ко встрече с этой страной.

Проблемы прото-, про- и метаславянизма теперь мало волновали профессора, и он мечтал поскорее оказаться в аэропорту Хитроу, где его с прошлого четверга ждал коллега.

ГИБЕЛЬ УВАГОТО

Когда трон в царстве Увагото наследовала династия Дзигути, началась тирания слов, чудовищная в своей проникновенности. Бесчисленные глашатаи на улицах городов, на площадях и в парках непрестанно выкрикивали слова, и слова эти были как звон пыльных бутылок, чьи горла никогда не увлажнялись водой.

Крестьяне, ремесленники, чиновники, купцы и поэты перестали знать, что значит «делать», изменять предметное наполнение мира. Как саранча, слова пожрали стебли смысла, и мир души стал пуст. Появились говорящие птицы, животные, насекомые, и любая муха, усевшись на миску вареного риса, могла прожужжать обессмысленную фразу.

Всем этим управляли чиновники. Приближенные к трону чиновники первого разряда назывались словоблудами и получали из казны больше зерна, мяса, рыбы, фруктов и сладостей, чем чиновники второго разряда, отдаленные от трона и называемые пустословами.

И царство Увагото процветало на словах. В эпоху хэнка соседние крупные царства пытались нападать на Увагото и терпели поражение, заражались словоблудием и пустословием и долго не могли оправиться.

Законы Увагото были лучшими в мире, и народ исполнял эти законы с радостью, и улыбка счастья не сходила с уст всех — от новорожденных младенцев до бездонных стариков. Люди занимались благодеяниями чиновников, соблюдали предписания царских министров, культивировали терпение, взращивали усердие, освобождались от иллюзий смысла и приходили к чистому созерцанию внутренней пустоты.

Так продолжалось пятьсот лет. И еще пятьсот лет спустя ученые пытались обнаружить хоть какие-либо следы некогда могущественного царства Увагото, которое исчезло без остатка, как исчезает звучание слов, лишенных крыльев. Многие утверждали, что Увагото не существовало, потому что на его развалинах не сохранилось природной сущности. Другие, напротив, говорили, что Увагото существовало, потому что оно существует в преданиях, а разве может что-нибудь быть, чего не было прежде?

И ты, стремящийся к совершенству, не торопи своего взора к дальней вершине, ты можешь никогда до нее не дойти, ты не сделал даже первого шага, чтобы выйти за пределы Увагото, и не сделал даже попытки забыть об Увагото, потому что ни о чем не можешь вспомнить.

СТЕНА

В детстве, помню, отец, университетский профессор экологии, расхаживая по просторному кабинету, освещаемому мягким светом настольной лампы и вздрагивающими бликами догорающего камина, учил меня предстоящей жизни. Большая, в полкомнаты, тень отца перемещалась от окна к двери, а тень головы забиралась на потолок, и тогда я плотнее вжимался в кресло: отец казался неведомым владыкой или был заодно с каким-то владыкой.

Навсегда запомнил я слова отца: «Когда полчища неразрешимых проблем и непреодолимых обстоятельств заполнят твою жизнь и проникнут в сны, тогда уходи к Стене».

И я начал жить, имея в запасе эту таинственную Стену на краю нашей провинции. К пятидесяти годам я понял, что так жить нельзя. Иными словами, нельзя жить так, как все мы. Все чаще во сне я видел самого себя, пытающегося пробить Стену тяжелой кованой киркой. «Сейчас,— думал я во сне,— сейчас я проснусь и помогу тебе».

И день пришел. Я оставил работу, друзей, все, что носило отпечаток меня, все, что было отнято у меня хитростью или силой, и ушел к Стене. Это было весной. А осенью я добрался.

Стена поражала самое безудержное воображение. Нечего было и думать перебраться через нее. По верхнему широкому краю были проложены рельсы, и каждые десять минут проносились вагонетки с вооруженной охраной.

Под самой Стеной, среди деревьев, я построил хижину и по ночам не торопясь начал пробивать ход. Неподатливый камень откалывался с трудом, но работа увлекла меня, и месяцев через пять я смог углубиться в Стену на триста сантиметров.

В иные солнечные дни возле моей хижины появлялись туристы и смот-

рели, как я управляюсь с киркой и зубилом. Однажды какой-то мальчик спросил:

— Что ты делаешь и зачем?

Я с улыбкой взглянул на мальца и разгладил бороду:

— Мне тошно жить в нашей провинции, и я хочу перебраться на ту сторону.

— Зачем? — удивился мальчик.— Неподалеку есть большая арка, и все ходят через нее на ту сторону и обратно.

К мальчику подошла мать. Я отвернулся и продолжил работу.

— Пойдем,— услышал я женский голос.— Этот бородач вырубает памятник собственной непокорности и упорству. Но мы с тобой не такие, правда, малыш?

Я посмотрел им вслед и понял, что они живут по другую сторону.

СТОЛБ

Они поставили его напротив моего окна. Сверху, далеко в стороны, направили провода, а на верхушку посадили фонарь, и этот огромный, овальный, яркого неземного цвета глаз теперь постоянно ночью наблюдал за мной. Никакими шторами нельзя было утаиться от его проникающего взора.

Армированно-бетонный, книзу устойчивый и кверху утонченный, он был геометрически красив. Его можно было бы терпеть, но эти провода, опутывающие дом! но этот глаз!

Казалось, он способен рассмотреть и самые мысли. Днем я пытался через форточку из рогатки подбить фонарь, но камешки отлетали от него, и ночью он снова и еще презрительней и неотвязней всматривался в окно.

Я запасся набором напильников, приготовил зубило, молоток и однажды ночью, пользуясь тем, что сектор его света был ограничен темнотой, я выбрался из подъезда, подполз к столбу сзади и принялся за дело. На это ушло у меня менее недели, и вот, вернувшись около полуночи после очередного своего партизанского рейда, будучи в постели, я услышал грохот, после которого наступила темнота. И тишина, удивившая меня. Чуть позже я сообразил, что у столба был не только глаз, но и голос — тонкий свист.

Утром я вышел на службу и увидел поверженного врага. Его пустой мертвый глаз с тупой укоризной смотрел в стылое осеннее небо, а длинные провода рук судорожно свились кольцами и мелко дрожали. Лежащий, он был много длиннее, чем когда высился надо мной.

Я с опасливым торжеством переступил через него.

Вчера они установили новый столб. Из окна я наблюдал, как они поднимают его с помощью механизмов. Они работали вяло и лениво, в них не было той страстной целеустремленности, какая отличает все мои поступки. Я решил, что дам ему пару недель. Пусть внимательно рассмотрит меня.

Аркадий
БАРТОВ

ОБ ОДНОМ БЛАГОРОДНОМ И МОГУЩЕСТВЕННОМ КОРОЛЕ

100 новелл стародавнего времени (с сокращениями)

Об одном благородном и могущественном короле, обладающем пятью чувствами, живущем от рождения до смерти, издающем звуки в виде слов, преодолевающем небольшие расстояния по горизонтали и иногда действующем по собственному усмотрению

НОВЕЛЛА I
Об исповеди одного короля

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но дамы не было, постель ее была пуста, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы дама была в постели».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА II
О любви одного короля к прекрасной даме

Один благородный и могущественный король полюбил однажды одну прекрасную даму. Потом этот король любил еще многих прекрасных дам, но первую помнил всю жизнь. Правда, перед смертью он забыл и первую. У первой прекрасной дамы, которую полюбил этот король, были светлые волосы.

НОВЕЛЛА III
О том, как по приказу короля у одного рыцаря вырвали зубы

Один благородный и могущественный король однажды приказал вырвать все зубы одному доблестному рыцарю. «За что?! — воскликнул в негодовании рыцарь.— За мою верную службу?» Но король ничего не ответил, а на следующий день рыцарю вставили вместо вырванных зубов — золотые.

НОВЕЛЛА VII
О любви одного короля к прекрасной даме

Один могущественный и благородный король полюбил однажды одну прекрасную даму. Потом этот король любил еще много других прекрасных дам и первую скоро забыл. Правда, перед смертью этот король вспомнил первую прекрасную даму. У нее были темные волосы.

Аркадий Анатольевич Бартов родился в 1940 г. в Ленинграде. Окончил Политехнический институт, работал руководителем вычислительного центра; в настоящее время работает по договору в группе математического обеспечения ЭВМ. Публиковался в коллективном сборнике «Круг» (1985), журналах «Аврора» (1985), «Нева» (1986, 1988), «Родник» (1988, 1989); издательством «Советский писатель» на 1990 год запланирована книга его прозы.

НОВЕЛЛА IX
О том, как один король согрешил с женой своего придворного

Один могущественный и благородный король однажды согрешил с женой своего придворного. Этот придворный наблюдал близость короля со своей женой, спрятавшись под ковром в спальне жены. Так как придворный время от времени шевелился, король узнал о его присутствии и приказал на следующий день выколоть ему глаза и отрезать уши. Как выяснилось впоследствии, глаза у придворного были голубого цвета.

НОВЕЛЛА XII
Об исповеди одного короля

Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить. Но в постели с дамой был странствующий рыцарь. Тогда я ушел, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы в постели дамы странствующего рыцаря не было».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА XV
О том, как один король стаскивал покрывало с придворной дамы

Однажды ночью один могущественный и благородный король проник в спальню одной придворной дамы. Он начал стаскивать покрывало, которым была накрыта придворная дама. Дама, чтобы с нее не сдернули покрывало, стала держать его со своего края, в то время как король тянул его изо всех сил. Так они тянули покрывало почти всю ночь, а под утро дама сказала королю: «Мессер, я устала и подчиняюсь вам, но то, что вы делаете — это насилие, а не любовь». Услышав эти слова, король, пристыженный, удалился.

НОВЕЛЛА XVI
О том, как один король стаскивал покрывало с придворной дамы

Однажды ночью один благородный и могущественный король проник в спальню одной придворной дамы. Он стал стаскивать покрывало, которым была накрыта придворная дама. Дама, чтобы с нее не сдернули покрывало, стала держать его со своего края, в то время как король тянул его изо всех сил. Не прошло и минуты, как дама перестала держать покрывало и сказала королю: «Мессер, я устала и подчиняюсь вашей любви». Услышав эти слова, король провел у дамы всю ночь, которая была на удивление безветренной и теплой, только под утро подул ветерок.

НОВЕЛЛА XVII
О дружбе двух королей

Один могущественный и благородный король подружился с другим могущественным и благородным королем и в знак дружбы подарил ему город. Другой король в ответ на этот подарок подарил первому королю свой город. Первый король подарил второму королю еще город. Второй в ответ подарил первому тоже город. Так они долго дарили друг другу города, а также пригороды, пока не обменялись королевствами.

НОВЕЛЛА XVIII
О ненависти двух королей

Два благородных и могущественных короля ненавидели друг друга. Они стали друг с другом воевать. Во время войны погибли все рыцари обоих королевств. Так что эти короли остались совсем без рыцарей.

НОВЕЛЛА XXI
О смерти одного пятидесятилетнего короля

Один благородный и могущественный король очень любил воевать. Во время многочисленных битв ему оторвало поочередно ноги, руки, уши и глаза, а в пятьдесят лет также и голову. Так его и похоронили — без головы.

НОВЕЛЛА XXII
О смерти одного пятидесятилетнего короля

Один могущественный и благородный король жил со всеми в мире и никогда не воевал. Он даже никуда не выходил из своего дворца. Этот король прожил пятьдесят лет, а потом умер.

НОВЕЛЛА XXIII
Об исповеди одного короля

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но спутал дорогу, не нашел даму, вернулся ни с чем, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы нашли даму».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА XXIV
О смерти одного пятидесятилетнего короля

Один благородный и могущественный король очень любил воевать. Во время одного сражения, когда этому королю только исполнилось пятьдесят лет, его взяли в плен, а меч его, украшенный золотом и драгоценными камнями, отобрали. Этот король от огорчения так долго бился головой о шест палатки, к которому его привязали, что в конце концов умер.

НОВЕЛЛА XXV
О том, как один король стаскивал покрывало с придворной дамы

Однажды ночью один могущественный и благородный король проник в спальню одной придворной дамы. Он начал стаскивать покрывало, которым была накрыта эта придворная дама. Дама, чтобы с нее не сдернули покрывала, стала держать его со своего края, в то время как король тянул его изо всех сил. Так они тянули покрывало примерно час, а потом дама сказала королю: «Мессер, я устала, но вы мне давали много обещаний и не сдержали ни одного». Король ответил: «Жизнь моя, обещаю тебе и клянусь».— «Нет,— сказала она,— я хочу деньги в руки». Услышав эти слова, король пошел за деньгами и быстро вернулся. Они провели ночь вместе, и вскоре у них родился сын, который впоследствии стал доблестным рыцарем.

НОВЕЛЛА XXIX
О любопытстве одного короля

Один благородный и могущественный король спросил у одной прекрасной дамы, недавно вышедшей замуж, как у нее прошла первая брачная ночь. Дама ответила, потупив глаза: «Хорошо».

НОВЕЛЛА XXX
О любопытстве одного короля

Один могущественный и благородный король спросил у одной прекрасной дамы, только что вышедшей замуж, как у нее прошла первая брачная ночь. Дама ответила, потупив глаза: «Плохо».

НОВЕЛЛА XXXI
О том, как один король показал фигу другому королю

Один благородный и могущественный король, находясь в гостях у другого благородного и могущественного короля, показал ему фигу. Другой король обиделся и выслал первого из страны. Вскоре между ними началась война.

НОВЕЛЛА XXXII
О том, как один король показал фигу другому королю

Один могущественный и благородный король, находясь в гостях у другого могущественного и благородного короля, показал ему фигу. Другой король обиделся, но не подал вида. А ровно через полгода, находясь с ответным визитом, этот король в свою очередь показал первому королю фигу.

НОВЕЛЛА XXXIII
О том, как один король хотел наказать странствующего рыцаря

Один благородный и могущественный король узнал, что странствующий рыцарь соблазнил придворную даму. Король захотел наказать этого странствующего рыцаря, но того и след простыл. Ищи ветра в поле!

НОВЕЛЛА XXXIV
Об исповеди одного короля

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но, не дойдя нескольких шагов до покоев, вернулся в связи с неотложными государственными делами, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы не вернулись».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА XXXV
О желании одного короля полюбить прекрасную даму

Один могущественный и благородный король захотел полюбить одну прекрасную даму. Он долго приглядывался к ней, но так и не полюбил ее. Зато он полюбил другую прекрасную даму.

НОВЕЛЛА XXXVI
О желании одного короля полюбить прекрасную даму

Один благородный и могущественный король захотел полюбить одну прекрасную даму. Он долго приглядывался к ней и в конце концов все-таки полюбил ее.

НОВЕЛЛА XXXVII
О запрещении одним королем всех поединков между рыцарями

Один могущественный и благородный король запретил все поединки между рыцарями. Рыцари очень опечалились. Тогда король разрешил большинству рыцарей еще один поединок в любое время с двух до семи часов дня.

НОВЕЛЛА XLII
О том, как у одного короля сидела на коленях прекрасная дама

Один могущественный и благородный король вел беседу с одной прекрасной дамой. Вдруг эта дама уселась к нему на колени. Королю стало неудобно сидеть и он после некоторого молчания вежливо попросил даму слезть с его колен.

НОВЕЛЛА XLIII
О том, как у одного короля сидела на коленях прекрасная дама

Когда один благородный и могущественный король вел беседу с одной прекрасной дамой, то та вдруг взгромоздилась к нему на колени. Королю стало неудобно сидеть, но он счел невежливым сказать об этом и поэтому продолжал вести с дамой непринужденную беседу.

НОВЕЛЛА XLIV
О том, как один король отправился в спальню к своей жене

Одному могущественному и благородному королю сказали, что один странствующий рыцарь спит с его женой. Король пожелал лично в том убедиться. Он поднялся однажды ночью и отправился в спальню к жене. А она услышала шаги и говорит: «Что же вы приходите во второй раз?». Король не сразу нашелся, что ответить, а потом сказал: «Так надо».

НОВЕЛЛА XLV
Об исповеди одного короля

Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но дама спала, я никак не мог ее разбудить и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы ее разбудили».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА XLVI
О том, как один король отправился в спальню к своей жене

Одному благородному и могущественному королю сказали, что один из странствующих рыцарей спит с его женой. Король пожелал лично в том убедиться. Однажды ночью он отправился в спальню к своей жене. А она услышала шаги и говорит: «Что же вы приходите во второй раз?». Король ничего на это не сказал, а сразу прошел к королеве в спальню.

НОВЕЛЛА XLVII
О визите одного короля к другому

Один могущественный и благородный король отправился в гости к другому могущественному и благородному королю. Когда первый король пришел в гости, то огляделся и увидел, что вся комната полна королей, дам и рыцарей. Этому королю захотелось плюнуть, но плевать было некуда, так как всюду было полно народа. Тогда король проглотил плевок, хотя ему и очень хотелось плюнуть.

НОВЕЛЛА XLVIII
О визите одного короля к другому

Один благородный и могущественный король отправился в гости к другому благородному и могущественному королю. Придя в гости, первый король огляделся и увидел, что комната полна королей, дам и рыцарей. Этому королю захотелось плюнуть, но плевать было некуда, так как всюду было полно народа. Тогда король все-таки плюнул в ближайшего рыцаря.

НОВЕЛЛА L
О любви одной дамы к королю

Одна прекрасная дама любила одного могущественного и благородного короля, хотя он был вдвое старше ее мужа, ростом в полтора раза его ниже,

кожа на нем была грубая, в складках, ноги толстые, как столбы, голова в шишках, уши большие, как лопухи, а глаза совсем крошечные. Как говорится — любовь зла, полюбишь и козла!

НОВЕЛЛА LII

О любви одной дамы к королю

Одна прекрасная дама любила одного могущественного и благородного короля, хотя он был вдвое старше ее мужа, ростом в полтора раза ниже его, кожа на нем была грубая, в складках, ноги толстые, как столбы, голова в шишках, уши большие, как лопухи, и висят вниз, а глаза совсем крошечные. Впрочем, мужа своего она тоже немного любила, хотя он был еще страшнее. Как говорится — любовь зла, полюбишь и козла!

НОВЕЛЛА LIII

О встрече одного короля с несколькими странствующими рыцарями

Один благородный и могущественный король, путешествуя, встретил на дороге нескольких странствующих рыцарей. Король остановил рыцарей и велел им продолжать странствие.

НОВЕЛЛА LIV

О встрече одного короля с несколькими странствующими рыцарями

Один могущественный и благородный король, путешествуя, не встретил на дороге ни одного странствующего рыцаря. Впрочем, путь короля проходил по совершенно безлюдной местности. По этой причине королю некого было остановить и что-либо приказать.

НОВЕЛЛА LVI

Об исповеди одного короля

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз я пошел в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но с полдороги вернулся, так как почувствовал себя совсем больным, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы были здоровы».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА LIX

О том, как один король хотел наказать странствующего рыцаря

Один могущественный и благородный король узнал, что странствующий рыцарь соблазнил придворную даму. Он захотел наказать этого странствующего рыцаря, но того и след простыл. Тогда король наказал другого странствующего рыцаря.

НОВЕЛЛА LXII

О том, как один король шептался с прекрасной дамой

Один могущественный и благородный король шепнул что-то одной прекрасной даме. Дама в ответ что-то шепнула королю. Король опять что-то шепнул даме, и так они шептались до тех пор, пока королю это не надоело и он не вышел из комнаты.

НОВЕЛЛА LXIII

О запрещении одним королем всех поединков между рыцарями

Один благородный и могущественный король запретил все поединки между рыцарями. Доблестные рыцари очень опечалились. Тогда король разрешил некоторым рыцарям еще два поединка после семи часов вечера.

НОВЕЛЛА LXIV

О запрещении одним королем всех поединков между рыцарями

Один могущественный и благородный король запретил все поединки между рыцарями. Доблестные рыцари очень опечалились, но король не отменил своего решения.

НОВЕЛЛА LXV

О том, как один король обладал хорошим слухом

Один благородный и могущественный король обладал хорошим слухом. Как-то раз этот король проснулся, потому что ему послышалось, что в покоях королевы кто-то разговаривает. Король тихо пробрался в спальню королевы и обнаружил ее крепко спящей. А звуки, послышавшиеся королю, были вызваны стуком дождя в окна покоев королевы.

НОВЕЛЛА LXVII

Об исповеди одного короля

Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз я пошел в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но дама ушла, не захотев со мной остаться, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы она осталась».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА LXIX

О том, как один король обладал хорошим слухом

Один благородный и могущественный король обладал хорошим слухом. Как-то раз этот король проснулся, потому что ему послышалось, что в покоях королевы кто-то разговаривает. Король тихо пробрался в спальню королевы и обнаружил в ней странствующего рыцаря. Но они не разговаривали. А звуки, послышавшиеся королю, были вызваны стуком дождя в окна.

НОВЕЛЛА LXXI

О награде победителю турнира при дворе одного короля

Один благородный и могущественный король велел объявить повсюду, что любой рыцарь, который пожелает участвовать в турнире при дворе его величества и окажется победителем, получит в жены королевскую дочь. Потом этот король вспомнил, что у него нет дочери.

НОВЕЛЛА LXXIII

О том, как один король вернулся из путешествия

Один благородный и могущественный король, вернувшись из путешествия, застал свою жену в постели со странствующим рыцарем. Тогда король приказал убить жену, странствующего рыцаря и себя.

НОВЕЛЛА LXXIV

О том, как один король вернулся из путешествия

Один могущественный и благородный король, вернувшись из путешествия, застал свою жену в постели со странствующим рыцарем. Тогда король велел убить жену и странствующего рыцаря. Вскоре король женился вторично.

НОВЕЛЛА LXXV

О том, как один король вернулся из путешествия

Один могущественный и благородный король, вернувшись из путешествия,

застал свою жену в постели со странствующим рыцарем. Тогда король попросил рыцаря одетьсн и продолжить странствие.

НОВЕЛЛА LXXVI

О том, как один король обладал хорошим слухом

Один благородный и могущественный король обладал хорошим слухом. Как-то этот король проснулся, потому что ему послышалось, что в поконх королевы кто-то разговаривает. Король тихо пробрался в спальню королевы, но никого там не застал, так как королева еще неделю назад уехала погостить к своей матери. А звуки, послышавшиеся королю, были вызваны стуком дождя.

НОВЕЛЛА LXXVII

О награде победителю турнира при дворе одного короля

Один благородный и могущественный король велел объявить повсюду, что любой рыцарь, который пожелает участвовать в турнире при дворе его величества и окажется победителем, получит в жены королевскую дочь. Потом этот король вспомнил, что его дочь замужем.

НОВЕЛЛА LXXVIII

Об исповеди одного короля

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но застал в постели вместо нее ее мужа, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы застали в постели даму».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА LXXX

О том, как один король шептался с прекрасной дамой

Один благородный и могущественный король шепнул что-то прекрасной даме. Дама в ответ что-то шепнула королю. Король опнть что-то шепнул даме, и так они шептались до тех пор, пока даме это не надоело и она не вышла из комнаты.

НОВЕЛЛА LXXXI

О том, как один король показал фигу другому королю

Один могущественный и благородный король, находясь в гостях у другого могущественного и благородного короля, показал ему фигу. Другой король в ответ тоже показал первому королю фигу. Они оба потом долго смеялись этой шутке.

НОВЕЛЛА LXXXV

О ненависти двух королей

Два могущественных и благородных короля ненавидели друг друга. Они стали друг с другом воевать. Во время войны одни рыцари обоих королевств погибли, но зато другие в то же самое время родились. Так что количество рыцарей все время оставалось примерно на одном уровне.

НОВЕЛЛА LXXXVI

О дружбе двух королей

Один могущественный и благородный король подружился с другим могущественным и благородным королем и в знак дружбы подарил ему город, но в ответ подарка не получил. Первый король подарил второму королю еще город, но и этот подарок остался без внимания. Тогда первый король перестал дарить города второму королю и даже втайне сожалел об уже сделанных подарках.

НОВЕЛЛА LXXXVII

О дружбе двух королей

Один благородный и могущественный король подружился с другим благородным и могущественным королем, и в знак дружбы подарил ему город, но в ответ подарка не получил. Первый король подарил второму королю еще город. Не получив подарка в ответ, первый король продолжал дарить второму город за городом, пока у него не осталось ни одного города с пригородом. Тогда первый король, продолжая дружить со вторым королем, поехал к нему жить.

НОВЕЛЛА LXXXIX

Об исповеди одного короля

Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз пошел я в покои одной прекрасной дамы, чтобы с ней согрешить, застал даму в постели, одну, здоровую и в хорошем настроении, но как ни старался, греха так и не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы совершили грех».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

НОВЕЛЛА XCIII

О том, как один король согрешил с женой своего придворного

Один благородный и могущественный король согрешил однажды с женой своего придворного. Этот придворный наблюдал близость короля со своей женой, спрятавшись под ковром в спальне жены. Но король не догадался о его присутствии, так как придворный почти не шевелился. Король еще много раз встречался с женой придворного, и каждый раз придворный боялся пошевелиться.

НОВЕЛЛА XCVIII

О том, как по приказу короля у одного рыцаря вырвали зубы

Один благородный и могущественный король однажды приказал вырвать все зубы одному доблестному рыцарю. «За что? — воскликнул в отчаянии рыцарь.— За мою верную службу?» И тогда король отменил свой прежний приказ и велел вырвать рыцарю только передние зубы.

НОВЕЛЛА XCIX

О любви одного короля к прекрасной даме

Один могущественный и благородный король полюбил сначала одну прекрасную даму, а потом и много других прекрасных дам. Этот король даже забыл, какую из прекрасных дам он полюбил первой.

НОВЕЛЛА C

Об исповеди одного короля

Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: «Как-то раз захотел я пойти в покои одной прекрасной дамы, чтобы с ней согрешить, но так и не пошел, и, стало быть, греха я не совершил».— «Напротив, мессер,— ответил ему монах,— это все равно, как если бы вы пошли к даме».— «Но разница все же есть»,— сказал король.

Сергей
СТРАТАНОВСКИЙ



♦♦♦

Я готов этот город покинуть,
коснуться пропащей земли
Родины малой, трепещущей,
как воробьиное тельце,
Я уеду туда,
за плечами останется город
Дыр и дворцов тараканских,—
истукан из гранита и спеси.
Я сбегу из него,
чтоб коснуться тебя, глухомань,
Родина предков моих
у младенческо-млечной Мологи,
Устюжна Железопольская,
утюжок из железа Петрова.

Господи... Наша земля... вся изранена...
Щебень и мусор
В церкви заброшенной, жалкой,
где служили усердные предки,
Отпевали умерших,
крестили младенцев ревущих.
Кто же теперь воскресит
эту почву мычащую мертвых?
Чистый отыщет родник
на равнине железного поля?
Родина... почва... родник...
млечной надежды слова.

1981

Агитфарфор

Агитфарфор пролетарский —
росписи блюдечек, блюдищ,
Видишь: Рабочий, летящий
в облака на скрежещущих крыльях,
Видишь: Испуганный поп
перед штыком продармейца.
Чаша «Венчанье России»,
блюдо «Несчастья России»
То ли для пиршеств грядущих,
то ли для украшенья

Коммунальных жилищ...

Справка искусствоведа: «К сожалению
бо́льшая часть агитфарфора была
скуплена
коллекционерами, как отечественными,
так и зарубежными, и поэтому не стала
инвентарем
пролетарского мирочувствования»

1981

На мотив Блока

Мутно-кровавый Пьеро,
Уголовщина, нож, брызнул нож,
на снегу Коломбина.
Улица ночи зимы
петроградской бесхлебной,
мятежной.

Что там за вьюгой кромешной
вдруг сверкнуло?
Глаза Колымы...

1981

Юрий
ГАЛЬПЕРИН

ЧУЖАЯ ЗИМА

Рассказ

Несколько недель стояла холодная сырость. Над рекой поднимался туман. Он закрывал мосты и противоположный берег, где в зеленоватой дымке набухала неуклюжая глыба парламента. Каменный пирог под куполом. Дом темнел на горе над рекой, и по склону, из-за деревьев, прятавших замшелые крыши прибрежного квартала, наверх, к террасе, полз красный вагончик фуникулера. Вниз, навстречу, двигался такой же вагончик. Они встречались посередине.

Если я замечал из окна, что фуникулер движется, то всегда дожидался, пока они встретятся и сольются в яркую точку, и точка эта красная на мгновение увеличится, а затем распадется — одна часть опустится за деревья, а другая вползет в невзрачный домик из стекла и бетона наверху, на краю площадки, и тоже скроется из глаз.

Фуникулер назывался Марцили, по имени квартала внизу.

На прогулке, когда, пройдя насквозь кленовую аллею за старыми домами Марцили, мы выходили из парка, сын уверенно вел меня к нижнему вагончику. И не было для него лучшего подарка, чем подняться в кабине на террасу к парламенту, поиграть там, а потом спуститься, и если он в тот день вел себя хорошо и достойно, то, может быть, подняться опять. Он получал пятидесятирапповую монету, засовывал ее неловкими еще пальцами в скупую щель автомата и топал в вагон на своих коротких ножках, самостоятельно взбираясь по ступеням впереди меня. Он не оглядывался, уверенный, что я следую за ним и не посмею отстать,— такой смелый бернец.

Теперь он болел. Уже неделю лежал в своей комнате, где толстый берберский ковер на полу и фотографии зверей на стенах. Он осунулся, у него был жар. Чуть раскосые большие глаза его блестели, и он не обращал внимания на игрушки, каждые четверть часа звал маму, и жена, тщетно пытавшаяся работать в спальне у окна за своим столиком, оставляла перевод и входила к нему, чтобы поправить подушку или перину, дать чаю, померить температуру или просто сказать ласковое слово и погладить прохладной ладонью горячий лоб. В квартире было тихо и сумрачно, когда я возвращался с работы. Он шептал: «Вылечи меня, папа!» А я мог только просить его потерпеть еще и сам не знал, как долго. Жена совещалась с врачом по телефону. Атмосфера сгустилась так, что вечером я уже не имел силы усадить себя за машинку. И после музея не хотелось возвращаться домой.

Функулеры встретились и расстались, а я все стоял и глядел, как речные крикливые чайки густой стаей носятся в тумане над рекой. Туман расползался и лез все выше, и скоро фуникулера не стало видно.

Юрий Гальперин (род. в 1947 г.) — советский литератор. Проживает в Швейцарии. Автор нескольких книг, лауреат литературной премии имени В. И. Даля.

За спиной, в пустом коридоре, далеко послышались шаги, и я машинально спрятал в карман записную книжку, которую держал в руке. В служебное время сотрудникам не позволялось читать постороннее, а тем более делать записи. С правилами я не слишком считался. И коллеги присматривали, чтобы русский не отвлекался от работы.

Всю жизнь я занимался этим по утрам. Просыпался легко, с ясной головой и свежей фантазией, и сразу начинал придумывать. А к вечеру годился лишь на то, чтобы перепечатать несколько страниц начисто да посидеть с приятелем за стаканом или поиграть с сыном на полу, на теплом ковре, в кубики или в лото. Видимо, я поступал аморально, приспособив для бокового кармана пиджака записную книжку — крепкосшитую черную китайскую тетрадку в скользящей обложке,— такую, чтобы ее можно было легко извлечь или быстро сунуть в пиджак. Я закупил впрок кипу таких тетрадочек и приобрел крохотный диктофон — дорогой, но он себя оправдал. Каждую украденную минуту я старался улучить для работы, продолжал писать в служебное время. И совесть не особенно докучала. После всего, что ей довелось испробовать в этой жизни, она поутихла. Поумнела или устала. Или просто раз и навсегда разделила всех — знакомых и незнакомых — людей, независимо от их происхождения, воспитания, образования, жизненных привычек, политических взглядов, национальной принадлежности, гражданства и страны проживания,— развела на своих и чужих. Совесть не дергалась по пустякам, зря не трепыхалась, в общем, старалась не гнать волну.

И тогда, услыхав за спиной шаги, я убрал осторожно тетрадь, выждал паузу, отошел от окна и повернулся спокойно, почти с улыбкой, хотя улыбаться не хотелось. Коллега оглядел меня внимательно и что-то спросил на диалекте. Я ответил по-немецки. Он поинтересовался: «Как ребенок?» Я сказал, что уже лучше. Час назад звонил домой, и жена сообщила, что лучше.

— Скучно, когда дети болеют,— сказал коллега, и я согласился.

Округлое носатое лицо его, загорелое осенью на Майорке, но уже поблекшее от холода и сырости нездоровой бернской зимы, грустно глядело из старого воротничка затянутой шелковым галстуком рубашки. Он казался озабоченным и, верно, хотел поговорить. Без него я с удовольствием пялился в окно. Он помешал. А теперь требовал общения.

Мы помолчали. Было заметно, что он раздумывает, говорить или нет, и, наконец, сообщил с тревожной радостью, что оба сына его сейчас в армии, на маневрах. Старший в укреплениях Готарда, там снег полтора метра, и бригаде предстоит спуститься в Тессин. А младший под Гриндельвальдом. Он в танковых частях. Под Гриндельвальдом тоже снег. За младшего он беспокоился больше.

Управлять танком на обледенелой дороге, под снегом или под дождем — тяжелая и нервная работа. В Заполярье, где я служил, горы, конечно, не такие, не Альпы. Но горные дороги всюду опасны. И если механик-водитель не справится, не удержит машину на оползающем спуске, из сплющенной коробки экипаж достанут по частям.

— Танки бесполезны в горах.

— Младший совсем зеленый,— пожаловался он.— Их так натаскивают.

— Не боится?

— В прошлом году один свалился.

— Долго продлятся маневры?

— Три недели. Потом поедем кататься на лыжах. Все вместе. В Энгадин,— и он принялся расписывать удовольствия зимнего курорта.

Тогда я не катался на лыжах и не интересовался зимним спортом. Я молчал, стоя спиной к окну. Из щели под подоконником в спину дуло. Я знал коечто про него, о чем он помалкивал, и, чтобы сменить тему, бестактно спросил:

— Прибавили зарплату?

О деньгах в этой стране говорить не принято, слишком большую роль они играют. Коллега смутился. Он опустил лицо — складка подбородка наполнила, скрыла воротничок. Но лицо сделалось довольное.

— Да. С первого января. Ставка будет, как у шефа, а он старше и работает давно.

— Замечательно,— поздравил я его.— Если так дальше пойдет, смотришь, и мне чего-нибудь подкинут.

С холодным удивлением он покачал головой и старательно высморкался в клетчатый чистый платок. Он посерьезнел, мой коллега, почти начальник, умница, приват-доцент.

— Вы заглянули бы к персонал-шефу. Я слышал, что вам не продлят больше договор.

— С чего вы взяли?

— На последнем совещании Шершень жаловался на вас. У него убедительные аргументы.

Совещания я пропускал. Из-за языка трудно было понимать, о чем говорили там — с диалектом до конца не свыкся. Да и не интересно,— пустая трата времени. Хотя в моем присутствии Шершень навряд ли выступил бы, в открытую тут не играют. Худого и стремительного хитреца с изможденным лицом и лихорадочно острыми глазами сослуживцы прозвали Шершнем и считали опасным человеком. Жалить он умел. Любил появляться внезапно в самых заповедных закоулках музея, совал нос в заботы сторожей и дворников, знал все о всех, и страстью его было собирать сведения. До сих пор ко мне он вроде бы относился сносно. Но недавно появился с немецким журнальчиком, где опубликовали старый рассказ, и с четверть часа расточал комплименты. От комплиментов ничего хорошего ждать не стоит, это я уже усвоил. И разговор с Шершнем настораживал. Однако гадать, чем это все обернется, было бесполезно: с тех пор, как я уехал из дома, меня не покидает ощущение, что я лечу вниз и нахожусь где-то между седьмым и четвертым этажом. Но пока все шло нормально.

— Видимо, кто-то нашептывает ему?

Коллега покраснел и торопливо заметил:

— В музее всем известно, что вы читаете беллетристику и занимаетесь личными делами в служебное время.

Печаль исчезла с его лица, оно сделалось тверже, и я пожалел, что ему прибавили зарплату.

— Ничего не имею против вас лично,— сказал он,— но Шершень прав — он убежден, что вы не на своем месте.

Я подумал, в сущности, они оба правы, и далеко не первые, кто догадался об этом: в своей стране я уже слышал от разного начальства подобные вещи. И ответил привычно:

— В университете я изучал историю.

— Университет ни при чем,— отмахнулся он,— тем более история. И не один вы читаете, хотя только ваши книжки по всем углам распиханы. Мелочи это. Да. Не главное. Дело не в том... Но вы думаете. Вы все время думаете.

Он дождался-таки и от меня удивления.

— Вы литератор. У вас процесс. Вы все время заняты и не можете это остановить. Обдумываете разные тонкости. Творческий процесс поглощает целиком, и это заметно. А вам платят в музее за то, чтобы вы каждый день девять часов работали.

— Я работаю.

— Да,— рассердился он.— Делаете одно, а думаете о другом. Это видно.

— А вы не подглядывайте,— наудачу попробовал отшутиться я.

Коллега подошел ко мне вплотную, так близко, что я отчетливо ощутил устойчивый аромат парижского лосьона и голландского табака. Теперь он разглядывал меня с холодным удивлением и даже заглянул в глаза.

— Послушайте,— тихо вымолвил он, стараясь говорить медленно и доходчиво.— У нас сотни выпускников университета без работы. И без надежды найти работу. Если на вашем месте швейцарец делает сто процентов, вам надо успевать на сто десять. Вы поняли? Чтобы ни у кого не возникало вопросов.

Он отвернулся и отошел к своему столу, не дожидаясь ответа. Он еще что-то сказал, а я подумал: потерплю месяц — он уедет со своим семейством в Энгадин кататься на лыжах; не исключено, что простудится, как в прошлом

году, или его достанет в Понтрезине бангкокский грипп, завезенный в страну местными любителями ориентальной эротики, и некому будет все это время стучать по начальству; я в его отсутствие дочитаю роман Элиаса Канетти и спокойно попишу; а потом начнется весна; и договор мой действителен еще более полугода.

Спокойно поработать — неплохая сама по себе мысль, но желание постепенно превращалось в навязчивую идею. Я забыл, что это такое, и даже не был всерьез уверен, что для работы нужен покой.

Прошлой весной, в апреле, я гостил у приятеля в Париже и по утрам не мог заставить себя стучать на машинке в комнате, где он спал, хотя разбудить его не могли ни телефонные звонки, ни рев грузовиков под окном. Время пропадало задаром. Однажды я не выдержал и, прихватив в карман твердую тетрадочку, выскочил из дома. По Суфло вышел к грязному, после бурной ночи еще не прибранному бульвару Сен-Мишель, вдоль ограды спящего сада добрел до Люксембургского дворца. На улице Сены было тихо и пусто. Я пошел дальше, свернул налево и скоро оказался перед церковью Сен-Жермен-де-Пре, где когда-то аббатом был польский король Ян Казимир, отрекшийся от престола.

Утро медленно, сонно приоткрывалось. Появлялись люди на тротуарах. Мусорщики в оранжевых жилетах гремели помойными баками. Неторопливо наполнялся поток автомобилей. В неярком сером сумраке желтыми пятнами горели окна уже открытых кафе. В «Де Маго» мне показалось по-вокзальному неприютно. Я прошел несколько шагов по площади и заглянул в маленькое кафе «Бонапарт». Других посетителей не было, и утренний официант-испанец в свежей рубашке сразу же принес кофе со сливками.

Я долго сидел, помешивая никелированной ложечкой пенку на светлом, медленно остывавшем кофе. Тетрадка лежала рядом. Я точно нащупал слова, которые теперь надо было написать. Никого не было рядом, никто не мешал. А я все сидел и не трогал карандаш. Я вспомнил, как много лет назад, начитавшись переводной прозы и мемуаров Ильи Эренбурга, мы в Питере играли вот в такую же, как бы парижскую, жизнь, и я, облюбовав кафе, открывшееся на Литейном, прогуливал военную кафедру и другие скучные лекции и сидел в этой пустой мороженице над блокнотом в толстой кожаной обложке, подаренном мне девушкой, на которую теперь была едва уловимо похожа моя европейская жена. Я потерял не одно утро, но не выдавил из себя ни строчки. Однако друзьям не признавался. Они не сомневались, что рассказы, которые я показывал им, написаны утром в кафе. Такая шла молва, а я не уточнял. Тогда мы все чувствовали себя хемингуэями и такими мужчинами, какими только в семнадцать лет и чувствуешь себя по-настоящему, а не потом, когда уже кем-то становишься,— и Питер представлялся нам едва ли не бо́льшим Парижем, чем сам Париж.

Так думал я и пил кофе, и ничего не делал, просто сидел за столиком, как много лет назад. Рядом жужжал разговор. Кафе потихоньку наполнялось. И неизвестно, сколько бы так продолжалось, если бы какой-то человек не заглянул в раскрытую тетрадку. Инстинктивно я прикрыл страницу рукой. Никто во всем Париже не мог прочитать эти бисерные каракули, тем более по-русски. Но я дернулся. Мне помешали. Я придвинул к себе тетрадку. И тут словно бы заработал мотор — я записал спелую фразу, заготовленную заранее. И тогда за этой фразой приоткрылись иные, новые. Их я тоже записал, прикрывая строчки от непрошеных глаз другой рукой. А следующие слова уже писал не скрываясь.

Через час я попросил опять кофе, а к одиннадцати почувствовал усталость. Поставил запятую. Перечитал. Исправил описки, зачеркнул разонравившиеся слова, снял несколько слишком личных местоимений. И огляделся.

В кафе было полно людей. Стульев не хватало. Рядом пили кофе стоя и говорили сразу на четырех языках. Шла пасхальная неделя, и столицу оккупировали туристы. Я расплатился и вышел на площадь. Париж уже раскрутился вовсю. Вокруг сновала, мельтешила жизнь, и никому не было до меня дела, что, собственно, и требовалось. Я пошел будить приятеля к завтраку. Мы перекусили с ним в то время, когда французы вокруг обедали. На следующий день я появился опять в «Бонапарте». И к концу недели закончил главу.

Вовсе не это имел я в виду, когда мечтал поработать спокойно. Но понимал: видимо, испортилась какая-то штука во мне, если уже не мог без того, чтобы мешали. Ничего в том пока не было опасного, если я все-таки работал, и что-то все-таки получалось. Но и веселого было мало. Вот о чем я вспомнил тогда, подумал и засопел.

Коллега оглянулся и вдруг спросил:

— О чем вы?

— Опять туман сегодня,— кивнул я в окно.— Три недели туман. Задвинуться можно.

Он выглянул в окно и тоже кивнул, как гусь.

— Птицы кричат.

Он спросил презрительно:

— Вечно вы надеваете на службу свитер? Даже два? — он заметил, что поверх тонкого пуловера я натянул джемпер с вырезом.— Еще и пиджак. Вам холодно?

— Неуютно,— сказал я.

— Nicht gemütlich? Странно. Я думал, в вашей стране люди не боятся мороза.

— Это разные вещи. Мороз и холод — есть разница,— попытался объяснить я.— И потом у нас в стране холод другой.

— Холод везде холод.

— Нет,— сказал я, нащупывая пальцами острые края тетрадочки в кармане обязательного пиджака.— Холод везде разный. В Швейцарии холод хронический.

— Возможно,— согласился он.

И желая оставить за собой последнее слово, выждал паузу и вежливо ужалил:

— Я всегда жил в своей стране.

— Это замечательно,— сказал я ему серьезно и не без сочувствия.

Но коллега отвернулся. Он достал из витрины массивный серебряный кубок, подаренный городу Берну — работа шестнадцатого века,— упрямо рассматривая через лупу клеймо неизвестного мастера, сосредоточенно бурча, что-то быстро строчил на четвертушке листа. И сочувствия он не заметил.

Берн, 1983

Лев
ДРУСКИН



◆◆◆

А как вещи мои выносили,
Все-то вещи по мне голосили:
Расстаемся — не спас, не помог.
Шкаф дрожал и в дверях упирался,
Столик в угол забиться старался,
И без люстры грустил потолок.

А любимые книги кричали:
«Не дожить бы до этой печали!
Что ж ты нас продаешь за гроши?
Не глядишь, будто слезы скрываешь,
И на лестницу дверь открываешь —
Отрываешь живьем от души».

Книги, книги, меня не кляните,
В равнодушных руках помяните,
Не казните последней виной.
Скоро я эти стены покину
И, как вы, побреду на чужбину,
И скажите — что будет со мной?

◆◆◆

Мне снился отъезд мой — все тот же,
точь-в-точь,—
На выдохе чувств, на пределе.
И были друзья нам не в силах помочь,
И только глядели, глядели...
Струилась асфальта тревожная ртуть.
Последние стропы рубили.
Я даже губами не мог шевельнуть
И понял: убили... убили...
О Боже, судьбу мою уговори!
О сжалься хоть раз надо мною!
И если ты можешь, плечом подопри
Тяжелое небо земное.

◆◆◆

К нам из Штутгарта звонят,
(Белый град стучит по крыше.)
Я волнуюсь... Я не слышу...
Кто к нам едет? Как я рад!
А вчера звонил Париж,
Я опять друзей увижу.
Как примчатся «из Парижу»,
Ты пирог соорудишь.
Кто еще звонил? Мадрид?
Вся земля к нам едет в гости.
Всех устроим на ночь... Бросьте...
Кто об этом говорит!
Лишь Москва и Ленинград —
Два пожарища, два рая,
Слез прощальных не стирая,
Как убитые молчат.

◆◆◆

Ой, Алеша,
Спой, Алеша,
Про черемуховый цвет.
Нынче день такой хороший,
Да России с нами нет.

Ой, Алеша,
Спой, Алеша!
Покатились наши гроши,
Наши русские гроши
В добродушные ладоши,
На окраину души.

Как легко тебе внимают!
Как отлично понимают!

Запоешь «Калитку» или
Грянет грозный «Хаз Булат»,
— А вы сами сочинили
Эту песню? — говорят.

Очень хлопают, Алеша,—
До чего концерт хороший!

И закрывшись песней старой,
Пряча стыдных слез разбег,
Ты стоишь один с гитарой,
Бедный русский человек.

Друскин Лев Савельевич. Родился в 1921 году. До 1980 года, когда эмигрировал на Запад, опубликовал семь поэтических книг. В настоящее время живет в г. Тюбингене, ФРГ.

◆◆◆

Моя жена в тени
Коричневого кедра
Перебирает дни,
Рассыпанные щедро.
Как будто на весы
Укладывает в спешке
Все эти дни, часы —
Кедровые орешки.

А тень растет. А тень
Наглеет и дерзает —
Перелезает пень,
Ручей переползает,
И в сторону мою
Старается разлиться,
И я уже стою
Почти что на границе.

Граница. Самолет.
Прощанье с белым светом.
Я ночи напролет
Все думаю об этом.
Моя тоска все дни
Горит и не сгорает...
Сидит жена в тени
И жизнь перебирает.

◆◆◆

Облака плывут, облака...
А. ГАЛИЧ

Провода гудят, провода.
«Никогда,— твердят,— никогда!»
«Возвращайся!» — лепечет сад,
Зная: нету пути назад.
Говорит мне ветвистый дуб
(Он всегда был немного груб):
«Будешь плакать лицом к стене,
Если вспомнится обо мне».
Ухожу, а тоска тесна.
Дни стоят, как в угрюмом сне.
А ночами лежу без сна,
Повернувшись лицом к стене.

◆◆◆

Друзья уезжают в далекие страны,
Я тоже пакую свои чемоданы:
Я дом упакую, я площадь вложу...
Потом затоскую, но вам не скажу.
Я вам не скажу, что припрятал ограду
И нежность к Фонтанке и Летнему саду.
Пускай полежат они в темном тепле,
Не зная, что бродят за мной по земле.
Что можно, с собой захвачу я в изгнанье,
И этим я Божье смягчу наказанье,
И где-то в Париже, у слез на краю,
Увижу Дворцовую площадь мою.

ПОЧВА И СУДЬБА

О прозе Бориса Вахтина

Публикаторский энтузиазм, охвативший в последнее время наши литературные круги, должен иметь не только вселенскую, но и региональную ориентацию. Логичнее — и едва ли не достойнее — сначала осветить то, что рядом с нами. Иначе не поймешь, чего нам недостает.

Ленинградская культура за минувшие три десятилетия, на которые падает литературная жизнь Бориса Вахтина, оставила на обочине, едва создав, ценности самые разнообразные и актуальные к тому же и по сегодня. И для будущих дней тоже. Облинав белыми пятнами собственную округу, мы устремились в поисках их за горизонт.

Судьба Бориса Вахтина, человека очень заметного в культурной жизни Ленинграда шестидесятых — семидесятых годов, может быть, и не вполне типичный в этом смысле пример. Он ведь был не только прозаиком, известным узкому кругу литераторов, но и ученым, востоковедом, издавал переводы из древних китайских авторов, написал книгу «Страна Хапь: очерки о культуре древнего Китая». В 1986 году, уже посмертно, вышел сборник его художественно-документальной прозы «Гибель Джонстауна». Но где, например, произведения ближайшего к Вахтину по творческим установкам, входившего с ним в одну литературную группу «Горожане» Владимира Губина, и по сей день живущего в Ленинграде? Почти никто не ведает. Я уже не говорю о двух других «горожанах», Игоре Ефимове и Владимире Марамзине, оказавшихся в эмиграции. Да и публикация лучших образцов вахтинской художественной прозы начинается у нас только сегодня — повести «Одна абсолютно счастливая деревня».

Вахтин любил размышлять и писать о людях, от которых что-то зависит в жизни, о лидерах истинных и лидерах мнимых, о тех, кто побеждает, о цене этих побед. Но писал он о победителях как бы отвлекшись от их чинов и званий, каждый из его персонажей прежде всего — частица той безымянной силы, которая творит историю.

Победы у Вахтина не связаны ни с триумфами, ни с праздниками. Они почти неосязаемы, невидимы, они одерживаются, можно сказать, впрок — над страхом, косностью, лицемерием, национальным чванством. На этом незримом рубеже ведут главные сражения его герои.

Русская национальная тематика «Одной абсолютно счастливой деревни» сегодня привлекает особенное внимание. О грани между национальной культурой и националистической ее имитацией в конце XX века приходится думать не менее серьезно, чем в давние времена господства в России и в Европе романтического сознания. Для Вахтина решение этой проблемы — одна из насущных задач творческой жизни современного реалистически мыслящего художника. Шовинизм часто трудно и запоздало распознается потому, что всегда облачен в национальные одежды, всегда у него наготове всевозможные национальные похлебки. А искать желающих покрасоваться и полакомиться, естественно, долго не надо.

Одно из решающих условий, позволяющих художнику делать какие-либо обобщения о национальной сути явления,— широта его кругозора, отсутствие у него изоляционистских тенденций, приводящих к перерождению национального чувства в националистическое. Мало кто по достоинству оценивает тот факт, что и популярные вновь славянофилы — Хомяков, Аксаковы, Киреевские — благороднейшие личности, отстаивавшие самобытный уклад русской жизни, прежде всего были *европейски* образованными людьми.

Вахтин свободно ориентировался в разного типа культурах разных эпох. Он понимал, что национальный характер каждой из них есть объективная данность. Но она не должна сулить никому и никаких привилегий, равно как и не должна облагаться налогами.

Для автора «Одной абсолютно счастливой деревни» слово «культура» и слово «нация» не разводятся в противостоящие друг другу сферы мысли и действия, как это часто случалось и случается в XX веке. «Культура человека,— писал Вахтин в одном из очерков,— начинается только с того момента, когда он научается ставить себя на место другого и принимать, как свои, переживания и проблемы этого другого». Собственно говоря, те же самые требования ставятся и перед человеком, желающим утвердить свою национальную самобытность.

В жизни Борис Вахтин умел держать людей на расстоянии, был чужд какого бы то ни было панибратства. Некоторая важность, торжественность отношения к людям чувствуется и в его прозе. Одический тембр речи, ее высокий поэтический раскат явственно звучит и в «Одной абсолютно счастливой деревне». Думаю, что автор не назвал эту вещь поэмой только потому, что слово уже использовано по отношению к прозе Гоголем в «Мертвых душах».

Вахтиным, типичным горожанином, ленинградцем, владела мысль об общечеловеческом долге перед почвой, перед землей. На каменных берегах Невы он наращивал — и в значительной степени нарастил — плодоносный культурный слой. Писатель, эстетика которого сложилась под несомненным и естественным влиянием петербургской художественной традиции, он разгадывал феномен вечной русской деревенской духовности. Покаянные — в толстовском духе — мотивы его прозы проглядывают не сразу лишь потому, что спрятаны за иронической усмешкой культурного человека, знающего: ничто не ново под луной, да и сама луна не такая молодая, какой ее видят поэты.

«Толстовский комплекс», особенно жалящий интеллигентнейших из горожан, преобразил у Вахтина болезненную рефлексию в творческую энергию. Художественную эволюцию ленинградского прозаика можно определить его же парадоксом: «...назад, то есть вперед, но в противоположном направлении». Развитие Вахтина шло по магистральной линии русской литературной классики: от Чехова к ... Гоголю. Тонкой психологической прозе он сознательно предпочел надпсихологическую красочность внеиндивидуального «большого стиля». В каждом художественном осколке должно, по Вахтину, играть и отсвечивать целое и некогда цельное народное мировоззрение. Вахтин хотел работать там, в той области, где, говоря словами Пастернака, «кончается искусство, и дышат почва и судьба».

Проза Вахтина повернута лицом к массовому читателю, но родилась все-таки в кабинетной тиши. Да еще такого кабинета, где книжные шкафы в самые застойные и глухие годы хранили на полках и платоновские «Котлован» с «Чевенгуром», и отечественных философов начала XX века в заграничных переплетах... Необходимый парадокс этой прозы состоит в том, что ее высота зависит от погруженности в глубину. В глубину культуры. Это кислород, добытый из воды, а не из воздуха. Но все-таки — кислород, столь необходимый в нашем задымленном, теряющем остатки зелени городе. Насущная, придающая свободу дыханию словесность лежит не обязательно за тридевять земель, она рядом с нами.

Андрей АРЬЕВ

Борис
ВАХТИН

ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ

Моей жене Ирине

1

Начало этой песни,

довольно-таки длинной, теряется в веках, но начинается на склоне высокого берега синей реки около этого леса, под именно этим небом. Царица-матушка Елизавета Петровна, отменившая смертную казнь и тем зародившая в нашем отечестве интеллигенцию, повелела двум староверам, Михею и Фоме, здесь поселиться, и они поселились, срубили себе избы, завели жен и детей, дети их размножились, избы их тоже размножились, поля расширились, стада выросли. А над всем этим заведением, размножением, расширением и ростом двигалась история по своим железным законам, так что жители сначала были крепостными и земли не имели, потом стали свободными, однако с землей было по-прежнему плохо, потом стали еще более свободными и получили

земли в изобилии, после чего они достигли вершины исторического развития и по сей день пребывают в колхозах. Но не про историю тут речь. Сначала про корову.

Корова жрет чертополох нежными губами, мудро давая молоко для народа.

Корова похожа на деревню.

Ее величество корова сидела веками за прялкой, стонла пожизненно под ружьем от Полтавы до Шипки, только корона у коровы не на голове, а на животе и называетсн вымя.

У деревни корона тоже на животе.

Из труб городских не льется молоко, никакое заседание не даст сметаны, и жрать на асфальте корове нечего.

Корове вообще грустно, а тем более на асфальте.

Назвать женщину коровой — высшан похвала, но не в нашей стране, а в Индии. Потому что там у мужчин независимый темперамент.

— Мы имеем вымпел на Луне, а покоса там нет — грунт не тот,— объяснил соседу Постаногов, когда они думали вслух о жизни на других планетах.

— Совершеннан целина там, надо представлять,— размышлял сосед.

— Богатая целина,— сказал Постаногов.— Начальство — оно все предвидит.

— И не говори,— громко подумал сосед.— Вот опять, значит, корову иметь разрешили. Если что запретят, то потом обязательно разрешат, как же иначе.

— Терпеть не могу, когда человек суетится,— сказал Постаногов.— Глаза вытаращит, руки-ноги дергаются! Не человек, а какая-то жужелица получается.

— Почему это я жужелица? — обиделся сосед вслух.

— А кто же? — спросил Постаногов.— Тут все продумать надо, а ты «корова! корова!».

— А что тут думать,— сказал сосед.— Корова она и есть корова.

— Начальство все предвидит,— сказал Постаногов.

— Я уже привык, что предвидит,— снова обиделся сосед.

— Вот и не суетись со своей коровой! — сказал Постаногов.

— Нет у меня никакой коровы! — рассердился сосед.— Тридцать лет уже не имею никакой коровы!

— Твоя корова за тридцать лет, знаешь, сколько хлеба съела бы? — сказал Постаногов.— А мы травой кормись? Нет, не люблю я, когда человек суетится, не по плану живет.

— Почему это не по плану? — спросил сосед.

— А как же,— сказал Постаногов.— Вот через десять лет ты что, например, будешь делать?

— Это невозможно сказать,— сказал сосед.

— Вот и не имеешь плана,— развел руками Постаногов.— Так что зачем тебе корова?

— Какая корова? — спросил сосед.

— Вот которой нет у тебя,— сказал Постаногов.

— Ни к чему мне корова, которой у меня нет,— сказал сосед.

— Вот и не пускайся на хитрости,— сказал Постаногов.— Спокойно живи.

— Я уже привык спокойно жить,— сказал сосед.

Если подумать, в чем она, главная правда этой исторически сложившейся деревни, то тут она вся и есть в словах соседа, тихо сидящего рядом с Постаноговым на лавочке у забора и повернувшего к закатному солнцу дубленое лицо, поросшее твердой седой щетиной. Это правда незамысловатая какая-то, даже ерундовая, в сущности, плевая, но, однако, главная, потому что течет река, зеленеет земля весной, неторопливо идут дожди над полями, неторопливо идут люди на поля, неторопливо идут годы сквозь деревню, как странники, что брели когда-то через деревню на поклонение святым местам, не находя здесь, чему поклоняться.

2
Коромысло

— Ничто так не выбивает меня из седла равновесия, как коромысло,— сказал Михеев,— возбуждан менн нестерпимо.

— Оно, конечно, ни на что такое не похоже, что может возбуждать, отнюдь, и не воображайте, форма его невинна и материал его невинен, а вот, возбуждает.

— Как увижу коромысло, так хоть караул кричи. Но если закричать караул, то это будет в возбужденном состоннии ужасно глупо.

— Я мог бы объяснить, что на коромысле носят ведра, в ведрах носят воду, вода в ведрах тяжелая, коромысло давит на плечи, плечи напрягаются, давят на спину, спина выгибается, давит на зад, зад выпячивается, давит на ноги, ноги выпрямляются, бедра напрягаются, а воду в ведрах на коромысле носят только бабы, а бабы бывают в деревне не только старые, попадаются и молодые, особенно раньше, когда нынешние старые бабы были молодыми и их было, естественно, гораздо больше, то есть молодых, которые теперь старые, потому что старых теперь больше, чем молодых, поэтому тогда молодых было больше, чем теперь молодых, и они больше носили воды на коромыслах, и плечи напрягались, спины выгибались, зады выпячивались, ноги выпрямлялись, но, видишь, какое длинное получается объяснение, а я еще далеко не добрался до самого главного, а именно, что происходит со мной, когда я вижу коромысло и знаю, что на коромысле носят ведра, в ведрах носят воду, вода в ведрах тяжелая, коромысло давит на плечи и происходит вот все то, что я мог бы объяснить, но не стану, потому что это надо было бы рассказывать всю жизнь, столько тут подробностей. А суть дела в том, что коромысло не потому так выводит меня из себя, что там вода тяжелая и так далее, а потому, что его часто носила на плечах и так далее вот та Полина, про платье и рубашку которой, украденные мной во время ее купания в реке, я еще расскажу, как только распутаюсь с коромыслом. Она нырнула, я выскочил из кустов, схватил рубашку и платье, сбегал к иве, спрятал рубашку и платье в дупло и снова засел в кустах, а она вылезла из воды, искала-искала, я не выдержал и фыркнул в кустах, она бултых обратно, но это после, сначала кончу про коромысло.

— Она идет с коромыслом, на коромысле ведра, в ведрах вода, вода тяжелая, это я уже рассказывал. Она идет, а я иду в двух шагах сзади и неторопливо ей объясняю, потому что зачем торопитьсн, куда она убежит с коромыслом и полными ведрами, неторопливо объясняю, как я ее сильно люблю, и какая у нас может быть сильная любовь, и какие у нас пойдут сильные дети, а у наших детей какие будут замечательно сильные внуки, а она пытается обернуться, чтобы мне неприятность сказать или хоть глазами на меня сверкнуть, но куда же тут обернуться, когда коромысло тяжелое на шее и голову не особенно-то повернешь, а когда она пытается целиком вся обернуться, то пока она со своими ведрами разворачивается, я вполне успеваю прибавить шагу и разворачиваться вслед за ней, так что сколько она ни вращается, я вполне успеваю вращаться за ее выгнутой спиной и говорить ей, что ты повращайся, мне это нравится, потому что, во-первых, внимание мне этим оказываешь, а главное, во-вторых, подольше менн послушаешь и лучше проникнешься ко мне чувством любви, из-за которой я унес твое платье и рубашку тогда, вовсе не из-за хулиганства, а чтобы иметь возможность с тобой подольше поговорить, потому что ты мне этой возможности не давала, пока я не спрятал решительно твое платье и рубашку в дупло, и тогда мы имели с тобой обстоятельную беседу, потому тебе из воды деваться было некуда, а уплыть от платья и рубашки ты тоже не могла, и поэтому голова твоя из воды торчала и хочешь не хочешь на меня глядела и внимательно слушала. Повращаемся, повращаемсн, а потом она идет дальше, потому что ей надо нести воду и очень долго она вращаться не может, утомляется, и она идет дальше, и лягнуть меня у нее тоже не получается, потому что вода в ведрах тяжелая и ноги выпрямляются, и на одной ноге тут не поскачешь ни при каком здоровье, так что она только чуть-чуть быркнет ногой и поскорее ставит ее на место, чтобы целиком не упасть.

Вот так ходил я за Полиной и по пыльной дороге и после дождя, и не могу теперь спокойно видеть коромысло, посмотрю на него и будто огонь проглочу — сначала во рту горячо и высыхает, потом в горле жечь начинает, потом сердце вспыхивает, потом уже весь горю. И опасен я стал для деревни и вреден для народа, потому что не владею собой при виде коромысла и весь горю. Вот из-за этого коромысла жизнь у меня стала отвратительная, что-то делать надо, невозможно мне, чтобы так продолжалось.

3

Река, в которой купалась Полина

Правый берег был пологий, как и полагается, а левый был крутой, и в нем стрижи рыли норы под гнезда — можно засунуть руку по локоть, а до гнезда не дотянуться, как не дотянуться до луны, золотеющей в реке по вечерам, когда из садов, темных, как омут, доносятся песни любовного содержания, а река течет, занятая своим делом, и ей некогда любить деревню больше, чем она ее любит, нет у нее для большей любви досуга, и я купаюсь в этой пробегающей мимо реке, и она любит меня прохладно и нежно, ласкает мне шею, живот и щиколотки, любя меня в ту меру, которая мне соразмерна, а я невелика и в реке и вообще.

А Михеев думает что? Что я на свете самое главное, и поэтому он для меня человек недостойный и ограниченный, а он даже в армию идти не хочет, пока на мне не женится, а он скоро будет призывник и ему надо будет идти в армию, и мне его жаль немного, но только не до слез, хотя у меня лицо и мокрое, но это от реки.

Я теперь от него спряталась надежно, и одежду спрятала, чтобы он не нашел, и интересно, где-то он меня сейчас ищет, где-то он сейчас бегает?

— Я здесь,— хмуро говорю я с берега.— Где мне быть. Ты, конечно, спряталась надежно и одежду свою спрятала надежно, только от меня не спрячешься, и я вот сижу на твоей одежде и жду тебя, чтобы с тобой про любовь разговаривать, потому что я хотел раньше в армию идти отслужить свое, а вот теперь даже совсем не хочу и уклонюсь от призыва, хоть в тюрьму, хоть что угодно, но не могу я от тебя уйти, пусть расстреливают.

Ну, что мне с ним делать? Река больше не обращает на меня нужного внимания, и мне его жалко до слез, недостойного, что его расстреляют, и такое зло меня берет, что я его сама бы сейчас расстреляла, и не могу я этого переносить, и я выхожу из реки, чтоб ты сдох, проклятый, на, подавись.

— Полина,— говорю я.— Ты пойми меня правильно, Полина.

— Не могу я понять тебя правильно,— говорю я и плачу, и трясет меня от слез и от злости, и я прижимаюсь к нему, чтобы не дрожать.

Река бежит, шуршит, журчит своей дорогой, не поднимая на нас глаза, и я обнимаю его, а я обнимаю ее, и я говорю ей шепотом, а я пла́чу ему шепотом, и ох уж этот Михеев, и ох уж эта Полина, и ох уж эта река.

4

В поле под жарким солнцем

Бабы пололи картошку в поле, рассыпавшись цепью, и самая старая баба Фима шла самая первая, как Чапаев перед бойцами, только не с шашкой, а с сапкой, а полоть надо уметь, наклоняться не скрючиваясь, а свободно, чтобы дышать, согнувшись пополам, всей душой, хотя живот и сложен пополам, и подпирает грудь, и полностью вздохнуть мешает. И сапки падают и поднимаются, падают и поднимаются разнообразно, вразнобой, и только иногда получается такое совпадение, что как бы разом, а потом снова не разом.

А мужчины стояли у трактора с комбайном и обсуждали, что такое, не едет, только тракторист не обсуждал, погрузившись в мотор, одни подметки торчали.

А солнце жарило немилосердно и картофельное поле, и пыльную дорогу, и пахнущий железом и смазкой мотор, и желтое пшеничное поле, и деревню вдали, и капельку пота на носу у бригадира.

— Не заведет,— сказал бригадир сосредоточенно.— Давайте еще толкнем, что ли.

— Так уж толкали,— сказал одноглазый Фомин.

— Можно и еще толкнуть,— сказал другой Фомин.

Бабы кончили ряд, распрямились, вытерли лица, погалдели чуть-чуть, развернулись кругом, снова наклонились и цепью пошли назад, то есть вперед, но в противоположном направлении.

5

Огородное пугало

Луна светила ему под козырек в первобытные глаза, а вокруг него качали черными головами подсолнухи.

Сонно мычала корова у себя дома где-то рядом, плескалась рыба в реке, и круги плыли по воде со скоростью течения.

— С Полиной был? — спросило пугало.

— Да,— сказал Михеев.— Замуж она не хочет за меня. Своевольничает. Говорит, любить тебя люблю, что тебе еще, хулигану, надо. А замуж — это будет слишком. Полную власть надо мной заберешь себе в голову, а я этого не вытерплю, удавлюсь. Я говорю, где же полная власть, если я так люблю, а она говорит, вот именно поэтому, что же от меня останется, если я не только любить, а еще и женой стану. Ничего не останется. Я говорю, все так делают, что женятся, это ничего, не страшно, иначе мы не выдержим днем работать, а по ночам разговаривать, а она говорит, можем не разговаривать, а я говорю, как же мы договоримся, если не будем разговаривать, а она мне говорит, не о чем мне с тобой договариваться, как не о чем, говорю, если надо о женитьбе договариваться, потому что ты храпеть будешь и мне скучно будет, что ты спишь, а я не сплю, ну ты тоже спи тогда, говорю, вот, говорит, уже и забираешь полную власть надо мной — ты спишь, и я спи, а я, может, не захочу, да не буду спать, говорю, а тогда зачем жениться, говорит, какая разница, говорит, и так не спим и тогда спать не будем, но не выдержим, говорю, днем работать, а по ночам разговаривать, а она говорит, если сейчас не выдержим, то и тогда не выдержим, какой же смысл жениться, если все равно не выдержим, а я говорю, все женятся и выдерживают, а она говорит, ты совсем запутался и не соображаешь, что говоришь, а я говорю, нет, не запутался — я говорю, все женятся и выдерживают, значит, и мы выдержим, а она говорит, наверно, они любить друг друга перестают, а я этого не вытерплю, что ты любить меня перестанешь, и удавлюсь, что ты говоришь, я говорю, никогда не перестану, потому что ты лучше всех и мне никого, кроме тебя, не надо, нет, говорит, это ты говоришь, чтобы меня уговорить, а когда уговоришь, тогда другое будешь говорить, никогда не буду, я говорю, другого говорить, а она говорит, ага, значит, не будешь говорить, молчать будешь, а раз молчать, значит, спать будешь, а я не буду спать, и мне будет скучно, не пойду я за тебя замуж. Так и разговариваем всю ночь, буксуем на одном месте — иди за меня замуж, не пойду за тебя замуж, становись моей женой, не стану твоей женой, не выдержим ведь, а все равно ведь не выдержим, все женятся, а ты сказал, что я лучше всех, но даже самые лучшие женятся, ну и что, а я не хочу. Своевольничает. А зима придет, где тогда будем встречаться? Где хочешь, говорит. Я в тепле хочу, говорю, что ты ненормальная какая-то, все хотят жениться, а ты не хочешь. Не представляю, говорит, кто это с тобой жениться хочет, просто не могу себе такую дуру вообразить, может, сумасшедшая какая-нибудь. Нет, говорю, вполне нормальные хотят. Вот и женись, говорит, на нормальных своих, если я ненормальная. Да нет, говорю, ты только в этом одном ненормальная, а в остальном лучше всех самых нормальных. Чем это я лучше всех, говорит, что это ты заладил, объясни, пожалуйста. А я говорю, это очень трудно тебе объяснить, потому что слов я таких не знаю, учился мало. Ну так ты пойди поучись, говорит, на что ты мне неуч в мужья сдался. Вот так всю ночь и разговариваем. Утомляемся даже.

— Интересно,— сказало пугало,— чем это она действительно лучше всех?

— Про это я и думаю,— сказал Михеев,— и спать не иду, хоть все суставы

у меня стонут, спать хотят, а я не иду, стою и с тобой вслух думаю, потому что завтра ночью надо это ей обязательно объяснить, очень она этим заинтересовалась, а мне про себя просто, а сказать не умею, одним словом, иди за меня замуж, говорю, а она говорит не пойду, а дальше ты уже знаешь, я тебе рассказывал.

— На одном месте стоите,— сказало пугало.— Совсем как я.

— Однако не скучно,— возразил Михеев.

— Конечно,— сказало пугало.— Это дураку на одном месте скучно, а умному не бывает.

— Где там на одном месте,— сказал Михеев.— Вчера за реку уходили, а сегодня в подсолпухах, а зима придет, тогда что? Дома у меня тетки, хоть и не очень старые, а чутко спят, а у нее дома мать, где нам с ней зимой схорониться? Да и осенью тоже дожди бывают.

— Ко мне в сарай идите,— сказало пугало.— Там за мешками место расчистить можно, как в бомбоубежище будете, уютно устроитесь.

— Она тебя стесняться будет,— сказал Михеев.— Она все время чего-нибудь стесняется, а ты слишком наблюдать умеешь.

— Я спать буду,— сказало пугало.— Я с осени до весны крепко сплю.

— А сны видишь? — спросил Михеев.

— Вижу,— сказало пугало.— Очень содержательные сны у меня. Как-нибудь расскажу, а сейчас ты иди, свои собственные посмотри, а то петухи скоро запоют, птицы проснутся, мне за огородом надо будет смотреть.

6

У дремучего деда под ухом гремит земля

Вот автор рассказывает вам про эту самую, на его доброжелательный взгляд, абсолютно счастливую деревню, а до сих пор не сообщил, ни где она точно расположена, ни как она выглядит в целом.

Где она точно расположена, автор вам не скажет. Ни за что. В России — и этого хватит. Сдохнет, в точнее ничего не скажет. У него есть на то свои соображения. И первое из этих соображений — не хочет он, чтобы можно было его проверить. Сейчас ведь эпоха для выдумщиков ужасно плохая. Да нет, автор ничего такого и в мыслях не имел — при чем тут арестуют или не арестуют? Вот напасть...

Автор без всякого политического намека заявляет: эпоха сейчас для выдумщиков хреновая, и совсем не потому, что посадят, просто эпоха для выдумщиков паршивая. Потому что все всё и во всем хотят проверить... И попрутся проверять автора — а точно ли изобразил, буква ли в букву, точка ли в точку, а автору это будет неприятно, потому что придется таким людям неприятности говорить, обижать их, убеждать, что никакой одинаковой для них и для автора деревни не может быть в природе, только моя деревня есть, а их деревни нет, и глупо меня проверять, а они тоже ведь не идиоты, подумают и что-нибудь обидное мне придумают, например, что я пишу ну совершенно похоже на Франческо Мачадо. «А кто это такой?» — спрошу я, недоумевая, и тут-то в этой нашей полемике потерплю бесповоротное поражение, так как обнаружу, помимо несамостоятельности, еще и невежество, непростительное для русского человека, потому что русский патриот должен знать Франческо Мачадо, иначе он в глазах многих не патриот, а шовинист. Поди потом доказывай, что ты ничего лично против этого Франческо не имеешь и с удовольствием с его творчеством познакомишься, только сейчас тебе не до него, тебя сейчас вот эта деревня волнует. Ага, скажут, тебя свой народ интересует, а другие народы не интересуют, значит? Своя деревня тебя волнует, а на другие деревни всей земли тебе наплевать? И попадешь из-за Франческо в шовинисты и пропадешь в шовинистах, а всей и вины-то на тебе, что вот эта деревня тебя сейчас волнует. Так зачем автору это бесповоротное поражение в полемике? Не скажет, где его деревня, и все тут.

А как она выглядит в целом со стороны, можно рассказать с удовольствием. Представьте себе синюю-синюю речку, левый берег ее высокий, овражистый и холмистый, и на этом берегу устроилась деревня под синим-синим небом.

И вот если в лодке уплыть вниз по синей-синей реке до края деревни и смотреть оттуда, то на околице виден редкостный дом, даже не то, чтобы дом, а своего рода удивительное строение, о которое сразу спотыкается взгляд, едва только начнешь смотреть на деревню. Строение это срублено из бревен метра по три длиной каждое, в одной стене выпилена дверь, в другой небольшое отверстие, забитое досками и заткнутое ветошью, крыша у строения много прогибалась, проламывалась, продавливалась, пока не продавилась до уже навеки нерушимого положения; покрылась наносной землей, а на земле начали жизнь мхи, травы, цветы и невысокая береза. Это странное жилье вросло в песчаную почву по самое окно, так что только шесть венцов торчат из бурьяна, а когда этот дом здесь возник, того не помнил уже никто на свете, однако уже во время нашествия наполеоновских полчищ на Россию он был тут как тут.

В этом срубе с незапамятных времен жил дремучий дед, жил как бы в стороне от всеобщей жизни, на околице, неизвестно почему ни во что не включаясь, скорее всего от старости, хотя был вполне ходячий, никаких болезней не знал, глаза имел черные, зубов в избытке и даже не кряхтел, копая на небольшом своем огородике картошку. Но вот не включался; покупая хлеб, соль и спички раз в месяц в магазине, в разговоры не вступал.

В этот вечер, когда солнце только что село, и над деревней небо слегка зеленело в предчувствии луны и поднималось все выше, чтобы вскоре стать выше звезд и обнажить их, Полина вышла из дому и пошла к дремучему деду, неся гостинцы в узелке. Она шла босыми ногами по нежной земле и еще более нежной траве, шла задумчиво, не хоронясь, да и бесполезно, потому что не было еще темноты.

Была середина июня, та замечательная середина того июня, который потом так замечательно обманул всех обитателей деревни, загремев над их головами исторической грозой, бессмысленной с точки зрения нежной травы, синей-синей реки и окна, забитого досками и заткнутого ветошью. И долго-долго потом ученые люди постигали причины и следствия, спорили и даже ругались, ссорясь на тему, кто виноват, почему это все так неудачно получилось, и как бы придумать, чтобы такого никогда больше не получалось, но все это было много потом, а сейчас Полина шла босыми ногами к дремучему деду, и вот первая звезда стала ниже неба, и с реки донеслось кваканье лягушек, и тупо промычала, словно зевнула, корова в сарае у дороги, промычала просто так, совершенно бессмысленно промычала, зато безвредно, и бабка Егоровна, коровина хозяйка, чутко дремавшая, встрепенулась духом, вспомнила еще раз про свою корову и поняла, что корова промычала просто так, беспричинно, потому что и сыта была, и напоена, и пальцы Егоровны помнили скользкое вымя, а глаза помнили алую кровинку, вышедшую с белым молоком из переполненного вымени, и молоко Егоровна процеживала дважды, а дел еще было много — и луку нарвать на продажу, и трех внучек с дедом Егором накормить, а старшую еще поругать, чтобы не загуливалась поздно, мала еще. И встрепенувшись от мычания, Егоровна все это вспомнила, но успокоиться и сразу снова уснуть не смогла, потом еще вспомнила сына и невестку — как пятнадцать лет назад отделились они, стали наживать свое добро, а потом это добро у них отняли, и ее Андрея и Клаву переселили так далеко, где не росло ничего, и дочерей они прислали назад, сперва писали, затем перестали, бабка над письмами плакала, едва только почтальона увидит, и еще потом много раз, перечитывая, а теперь и плакать стало не над чем, над старыми письмами слезы больше не лились.

Полина шла по нежной траве, уже росистой, и луна освещала ее, и всю деревню, и жилище деда.

Дед лежал на лавке, дремуче и вечно лежал, приложив ухо к стене и слушая далекие гулы земли. Земля рассказала ему о шагах к его дому, он сел на лавку, засветил керосиновую лампу и стал глядеть на дверь, положив руки на колени.

В его ясной голове легко и просто жили простые мысли, похожие на корни деревьев, отнюдь не запутанные, потому что нет ничего в корнях запутанного, запутывается в них только невежественный человек, а дерево в них не запуты-

вается, оно не дурак, дерево, чтобы запутываться. Оно пускает корни со смыслом, на нужную глубину и вширь по потребности, а у деда потребности были шириной во всю нашу планету, а вглубь вплоть до самого бога, в которого он, однако, совершенно перестал давно уже верить, не обнаруживая его своими чувствами, так что вплоть до, но не дальше.

Полина стукнула в дверь и вошла наклонившись.

Андрея и Клаву переселили так далеко, где не росло ничего, и дочерей они отослали оттуда, сперва писали, потом перестали, но продолжали жить, хотя вокруг ничего не росло, но все-таки человек живуч, если он не опускает руки. Вокруг них был непонятный народ, однако не злой, говоривший слова вроде мегедбабармодьеры, однако не злой. Андрея и Клаву нельзя забывать, хотя они никогда не увидят больше своей абсолютно счастливой деревни, ни дочерей — Веры, Надежды и Любови; Верка старшая, четырнадцать лет.

— Дед, мне совет нужен твой,— сказала Полина, кладя гостинцы на стол, а дед посмотрел на них и сквозь платок, в который были завязаны гостинцы, мудро все распознал — яички, хлеб, бутылку молока и медовые соты — и понял, что совет от него требуется серьезный. Он посмотрел на Полину сквозь ее нехитрую одежду и подумал о ней прямыми своими мыслями, все ее серьезности постиг и сказал:

— Землю я слушаю, внучка. Гремит земля уже целый месяц, понимаешь?

Далеко от абсолютно счастливой деревни, под городом Магдебургом, человек по имени Фриц вышел в этот час из кирпичного дома, крытого красной черепицей, а белобрысая жена и белобрысые дети провожали его мимо других аккуратных домов, мимо аккуратной силосной башни, мимо квадратов красиво возделанной земли к поезду, и посадили в этот поезд, и он уехал. И его тоже надо запомнить, потому что он имеет непосредственное отношение к разговору деда с Полиной, точнее, к последствиям этого непосредственного разговора.

— Не понимаю,— сказала Полина.— Ты меня послушай, дед, мне совет нужен, а земля гремит — пускай гремит, это мне сейчас совсем неинтересно.

Дед улыбнулся ее несознательности и несмышлености, теплой такой глупости чересчур молодого тела, и сказал:

— Я тебе уже все сказал, внучка, что земля гремит. Это и есть для тебя сейчас в твоем положении самое интересное.

— Старый ты,— сказала Полина сердясь.— Слушать уже не можешь, что ли?

— Слушать могу,— сказал дед и приготовился слушать то, что уже знал.

— Вот и слушай меня, не перебивай,— сказала Полина.— В положении я, а Михеев рад, говорит, ты теперь женой моей не сможешь не быть, а я не хочу и рожать не хочу. Помоги мне, дед, я избавиться не могу, скажи траву какую-нибудь, ты ведь все знаешь. А Михеев смеется, говорит, нет на свете такой травы, чтобы оказалась сильнее меня и моей любви с ее результатами, потому что я тебя сильно люблю, и я сильный, и ты сильная, и дети у нас будут сильные, а это только начало, первенец, а я говорю, я сама тебя люблю, но замуж за тебя не пойду, ты всю власть хочешь надо мной забрать, и первенца не хочу, он весь в тебя будет, а с меня и тебя хватит, на что мне еще один такой сдался, а он говорит, не только один, еще целая куча мала будет, а я говорю, ты с ума сошел, на что мне столько Михеевых, а он говорит, это ты только сейчас так говоришь, а потом будешь другое говорить, их у нас штук десять будет самое меньшее, потому что мы с тобой молодые, и все десять будут очень красивые, все сплошь мальчики и все сплошь Михеевы, богатыри, представляешь? Представляю, говорю, и тошно мне от этого представления. Это тебе от беременности тошно, он говорит, а потом приятно будет, и не можешь ты без мужа родить, мать твоя огорчится, и ты у нее одна, и без отца она тебя вырастила, она от огорчения заболеть может и даже гораздо хуже, а избавиться у тебя не выйдет, это на свете такого зелья нет, чтобы после такой любви помогло. Вот и скажи мне, дед, это зелье, ты все видел и знаешь, даже Наполеона видел, говорят, неужели не поможешь?

— Видел Наполеона,— сказал дед.— Мальчишкой еще был, а он на черном коне ехал — страшный, огромный, с пушкой в руках. Давно это было, внучка.

— А в кино он небольшой,— сказала Полина.

— Это если издали смотреть,— сказал дед.— А я вблизи видел, вот как тебя. Ужасный был человек. Не надо тебе избавляться, земля гремит уже целый месяц.

— А мне-то что? — спросила Полина.— Земля у тебя гремит, а я должна из-за этого Михеева рожать и женой Михееву становиться, что ли?

— Несмышленыш ты,— сказал дед.— Не соображаешь. Земля почему у меня под ухом гремит? Поезда идут. Много гремит — значит, много тяжелых поездов идет. В одном направлении идут, заметь. Газеты ты, что ли, не читаешь? Про немцев, что ли, не слыхала? А я немцев знаю, вот как тебя их видел. Поезда идут, значит, войска везут, значит, война будет, значит, заберут твоего Михеева воевать, значит, убить могут, и останешься ты без Михеева, если этого не родишь, которого носишь. Теперь поняла, почему не про зелье ты думать должна, коли земля гремит? Напортила-то много себе?

— Нет,— сказала Полина.

— Что пробовала? — спросил дед.

— Будто не знаешь,— сказала Полина.— Спорынью, липовый цвет, можжевельник...

— Ну, это пустяки,— сказал дед.— Это ребенку как с гуся вода.

— Дед, а почему его убить могут? — спросила Полина.— Ведь это не обязательно.

— Не обязательно,— сказал дед.— Однако возможно. А ты нового Михеева родишь.

— Дед, как это он так устроился, что взял-таки верх надо мной? — спросила Полина.— И любить я его должна, и замуж за него идти должна, и первенца ему родить должна, и сердцем за него болеть должна, и плачу из-за него, проклятого, как подумаю, что убьют. Дед, почему это так, почему я плачу?

— Никто этого знать не может,— сказал дед.— Однако это так бывает.

— А не так тоже бывает? — спросила Полина.

— Бывает и не так,— сказал дед.

— Может быть, дед, ты это все наошибался? — спросила Полина.— И про войну, и про поезда? Может, мне лучше и дальше по-своему поступать, а об этом ни о чем не думать?

— Нет,— сказал дед.— Я не наошибался. Нельзя тебе об этом не думать. Железная дорога от нас близко, нельзя ошибиться. И газету я читаю. Так что в центр событий проникнуть могу. А в центре событий все видно хорошо, там сложного нет.

— Ты видишь, а никто кроме тебя не видит? — спросила Полина.

— Видят, но не замечают,— сказал дед.— Легче им не замечать. Они по краям глядят, главное упускают. От молодости это, от неразумения.

— Пойду я,— вздохнула Полина.— Ждет он меня, проклятый.

«...Никогда я не думал,— думал Михеев,— что бывает она такая смирная и послушная без всяких на то новых оснований. Вот обнимаю ее, а она прижимается без слов; вот спрашиваю, будет ли первенца рожать, а она еще крепче прижимается; спрашиваю, пойдет ли замуж за меня, а она еще крепче прижимается и головой мне в плечо кивает утвердительно, только почему у меня по коже слеза ее течет, непонятно».

— Ты почему плачешь? — спросил у меня Михеев.

— Не хочу, чтобы тебя убили,— сказала я.

7
Колодец с журавлем

Колодец с журавлем — это я, и мне дают отдохнуть только ночью, а днем нужно скрипеть и ворчать, наклоняться и выпрямляться, и слушать бабьи сплетни. Многие думают, что мне видно звезды, а это не так, звезды я вижу только ночью, когда все видят, а днем мне достаются бабьи сплетни, так что я всех в деревне знаю еще до того, как они родятся, а потом и подавно. И все, что делается в мире, тоже знаю, не то, что вон то огородное пугало, с которым только Михеев и разговаривает, вон там, за тополем, по ночам разговаривает,

словно что-то это пугало знать и постигнуть может, просто Михееву по дороге, а зря не со мной, я бы мог ему рассказать про него, он и сам не знает что, а частью просто не помнит. Вот живет он с двумя трудолюбивыми тетками, в незамужестве вырастившими его до совершеннолетия, а отца и мать где ему помнить, если умерли они до того, как он помнить научился. А две веселые тетки бодро его выходили и любили, как сына, потому что все сестры дружно любили когда-то его отца, но только младшей он достался весь, как был — в папахе, в шинели внакидку, с чубом вниз до бравой брови, веселый и грамотный, однако страшный драчун и забияка, на весь мир забияка, хотя и умел работать. Бабы мои в сплетнях говорят, что не только младшей он достался, на всех сестер его хватало, но это, по-моему, они так, на всякий случай говорят, чтобы если что было, то в дураках не остаться, бабы не любят оставаться в дураках, потому все возможности предусматривают, оттого никогда в лучшую сторону не ошибаются, только в худшую, лучше, чем есть, не скажут, из-за этого у меня, наверно, и характер такой недоверчивый и даже скептический, поскольку бабы все плохие возможности предусматривают, а хорошие возможности не предусматривают, что и называется сплетни, а скептик это тот же сплетник, поскольку тоже ничего хорошего не предусматривает, но только не снисходит до подробностей, а я так думаю, что это не страшно, пока это быт, а вот если уже не быт, то это страшнее зубастого черепа, закопанного рядом с моим срубом, глубоко в земле его закопали задолго до того, как меня выкопали. Взять хотя бы звезды, которые я, честное слово, не вижу днем, а скептик скажет, что ничего на них особенного нет, в лучшем случае мох и лишайник, и то вряд ли, сколько ни лети со скоростью света во все стороны, и это страшнее черепа, который был когда-то головой, может быть, татарина или русского воина, а может, и неизвестно чьей, потому что тогда только у нас здесь на земле и есть зеленые травы и деревья, белые подснежники весной и красные маки летом, и только у нас и можно всматриваться в узор на крыле бабочки, на листве тополя, на пне, на лице человека, и вся вселенная с ее серыми мхами и лишайниками держится, выходит, на этом крыле бабочки, которым любуются горожане, или, что одно и то же, на нашей абсолютно счастливой деревне, а это так печально, что во мне была бы не ключевая вода, а чистые слезы, если бы звездные скептики были бы правы. Но они ошибаются и именно в худшую сторону, как ошиблись, по-моему, бабы насчет сестер, будто они владели Михеевым-старшим сообща, что неправда, две его любили, а владела его душой и телом только третья, хотя он и был, конечно, человек очень кровеносный и с должной широтой легкомыслия, а вот сын его широту имел совсем другого свойства, и на субботу назначил свадьбу, предварительно записавшись с Полиной, на это она согласилась, а на свадьбу ни за что не соглашалась, долго они около меня стояли и друг другу противоречили.

— Какая же свадьба, если мне через пять месяцев рожать,— говорила Полина.

— Но разве можно без свадьбы,— говорил Михеев,— ведь потом всю жизнь каждый год мы будем вспоминать, что свадьбы у нас именно в этот день не было и огорчаться с каждым годом все сильнее, а нам столько лет еще жить, и много в нас накопится огорчения за эти годы, а зачем нам его копить, и первенец будет в обиде на нас, что мы из-за него такую глупость сделали, свадьбу не сыграли, хотя он еще совершенно не заметен, и он будет с каждым годом все умнее, а мы ему будем казаться все глупее, что из-за ерунды такой от свадьбы отказались.

— Ну, какая же свадьба, если мне белое платье неудобно надеть,— говорила Полина.

— А ты и не надевай,— говорил Михеев,— или надень, но, например, с этим красным поясом, потому что это никого не касается, что мы уже любим друг друга, а что ты раньше за меня замуж не соглашалась, так это твое глубоко личное дело, и пусть кто-нибудь попробует сказать что-нибудь или даже посмотреть, я ему не посмотрю, что свадьба, я ему такую свадьбу покажу, чтобы он в твои дела не совался, а занимался бы своими делами, их у него хватает, и пусть на себя смотрит, как желает, а на тебя я ему покажу, я ему каждый год в этот день буду показывать, он у меня набегается по донорам и дантистам, он у меня совсем из деревни убежит, но я его везде в этот день найду, пусть не надеется, так что не бойся, надевай, что хочешь.

— Ну какая свадьба, если ты на ней такие ужасы устраивать будешь,— говорила Полина.— Мне такая свадьба ни к чему, чтобы ты на ней гостей, а может быть, даже родственников моих вот так сокрушал, как собираешься.

— Не только твоих, но и своих родственников,— говорил Михеев,— не пощажу, но до этого, я уверен, не дойдет, потому что, во-первых, тебя все любят, а, во-вторых, меня все знают и отца моего в этом смысле тоже все знали, и первенца нашего тоже в этом смысле знать будут, так что мы тебя в обиду не дадим, не бойся, надевай, что тебе захочется, тебя даже такая сплетница, как баба Фима, и та любит и бережет, спокойно можно свадьбу играть.

Я усмехнулся, когда он вспомнил бабу Фиму, маленькую и сухонькую, но с голосом архангела Гавриила, потому что именно она, этого не знал Михеев, насчет его теток ошибалась в худшую сторону, а я помню только один разговор между матерью Михеева и самой старшей из сестер, давно-давно, на этом же месте они стояли, что и эти стоят, короткий был у них разговор, но неясный, и никто его, кроме меня, не слышал, и хорошо, не то баба Фима из этих неясностей выводы сделала бы непременно в свою самую худшую пользу. А разговор был вот такой:

— Отвяжись! — говорила младшая сестра.

— Возьми их себе, я тебя прошу,— говорила старшая.

— Отстань! — говорила младшая.

— Надень их, я все равно не могу, разговоры пойдут,— говорила старшая.

— А мне-то что! — говорила младшая.

— Я их тогда просто выброшу, вот хоть в колодец выброшу,— говорила старшая.

— Бросай! — говорила младшая.— А не то давай, я сама брошу.

И бросила. Так и лежат во мне эти бусы из настоящего жемчуга, а как они попали к отцу Михеева в грозовые годы гражданской войны — силой, или подарком, или случайно где подобрал, про то они молчат, потому что захлебнулись, утонув, и глубоко застряли во мне, зацепившись за сруб. И если их найдут когда-нибудь и вытащат на свет божий — много они расскажут интересного. А почему он их подарил старшей сестре, никогда ясно не будет, да и кому это надо ворошить такое прошлое, вытаскивать его на свет, божий ведь, из колодцев и прочих темных углов, тревожить умерших, которым и так несладко жилось и несладко спать в сырой земле — этак и самого веселого и жизнерадостного человека можно загнать в уныние, если всякие неприятности про него пронюхать, да про его отца и мать тоже поразведать, нет ли за ними чего, да еще двух дедов и двух бабок потревожить, и четырех прадедов и четырех прабабок, и сколько всяких безобразий понакопится, скажем, за двенадцать поколений его личных родственников, взятых только по самой ближайшей линии, если только вот этих прапраитакдесятьраз бабок у него было две тысячи сорок восемь, а прапраитакдвадцатьраз бабок то уже целых два миллиона да еще девяносто семь тысяч да еще сто пятьдесят две штуки, и ровно столько же прапраитакдвадцатьраз дедушек, и каждый из них, ну, почти каждый, за незначительным для такого количества исключением, наверняка не без греха или чего-то такого, про что он не очень хотел бы рассказывать, а хотел бы, чтобы это так с ним в сырой беспамятной земле и лежало. Да и потомку такой Кавказ безобразий тоже тяжело было бы нести, если бы он о нем знал: раздавил бы он человека. Шутка сказать — сколько же времени надо, чтобы в таком множестве лиц разобраться и каждое из них соразмерно осудить, справедливое мнение о каждом из них составить и по совести каждому из них воздать. Невозможная для человека работа, жизни не хватит даже на своих родственников, не то что на чужих, а человеку надо еще свою жизнь прожить, и каждому хочется так, чтобы не без совести, чтобы все-таки попасть в небольшое исключение, а не в занудный ряд прабабушек и прадедушек, пусть не всегда хочется, а только иногда, когда ничего такого другого не хочется, но имеется это благородное желание, когда других желаний не имеется, имеется оно во всем блеске своей соблазнительности, так что человеку просто не до прадедушек. Тем более сейчас, именно сейчас, это я, колодец с журавлем,

имеющий и глубину, и кругозор, точно знаю, потому что однажды учитель наш, Федор Михайлович Штанько, книгу читал, я в нее заглянул и прочитал там буквально следующее: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих», а где он такую крамольную книгу достал — не знаю, и как называется — тоже не знаю, потому что книга была завернута в газету «Пионерская правда», название газеты было прочитать легко, а книги невозможно, и Федор Михайлович долго сидел и думал, обхватив колено руками и глядя куда-то за речку и на лес, думал, наверно, о том, как нашу землю спасать, а придумал ли что — этого я не знаю, но он и без усилий был очень хороший человек и не потому, что престарелый, а и раньше, в молодости. Все детей в школе учил. И на свадьбе Михеева с Полиной он речь произнес, вполне приличную речь, ничего насчет спасать не говорил, из-за неуместности, я думаю, о таком на свадьбе разговаривать, а вспоминал школьные достоинства новобрачных и просил в случае чего к нему, не стесняясь, обращаться за советом и помощью. И речь Федора Михайловича была последней вразумительной речью, после нее на свадьбе уже гуляли вовсю и беспорядочно, женщины смеялись кошачьими голосами «а-ах-ха-ха! а-ах-ха-ха!», а мужчины смеялись голосами собачьими «го-го-го! го-го-го!». Словом, потом уже гуляли кому как нравилось, говорили кому с кем нравилось и кому о чем нравилось, бабы много около меня сплетничали на следующий день утром, но все-таки за это утро я себе ясной картины не составил, а потом, часов с двенадцати, даже, может быть, и раньше немного, про свадьбу уже никто не говорил, не до свадьбы стало. А видно свадьбу мне было плохо из-за яблоневого сада и кустов бузины, за которыми стоит дом Михеева и его жизнерадостных теток, а слышно плохо из-за шума, так что хорошо я видел только тех гостей, которые появлялись с этой стороны кустов, но из того, что они с этой стороны кустов делали, ничего интересного вывести было невозможно. Так что могу только мелочи рассказать, что от баб слышал. Баба Фима, в частности, передала, что когда первый раз закричали «горько!», то Михеев ответил: «Горько, так сами и целуйтесь», но тут Полина его обняла и поцеловала, да так поцеловала, что он сразу добрый стал, а до того сидел весь нервный и глазами сверкал, как тигр ночью, это баба Фима выразилась. И больше Михеев не спорил с обществом, целовался, но стесняясь несколько, а вот Полина, странное дело, сказала баба Фима, нисколько не стеснялась, а целовалась вовсю, так что все ойкали и высказывали насчет их будущей жизни разные смелые предположения, вроде не помер бы Михеев от чахотки, на что одноглазый Фомин сказал, что мед надо ему будет есть и парное молоко пить, а другой Фомин сказал, что это может и не помочь, что его племянник от чахотки спасался, бегая в поле, где коровы паслись, и прямо из вымени у них молоко сосал, и коровам это нравилось, только племянник все равно помер, давно это было. А дед Егор сказал, что ему другой случай вспоминается, как он в реку из лодки перевернулся, а плавать он не умеет всю свою жизнь и тогда не умел, а место было глубокое, и увидел он над головой, когда под водой кувыркался, как вода заплетается в такое зеленое со светом пополам, как бы вроде волокно конопляное, и громко вокруг него под водой было, наверно, воздух из него выходил, и тут его такой страх взял, что он закувыркался, как кикимора, и как-то за лодку ухватился, и вынесло его на мелкое место. А Постаногов его спросил, в каком он это смысле рассказал, а дед Егор, подумав, сказал, что к тому, что никто не знает, где и что его ожидает, и Михеев в предстоящей жизни, может, тоже так кувырнется, что и не пропадет. И тут поднялся смех — не то над дедом Егором, не то над Михеевым. И это было последнее, что бабы при мне рассказали про свадьбу, и окунули меня головой в самого себя, лишив кругозора, и я услышал, когда вынырнул, это слово — война.

8

В воскресенье — на войну

— Скорее,— сказал Михеев суетящимся теткам.— Скорее, тетки. Вы всегда, конечно, проворные и делаете все как нельзя более быстро, только сегодня надо скорее.

— Зачем спешишь,— спросила мать Полины.— Повестка еще не пришла, позовут, когда время придет, что же ты от молодой жены после первой же ночи спешишь?

Михеев стоял посреди комнаты, а Полинв обнимала его, и он смотрел глазами по сторонам, только не на ее волосы у себя под подбородком, а на стремительных теток и неподвижную, как пень, мать Полины.

— Нельзя не спешить,— сказал он.— А повестка что, ведь бумажка просто, повестка и потеряться может, и выписать ее могут забыть, в военкомате люди сидят неопытные, порядка у них мало, бумаг много, до нас далеко из района, вполне я могу потеряться при таком беспорядке, так что мне нельзя самому не спешить.

— Не зря не хотела замуж за тебя,— шептала Полина.— Не зря не хотела любить тебя, не успели рядом побыть, в доме, а не в лесу и не на берегу, а ты сразу же прочь спешишь, по своей воле сразу жить начал...

— Полина,— сказал Михеев.— Ты пойми меня правильно, Полина. Кровь у меня этого требует, чтобы скорее.

— Не могу я тебя понять правильно,— шептала Полина.— Газет ты начитался, глупостей всяких наслушался, вот и лезешь первый, а кто тебя звал, может, ты и вовсе никому, кроме меня, не нужен.

— Слово тебе даю,— сказал Михеев,— не вчитывался я в газеты, только чуть-чуть их читал, изредка, и, конечно, никому я, кроме тебя, особенно и не нужен, только кровь моя лично требует, чтобы скорее.

— Ну как я могу понять тебя, если ты темно так со мной разговариваешь,— шептала Полина.— У молодого Фомина не требует, у Постаногова не требует, а у тебя требует.

— Это ты ко мне прижалась и не видишь поэтому,— сказал Михеев,— а я вижу через окно, что молодому Фомину отец на голову во дворе воду из ведра льет, чтобы он отрезвел до конца, а в доме мать, ему мешок укладывая, плачет. А что у Постаногова не требует, так это меня не касается, значит, он свойство другое имеет, чем я или чем Фомины, но это его свойство и нет мне до него сейчас дела, мне скорее надо.

— Не любит он тебя, Полина,— сказала ее мать.— Я тебя люблю, я бы так никогда не сделала.

— Замолчи, мать! — закричала Полина, отрываясь от Михеева.— Не любит? Замолчи, не то уйду я от тебя, видеть тебя не стану!

— У нас будешь жить,— отозвались с готовностью обе тетки Михеева на ходу.— Теперь ты наша как-никак.

— Я молчу,— сказала мать.— Три месяца уже все вижу и молчу, обидел он тебя и теперь обижает.

— Некогда мне с вами тут,— сказал Михеев.— Давайте мешок, тетки.

Полина хотела еще что-то матери крикнуть, но оглянулась на Михеева. Такой у него был целеустремленный взгляд, такое неподвижное лицо, только рот сжался крепко, скулы выступили резче и брови немного сдвинулись, словно он видел что-то перед собой, с чего нельзя было глаз спустить, что двигалось быстро и непонятно, и к движениям этим нужно было присмотреться и в них разобраться, прежде чем самому двигаться, а ему мешали, не давая сразу мешка, разговаривая о другом и вообще отвлекая.

Полина ничего ему не сказала, а бросилась к теткам, и они быстро все собрали, что нужно, и вот уже рядом вдвоем шли по деревне в район, к военкомату. А Михеев говорил, и лицо его при этом не менялось:

— Ты, конечно, без меня скучать будешь, но слишком скучать тебе будет некогда, особенно когда первенец родится, да и работы на тебя свалится столько, что я даже беспокоюсь, сумеешь ли ты без меня, хотя ты и выносливая и толковая, но все-таки всей мужской работы не переделаешь, а я постараюсь скорее управиться, только мне это дело совсем незнакомое и, пока я привыкну и его пойму, много пройдет времени, так что, думаю, не меньше года, а то даже и двух, я потому и тороплюсь сейчас, чтобы поскорее его делать начать и поскорее кончить и к тебе вернуться, и тогда нам никто помешать не сможет, и будем мы жить, как хотели, даже еще лучше, потому что оба сильно наскучаемся, нестерпимо так наскучаемся, вот и сейчас я уже скучать начинаю,

и опять мне хочется тебе про свою любовь рассказывать, какая у меня к тебе сильная любовь и как мне повезло, что ты теперь моя жена и никуда уже от моей любви не денешься, никогда уже не денешься, вот как мне повезло.

— Никуда я не хочу от тебя деваться,— сказала я,— потому что я тебя люблю, проклятого, это ты от меня, ненормальный, уходишь и глупые слова мне говоришь, а я все лучше тебя знаю и понимаю и никогда полной твоей воли не допущу, даже когда вернешься, хоть ты стань какой хочешь там герой, а не допущу.

— Не хочу я там стать героем,— сказал Михеев,— потому что я это плохо понимаю, как это надо становиться героем, я совсем про другое думаю, как бы мне там поскорее начать, чтобы поскорее кончить и к тебе вернуться.

— Лучше тебя я все знаю и понимаю,— сказала я.— Просто ты ненормальный, и это такая мне судьба особенная выпала, что я ненормального полюбила, который всюду на рожон лезет, и сладу с ним никакого нет, и не может он даже один день повестки подождать, сам идет, в воскресенье, когда человеку отдыхать положено, а не на войну идти, и гости вечером придут, когда отоспятся, чтобы снова гулять, а я должна всему честному народу объявлять, что муж у меня после первой же ночи на войну сбежал.

Так мы с ней поговорили в последний раз, и я ушел на войну, чтобы воевать и ждать, а я пошла домой, чтобы жить и ждать, и я смотрел ей вслед, и я смотрела ему вслед, и, боже мой, как нам невмоготу расставаться, ну прямо хоть криком кричи, ну прямо хоть губы кусай, а мы только и успели, что на прощание немного поспорить, а ведь ему было двадцать, а ей девятнадцать, и она ушла, и он ушел — в воскресенье, в воскресенье на войну, в воскресение, понимаете?

9

Общая картина войны с проступающими подробностями

Война поражает людей, и они закрывают глаза, не желая глядеться в зеркало своего несовершенства, а смелые личности пишут про войну жестокие повести, романы, рассказы и поэмы, чтобы предъявить человечеству факты для размышления, и человечество размышляет, размышляет, вот уже три тысячи лет размышляет и над романами, и над рассказами размышляет, и все еще ни до чего такого не доразмышлялось, чтобы в результате не стрелять. А про абсолютно счастливую деревню это ведь не повесть и не поэма, это просто песня, которую автор поет, как чумак, и вдруг в эту песню ворвалась война, поет, как чумак, что вез пшеницу в Крым, а обратно соль, поет в просторе времени и пространства, поет, потому что так устроен, только везет он не пшеницу, а свой личный воз повседневной жизни, только вот разве что не молча едет, а поет, что тут скажешь, скажи пожалуйста.

Война ворвалась неожиданно и пошла стрелять по всей земле во все живое, во все дела человеческие и даже в равнодушную природу. И общая ее картина сначала была для русского человека совершенно отвратительная, потому что немцы зеленого цвета и готт мит унс на пряжках поясов были под самой Москвой, были на Дону, на Волге, на Оке, на Неве, в больших городах и в маленьких деревнях, вот какая была сначала отвратительная картина. И долго она была такой — светило летнее солнце, шли осенние дожди, выпадал снег, опять зеленела земля и опять белела зима, а перемен не было.

А потом пришли перемены к лучшему и перемен к худшему больше не было, и это, так сказать, картина общая.

А проступающих на ней подробностей было хоть отбавляй. Сколько людей — столько и подробностей, даже больше, гораздо больше.

10

Михеев лежит в чистом поле, привыкая

Вот, оказывается, какая это огнеупорная работа, сколько в ней надо понимать и про оружие, свое и чужое, и про местность, и про тело свое тоже надо многое понимать, и нельзя сказать одним словом — здесь нельзя в этой работе спешить, потому что бывает очень надо именно со всех ног спешить, а бывает, что надо обождать. А вокруг грохот, шум, суета, пыль столбом, и все это старается тебя запутать, сбить с толку, чтобы ты ясность соображения потерял или, наоборот, чрезмерной ясностью ослепился до того, чтобы тебе вдруг все просто показалось, и ты такой неуязвимый, и пуля тебя боится, и штык, видишь ли, не берет.

Немцы стреляли редко, лениво и без толку, так что Михеев в индивидуальном окопе имел, можно сказать, полный покой и мог отвлечься мыслями от немцев перед собой, от своей готовности к неожиданностям, от чистого поля вокруг, не полностью, конечно, отвлечься, полностью он уже никогда не отвлекался, имел опыт, но все-таки достаточно, чтобы внимательно повторить пройденный путь, вспомнить все свои знания и еще раз их проверить, проверить даже мускулами, как и какой мускул в каком случае действовать должен и достаточно ли он привык именно к такому действию, и если что неожиданно, то не забудет ли он сработать, как полагается, хотя, может быть, сам Михеев от неожиданности и растерялся и распорядиться этим мускулом позабудет.

Вот так он привыкал в чистом поле, уже не первый раз привыкал, и каждый на войне тоже так постепенно привыкал, и вся страна тоже постепенно привыкала к необычному состоянию, включая и деревню, оставленную Михеевым, и оказывалось, постепенно, конечно, что страшен черт, пока его не малюют, а и эту работу можем сделать, как и любую другую, в конечном счете как бы даже и не хуже, вот совсем даже лучше иных, а вы воображали и думали, где уж им. В конечном счете, разумеется, не сразу, сразу это мы не умеем, у нас размеры государства такие, что сразу невозможно нам ничего никак, сроков мы не любим точных, расписаний, распорядков, всяких там дрыг-дрыг, дрыг-дрыг и чтобы все сошлось. Такого от нас ожидать не надо, у нас земля чересчур обширная для такого, это нам не по душе. Но в конечном счете умеем, вот так, как-то этак, сами не понимаем как...

11

Солдат Куропаткин говорит с Михеевым о потребностях

Перед той страшной атакой, в результате которой Михеев перестал жить среди нас, не сразу перед атакой, а примерно за неделю перед ней, когда их часть стояла в небольшом украинском селе, разместившись в тех немногих домах, что не пожгли, отступая, немцы, точнее сказать, в тех немногих домах, которые не сгорели, хотя их жгли, в тех немногих домах, которым повезло, чисто случайно, потому что немцы спешили, убегая, и не делали теперь свое дело так тщательно, как раньше, когда они наступали, вот в одном из таких домов, лежа рядом на ночлеге, Куропаткин и Михеев поговорили немного.

— Что ты все ворочаешься, ворочаешься, а не спишь? — спросил тихо Михеев Куропаткина, и его спокойный голос раздался среди трудового храпа остальных солдат, как пение среди барабанов.

— Думаю о своих потребностях и не могу спать,— сказал Куропаткин.— Ты успел жениться, а я не успел, поэтому ты много знаешь такого, чего я не знаю о женщинах. А знаю я мало и не обстоятельно, потому что в Ярославле имел я взаимоотношения с разными девчонками, общим числом с тремя, но все мельком, так что и запомнил плохо и разобраться не сумел, что к чему, впопыхах, а вот если бы у меня была жена...

— Жаль мне тебя,— сказал Михеев.— Запутавшийся ты человек, можно сказать, окончательно запутавшийся человек, если такие у тебя рассуждения об этом. Понятно, что ты спать не можешь. Вот до чего запутался.

— Это точно,— сказал Куропаткин,— что не могу спать. На спине лежу — плохо, на боку лежу — еще хуже, на живот лягу — совсем невмоготу, на спину перевернусь — опять плохо.

— Запутался ты,— сказал Михеев.— Разницу не понимаешь.

— Какую разницу? — спросил Куропаткин, ложась на бок.

— Эту разницу, может, и трудно понять в мирное время, но в военное только дураку она не видна, вот и выходит, что солдат ты хороший, парень

смелый, пулемет свой таскаешь усердно, а ума у тебя еще маловато, простых вещей своим умом понять ты не в состоянии,— сказал Михеев.

— От первой девочки, сколько ни думаю, никаких воспоминаний не осталось, только вроде мягкое и теплое, в церковь мы с ней забрались, есть у нас такие брошенные церкви, эта Николы Мокрого называлась, я потом узнал, до Ленина еще так называлась, на ватнике мы с ней легли. Совершенно ничего не запомнил, надо же, а церковь эту помню, там склад помещался, а перед тем столовая, а еще перед тем офицеры венчались, это еще давно, мне сторож складской рассказал, когда он нас спугнул, надо же, какую ерунду запомнил, пока со сторожем курили, он говорил, да вы приходите, но засмущалась она, а потом я след ее потерял, так ничего и не могу вспомнить. От второй уже больше немного помню, мы с ней раз пять или шесть встречались, худая была, ни груди, ни зада, руки тонкие. Вот помню, как она целовалась, особенно помню, как она рукой своей длинной за шею меня обнимала, нежная такая рука, у плеча никаких мускулов нет, одна нежность. И шею ее помню, длинная шея, прямо из плеча начиналась и жилки на ней тоненькие. Давай закурим, Михеев, а?

Куропаткин перевернулся на живот и закурил.

— Ты говори,— сказал Михеев,— а потом я с тобой умом-разумом поделюсь, не беспокойся, умный будешь, глупость это у тебя от молодости, а раз от молодости, то, значит, пройдет, это ведь которые старые или от природы глупые, с теми делиться бесполезно, у них глупость пожизненная, не то, что у тебя.

— Коса была у нее или нет — не помню,— сказал Куропаткин, переворачиваясь на спину.— Лучше всего я третью запомнил, Олей ее звали, хотя мы с ней только четыре раза и лежали, зимой было дело, холодно и негде, к подруге ее ходили, но подруге самой жить надо было, а у подруги бабка свирепая, верующая была, редко из дома уходила, только вот на неделю в больницу слегла. Эта потолще была, фигурой на нашего полковника похожая, только грудь гораздо больше, задница совсем малюсенькая, а бока широкие и плечи широкие. Пальцы ее помню, короткие пальцы, все нос мне почему-то ласкала, пальцем по носу водила, очень приятно было. Только все они гулящие были, девки эти, легкомысленные, так сказать. Вот была бы у меня жена, я бы все до тонкостей постиг, все бы досконально узнал, спокойнее мне воевать было бы, по ночам не ворочался бы, тихо бы лежал и вспоминал.

— Окончательно ты запутавшийся человек, если так это мыслишь и жену с другими на одну доску ставишь,— сказал Михеев.— Хорошо, что ты не женился, одно безобразие у тебя получилось бы, раз ты не можешь разницу между женой и неженой понять.

— И то баба, и то баба, какая же тут разница,— возразил Куропаткин.— А я вот не могу целую бабу вспомнить в уме, по частям представляю, живот, например, или ноги, или лопатки — это для меня сплошные белые пятна, так сказать, я уже про главное и не говорю.

— Разница тут огромная,— сказал Михеев.— Вроде как между тобой и фашистом, хотя и ты, и он человек, и сверху у вас все одинаковое, и внутри у вас анатомия одинаковая, и почки у вас одинаковые, и даже в голове мозг по составу тоже одинаковый, а между тем разница у вас коренная, по духу разница, а не по составу. Так и у жены с другими разница по духу, а не по внешним показателям в виде там груди, ног или живота, хотя и тут могут быть отдельные и значительные несовпадения. Нежена существует только для того, что сверху у тебя, а жена не только для того, что сверху, но и для духа тоже, чтобы с ней разговаривать и спорить, потому что она, в отличие от фашиста или нежены, никакого обмана в себе не содержит, она с тобой целиком, а ее противоположность не целиком с тобой, а только внешне, понимаешь эту огромную разницу?

— Не очень что-то,— сказал Куропаткин.

— Вот видишь,— сказал Михеев,— а собирался жениться. Пока этой разницы человек не поймет, твердо не усвоит, нельзя ему жениться, ерунда у него получится, а не семья прочная и на всю жизнь, особенное безобразие выйдет, если дети у такого идиота родятся, тогда хоть караул кричи, такое

свинство будет получаться. Жена будет думать, что он ее понимает как жену, и дети будут думать, что он понимает их мать как жену, и все родственники, и соседи, и знакомые будут так же думать, а он ее не будет понимать как жену, а будет искать другую, чтобы ее понять как жену, но искать ему будет трудно, а найти еще труднее, потому что у него уже есть жена, и даже дети от жены уже есть, и не жена ему нужна, а с кем бы переспать для успокоения, он ведь, сам того не понимая, жену ищет, но у него уже есть жена, а та, с которой он переспит, очень может оказаться тоже женой, только другого мужа женой, она по тем же причинам, что и он, мужа себе ищет, не своего, а тоже другого, и тут до беды совсем недалеко, потому что его жене это совсем не понравится, и ее мужу не понравится, и их детям не понравится, и всем родственникам, соседям и знакомым не понравится тоже, потому что у них своих забот хватает, им такая путаница ни к чему, им от такой путаницы жить еще тяжелее, разбираться надо, а не разбираться нельзя, им непривычно не разбираться, а как тут разберешься, если два мужа и две жены и все их дети сами не могут разобраться, кто из них кто, кто настоящие жена и муж, а кто не настоящие и почему. Понимаешь теперь, в чем тут разница? Что молчишь?

Куропаткин ничего ему не ответил и молчал, потому что заснул.

— Спишь,— сказал Михеев.— Значит, понял все до конца и успокоился. Я же говорил ему, что он не дурак, а молодой просто. Видишь, прав я оказался.

— Ты, конечно, прав,— сказала Полина,— и я об этом тоже вот сейчас думаю, и странно мне, как это раньше я с тобой постоянно спорила и ни в чем не соглашалась, а сегодня во всем я с тобой согласна, но не должен ты сейчас ни о чем думать, а только об одном — как бы поскорее воевать закончить и ко мне вернуться, потому что нет моей мочи тебя ждать, да и близнецы наши никогда тебя не видели, а ведь разговаривают уже оба и растут здоровенные, хотя есть им достается мало и нечасто. Нет моей мочи тебя ждать ни как жене, ни как просто бабе, ни как матери, ни как работнице. Одна ведь я осталась с сыновьями твоими — и моя мать угасла, и тетки твои умерли, и корову на мясо сдала — ходить за ней некогда, и на работе я надрываюсь, и дома со всем не справиться, и ребята одни весь день, и забор разваливается, крыша потекла, огород сорняком зарос, поторопись, пожалуйста.

— Скоро вернусь я, скоро уже,— сказал Михеев.— Теперь мы уже не отступаем, а наоборот, вперед идем, быстро идем, изо всех сил быстро, хотя много лишнего народа бесхозяйственно гибнет, но спешить нам приходится, и я спешу больше всех, так что мне кажется, что это я во главе всей армии иду, а все, как один, за мной. Потерпи немного, очень тебя прошу.

— Сколько хочешь буду терпеть, лишь бы ты живой вернулся,— сказала Полина.

— Слушай, Михеев,— сказал Куропаткин, просыпаясь.— Надо было мне все-таки на этой Оле жениться, а то вот опять разные волнующие белые пятна снились, одно белее другого.

Но Михеев ничего ему не ответил, словно спал, а вокруг них спали усталые солдаты на полу, сняв сапоги и накрывшись шинелями, спали крепко, дыша с хрипом и трудом тяжким воздухом переполненного ими помещения, и это были серьезные солдаты с серьезным вооружением, злые к врагу даже во сне, это была настоящая армия, в которую собрался народ, спасая себя самого, а не желторотые новобранцы, растерянные и почти безоружные, что стояли два с лишним года назад недалеко от этого села за рекой, обутые кто в сандалии, кто в тапочки, мало кто в ботинки с обмотками, имевшие только непосредственных командиров, а высшие командиры их давно потеряли, и сам командир дивизии их потерял и приехал со своим штабом туда, где должна была находиться его дивизия, а она там не находилась, и штабной батальон вступил в бой с немцами, заменяя собой целую дивизию, и не смог, конечно, ничего защитить, включая это село, и немцы его захватили, и многие жители бежали из него, и кое-кто оказался в деревне Михеева, о них еще будет немного рассказано, а вот о том, как рассердился народ не на шутку и завоевал всерьез и как командир дивизии стал так воевать, что теперь он маршал, об этом не будет рассказано, может, Михеев и рассказал бы, если бы не атака, после которой не стало Михеева среди нас.

12

Атака, в которой не стало Михеева среди нас

— Давно-давно, еще древним, было известно,— сказал человек с рупором,— что война — это работа, такая же работа, как выращивание хлеба, как выхаживание скотины, как сооружение дома, только работа кровавая и этим необычная. И отступление — работа, и наступление тоже, а сейчас мы наступаем, делая это, как вот уже давно любую работу, наспех и кое-как, очень торопливо, а это было на этот раз неизбежно и потому много погибло народу, так много, что до сих пор никто не сосчитал, сколько, а если кто и сосчитал, то испугался своего подсчета и оставил его про себя—пусть уж завтра, завтра, когда все образуется и станет ясным и в сути, и в счете, когда неведомым чудом все недоделки исчезнут, поля заколосятся хлебами, по лугам пойдут пастись тучные стада, дома, построенные худо, вдруг превратятся в хрустальные дворцы, а лица расплывутся в счастливых улыбках, тогда, в этом замечательном завтра, на которое только и уповаем и надеемся, поскольку уповать и надеяться больше решительно не на что, в этом замешкавшемся завтра, когда мертвые воскреснут, грехи отпустятся, палачи поцелуются с жертвами — им и сейчас этого хочется, потому что испокон веку на Руси палачи ищут любви своих жертв, ибо сейчас он палач, а потом обязательно жертва, и хочется им, палачам, чтобы жертвы были с ними заодно, в трогательном единении при совершении общего всемирно-исторического акта, и так им этого хочется, что никакой иной возможности они и в мыслях не допускают, так вот, когда мертвые воскреснут, грехи отпустятся, палачи обнимутся с жертвами, а дураков просто простят, тогда во всем разберутся, и выяснится, что все решительно было правильно, поскольку увенчалось таким потрясающим результатом, полученным посредством достижения сияющих вершин с помощью разнообразных способов, включая работу тяп-ляп. И потому не надо сейчас суетиться и стараться забежать вперед и отнять у будущих поколений совершенно всю работу по осмыслению нашего удивительного времени — надо и им, этим поколениям, что-то оставить для деятельности, да и зачем нам еще одну работу делать тяп-ляп, лучше пусть каждый старается по мере сил, не ожидая от своего усердия ничего лично для себя, ни даже царствия небесного, а одного только счастливого завтра, того лучезарного завтра, когда нас наверняка не будет, но зато там-то и начнется прекрасная жизнь...

— Не согласен я,— сказал Михеев, прижимаясь покрепче к танку, на котором они мчались к переправе, а танк дрожал и трясся, словно старался их сбросить.— Конечно, идет война, и война, это правда, тяжелая работа, ничего такого тяжелого никогда до сих пор мне делать не приходилось и не придется, и отступать было тяжело, и наступать тоже тяжело, но жизнь у меня была прекрасная в нашей деревне и будет, конечно, еще прекраснее, потому что есть у меня там Полина и вот теперь два, хоть и близнеца, но здоровенных парня, и будут еще другие дети у нас, и есть там земля, которая родит не скупнсь, если не вытаптывать, и много у меня там всяких дел, для которых имеются вот две доволько-таки крепкие руки, и голова на плечах тоже имеется, и когда я вспомню нашу синюю-синюю речку, и наше синее-синее небо, и наш зеленый-зеленый лес, в котором мои сыновья будут вскоре собирать грибы и присядут над, например, боровиком, спрятавшимся от них под тень, траву и листья, так ничего я про завтра не понимаю, почему оно прекраснее, чем моя жизнь, и чем тогда будет лучше, чем в моей деревне, вот хоть убей не понимаю, хотя, конечно, понимаю, что мне сейчас на трясущемся танке в полной выкладке ехать навстречу огню не так чтобы очень приятно, и речка впереди — мутная речка, и лес впереди черный и обгорелый, и небо надо мной пыльное и дымное, некрасивое небо, совсем не небесного цвета, все это я понимаю, эту, так сказать, наглядную разницу, но я и здесь, на танке, не жалуюсь, а только тороплюсь. Все мы торопимся, что ж тут такого особенного, ведь неприятную работу всегда поскорее закончить хочется.

Когда танки и на танках пехота переправились через мутную речку, началась война, какой еще не приходилось видеть Михееву, давно уже обстрелянному солдату.

Он вместе с другими высадился на песчаной косе шириной метров в тридцать, а впереди был высокий обрывистый берег, а там, наверху, начиналась оборона немцев, и земля вздрогнула всем своим срезом от взрыва наших снарядов, падающих на эту оборону, и осыпалась вниз, на тела наших бойцов, устилавшие плацдарм, изрытый глубокими окопами. Танки пошли влево, чтобы подняться на обрыв, а взводу, в котором состоял Михеев, командир приказал еще глубже закопаться в землю. Этот плацдарм входил в далеко идущие замыслы далекого отсюда командования, и солдаты зарывались, радуясь, что так легко копать эту землю, только вот крепить стены окопов почти нечем.

Михеев кинул очередную лопату земли и выглянул из окопа.

И словно он — тем, что выглянул — подал сигнал.

Земля вздрогнула, небо рассыпалось в порошок, речка лопнула и полилась в разные стороны. Танки вдали остановились как вкопанные, сразу, и исчезли из вида, потому что наступила ночь, и ночь боролась с днем, день пробивался сквозь темноту то здесь, то там, отчаянно пытаясь задержаться больше, чем на миг, но мрак душил его, засыпая землей, застилая дымом, и ничего не было слышно, кроме монотонного рева взрывов, и во вспышках дня пролетел кусок дерна с обгорелой осинкой, мелькнула рука с автоматом, прокатилась башня танка, просвистел черный обломок снаряда, показавшийся Михееву огромным. Плацдарм накрыла немецкая артиллерия и начала перемешивать тесто из песка, из убитых и из живых, чтобы спутать планы далекого нашего командования.

Михеев прижался к волнующейся стенке траншеи, заботясь, как и положено, о своей жизни и зная, что такой огонь не может продолжаться долго. Но он ошибся. Огонь продолжался и продолжался, ему не было конца, и день устал бороться с ночью и уступил, и спрятался невидимое солнце за невидимый горизонт, и только тогда огонь прекратился и нестерпимо загрохотала тишина. Михеев распрямился и выглянул. Тесто было замешано круто, нигде не видно было живых, окопы и траншеи разрушились почти везде, песок был розовый, но не от заката, крутой обрыв стал еще круче, и на фоне неба Михеев увидал голову — она осматривала, как и он, плацдарм, и рядом с головой торчала темная палка ствола. Михеев прицелился не торопясь, выстрелил. Голова дернулась, потом поникла, показались две руки, упал автомат, руки схватились за голову, словно хотели ее оторвать, на край обрыва выползло на помощь голове туловище, бившееся в последних усилиях, потом немец умер, затих и медленно скатился вниз по обрыву. И снова вздрогнула земля, и Михеев опять прижался к стенке траншеи, удивляясь, что этот кусок ее с ним внутри неуязвим для снарядов и осколков, наверно, из-за какого-то пустяка в рельефе местности. На этот раз огонь продолжался недолго, и когда он прекратился, была уже полная ночь, и Михеев услыхал на реке легкие всплески и понял, что это подходит подкрепление.

С рассветом немцы снова начали месить плацдарм и месили его так же круто, и под вечер человек пять немцев решительно бросились вниз с обрыва, и Михеев стал неторопливо стрелять, и кто-то еще неизвестно откуда тоже стрелял из пулемета, наверно, Куропаткин, и последний немец побежал назад и выскочил на край обрыва, судорожно жестикулируя, и когда он показался на фоне неба, Михеев выстрелил. Немец целую минуту проторчал на краю, размахивая руками, стараясь упасть туда, к своим, но не смог, изогнулся дугой и полетел с обрыва. А ночью приплыли новые наши подкрепления, и снова они полегли все до единого от немецкого огня, и так продолжалось неизвестно сколько дней подряд, так что Михеев научился даже засыпать под огнем и просыпаться от тишины, а ночью ему приходилось есть и таскать к лодкам тяжело раненных.

Он уже плохо понимал, что делает и почему его до сих пор не убило, это было необъяснимо, и он полюбил свой надежный, словно заколдованный, уголок в траншее, ставший ему домом. И когда однажды пришло особенно большое подкрепление и Михеев узнал, что он стал теперь командиром отделения, и он огорчился, потому что рядом с ним в его песочном доме не могли поместиться все десять солдат его отделения, а только четверо, и он не знал,

кого же выбрать, все были молодые, почти одинаковые, и все должны были жить. Он сидел и думал, как же ему их разместить, если вырыть углубления, то даже шесть человек поместятся, может быть, даже семь, но трое все равно не поместятся, ведь весь его дом величиной с табуретку, а кругом этой табуретки еще никто ни разу не уцелел, и в глубину уже рыть некуда, до воды он уже дорылся, а углубления больше не выроешь, обвалятся. А ведь он теперь командир, значит, по честному правилу должен себя сберегать, но и о подчиненных он тоже обязан заботиться, сохранять их жизни, чтобы они зря не пропали, а оставались в строю. И ему нельзя, никак невозможно уступить свое место, это будет глупость с точки зрения военной работы, ведь на его месте мог поместиться только один солдат, вот если бы четыре, тогда другое дело, потому что тогда это имело бы смысл и тогда он бы подумал, а так не имело. В мирное время, ясно, начальнику должно быть хуже всех и во всех отношениях, и в похожем положении он, конечно, от своей личности отказался бы, самое тяжелое взял бы себе, но как быть в военное время, он не знал.

— Понимаешь,— сказал он солдату, дремавшему рядом с ним,— не знаю, как вас всех в кучу собрать поближе ко мне.

— Что? — встрепенулся дремавший. И из его широко раскрывшихся ночных глаз вылетели страх, боль и надежда и влетели в глаза Михеева.

— Не знаю, говорю, что мне делать,— сказал Михеев, морщась от того, как его царапали чужие страх, боль и надежда.— Как вас всех в кучу собрать, здесь вот, потому что тут возможности больше вам уцелеть, но мы все тут не помещаемся, и не знаю я, что делать.

Но солдат уже опять дремал и не слушал совершенно ненужные ему в эту минуту слова.

13

Михеев разговаривает с землей

— Многое я передумал, пока рельеф твоей местности сохранял мне тут жизнь,— сказал Михеев.— И вот, между прочим, что. Если бы был такой один огромный снаряд, который с огромной силой взорваться должен был где-то, неважно где, и я бы знал, что мой окоп — надежный окоп и устоит даже от такого взрыва, от которого ничто и нигде не устоит, все, что есть на свете, разрушится, и все, кто живет на свете, погибнут, а я в своем окопе мог бы поместить только четверых, то, конечно, первым делом я взял бы сюда Полину и двух своих сыновей, но сам бы я отсюда вылез бы все-таки, как-нибудь все-таки удалился бы, чтобы освободить место для других детей, которые еще гораздо меньше жили, чем я, и вообще неудобно мне было бы уцелевать, хотя Полине без меня пришлось бы более чем трудно, тем более, что снаряд этот все бы поуничтожал, и пролетариев всех стран, и капиталистов, и работы осталось бы несделанной огромное количество.

— Очень много работы,— сказала земля.

— Вот именно,— сказал Михеев.— Тем не менее мне пришлось бы вылезти, хотя Полине потом одной строй дом, и одной копай огород, дои корову, обшивай ребят и учи их грамоте. Но ведь те снаряды, которые начнут падать на нас утром, отличаются от того огромного снаряда только силой взрыва, а не по существу.

— Конечно, не по существу,— сказала земля.

— А раз не по существу,— сказал Михеев,— значит, и мое решение не должно отличаться по существу, ведь все эти солдаты, над которыми я сейчас непосредственный, к сожалению, начальник, тоже жить хотят и право имеют жить, а завтра их поубивают почти без пользы. В предыдущем случае я бы не просто вылез, а побежал бы к тому мосту, откуда собираются пустить огромный снаряд, и постарался бы там помешать его пустить, не помирать же за здорово живешь вот так просто, как муха, а Полина потом работай. Выходит, и сейчас я должен сделать то же самое, оставить здесь те семь человек, что уцелеют, а я с тремя побежать быстрее туда, откуда стреляют по нам. Ничего другого мне не остается.

— Ничего другого тебе и не остается,— трудно сказала земля.

14

Атака, в которой не стало Михеева среди нас

В темноте по залитому кровью песку и дальше по рыхлой земле у подножья обрыва быстро пробежали четверо солдат, вползли, как ужи, на обрыв через его край и исчезли там. Однако наш дозорный заметил их на обрыве и растолкал своего начальника.

— Товарищ старший лейтенант! — сказал он.— Атака! Наши туда поползли!

— Командиров взводов ко мне! — приказал начальник.

Некоторое время спустя в расположении немцев поднялась стрельба, в небо взвились осветительные ракеты, шум боя долетел до наших войск на том берегу, и, как это бывает на войне сплошь и рядом, разбуженный внезапно механизм пришел в действие, увлекая все больше и больше людей, опережая и разрушая планы и замыслы, разгораясь словно сам собой, без надлежащей подготовки, когда и артиллерия для наступления не сосредоточена, и танки в нужном количестве не подошли, и языки не взяты, и самолеты не заправлены горючим, и инженерные работы не закончены, и связисты не отрегулировали связь, и командиры всех родов войск не согласовали между собой свои действия и не поставили задачи своим подчиненным, указав рубежи, сроки и ориентиры, однако и пушки стреляют, и наличные танки идут вперед, и самолеты летят бомбить, и саперы наводят мост, и связисты тянут кабель, и командиры указывают рубежи, сроки и ориентиры.

В немецких траншеях четверо солдат дрались остервенело, не стараясь ничего захватить, нигде окопаться и засесть, а стремясь вперед и вперед, внося путаницу в оборону немцев, переполох в сердца, вызывая торопливость и спешку. Но чудес не бывает на войне, почти никогда не бывает, и вчетвером невозможно прорвать оборону, невозможно побить сотню врагов, вчетвером можно только погибнуть смертью храбрых.

«Ваш муж погиб смертью храбрых»,— прочитала Полина и не вскрикнула, не упала, а осталась стоять, как стрела, только прислонилась плечом к дому и стояла неподвижно, не хотелось ей шевелиться, говорить, плакать и жить.

15

Солдат Куропаткин перед офицерами на незнакомой поляне несколько месяцев спустя

— Как же так,— сказал старый полковник,— что ж это ты не боролся, солдат?

— Боролся, товарищ полковник! — отрапортовал рядовой Куропаткин.— Вел непрерывный пулеметный огонь согласно приказу по указанному сараю!

— Но в сарае-то никого не было, и во всем хуторе никого не было, и за десять километров от хутора никого не было,— устало сказал полковник.— Ни одного немца, понимаешь?

— Понимаю, товарищ полковник.

— Зачем же стрелял, если понимаешь?

— Согласно приказу, товарищ полковник!

— Не знаю, что делать,— сказал молодой майор капитану и замполиту.— Четыре часа взвод атакует сарай, в котором никого нет, и хутор, в котором тоже никого нет, и за десять километров от хутора никого нет, целый день атакует, а виноватого не найти.

— Неужели не видел, что никого там нет? — спросил полковник.

— Так точно, видел, товарищ полковник! — сказал Куропаткин весело.— Не дурак же я, конечно, видел.

— Так зачем стрелял, если видел? — спросил капитан.

— Разрешите отвечать, товарищ полковник? — обратился Куропаткин по начальству.

— Отвечайте.

— Приказ был, товарищ капитан.

— А потом что было? — спросил майор.

— Разрешите отвечать, товарищ полковник?

— Отвечайте.

— А потом согласно приказу был бросок на автомашине к озеру, товарищ майор,— сказал Куропаткин.— Был приказ занять там рубеж и удерживать, я удерживал, остальные не смогли, погибли.

— Был такой генерал Куропаткин,— сказал замполит.— Это не родственник ваш?

— Разрешите отвечать, товарищ полковник?

— Отвечайте,— сказал полковник.— Отвечайте, не спрашивая у меня.

— Мне, собственно говоря, спросить надо, товарищ полковник. Разрешите спросить, товарищ полковник?

— И спрашивайте, не спрашивая,— сказал полковник.

— Не понимаю, товарищ полковник! — сказал Куропаткин.— Так можно спросить?

— Я вам уже сказал: спрашивайте! Спрашивайте, не спрашивая! — Полковник начал нервничать.

— Не понимаю, товарищ полковник!

— Что ты не понимаешь, солдат? Что? — спросил полковник.

— Спрашивайте, не спрашивая, не понимаю, товарищ полковник!

— Спрашивай у него,— показал полковник пальцем на замполита,— не спрашивая у меня,— и полковник ткнул этим же пальцем в себя.

— Разрешите доложить, товарищ полковник! Мне надо спросить не у него,— и Куропаткин показал подбородком на замполита,— а у вас,— и он показал подбородком на полковника.

— Спрашивайте,— пожал плечами полковник.

— Товарищ генерал Куропаткин — он откуда родом? — спросил Куропаткин.

— Откуда я знаю? — сказал полковник.— При чем тут генерал Куропаткин.

— Товарищ замполит спросили, не родственник ли мне товарищ генерал Куропаткин, товарищ полковник! — сказал Куропаткин.— Поэтому я интересуюсь, откуда он родом, если из моих мест, то очень может быть, что родственник, а если не из моих мест, то не так может быть, что родственник, товарищ полковник!

— Откуда вы родом, товарищ замполит? — строго спросил полковник.

— Из Ярославля,— удивленно сказал замполит.

— И я из Ярославля! — сказал Куропаткин радостно.— Разрешите доложить, я тоже из Ярославля, товарищ полковник.

— Ну и что? — спросил полковник.

— А то, товарищ полковник, что если товарищ замполит родом из Ярославля, и товарищ генерал Куропаткин тоже, возможно, родом из Ярославля, и я родом из Ярославля, то мы все получаемся родом из Ярославля и все, возможно, родственники,— объяснил Куропаткин.

— Моя фамилия Краснов, а не Куропаткин,— сказал замполит.— И вообще я в Ярославле только родился, а жил потом в Саратове.

— Ну и что? — спросил у него полковник.

— А то, что, значит, не могу я быть родственником генералу Куропаткину,— усмехнулся замполит.

— Не понимаю,— сказал капитан.— Почему если вы жили в Саратове, то вы не можете быть родственником генералу Куропаткину?

— Так кто из вас родственник генерала Куропаткина? — спросил полковник.

— Не знаю, товарищ полковник,— сказал Куропаткин.

— Может быть, этот солдат и родственник, а я нет,— сказал замполит.

— Не понимаю, при чем тут то, что вы жили в Саратове,— сказал капитан.

— А почему солдат Куропаткин называет белого генерала Куропаткина товарищем? — обратил внимание майор.

— Молчать! — закричал полковник.— Все молчать! Говорите по одному, я ничего не понимаю! Говорите вы,— приказал он Куропаткину.

— Что говорить, товарищ генерал? — спросил Куропаткин.

— А что вы хотели сказать? — спросил полковник.

— Я хотел «не знаю» сказать, товарищ полковник.

— Чего не знаете? — спросил полковник.— Спросите, если не знаете!

— Что спросить, товарищ полковник?

— Что не знаешь, солдат, то и спроси! — приказал полковник.

— Я не знаю уже, что я не знаю, товарищ полковник.

— Товарищ майор, доложите все сначала,— устало сказал полковник.

— Слушаюсь,— сказал майор.— Так вот, значит, так, товарищ замполит спросил товарища солдата, не родственник ли он, то есть солдат, генералу Куропаткину...

— К черту генерала Куропаткина! — закричал полковник.— Доложите существо дела!

— А есть еще, мне помнится, генерал Куропаткин на 1-м Белорусском фронте,— сказал вдруг капитан.— Не тот белый генерал, которого имел в виду замполит, а наш советский генерал Куропаткин.

— Откуда вы знаете, капитан, что я имел в виду белого генерала, а не нашего? — спросил замполит.

— Вы же сами удивились, что солдат назвал белого генерала товарищем,— сказал капитан.

— Это не я удивился, а майор удивился,— сказал замполит.

— А вас не удивляет, если солдат называет товарищем белого генерала Куропаткина? — спросил майор у замполита.

— Молчать! — закричал полковник еще громче.— Чтоб я больше не слышал фамилии Куропаткин! Куропаткин! Куропаткин! При чем тут Куропаткин!

— Куропаткин это его фамилия,— сказал капитан.

— Капитан, прекратите! — крикнул полковник.— Я запрещаю говорить о Куропаткине!

— То, о чем вы запретили говорить, это его фамилия,— сказал капитан.

— Чья фамилия? — спросил полковник.

— Фамилия этого солдата,— сказал майор.— И если вы о нем запретили говорить, то о чем мы будем говорить?

— Так мы никогда не разберемся,— сказал полковник.—Доложите, майор, все сначала. И запрещаю называть фамилии, ясно?

— Слушаюсь,— сказал майор.

На поляне за столиком у входа в укрытие четыре офицера задумались, кто же виноват, что взвод погиб, а солдат Куропаткин стоял перед ними по стойке смирно и старался им помочь.

— Кто приказал взводу атаковать хутор и сарай? — спросил полковник.

— Я приказал,— сказал капитан.— Согласно приказу командира батальона.

— В моем приказе ничего не говорилось, что вы должны атаковать хутор, в котором никого нет, и сарай, в котором тем более никого нет,— сказал майор.

— Вот именно,— сказал капитан.— Что никого нет, не говорилось, а что там немцы, говорилось.

— Откуда вы взяли, товарищ майор, что в сарае и на хуторе немцы? — спросил полковник.

— Из приказа по полку,— пожал плечами майор.

— Хутор не был назван в приказе по полку! — сказал полковник.

— Но был назван рубеж, а хутор на рубеже,— возразил майор.

— И вы не знали, что там никого нет? — спросил полковник.

— Не знал,— сказал майор.

— И вы не знали? — спросил полковник у капитана.

— Не знал,— сказал капитан.

— Ну, вы-то, конечно, не знали,— махнул полковник рукой на замполита.— Так кто же знал?

— Я знал, товарищ полковник! — сказал Куропаткин.

— Откуда вы знали? — спросил полковник.

— Вечером, накануне боя, я туда, разрешите доложить, товарищ полковник, я туда оправляться ходил! — сказал Куропаткин.

— Куда это — туда? — спросил полковник.

— В сарай, товарищ полковник!

— Почему это вы туда пошли оправляться? — спросил полковник.— В расположение немцев?

— Виноват, товарищ полковник, там не было немцев!

— Это подозрительно,— сказал замполит.— Откуда вы знали, что там нет немцев?

— Не перебивайте меня,— сказал полковник.— Итак, солдат, ты знал, что там немцев нет. Зачем же ты четыре часа стрелял по сараю?

— Согласно поставленной задаче, товарищ полковник.

— Кто же тебе ставил эту дурацкую задачу? — спросил полковник.

— Командир взвода лично, товарищ полковник!

— А ты ему сказал, что там никого нет?

— Так точно, сказал.

— А он что?

— А он сказал, чтобы я шел к едрене фене, товарищ полковник.

— А ты что?

— А я сказал слушаюсь, товарищ полковник.

— А он что?

— А он сказал то-то и еще сказал, что все знают, что там немцы — и командир полка, и комбат, и комроты, а я хочу быть умнее всех.

— А ты что?

— Больше ничего, товарищ полковник.

— И не сказал, что там оправлялся?

— Так он об этом не спрашивал, товарищ полковник, он прочь пошел.

— Ты понимаешь, что ты наделал, солдат? — спросил полковник.— Ты один знал, что немцев там нет, и не боролся, не отстаивал правильную точку зрения.

— Он выполнял приказ,— вступился капитан.

— С вами мы еще поговорим, капитан,— сказал полковник.— Плохо вы воспитываете солдат!

— Это дело замполита,— сказал майор.

— И ваше, майор, и ваше,— сказал замполит.

— Замполит спас положение, взяв на себя командование штурмовой группой,— сказал полковник.—А в гибели взвода виноват этот солдат. Тебе это ясно, солдат?

— Ясно, товарищ полковник! — сказал Куропаткин.— Надо было втолковать лейтенанту нашему, что я там оправлялся.

— Вот именно,— сказал полковник.— А не понимал твой лейтенант, надо было дойти до капитана, до майора, до меня, наконец, и добиться правды. За правду бороться надо, в любых условиях, а ты спасовал. Приказ-то был дурацкий, ясно?

— Так точно!

— Вот из-за тебя и взвод погиб,— сказал полковник.— Вот что ты наделал, солдат.

— Но он выполнял приказ,— снова вступился капитан.

— Не в том дело, что он выполнял приказ,— объяснил замполит,— это он был обязан — выполнять приказ, а в том дело, что не боролся против приказа, одновременно его выполняя. Эту диалектику вы, надеюсь, понимаете, капитан? Надо бороться, выполняя,— что может быть понятнее?

— Действительно,— сказал майор.— Если все будут дружно бороться против глупых приказов, одновременно их выполняя, то это будет именно то, что нам надо.

— Не совсем с вами согласен,— сказал полковник.—Тогда будет очень трудно найти виноватого, а сейчас нам это удалось довольно быстро.

— Но тогда вообще не будет виноватых,— сказал майор.— Потому что все будут одинаково виноваты — от солдата до генерала.

— Нет,— сказал замполит.— Генералы не смогут быть виноваты, потому

что они тоже будут бороться против приказов, против своих собственных неудачных приказов, одновременно требуя их выполнения. Вот в чем тут диалектика. И вообще не будет виноватых — все будут бороться против.

— Мы отвлеклись,— сказал полковник.— Что-то надо решать насчет солдата. Начнем с вас, капитан? Что вы предлагаете?

— Когда придет пополнение, включить в новый взвод ручным пулеметчиком,— сказал капитан.

— Отправить в штрафной батальон,— сказал майор.

— Расстрелять перед строем,— сказал замполит.

— Согласен,—кивнул головой полковник.— Так и сделаем. Солдат Куропаткин!

— Я!

— Как виновный в гибели своего взвода вы направляетесь в штрафной батальон!

— Есть направляться в штрафной батальон!

— Можете идти,— сказал полковник, и Куропаткин четко удалился с незнакомой ему поляны.

— В армии все проще,— сказал замполит.— А вот в мирное время трудно будет найти виноватых среди тех, кто против приказов не борется.

— Ну, в мирное время не мне командовать,— сказал полковник.— Так что у меня об этом голова не болит.

— Интересно,— сказал капитан, глядя на замполита,— а откуда все-таки генерал Куропаткин родом? Надо будет выяснить.

16

Полное невмоготу Полине

Черт бы подрал этих мальчишек, которых я целый час искала по двору, по огороду, на улице и у соседей и уже испугалась, куда же они запропастились, а они запропастились в печь, закрылись заслонкой, играя в пещеру, да там и заснули в темноте и саже и вылезли оттуда выспавшиеся, голодные, со светлыми глазами на черных от копоти лицах и ели картошку с капустой, договариваясь, куда бы им еще запропаститься, а растут они не по дням, даже не по часам, с чего бы это, ведь капуста одна, хорошо, что вот картошки достала, а они растут, как Илья Муромец, может, зря я старшего Ильей назвала, не выкормить мне их.

Черт бы подрал этого мастера в цеху, кривого нахала, который перевел меня в ночную смену на целую неделю, и вот иди теперь четыре километра до станции в темноте по грязи, мало того, что в поезде за час настоишься, теперь с мокрыми ногами стой, в темноте обязательно в лужи напроваливаешься, твоими ногами, Михеев, стой, ну зачем ты погиб смертью храбрых, жил бы лучше жизнью нехрабрых, как все живут, видишь, невмоготу мне, а мастер пристает, ты, говорит, здоровая, покрепче других, не пойдешь со мной на склад, я тебя еще в подсобное хозяйство пошлю, а как я могу туда без мальчишек, они одни никак еще не могут ничего, только запропаститься и могут.

Черт бы подрал этот поезд, переполненный всегда, негде сесть, и люди спят сидя и стоя, все равно, едут ли на завод или с завода, зимней ночью или летним днем, в тепле и в холоде, в духоте, черт бы подрал этот поезд, этот поезд, черт, этот поезд, что, этот поезд, мне, этот поезд, делать, делать, делать, этот поезд, этот поезд, этот пояс, что на мне, не вздохнуть, развяжи его, Михеев, вот спасибо, легче теперь, дай на тебя обопрусь, какой ты добрый, Михеев, теперь ты присмотришь за ребятами, накормишь их, я не ела досыта уже давно, теперь легче будет, только бы не вздрогнуть, только бы не вздрогнуть, зачем я вздрогнула, вот и нет тебя, совсем никогда нет, только этот поезд, этот поезд.

Черт бы подрал эту крышу, которая течет, и этот огород, где картошка не окучена, сорняки не выполоты. Черт бы подрал это белье, которое надо постирать, и печь, которую надо затопить, и капусту надо сварить, и магазин, в котором надо отовариться, и пол, который надо вымыть, и завод, на котором я не могу перестать работать, и колодец, из которого надо принести воды, и коромысло давит на похудевшие плечи, на усталую спину, на все, что было

твоим, Михеев. Что ж мне делать, скажи, ну, не молчи, скажи, ты раньше много говорил, скажи что-нибудь?

— А я и сейчас могу сказать,— сказал ей Михеев.— Я не отказываюсь сказать, это дураки уходят и не говорят, а я тебе скажу, я не хочу не говорить, тем более, что мне теперь многое виднее, чем раньше, кругозор мой расширился, я теперь стал совсем умный, так что я тебе очень просто и прямо скажу, что тебе делать, раньше я не смог бы тебе так просто сказать, а теперь могу, потому что многое я теперь знаю и понимаю такое, чего раньше не знал и не понимал, личность мне моя мешала, а теперь не мешает. Человека тебе надо в дом ввести, Полина, вот что надо тебе сделать.

— Не могу я этого сделать, что это ты мне опять какие-то глупости предлагаешь, и зачем я только с тобой познакомилась и слушаться тебя начала! — сказала Полина, а поезд ее покачивал и дергал, покачивал и дергал, но люди стояли вокруг нее плотно и не давали упасть.— Я люблю тебя, как любила, знаешь, еще даже сильнее люблю, смотрю на мальчишек — а люблю тебя, смотрю в колодец с журавлем, когда ведро топлю, а люблю тебя, смотрю на тополь, а люблю тебя, смотрю на речку, когда стираю, а люблю тебя, и никого не могу в дом ввести, потому что люблю тебя, а ты сам такие глупости мне предлагаешь, может быть, это не ты со мной разговариваешь, может быть, это я сама с собой разговариваю?

— Ты пойми меня правильно, Полина,— сказал Михеев.— Это обязательно надо, чтобы жили и сыновья мои, и ты, и чтобы дом не разрушался, крыша бы не протекала, забор не валился, картошка была бы окучена, одежда выстирана, печь затоплена, полы вымыты, в разбитое окно стекло вставлено, а ты еще не все заметила, что сделать надо, вот сапоги у тебя совсем никуда, их починить надо, что же все с мокрыми ногами ходить, ревматизм будет, и бочка у тебя для квашеной капусты еле держится, обруч верхний лопнул, надо новый набить, и дров у тебя запасено недостаточно, до середины зимы и то не хватит, надо в лес идти и хворосту наносить, и лошадь опять достать, и привезти дров, и напилить надо, и наколоть, а Илья с Алешкой никак тебе не подмога, так что не обойтись тебе без человека в доме, совершенно не обойтись.

— Все это я без тебя заметила, не воображай,— сказала Полина.— Сапоги мне мастер обещал выписать, когда солдатское имущество списанное к нам поступит, и бочку я пока веревкой стяну, еще подержится, только вот с дровами не знаю, что делать, времени не остается. Да и взять мне в дом совсем некого, я после тебя смотреть ни на кого не могу, все с ущербом, все неприятные, а такого, чтобы без ущерба и меня с двумя сыновьями взял, где я найду такого.

— Найдешь,—сказал Михеев.— Это я знаю. А что меня любишь, это только хорошо и очень мне приятно, и всю жизнь будешь любить и только лучше тебе от этого будет.

— Надоело мне твои глупости слушать,— сказала Полина.— Невмоготу мне сейчас.

17

Дети уходят в лес у реки

В небе днем над деревней вместо звезд сверкают птицы и облака, звенят на солнце над золотыми стеблями хлебов, украшая жизнь до нестерпимой степени, украшая ее глубокой высью, плавным течением смысла, который отнюдь не в чьей-то голове рождается отдельно от птиц и неба, реки, облаков и деревни, а просто и есть вот это все вместе взятое — и глубокая высь, и бескрайний низ, и человеческая жизнь, которая переплелась и с низом и с высью, так тесно переплелась деревней, дорогой, взглядами глаз, приложением рук, что никакая сволочь не сокрушит и не опоганит.

Детям этого смысла не сообразить умом, у них для такого соображения в голове возможностей еще не образовалось, они только посмотрят на небо с птицами, или на реку с темно-зелеными прядями тины у берегов, или на лес, где между стволами ходит тишина, и ощутят, посмотрев, немедленную потребность прыгать, рассказывать небылицы, перелезать через неприступные заборы и вообще жить, жить очень интересно и размахивая руками. Так что

дети никакого этого смысла отдельного не понимают, они для отдельного смысла еще не взрослые, они все сплошь самый смысл и есть, а вот взрослые частью этот смысл понимать научаются, но которые понимают, те уже смыслом не являются, потому что надо, чтобы понять, на смысл посмотреть со стороны и надо, значит, из смысла выйти. И понимающим объяснить детям трудно, потому что детей из смысла вывести трудно, а непонимающие детям смысл объяснить, конечно, не могут, раз они сами смысла не понимают. А жить интересно и размахивая руками взрослые умеют очень плохо, потому взрослые детям под дневным небом и птицами совершенно ни к чему, только мешают, и если покажется на горизонте взрослый, то дети на него внимания не обращают, если он не разводит костер или не стоит на голове.

Взрослых на горизонте не было, и деревенские ребята небольшой стайкой жили свободно, идя в лес.

Жизненная сила Славки Постаногова сделала его предводителем ребят, хотя, скажем, Костя Фомин бегал гораздо быстрее, а Вася Прохоров был гораздо крупнее, а Валька-беженец рассказывал интереснее учителя Федора Михайловича, потому что не требовал запоминать рассказанное.

— Мы не сразу поехали,— рассказывал Валька-беженец,— потому что мама не верила, что немцы придут, а потом стрелять начали, у соседей на дворе вдруг как бабахнет ихняя мина, я даже от окна отошел, неприятно было около окна стоять. И тут мы все-таки поехали, потому что коней могло поубивать, мама сказала, немного отъедем, где не стреляют. А на дороге столько ехало, кто на чем, даже на волах, а мы самые последние, мама все назад оглядывалась. И кругом стреляют. Километров сто отъехали, вдруг самолет немецкий на нас как налетит, как начал из пулеметов бить, все кто куда бегут, кони в разные стороны помчались, пыль кругом, кричат, я даже растерялся, на дно подводы лег. Мама прямо в поле повернула наших коней, и они как поскакали, трясет страшно, я даже глаза зажмурил. Потом тихо стало, смотрю — мы в лесу, страшном таком, дорога вся сзади в ямах и лужах, а перед нами телега перевернутая, чужие лошади убитые валяются, будка фанерная лежит, а людей нет. Только вот Пашка сидит рядом с телегой, напугался очень, один сидит.

— Я не напугался,— сказал Пашка.— Я просто сидел.

— Мать пошла, посмотрела там все, никого нет. Она по лесу походила, покричала — никого. Тогда она будку на подводу к нам поставила, Пашку в нее посадила, и мы поехали назад, потом дальше, пока до вас не доехали.

— И не видели немцев? — спросил Славка Постаногов.

— Нет,— сказал Валька.— Не повезло. Только самолет видел.

— А я видел немцев,— сказал Пашка.— И партизан видел.

— Во сне, что ли? — спросил Славка.

— И во сне тоже видел,— сказал Пашка.

— Подумаешь, и я во сне видел,— сказал Вася Прохоров.— А ты до жаворонка докинешь камень?

В небе, дрожа, висел жаворонок, малиновый в голубом небе под белыми с золотой каймой облаками, и Валька-беженец кинул в небо камень, но камень далеко не долетел до жаворонка, который не обратил на камень внимания. И все мальчишки стали кидать, но никто не смог добросить до жаворонка или даже спугнуть его, занятого собственными наблюдениями и своим личным глубоко осмысленным дрожанием. Ребята оставили его в дрожащем покое и пришли в лес, где в кустах стояла зеленая фанерная будка, та самая, в которой укрывались на ночь и от непогоды Валька с матерью и подобранный ими Пашка, потерявший родителей под немецкой бомбежкой, до сих пор не могли их найти, а запросов не поступало.

В будке хранили ребята запасы деревянного оружия, лесных орехов и шишек, здесь жила привязанная за дырку в панцире лесная черепаха, здесь разводили они костры и пекли картошку, если удавалось достать, и здесь, в тишине леса, им не мешали взрослые расти самостоятельно.

Но сейчас на ближних подступах к будке стоял человек.

Он стоял, прислонясь к стволу березы, как к дверному косяку, скрестив ноги в кирзовых сапогах и неторопливо сворачивая самокрутку. Серая солдат-

ская шинель была наброшена на его плечи, ворот гимнастерки расстегнут, а пилотки на темных волосах не было.

Лица его было не разглядеть, лица его было не разобрать, и сердца ребят замерли, потому что каждый человек в шинели напоминал им того единственного, самого главного из людей, который совершал где-то на неизвестных направлениях подвиги и от которого приходили иногда или могли бы приходить письма-треугольники, надписанные химическим карандашом.

Ребята остановились перед ним, а он продолжал сворачивать самокрутку, потом закурил, поправил шинель на плечах и пошел в глубь леса, не обратив внимания на мальчишек, словно и не видел их. Он уходил, но не становился меньше или незаметнее — наоборот. Он рос и увеличивался в устремленных ему вслед глазах, серая его шинель полыхала за плечами, как ветер, как пламя, он заслонил собою деревья леса и шел сквозь них. Вдруг он обернулся.

Зачем человек поднимает руку? Погрозить, позвать, поманить. Попрощаться. Прости-прощай. Прощаешь? Пока, прощай. Прощай, пока прощается. Что поделаешь, что я, как и многие, прощаюсь навсегда — вы уж навсегда простите, хоть это и не просто. Мне самому несладко уходить, и поэтому я ухожу молча — так вы лучше меня запомните, как я есть, без путаницы слов, поднявшего руку на прощание. Молча прощайтесь, люди, молча, только руку поднимите, прощая остающихся.

Лес тихо шумел над будкой, из набежавшей тучи посыпался дождь, и капли, сбегая с листьев, постукивали по фанере.

— Ты видел у него нашивки? — спросил Валька-беженец у Славки.

— Видел,— сказал Славка.— Пять тяжелых ранений.

— Не пять, а шесть,— сказал Костя Фомин.

— Куда он пошел? — спросил Вася Прохоров.— Может, он демобилизованный?

— Надо бы за ним пойти,— сказал Славка.— Это вы побоялись.

Пашка-беженец лежал на локте, задумчиво водя пальцем по панцирю черепахи, рисуя на нем какой-то непонятный узор, наверно, очень грустный, потому что лицо у Пашки было грустное и палец его был тоже грустный.

— В войну будем играть? — спросил Славка.

— Не хочется,— сказал Валька.

— Лучше костер разведем,— сказал Вася.

— А ну его, костер,— сказал Славка.— Может, шишки пособираем?

— А ну их, шишки,— сказал Валька.

— Эх, не пошли за ним,— сказал Славка.

— А ну его,— сказал Вася, и губы его дрогнули.

18

Общая картина войны с отступающими подробностями

Еще далеко не кончилась война, но она уходила на Запад, все уходила и уходила, туда ей и дорога, оставляя о себе память на нашей земле и гордость в народном чувстве надолго, на века. И эту гордость в народном чувстве нельзя не разделять, если понимать, что не пустоцветные мысли доводят человека до истины, а только причастность к жизни близких ему людей, а не дальних, родной ему земли, а не чужой — здесь его причастие, его участие, вся его участь тут, и часть земли здесь будет ему навсегда в свое время, будет.

И горе оставляла война, родную сестру гордости, от одного основания и корня они — в мягкость перейдя, рождает корень горе, а в твердость — рождает гордость, и лучше слишком в это не вникать, запутаешься в побегах этого корня.

Народ спас самого себя, отчего же не уважать ему себя за это? Отдельный человек, образованный и смертный, может, конечно, быть выше всей жизненной суеты, выше страстей народных, ему-то что, ему жить недолго, а народу жить вечно, и народ помнит всех, кто смертью смерть попрал, кто обрел бессмертие в жизни народа.

За хутором лесным, у дороги, заросший травою холмик — солдатская могила. Женщины, по-своему выражая заботу о ней, поставили на холмике крест из двух березовых ветвей, связанных лубом. Пройдет время, многие, очерствев, будут вспоминать погибших, посещая только знаменитые кладбища, где погребены тысячи и тысячи в одном месте. Только тысячи и тысячи будут будить их чувства. А мы в нашей песне, прощаясь с войной навсегда, потому что уходит она и из нашей песни, освобождая путь любви и жизни, из всех подробностей войны запомним эту могилу за лесным углом.

19

Где это ты, Франц?

Какая очень типичная русская деревня, какая очень-очень сплошная анархия, черная коза на улице пасется, это нельзя, коза на улице без привязи, это не есть порядок, это для улицы и для черной козы вредно.

Через абсолютно счастливую деревню на глухую лесную стройку гнали сотни полторы зеленых небритых немцев, выгрузив на станции, а идти им было еще далеко, и пока капитан, начальник конвоя, выяснял в сельсовете по телефону про маршрут, довольствие и ночлег, пленные немцы стояли живописно под дождем, охраняемые двумя автоматчиками, курившими на крыльце сельсовета, охраняемые не автоматчиками, охраняемые пространством, чувством поражения и радости, что вокруг не стреляют, не рвутся снаряды, не кричат жизнеопасные команды. И Франц, ожидая неизвестной участи под этим новым для него небом, поднял придорожный камень, вытащил ржавый гвоздь из отскочившей планки палисадника, окружавшего сельсовет, и на другом камне распрямил этот гвоздь и начал прибивать планку, а черная коза прекратила щипать траву и стала пристально смотреть на Франца.

— Гут,— сказал Франц, приколотив планку.

Живые немцы — это нельзя пропустить, не в кино, а настоящих, и со всей деревни сбежались мальчишки и самые смелые девчонки и остановились подальше от толпы немцев и поближе к автоматчикам. На передний край выдвинулись самые отчаянные, и Славка Постаногов стал вдруг прыгать и кружиться, не в силах сдержать возбуждение при виде такого количества безопасных врагов, и другие мальчишки стали тоже воинственно прыгать, не обращая внимания на дождь, который монотонно сеялся с неба, редкий и мелкий, тоже не обращая внимания на небывалое событие в жизни деревни.

И Костя Фомин вдруг, неожиданно для всех, но в полном соответствии с буйством танца, схватил крепкий комок земли и, замахнувшись, как солдат гранатой в кино, бросил его в немцев.

— А ну, брысь! — крикнул автоматчик, вставая, и ребята отбежали.

— Майн гот,— сказал Франц, рассматривая детей.

20

«Гут»,— сказал Франц

— Больше года в плену,— сказал капитан Полине,— так что по-русски понимает уже, скромный такой, на работе старательный, вроде даже любит работу.

— Если приставать будет, прогоню его,— сказала Полина.

— А в смысле документов,— сказал капитан,— я справку тебе выдам, что он больной и вообще родственник тебе оказался, так что временно оставлен под твоей охраной, а сам его спишу, что, дескать, помер, так что искать его не станут, мало ли их пропадает, да потом находятся. Война кончится, он найдется, к себе в Германию поедет, а пока для тебя поработает, хотя, конечно, такого закона нет, чтобы они по хозяйству помогали, но ведь он и в колхоз ходить работать сможет, так что все останутся довольны, а он, надо думать, больше всех.

— Я с ним поговорю,— сказала Полина.

— Этот самый хороший,— сказал капитан.— Что ж, правда, тебе без мужской помощи оставаться?

Так все сошлось, что капитан был умный, Полине было невмоготу, а Франц

оказался мирным и работящим, и вот Полина подошла к нему, военнопленному, чтобы поговорить.

— Здравствуйте,—сказала Полина.

— Гутен таг,— сказал Франц.

Полина посмотрела на него и увидела его взволнованное лицо, нервное и худое, высокий лоб и голубые глаза.

— Вы останетесь здесь, у меня,— сказала Полина.

— Гут,— сказал Франц.

— Дом, дети, работы много,— сказала Полина.

— Гут,— сказал Франц.

— Я буду для вас вроде родственница дальняя,— сказала Полина.

— Гут,— сказал Франц.

— Только вы ничего не воображайте,— сказала Полина, раздражаясь его согласием.— Совсем ничего не воображайте, просто помогать будете мне, и в колхозе тоже, а больше ничего, вот так.

— Гут,— сказал Франц.

— Конечно, я дома тоже буду делать, что успею, только тяжело мне — и на заводе и дома, одна я совсем,— сказала Полина.— А вам лучше будет у меня, чем в лагере, если вы только по-человечески вести себя будете, хорошо?

— Гут,— сказал Франц.

21
Бабочка над лугом

Как легко себе представить мрачные, вроде тюрьмы, городские стены с мрачными, как надгробья, обрубками каменных труб над ними, по которым только воспаленным воображением можно увидеть идущего Иисуса Христа, так вот, как легко себе над этим представить мрачные силуэты черных птиц — всякого там воронья или голубей, так совсем легче увидать головой разнообразный луг с бабочками над ним, белыми, желтыми, зеленоватыми капустницами, узорными крапивницами, среди которых изредка, как гордые орлы, пролетают красавицы по имени павлиний глаз, и все это множество напудренных, слабых — ну просто не тронь, танцует свой радужный танец над густой травой лугов, тянущихся на миллионы верст по бесконечно далеким пространствам России, от одного бескрайнего горизонта до другого совсем уже бескрайнего горизонта, и дальше, дальше, во все стороны до совершенно бескрайних горизонтов. Но белых бабочек больше всего, а почему это так, тут нужно вот что вспомнить.

На Руси белый цвет — это главный цвет, цвет берез и соборных стен, цвет головокружительной черемухи и священных риз, цвет горностая и снегов. На полгода, а то и больше, покрывает Россию зимний покров, сверкая белизной под луной и под солнцем, освещая синие дороги, зеленую хвою и прозрачное небо. А потому он главный цвет, что составлен из всех возможных цветов на свете — из лилового и синего, голубого и зеленого, желтого и оранжевого, и красного тоже, так что любой цвет и оттенок, какой только можно придумать или составить, уже имеется в белом цвете, как и любая мысль, какую только можно сочинить или сконструировать, уже присутствует в русской мысли, беспредельной, как и родившая ее земля. Вот что нужно вспомнить, когда лежишь затылком на ладонях, в траве, и белая бабочка порхает над головой. Вот синий цвет, например, удивительно может быть красивый, но если все на свете сделать синим — синий лес, синие цветы в синей траве, синий нос на синем лице, синие птицы в синем небе, синие волосы, завязанные синей ленточкой, если все будет синее, синее, только синее, то это невозможно никак и противно представить, потому что скучно в этом синем однообразии до синих чертиков. А из белого цвета можно сделать и синие глаза, и золотистые волосы, и, понятно, вообще все на свете, включая вон тот белый сарафан, что показался далеко на лугу, а из сарафана видны загорелые плечи Полины, идущей по своим делам.

— Ну, что я такое,— сказала бабочка.— Пустяк какой-то, ничего осо-

бенного, меня вон пальцем тронь — и нет меня, подуй на меня — и унесет меня, клюнь меня — и нет меня. Разве это жизнь, достойная подражания? И науки мне неизвестны, так что нечего говорить о такой безделице, как я.

А ты лежишь затылком на ладонях, пока она скромничает и задается над тобой, и постигаешь разнообразие жизни — разнообразие луга, постигаешь, постигаешь, пока не засыпаешь тихо и незаметно, и навсегда, а луг продолжает тянуться на миллионы верст, на миллионы лет, до миллионов бескрайних горизонтов, окружая абсолютно счастливую деревню, и по нему можно идти, идти, идти, не уставая, и не надоест, но ты уже спишь, ты больше не пойдешь, тебе хорошо, это другие пойдут.

— Ты, конечно, невелика, и тронь тебя — и нет тебя, это верно, и запомнить тебя не просто, потому что ты большей частью летаешь, а сидишь, сложившись пополам, так что или половину запоминай, или как ты летаешь. Времени у меня сейчас много, и я могу на тебя подробно смотреть, как и на все на свете, и мне не надо спешить за Полиной, как надо было, когда она от меня хоронилась, теперь я всегда с ней.

22
Колодец с журавлем

— Колодец с журавлем — это я, и старый тополь — это я, и лес, и речка, и луга — не вы, не мы, а я.

— Я теперь гораздо лучше все вижу, кругозор мой расширился, очень сильно расширился, и понимание мое теперь углубилось, потому что теперь я на все смотрю сверху, а не снизу, и я вышел из своей личности, и она не мешает мне все рассмотреть. И вот я гляжу на нашу деревню всевозможными глазами, и она мне нравится, как и прежде, потому что воздух над ней чистый, земля вокруг нее зеленая и пышная благодаря растениям, река мимо нее вечная, неиссякаемая, и люди в ней живут почти сплошь хорошие, давно живут, и будут они жить вечно, потому что будут они любить, и дети на свет появляться поэтому будут. Раньше я редко думал, как мне нравится наша деревня, некогда было мне об этом думать, надо было по ночам Полину любить, чтобы дети появлялись, днем работать, потом и днем и ночью воевать надо было. Где тут с мыслями собраться или к учителю нашему Федору Михайловичу сходить, как он приглашал, и выяснить неясные вопросы про географию, историю или почему наша деревня гораздо лучше других.

— Федору Михайловичу,— сказал колодец с журавлем,— новый дом недавно предоставили, баба Фима говорит, у него там книг штук не меньше, чем двести, и все аккуратно в газеты завернуты, и он все читает и с учениками беседует, читает и беседует, а работать уже не может, вот только учит и беседует, совсем старый стал.

— А теперь времени у меня хватает, чтобы подумать о чем захочу и о том, как мне нравится наша деревня.

— Чему тут нравиться,—сказал колодец с журавлем.— Ничего особенного, вон сруб у меня совсем сгнил, менять надо.

— Конечно, если новый сруб сделать, это будет еще гораздо лучше в деревне.

— А домов сколько ветхих, да и тесно в них, во многих тесно,— сказал колодец с журавлем.

— Конечно, еще лучше будет, если вместо ветхих новые поставить, просторные.

— Чему тут нравиться,— сказал колодец с журавлем.— Вон скольких баб любить некому, баба Фима говорит, мне-то что, мой век весь вышел, а молодым это вредно, организм портится.

— Все бы ты ворчал и скрипел, нехороший свой характер обнаруживая,— сказал Михеев.— В суть из-за характера проникнуть не можешь, череп в тебе закопан и жемчужная нитка зацепилась, и ты про это думаешь и гордишься, что такие в тебе тайны скрыты. Хватит мне с тобой разговаривать, я на речку пойду, где мы с Полиной тогда первый раз обнимались.

— Сруб будут менять — жемчуг найдут,— сказал колодец с журавлем ему вслед.— В госбанк отнесут, а что там с ним сделают — неизвестно. Может, на валюту обменяют, а может, африканской принцессе подарят.

23

На реке, где мы с Полиной первый раз обнимались

— Вот, однако, как это ты, река, похожа сверху на Полину, и этот твой, река, поворот, как изгиб Полининой шеи, когда она отвернула лицо, а волосы ее текли по траве светлыми волнами, а снизу это было незаметно, что ты так на нее похожа. В глубине твоей, река, плавают окуни с красными плавниками, с темными полосами на спине, с обиженной губой под круглыми глазами. Над твоей, река, синевой плавает синее небо, течет в противоположную тебе сторону и сыплет по ночам в тебя звезды. Ты бежишь мимо деревни, от бани Постаногова до жилища дремучего деда, бежишь, ниоткуда не убегая, оставаясь на месте, верная своим берегам от тех трех кленов, что стоят напротив бани, до той ивы, что напротив деда, и тому лесу, что между ними и дальше. И вот сейчас снова вечер и из садов доносятся песни любовного содержания, только поют уже не наши товарищи, а вчерашние дети. И мои там мальчишки, здоровенные получились, и дочери Андрея и Клавы среди них, Вера, Надежда, Любка младшая, все до сих пор незамужние.

— Не нравится мне это,— сказала река.— Меньше встречаются на моих берегах, чем встречались раньше, а Вера вчера приходила, сидела, задумавшись, допоздна, по совсем в одиночестве.

— Она думает в одиночестве временно,— сказал Михеев.— Скоро будет думать вдвоем, только уедут они отсюда на остров Диксон, будут там согревать друг друга и родят дочку, новую Веру.

— На острове Диксон таких рек нет, как я,— сказала река.

— Волосы ее текли по траве светлыми волнами,— сказал Михеев.— Спасибо тебе, река.

24

Почему ты не уезжаешь, Франц?

— Ты, наверно, не совсем немец,— сказала Полина.

— Вас ист дас — не совсем немец? — спросил Франц.

— Помнишь, я сказала тебе, что дом, дети, работы много, а ты сказал гут; чтобы ты ничего не воображал, просто помогал мне, а ты сказал гут; чтобы ты вел себя по-человечески, а ты сказал гут, то есть я сказала в смысле, чтобы ты не приставал ко мне, женщины во мне не видел, а ты и тут сказал гут. И вот ты починил крышу, забор, приучая детей помогать, и ходил в колхоз, и делал много всякой работы, справедливым был, так что все тебя полюбили, и даже многие шли к нам за советом, а ты всем помогал. А ко мне не приставал. Как сказал гут, так все и делал! Без подвоха, без обмана. Вот почему ты не совсем немец.

— Нет,— сказал Франц.— Я совсем немец, и мой батюшка и матушка были совсем немцы.

— Помнишь, баба Фима пришла и сказала, что ее сын тоже воюет, так что ты теперь у нее поживи, а ты посмотрел на меня, и я сказала бабе Фиме, что ты мой родственник и тут совершенно ни при чем, что ее сын воюет. Но ты пошел к ней и выкопал ей картошку, а Егоровне вылечил корову, а Постаноговых пиво научил варить.

— Пиво варить после войны я научал,— сказал Франц.

— И женщины во мне ты не видел, как сказал гут, так все и было, надо же,— сказала Полина.— А деревня сомневалась немного, ты чей — общий или только мой, и когда при тебе об этом заговаривали, ты на меня смотрел, так смотрел, так смотрел, что я один раз не выдержала и закричала, чтобы не приставали к тебе, ты муж мой, понятно? А ты тогда не был еще моим мужем, а только дальним родственником, хорошим человеком.

— Он неправильно пиво варил, очень торопливо,— сказал Франц.— Суслу не давал отстояться, вместо вина водку наливал в это, как называется, приголовок.

— Я хотела мальчика,— сказала Полина.— А получились две девочки. Это участь у меня такая, что ли, двойнями рожать?

— Я думаю, что природа тому причиной,— сказал Франц.— Это хорошо, двое сразу. Если бы ты еще захотела рожать, могли бы два мальчика быть. Жаль.

— Ты пойдешь сегодня к Постаногову? — спросила Полина.

— Да,— сказал Франц.— Он опять бумагу получил. Опять меня разыскали. После войны это в который раз?

— В пятый,— сказала Полина.— За двенадцать лет пять раз тебя находили.

— Хорошо работают,— сказал Франц.— Так далеко я, а они пятый раз нашли. Разные организации ищут и каждая находит.

Постаногов занимал в деревне видное положение как председатель сельсовета, но хотя это было так, стол у него в углу стоял без скатерти и без клеенки, и, более того, под образами, и даже более того — горела лампада перед образами, а керосиновая лампа на столе стекла не имела и коптила на лица его гостей, и без того смуглых, и с этих лиц сверкали глаза, а на столе был большой кувшин с пивом и стаканом. Шестеро гостей сидели на лавках вдоль стола под образами, потому что жена Постаногова была религиозной женщиной, и тут он ничего не мог поделать вот уже сорок лет, несмотря на свой громадный партийный стаж, и свободное время у жены отнимала вера от вышивания скатерти, украшения быта и покупки нового стекла для лампы.

— Не понимаю я, Франц Карлович,— сказал Постаногов,— почему ты не уезжаешь. Мы не хотим, конечно, чтобы ты уезжал, работник ты передовой, человек непьющий, ценим мы тебя, ты не карьерист, но у тебя есть собственная страна, правда, капиталистическая, но все-таки своя, и там семья старая, родственники. Вот чего я не понимаю.

— Это понять трудно,— сказал молодой Фомин, наливая себе пиво.— Русскому человеку это понять почти совершенно невозможно.

— Моя семья живет под Магдебургом,— сказал Франц.— Они другие теперь. У жены моей новый муж, наверно, есть. На ферме у меня порядок был, наверно, и теперь порядок. Там как заведено все, так и идет, аккуратно и спокойно. А здесь у меня новая семья, новая жена, две своих дочки, два приемных сына, а вокруг очень мало порядка, так что думать много надо, как это возможно, чтобы так мало порядка, а люди живут и очень хорошие люди живут. И мне интересно, сколько это будет продолжаться, и как это будет меняться, и как из этого беспорядка порядок будет получаться и когда. Не могу я отсюда уехать, очень мне здесь интересно. И жена у меня очень хороший человек, и дети все хорошие, от них я тоже не хочу уезжать. Я был военнопленный, а она меня в дом приняла, как родственника, что тоже, конечно, непорядок, однако и капитан, и она, и вот вы этот непорядок сделали, и я благодарен вам за это, немцы бы так не сделали, сплошная анархия, а уезжать не хочу.

— Действительность нашу критикуешь, Франц Карлович,— сказал Постаногов.— Это зачем же?

— Не критикует он,— сказал сосед Постаногова.— Человек вслух думает, это ценить надо.

— Я так считаю, что пусть у нас живет,— сказал молодой Фомин.

— Кто же против,— сказал Постаногов.— Если бы была сплошная анархия, Франц Карлович, то мы давно бы все перемерли, а мы живем, ты это пойми.

— Их ферштээ,— сказал Франц.

25

Огородное пугало и его сны

Луна светила ему под козырек в первобытные глаза, а вокруг него качали черными головами подсолнухи.

Сонно мычала корова у себя дома где-то рядом, плескалась рыба в реке, и круги плыли по воде со скоростью течения.

Надо бы все-таки рассказать, как выглядит одна абсолютно счастливая деревня в целом. Ну, представьте себе синюю-синюю речку и синее-синее небо... Хотя нет, невозможно это сейчас представить, потому что ночь над землей и небо в эту пору совсем не синее, хотя тоже красивое.

— Много я с тобой когда-то разговаривал,— сказал Михеев,— но многого не договорили, все я куда-то спешил, дел было много.

— А я не спешу,— сказало пугало.— Мне спешить всегда было некуда.

— Я теперь тоже не спешу,— сказал Михеев.— Необъятная деревня вокруг меня.

— Осенью и зимой я вообще без дела,— сказало пугало.— Сны вижу, замечательные сны. Вот, например, этой зимой один очень длинный сон приснился. Сначала приснился мне колокольный звон и длинная-длинная процессия, которая шла вдоль нашей реки. Скрипели телеги, мычали привязанные к возам коровы, лаяли шавки, бегущие вместе со всем этим не то обозом, не то процессией. Все люди шли, все сплошь знакомые — и Фомины, и Постаноговы, и бабка Егоровна с семейством, и баба Фима, и дети. Даже дремучий дед в конце неохотно шел, за самой последней телегой — пойдет, пойдет и недоверчиво останавливается. А колокольный звон заливается на все возможные голоса.

— Что-то на тебя, наверно, церковное намотано, раз тебе колокольный звон снился,— сказал Михеев.— А может, ватник твой дьячок когда-то надевал. Отчего бы иначе такие сны.

— Перешла эта процессия реку, а там неизвестно откуда взялся — холм стоит высокий, склон его зеленый и дорога к вершине вьется. А на холме стоит твоя Полина и Илья с Алешей рядом с ней — рослые, статные, ну совсем как в жизни.

— А это от разговоров наших приснилось,— сказал Михеев.

— На Полине платье белое с красным поясом, в котором на свадьбе она была, а Илья с Алешей в чем-то серебристом, не разобрать толком, в чем. И вся процессия к ним на холм подниматься стала, медленно так, целый месяц, наверно, мне снилось, как она поднимается. Тут меня ветер разбудил, крышей загремел, с трудом снова заснуть удалось, большая часть сна прошла, пока ветер крышей гремел. Потом приснилось мне пустое поле, на нем белыми камушками множество надписей выложено, только прочесть невозможно, трава между камушков поднялась, слов не разобрать.

— Фуражка на тебе железнодорожная, вот тебе надписи, выложенные белыми камушками, и снятся,— сказал Михеев.

— А потом на этом поле ты мне приснился,— сказало пугало.— Только грустный почему-то ты был и стал мне рассказывать, что нравится тебе наша деревня очень сильно, но многое ты сейчас видишь, чего прежде не видел, и хочется тебе, чтобы земля была плодороднее, стада обширнее, народу было бы побольше, детей тоже чтобы было побольше, дома были посветлее и попросторнее, а люди не имели бы в себе хитрости и о выгоде своей поменьше бы думали. Тут мне пришлось тебе сказать, что невозможных вещей ты хочешь.

— Почему это невозможных? — спросил Михеев.— Это совсем простые и легкие вещи, чтобы лес был еще зеленее, например, что ж тут такого невозможного. Очень просто увидеть всю нашу необъятную деревню прекрасной без изъяна. Что вот на тучной земле вразброс, утопая в садах, стоят дома, увитые хмелем, плющом и повителью, окна в домах чистые, убранство в них опрятное, люди в них живут здоровые и дело делают толково, с умом и шуткой, весело и с достоинством, друг о друге заботятся, землю свою любят. Это очень просто представить, так что же тут невозможного? И разница с тем, что есть, не особенно велика, потому что если бы она была особенно велика, то жизнь давно бы уже прекратилась, а она не прекратилась.

— Не понимаешь ты, что люди разные, желания у них разные, и все почти получать хотят, а вовсе не отдавать,— сказало пугало.

— Это пуговицы на тебе с кителя срезанные, вот тебе и снится, что невозможно,— сказал Михеев.

— А ты у земли спроси, если мне не веришь,— сказало пугало.

26

Михеев разговаривает с землей о ее недостатках

— Почему это так, земля,— спросил Михеев,— что, если представлять себе, что на тебе, тучной, вразброс стоят в садах просторные дома, окна в домах чистые, убранство в них опрятное, люди в них живут здоровые и веселые и так далее, то чем дальше думаешь об этом и представляешь это себе, тем хуже это видно, словно светлее становится больше необходимого, все светлее и светлее, так что свет все гасит и ничего уже, кроме света, не видишь и никак ничего, кроме света, не разглядеть и в подробности не всмотреться?

— Не всмотреться,— сказала земля.

— Еще отдельную подробность можно рассмотреть и представить себе ее совсем ясно, так что это будет счастливая и хорошая подробность, но уже другие подробности с ней рядом не разглядеть из-за света?

— Из-за света,— сказала земля.

— Вот несешь ты на себе одну абсолютно счастливую деревню,— сказал Михеев.

— Несу,— сказала земля.

— Но ведь в ней есть, что сделать лучше, гораздо лучше, это ты знаешь, но когда совсем лучше, то один свет и ничего больше, и слепнем мы от света, и, как слепые, впотьмах бог знает что делаем.

— Поговори со мной о моих недостатках,— сказала земля,— поговори об этом.

СВОБОДА ВАЖНЕЕ ДЕМОКРАТИИ

Имя англо-американского историка, поэта и прозаика Роберта Конквеста известно у нас немногим. Его книги по советской истории до последнего времени были запрещены в СССР. Сам писатель последний раз приезжал в нашу страну пятьдесят два года назад. И вот он снова в Союзе. Мы беседуем с профессором Конквестом в редакции «Невы» накануне публикации его документально-художественного исследования «Большой террор».

— Для меня большим событием является мой приезд в Ленинград,— сказал мистер Конквест,— я очень рад тому, что пришел в вашу редакцию, и очень рад, что ваши читатели познакомятся с моей книгой. Еще пять лет назад это было невозможно. Самое главное, мы достигли такого уровня взаимопонимания, когда спор идет не о самих фактах, но об отношении к ним. Существуют две солидарности: бюрократический интернационал и солидарность честных, порядочных людей. Важным являются не принадлежность к партии, не те или иные мнения, а честь, достоинство и порядочность человека. Меня всегда привлекала ваша страна, Россия, тем, что в ней находится колоссальный запас этих замечательных качеств. Это побудило меня заняться русским феноменом, такими писателями, как Чехов и Достоевский.

— Мистер Конквест, как Вы пришли к той работе, публикацию которой мы начинаем на страницах нашего журнала?

— Я писал книгу «Большой террор» с 1965-го по 1968 год. У меня было много материала, в том числе из личных архивов. Я собрал эти факты воедино, оставалось определить, насколько они верны. Потому что было, конечно, много фальсификаций. Ко времени написания книги многое уже появилось и у вас. В частности, все мы знали содержание секретного доклада Хрущева. Думаю, что больше половины источников, которыми я пользовался, советские. Но советский историк не мог провести подобное исследование в связи с тем, что существовал запрет на факты. Только иностранец способен был выполнить эту работу и остаться в живых.

— Если Вы следите за историческими и литературными публикациями в нашей стране, Вы должны знать, что Вашу книгу все время цитируют, не называя источника, ее раскрадывают по кусочкам. Это было одной из причин, по которой мы считали необходимым напечатать ее в оригинале. Как Вы к этому относитесь?

— Я это видел, и я ничего не имею против.

— Некоторые из нас читали Вашу книгу много лет назад, ночами, рискуя, как Вы понимаете. В ней и тогда поражала не только ее разоблачительная сила, обилие фактов, проницательность, но какая-то благородная нравственная позиция, мудрость и сострадательная доброта.

— Я стремился к объективному изложению, но в то же время не скрывал своих чувств. Это не просто репортаж и не просто документальная хроника. Нужно быть человеконенавистником, чтобы не почувствовать сострадания к народу, на долю которого выпали такие ужасы и несчастья. А при этом сознание того, что все это забыто, об этом не говорят...

— Мистер Конквест, чем Вы объясняете столь массовое ослепление? Ведь сопротивления сталинскому режиму практически не было.

— Недавно я прочитал в одной советской книге о коллективизации: если бы крестьяне знали, что это происходит повсюду,— они бы восстали. Но они не знали и не могли знать. Сталин осуществлял жесткий контроль информации. Это относится и к городам.

— Не кажется ли Вам, что большой террор, описанный Вами, можно сравнить с нравственным геноцидом, который развратил и обессилил нацию?

— Я думаю, что некоторые люди и в вашей стране и на Западе не вполне понимают, каким ужасным был этот этап. Его можно сравнить разве что с событиями в Германии, но у них это длилось всего 10—12 лет. Массовые убийства совершал Чингис-хан, однако у него не было телеграфа. Психологический террор намного страшнее. Ваша ситуация уникальна. Я не говорю при этом о Китае или Камбодже.

— Вы один из лучших знатоков нашего прошлого. Каким Вам видится наше будущее?

— Скажу так: я не должен был бы надеяться, но я надеюсь. Мне кажется, что возможность возрождения России есть. Вы находитесь в самом начале.

— Мистер Конквест, представьте, что у Вас есть возможность выступить на съезде народных депутатов. О чем бы Вы сказали в первую очередь, учитывая короткий регламент?

— Во-первых, я бы говорил спокойнее, чем многие депутаты. У меня нет самомнения. Я не Папа. Но я бы сказал прежде всего, что свобода важнее, чем демократия. Государство не может быть выше права, выше закона. Англия сначала обрела политическую свободу, а потом стала демократичной. Государство не могло вмешиваться в осуществление закона. Вы в этом смысле на правильном пути. Хочется надеяться, что нынешняя ваша революция будет проходить мирно.

С автором беседовали **Н. КРЫЩУК и С. ЛУРЬЕ**

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Глава первая

ОН ГОТОВИТСЯ

Первые шаги к террору нового типа, который охватил страну позднее, Сталин сделал как раз в ходе борьбы за победу в деревне.

В то время, как лидеры оппозиции застряли в зыбучих песках своих собственных предубеждений, менее значительные фигуры в партии были смелее и догадливее. В период 1930—1933 годов имели место три выступления против Сталина. Первое, в 1930 году, было сделано под руководством его недавних последователей — Сырцова, которого Сталин только что провел в кандидаты Политбюро (на место Баумана) и сделал председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, и Ломинадзе, также члена Центрального Комитета. В своей попытке ограничить власть Сталина они заручились некоторой поддержкой со стороны местных партийных секретарей (в их числе был комсомольский вождь Шацкин и первый секретарь закавказской партийной организации Картвелишвили). Сырцов и Ломинадзе возражали против единоначалия в партии и государстве и против опасной экономической политики. Они выпустили обращение, критиковавшее режим за экономический авантюризм, за удушение рабочей инициативы, за хамское обращение партии с людьми; говорили о «барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян», называли успехи советского строительства «очковтирательством», а такие новые промышленные гиганты, как Сталинградский тракторный завод, «потемкинской деревней».

Сталин узнал о планах этой группы до того, как Сырцов и Ломинадзе закончили подготовку к выступлению. Оба были исключены из партии в декабре 1930 года. Ломинадзе покончил самоубийством в 1935 году; все остальные исчезли во время большого террора.

Теперь мы подходим к исключительно важному моменту в развитии террора — к так называемому делу Рютина. В последующие годы Рютина неоднократно именовали главным заговорщиком; и все главные оппозиционеры, один за другим, обвинялись в том, что они участвовали в «заговоре» Рютина.

В действительности произошло следующее.

Рютин и Слепков возглавили группу правых, занимавших не очень высокое положение в партийной иерархии. Группа не приняла политику бездействия, рекомендованную Бухариным, и к концу 1932 года составила знаменитую «рютинскую платформу». Этот документ в 200 страниц участники широко распространили в руководящих кругах партии.

Все существенные пункты содержания «платформы» теперь известны из различных источников. Главная мысль документа была выражена так: «Правые оказались правы в области экономики, а Троцкий оказался прав в своей критике режима в партии». Авторы «платформы Рютина» обвиняли Бухарина, Рыкова и Томского в капитуляции. «Платформа» предлагала экономическое отступление, она требовала уменьшить капиталовложения в промышленность и освободить крестьян, разрешив им свободно выходить из колхозов. В качестве первого шага к восстановлению партийной демократии «платформа» требовала немедленного восстановления в партии всех исключенных, в том числе Троцкого.

Однако «платформа» примечательна не столько своим открытым провозглашением программы правых, сколько суровыми обвинениями по адресу лично Сталина. Из 200 страниц «платформы» 50 посвящены этой теме, и в них содержится решительное требование отстранить Сталина от руководства. В «платформе» Сталин изображался «своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти». Рютин видел, и гораздо яснее, чем старшие участники оппозиции, что никакой возможности контролировать Сталина не было. Вопрос стоял так: либо повиноваться, либо бунтовать.

Сталин изобразил дело так, будто «платформа» была призывом к его убийству. На процессе Бухарина — Рыкова в 1938 году говорилось о том, что «в рютинской платформе был зафиксирован переход к тактике насильственного ниспровержения Советской власти... В суть рютинской платформы вошли „дворцовый переворот“, террор...». Все это было, конечно, неправдой. Но характеристика «платформы», которую власти вложили в уста обвиняемых на процессе, показывает сталинский подход к делу Рютина: Сталин видел в «платформе» повод для того, чтобы начать обвинять оппозицию в тяжелых уголовных преступлениях.

Журнальный вариант. Прим. см. в № 10.

Похоже, что Сталин надеялся на расстрел Рютина органами ОГПУ без вовлечения в дело политических властей. Однако ОГПУ передало вопрос сперва на рассмотрение Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК). Это был орган, формально стоявший вне партийной иерархии, в котором могли независимо решаться дисциплинарные вопросы. Председателем ЦКК являлся обычно один из высших руководителей Политбюро, который на время выходил из его состава. После смерти Ленина пост председателя ЦКК занимал ряд сталинцев — Куйбышев, Орджоникидзе, Андреев, а в момент, о котором идет речь,— Рудзутак. Почувствовав, что дело Рютина было политическим делом, далеко выходящим за пределы простого дисциплинарного вопроса, Рудзутак, в свою очередь, передал дело на рассмотрение Политбюро. В этюде Николаевского «Как подготовлялся Московский процесс. Из письма старого большевика» есть рассказ о том, как вопрос Рютина обсуждался на заседании Политбюро, причем «наиболее определенно против казни говорил Киров, которому и удалось увлечь за собою большинство членов Политбюро». Из другого источника о том же заседании известно, что, помимо Кирова, против Сталина выступили также Орджоникидзе, Куйбышев, Косиор, Калинин и Рудзутак, а Сталина поддержал один Каганович. Даже Молотов и Андреев колебались.

Осенью 1964 года в «Правде» была напечатана статья, из которой видно, что расхождения во мнениях в Политбюро не только существовали, но были именно такими, как описывают вышеприведенные источники. В статье рассказывается о том, как Сталин попытался репрессировать армянского коммуниста Назаретяна, но не смог этого сделать, так как в защиту Назаретяна выступил Орджоникидзе, и Сталин знал, «что против „дела" Назаретяна в Политбюро выступят также Киров и Куйбышев». Это — весьма определенное признание того, что в Политбюро существовало что-то вроде блока умеренных, и очевидно, что этот блок мог получить большинство в Политбюро. Таким образом, Сталин впервые столкнулся с сильной оппозицией со стороны своих собственных союзников.

Казнь Рютина должна была стать первой казнью старого большевика. (Правда, в 1929 году был казнен бывший эсер Блюмкин, который стрелял в германского посла в 1918 году. Однако Блюмкина расстреляли за то, что он якобы был тайным эмиссаром Троцкого, и казнь, таким образом, имела как бы другой оттенок.) Особенно неприемлемым было то, что такие меры предлагалось применять в прямом политическом диспуте (хотя, как говорят, ОГПУ уже состряпало историю о некоем заговоре в Военной академии, имевшем связь с «платформой»). Старая традиция преданности партии, при всех своих недостатках, включала не только подчинение внутрипартийной оппозиции воле большинства; эта традиция, по крайней мере, защищала шкуру подавленного партийного меньшинства. Ленин был способен дружески работать с Зиновьевым и Каменевым, хотя в определенный момент объявлял их предателями — когда они критиковали план вооруженного восстания в октябре 1917 года. Бухарин мог позднее признать свои разговоры в 1918 году об аресте Ленина и изменении правительства без того, чтобы потерять положение в партии. Теперь оказалось, что даже новое сталинское Политбюро не принимало автоматически его решений, если они противоречили этим глубоким партийным традициям.

Нет сомнения, что понесенное поражение терзало самолюбие Сталина. На каждом из больших процессов 1936, 1937 и 1938 годов обвиняемые признавались в соучастии в заговоре Рютина, который означал, как они говорили, первое объединение всех оппозиционеров на основе террора. Ровно через четыре года после разоблачения Рютина Сталин многозначительно заметил, что ОГПУ отстало на четыре года в разоблачении троцкистов. Четыре года, с сентября 1932 до сентября 1936, Сталин добивался возможности физически уничтожить своих партийных врагов, для чего нужно было сломить сопротивление многих.

Первый урок, который Сталин извлек из происшедшего, состоял в том, что он не мог так легко добиться согласия своих соратников на казнь членов партии по чисто политическим причинам. Попытка истолковать платформу Рютина как программу убийств была чересчур нереальной. Настоящее политическое убийство могло бы, конечно, стать лучшей темой для обсуждения.

В то же время Сталин видел среди своих приближенных таких людей, чье сопротивление было нелегко сломить, и для отстранения которых было трудно подобрать какой-либо политический повод. В последующие два года идея устроить настоящее политическое убийство и заботы по поводу строптивых соратников сошлись у Сталина в единое логическое решение — убить Кирова.

Вернемся, однако, к 1932 году. С 28 сентября по 2 октября проходил Пленум ЦК по делу Рютина. Вся группа была исключена из партии «как дегенераты, ставшие врагами коммунизма и советской системы, как предатели партии и рабочего класса, которые под флагом духовного марксизма-ленинизма попытались создать буржуазно-кулацкую организацию для восстановления капитализма и особенно кулачества в СССР».

Многие из старых оппозиционеров, хотя и не поддержали Рютина, видели текст «платформы» задолго до пленума и не донесли о «платформе» властям. Теперь за эту «недисциплинированность» их ждали новые репрессии. Зиновьев и Каменев были снова исключены из партии за «недоносительство» и высланы на Урал. Иван Смирнов, который после своего восстановления в партии стал директором Горьковского автозавода, был вновь арестован 1 января 1933 года и приговорен к десятилетнему заключению в Суздальском «изоляторе». Смилга получил пять лет и вместе с Мрачковским был выслан в город Верхнеуральск.

12 января 1933 года пленум ЦК вынес резолюцию о всеобщей чистке партии. В том же году было «вычищено» восемьсот тысяч бывших членов партии, а в следующем 1934 году — еще триста сорок тысяч.

Сам метод партийной чистки вдохновлял и порождал доносчиков, подхалимов и бессовестных карьеристов. Местные комиссии по чистке в присутствии всех членов данной партийной организации проверяли каждого из них в отношении мельчайших деталей политического и персонального прошлого. Вмешательство аудитории всячески поощрялось. В теории это все было признаками партийной демократии и товарищеской искренности. На практике же это вызывало — и во все бóльших масштабах по мере того, как ухудшались условия,— во-первых, раздувание действительных, хотя и мелких деталей из прошлого (вроде дальнего родства и знакомства с бывшими офицерами Белой армии), а затем просто выдумки или искажения действительности.

На уже упомянутом январском пленуме 1933 года был также «разоблачен» еще один заговор из нового цикла. Почетного старого большевика А. П. Смирнова, члена партии с 1896 года и бывшего члена Оргбюро, вместе с двумя другими старыми большевиками, Эйсмонтом и Толмачевым (членами партии с 1907 и 1904 годов), обвинили в формировании антипартийной группы.

Есть сведения, что группа Смирнова имела широкие контакты со старыми большевиками-рабочими, главным образом в профсоюзах — в Москве, Ленинграде и других городах. Участники группы поняли, что легальными методами сталинские клещи не разжать, и они в значительной степени ушли в подполье для того, чтобы организовать борьбу. Насколько известно, их программа содержала пересмотр несбалансированных промышленных программ, роспуск большинства колхозов, подчинение органов ОГПУ партийному контролю и независимость профсоюзов. Но прежде всего, они обсуждали отстранение Сталина. Как мы знаем из выступления В. С. Зайцева на Всесоюзном совещании о мерах подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам 18—21 декабря 1962 года, «вопрос разбирался и в ЦКК, где Эйсмонт прямо заявил: „Да, действительно, такие разговоры у нас были, они исходили от А. П. Смирнова"». Ни один из трех обвиняемых не был связан ни с троцкистами, ни с правой оппозицией. Но на том же совещании историков тот же Зайцев отметил, что с разоблачением группы Смирнова «по существу уже на январском (1933) Пленуме было положено начало расправы со старыми ленинскими кадрами» и что Сталин именно «при обсуждении этого вопроса заявил: „Ведь это враги только могут говорить, что убери Сталина и ничего не будет"».

И опять была сделана попытка расстрелять оппозиционеров — и опять эта попытка была блокирована. Оказалось, что Киров, Орджоникидзе и Куйбышев снова играли главную роль в сопротивлении смертной казни. Калинин и Косиор их поддержали; Андреев, Ворошилов и до некоторой степени Молотов заняли промежуточную позицию, и только Каганович вновь голосовал со Сталиным до конца.

Лидеры правых отказались иметь какое-либо дело с группой Смирнова. Даже в опубликованной резолюции по поводу этой группы сказано только, что Рыков, Томский и В. В. Шмидт «стояли в стороне от борьбы с антипартийными элементами и даже поддерживали связь со Смирновым и Эйсмонтом, чем, по сути дела, поощряли их в их антипартийной работе».

Бухарин, которого резолюция не обвиняла даже и в такой слабой степени, выступил на пленуме с речью, которая по своему совершенно неискреннему тону была типичной для тогдашних заявлений бывших оппозиционеров. Бухарин потребовал «суровой расправы с группировкой А. П. Смирнова», говорил о своей «правооппортунистической, совершенно неправильной общеполитической установке», о своей «вине перед партией, ее руководством, перед Центральным Комитетом партии, перед рабочим классом и страной», говорил о Томском, Рыкове как о своих «бывших соратниках по руководству правой оппозицией».

Эйсмонт и Толмачев были исключены из партии, а Смирнов — из Центрального Комитета (впрочем, Смирнова исключили из партии в декабре 1934 года, после убийства Кирова, за «двурушничество и продолжение борьбы против партии»). В течение последующей зимы Эйсмонт, Толмачев, Рютин, Угланов и другие были

приговорены к разным срокам тюремного заключения.

Взгляды А. П. Смирнова и его сторонников весьма примечательны. Мы видим, что высокопоставленные партийные ветераны, никогда не входившие в какую-либо оппозицию, выступили теперь не просто за изменение политического курса, но особенно за устранение Сталина. Это увеличивает вероятность туманных сообщений о том, что подобные дискуссии имели место и годом позже, во время XVII съезда партии.

Группы Рютина и А. П. Смирнова вряд ли имели какие-либо шансы на успех. Их значение скорее в том, что было открытое сопротивление Сталину со стороны его ближайших соратников в Политбюро по поводу казни конспираторов.

Отвращение Кирова, Орджоникидзе и других к предложенным казням было, безусловно, искренним. Идея партийной солидарности никогда больше не проявлялась с такой исключительной силой.

Но здесь же выявляется удивительное «двоеверие» так называемых «умеренных» партийных деятелей. Эти люди беззаботно и даже весело убивали белых, они без особых сожалений обрекали на голод и истребляли крестьянство — но они же отчаянно сопротивлялись казням высших партийных сановников, ибо это значило «проливать кровь большевиков». Двойная мораль этих людей сравнима разве что с отношением чувствительного и образованного представителя древнего мира к рабам или французского аристократа XVIII века к низшим классам. Даже лучшие из старых большевиков вряд ли больше заботились о судьбе беспартийных, чем было принято заботиться о судьбе рабов во времена Платона. Беспартийные, как в свое время рабы, были просто не люди.

Можно, конечно, симпатизировать тем верным партийцам, которые оказались жертвами чисток, в то же время воздерживаясь от симпатии к таким неприятным людям, как, например, обвиняемые по шахтинскому делу. Однако такое выборочное сочувствие нелегко понять — разве только с очень узкой и суровой партийной точки зрения. Верно скорее обратное: те репрессированные члены партии, которые в прошлом сами творили жестокости или потворствовали жестокостям по отношению к беспартийным, заслуживают отнюдь не большего, а лишь самого минимального сочувствия (с точки зрения обычной человечности) за их дальнейшие страдания.

Ведь аппарат подавления, который сделал их своими жертвами, существовал уже и до этого. Будущие жертвы не возражали, пока этот аппарат расправлялся с другими,— они верили, что расправа идет с врагами партии. Если бы Бухарин возражал на Политбюро против шахтинского процесса, если бы Троцкий в ссылке осудил так называемый процесс меньшевиков — если бы они даже возражали не против несправедливости как таковой, а просто против пятен на репутации партии и государства,— то оппозиционеры стояли бы на более твердой почве.

Иные из этих людей были способны подчас на хорошие поступки. Но романтизировать их за это опасно. Стоит вспомнить, что они сами, когда были у власти, не видели ничего особенного в убийстве политических противников, да еще в широких масштабах, только для того, чтобы укрепить власть своей партии и подавить сопротивление народа. Об этом открыто говорил на суде Бухарин. Более того, оппозиционеры не особенно протестовали против судебных процессов, где беспартийным выносились приговоры на основании явно фальсифицированных свидетельств. Лишь малая часть оппозиционеров выступала за что-либо, отдаленно напоминающее демократию,— даже внутри партии (примечательно, что такие люди, как, например, Сапронов, никогда не выводились на открытый суд).

Тем не менее, не следует впадать в другую крайность и отрицать какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия бывали сомнительными. Это означало бы руководствоваться столь же узкими критериями, какие установили для себя сталинисты. Скажем, гитлеровский министр пропаганды Геббельс был одной из самых неприятных личностей в Европе; и все же не будет ошибкой, если мы отдадим ему определенную дань уважения за его смелость и ясность ума в последние дни Третьего Рейха — особенно по сравнению с трусливыми и глупыми интригами большинства его коллег.

Мужество и ясность ума, разумеется, достойны уважения. Но если эти качества не стоят в списке моральных достоинств достаточно высоко, то у многих из советских оппозиционеров мы можем наблюдать кое-что и получше. Ведь те из них, кто не подписал признаний под следствием и был расстрелян без суда, продемонстрировали не просто высшую храбрость, но и лучшее ощущение моральных ценностей. Требования партийной и революционной верности играли для них определенную роль; но верность правде и идее более человечного режима была превыше всего. И даже у тех, кто «признался», часто наблюдалась внутренняя борьба между партийными обычаями и изначальной тягой к справедливости — той тягой к справедливости, которая во многих случаях была причиной их вступления в партию.

Хотя оппозиционеры и не были людьми кристальными, о них все же можно сказать следующее. Как бы плохо ни вели они себя в жестокое время гражданской войны, это все же было не то, что хладнокровно планировать всеобщий террор, который надвигался. Попытка спасти Рютина, предпринятая людьми, которые только что несли голод и смерть Украине, выглядит одинаково абсурдной и с точки зрения сталинской, и с точки зрения гуманистической логики; однако эта попытка не просто отражала желание сохранить сословные привилегии, но была также проявлением остаточных человеческих чувств.

Наконец, существует моральное различие между любой степенью сдержанности и полным ее отсутствием. Разумеется, участие в терроре против кого угодно приводит к полному разложению личности, как это случилось с Ежовым и другими; однако верно и обратное — что сохранение более или менее гуманного подхода, даже в самых ограниченных масштабах, может помочь восстановлению человечности, когда исчезнут побудительные мотивы данного конкретного террора.

В течение последующих нескольких лет Сталин вырвал с корнем все остатки гуманизма. Никакая часть общества не была больше ограждена от произвола. Само по себе это обстоятельство иногда даже служило своеобразным утешением беспартийным. В литературе о тюрьмах и концентрационных лагерях мы часто находим сообщения о том, как злорадствовали обыкновенные заключенные, когда в одну камеру или один барак с ними попадали известные следователи НКВД или партийные аппаратчики.

Действительно, главная беда террора была не в том, что он бил и по членам партии и по остальному населению, а в том, что страдание населения при терроре неизмеримо выросло. В деле Рютина главный пункт был не в том, чтобы сохранить неприкосновенность привилегированных членов партии, а в том, что это был пробный камень для Сталина: победить своих собственных соратников и подчинить Россию полностью своей единоличной воле или нет. При олигархии есть, по крайней мере, возможность, что те или иные члены правящей элиты будут придерживаться умеренных взглядов или хотя бы охлаждать пыл наиболее воинственных из своих жестоких коллег. А при единоличной диктатуре все зависит исключительно от воли одного человека. Бывали, конечно, сравнительно мягкие диктаторы. Но Сталин был не из их числа.

В начале 30-х годов Сталин держал в своих руках все нити государственной власти, но бремя власти сказалось и на его личной жизни. 9 ноября 1932 года его жена Надежда Аллилуева покончила с собой. Однако ни личная потеря, ни общественный кризис не сломили волю Сталина. Становилось все более ясным, что эта

воля была решающим фактором в только что закончившейся ужасающей борьбе. Сталин холодно отверг все колебания. В своих «Портретах и памфлетах» Карл Радек писал о Сталине: «В 1932 году он дал железный отпор попыткам сдать правильно занятый фронт». Партийный работник того периода писал: «В описываемое мною время (1932 год) преданность Сталину основывалась главным образом на убеждении в том, что не было никого, достойного занять его место. Что любая смена руководства была бы исключительно опасна, что страна должна была двигаться взятым курсом, ибо попытка остановиться или отступить могла означать потерю всего». Даже один из троцкистов комментировал таким образом: «Если бы не этот ..., все распалось бы к сегодняшнему дню на куски. Это он связывает все воедино...».

К началу 1933 года многие партийные круги, до того отнюдь не убежденные в возможности успеха, начали менять позиции и признавать, что Сталин фактически победил. В 1936 году Каменев был вынужден заметить на процессе: «Наша ставка на непреодолимость трудностей, сквозь которые шла страна, на кризисное состояние экономики, на крах экономической политики партийного руководства явно провалилась ко второй половине 1932 года» *. Сталинская «победа» вовсе не означала, что были созданы продуктивная промышленность или сельское хозяйство. Но партия, поставившая самое свое существование в зависимость от победы над крестьянством, сумела его сокрушить, и колхозная система была теперь прочно установлена.

К началу лета во всех областях жизни стало чувствоваться некое облегчение. В мае 1933 года было разослано закрытое письмо за подписями Сталина и Молотова, снижающее количество высылаемых крестьян до 12 тысяч дворов в год. В том же месяце из Сибири были возвращены Зиновьев и Каменев для очередного признания ошибок. «Правда» опубликовала статью Каменева, осуждающую его собственные ошибки и призывающую всех деятелей оппозиции прекратить какое бы то ни было сопротивление.

Очень сильно подействовала также победа фашизма в Германии. В свое время, в конце 20-х годов, Сталин сумел сыграть на весьма неопределенном чувстве опасности войны. Тогда он поймал Троцкого на том, что тот объявил, что даже в случае войны он будет противником руководства — это было превосходным поводом для обвинений в «предательстве». Однако тогдашний маневр не потряс ни одного из серьезных деятелей. Теперь же Раковский и Сосновский, двое последних ссыльных деятелей оппозиции, окончательно примирились с режимом, мотиви-

руя это примирение угрозой войны. До того Раковский пытался бежать из ссылки и был ранен; он говорил, что даже Ленина иногда тошнило при мысли о всесилии партии, а со времени смерти Ленина сила партии возросла в десять раз. По самому важному пункту дискуссии, в своем заявлении от 30 апреля 1930 года, Раковский говорил, что коммунисты всегда опирались на революционную инициативу масс, а не на аппарат, добавляя, что «просвещенная бюрократия» заслуживает не больше доверия, чем просвещенный деспотизм XVII века. Однако теперь и он изменил свое мнение. Раковский вернулся из ссылки, и его лично приветствовал Каганович. Атмосфера всеобщего примирения чувстаовалась очень ясно.

Что касается Радека, то он уже задолго до того стал бесстыдным льстецом и угодником Сталина, заслужив отвращение менее продажных оппозиционеров. Он доставил Сталину большое удовольствие своей статьей, написанной в форме лекции, якобы для прочтения в 1967 году, в 50-ю годовщину Октябрьской революции, перед студентами школы Межпланетных сообщений. По Радеку, к этому времени (которое уже сегодня позади) мировая революция, естественно, победила, и все взоры обращены к Сталину, как к выдающемуся революционному вождю. В 1934 году Радек по приказу свыше провел разделение между старыми участниками оппозиции, которые просто «не понимали», и Троцким, который «не представлял населения» в стране — явный примирительный подарок всем Зиновьевым и Бухариным.

(Между тем сам Троцкий в то время писал, что лозунг «Долой Сталина» был неправильным и что «в текущий момент свержение бюрократии будет определенно на руку реакционным силам».)

Если особые таланты Сталина были жизненно важны в период кризиса, то теперь он уже не был так необходим для продолжения существования партии. Но Сталина невозможно было отстранить от власти даже в то время, когда партия и режим находились в отчаянной борьбе за существование — а теперь это стало трудным по совершенно другой причине: Сталин был победителем, он выиграл против всех и вся. Его престиж был теперь выше, чем когда-либо.

Надежды ныне связывали не с тем, что Сталин будет отстранен от руководства, а с возможностью более умеренной линии Сталина. Многие полагали, что он поведет дело к примирению, поймет желание партии вкушать плоды победы в относительном спокойствии. Можно было ожидать, что он удержит общее руководство, но передаст многие бразды правления другим. «Пусть в бурю и ненастье один стоит у власти» — но когда опасность позади, есть склонность возвращаться к конституционным нормам.

Четнерть века спустн Хрущев сообщил миру, что Сталин не бывал в деревне с 1928 года. Для него вся коллективизация была чем-то вроде кабинетной операции. Но те, кто проводил коллективизацию в жизнь, пережили гораздо более тяжелые времена. При всей беспощадности, с которой, скажем, Косиор и другие проводили сталинскую политику, они оставались людьми, и не было сомнений, что их нервы были напряжены до крайности. И руководители, и все партийные организации ощущали тяжелую усталость, подлинное истощение в результате борьбы. Однако теперь самое сильное напряжение было позади. Партийная машина была прочно в руках людей, продемонстрировавших свою преданность сталинской политике. Если бы Сталин хотел только этого — политической победы и воплощения своих планов,— то цель можно было считать достигнутой. Теперь была необходима консолидация — и, возможно, смягчение. Нужно было восстановить связь партии с народом и пойти на мировую с озлобленными элементами внутри самой партии.

Такого рода идеи, по-видимому, владели умами представителей нового сталинского руководства. Но на уме самого Сталина не было ничего похожего. Его целью оставалась, как теперь ясно видно, непререкаемая власть. Пока что он только ожесточил партию, но еще не поработил ее. Люди, которых он выдвинул к руководству, были уже достаточно грубы и беспощадны, но еще не все они были порочны и раболепны. И даже эта с трудом достигнутая жестокость могла выветриться, если принять политику примирения, если допустить, чтобы люди думали о терроре не как о постоянной необходимости, а только как о временном выходе из положения.

Однако в тот момент все праздновали новое «объединение» партии. В январе 1934 года собрался XVII съезд партии, «съезд победителей». 1966 делегатов (из коих 1108 были расстреляны в последующие несколько лет) слушали восторженные речи ораторов.

Тон задал сам Сталин:

«Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде — добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде — и доказывать нечего, да, пожалуй,— и бить некого».

На съезде разрешили выступить бывшим участникам оппозиции — Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, Рыкову, Томскому, Преображенскому, Пятакову, Радеку и Ломинадзе. Историки обычво отмечают то обстоятельство, что съезд выслушал этих людей с уважением. Верно, во всяком случае, то, что в целом враждебность к ним со стороны делегатов была гораздо меньше, чем на предыдущем съезде. Речь Пятакова была встречена «продолжительными аплодисментами». Речи Зиновьева и Бухарина никто не прерывал, и они заслужили «аплодисменты». Радека и Каменева прерывали выкриками, однако в конце им обоим аплодировали. Рыкова и Томского прерывали, а в конце их выступлений аплодисментов не было. Но даже этих двоих выслушали относительно спокойно и вежливо. Все речи бывших участников оппозиции были выдержаны в ортодоксальном сталинском духе, они были полны комплиментов генеральному секретарю и оскорблений по адресу его противников.

Каменев сказал, что первой волной антипартийной оппозиции был троцкизм, второй волной — движение правых. «И, наконец,— продолжал он,— третья уже не волна, а волнишка — идеология совершенно оголтелого кулачья, вернее, остатков кулачества... идеология рютинцев... с этой идеологией бороться теоретическим путем, путем идейного разоблачения, было бы странно. Тут требовались другие, более материальные орудия воздействин, и они были применены и к самим членам этой группы, и к ее пособникам, и к ее укрывателям, и совершенно правильно и справедливо применены были и ко мне».

Мы уже говорили о том, насколько ошибочными были эти жалкие покаяния оппозиционеров, повторенные ими вновь на XVII съезде. Их главнан трагедин была в том, что они не понимали Сталина. Если бы он был менее целеустремленным и более принципиальным, они могли бы рассчитывать на успех. Конечно, Зиновьев имел весьма малые шансы вернуться к власти. Но позиция правых, по крайней мере тактически, была не очень плохой. В самый кризисный момент, в 1930 году, они не стали топить партийный корабль; и в результате кризис удалось преодолеть методами, которые можно в какой-то степени рассматривать как уступку правым. Их покаянные речи были приняты съездом гораздо лучше, чем в предшествующих случаях. А кроме того, повсеместно появились надежды, что худшее — позади, что ужасающее напряжение и невероятные страдания первой пятилетки и коллективизации отошли в прошлое. Второй пятилетний план в экономическом отношении выглядел несколько более умеренным.

Все эти обстоятельства были благоприятны для правых. Но эти же обстоятельства были весьма неблагоприятны для Сталина. Ведь налицо была тенденция к внутрипартийному примирению, к по-

пыткам наведения новых мостов между партией и народом. Похоже, что именно таких взглядов откровенно и искренне придерживались Киров и некоторые другие.

Есть основания полагать, что в перерыве между заседаниями XVII съезда кое-кто из делегатов обсуждал в этом контексте вопрос о сталинском руководстве как таковом. Сравнительно недавно, в 1964 году, «Правда» писала, что уже в то время «все дальше отходя от ленинских норм партийной жизни, Сталин все более отрывался от масс, попирал принципы коллективного руководства, злоупотребляя своим положением», что «ненормальная обстановка, складывавшаяся в партии в связи с культом личности, вызывала тревогу у многих коммунистов. У некоторых делегатов съезда... назревала мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генерального секретаря на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина». А дальше автор статьи в «Правде» Л. Шаумян переходит без всякой логической связи, но с очевидным намеком, к описанию выступления «прекрасного ленинца С. М. Кирова», которого он называет «любимцем всей партии». Существование плана — или, во всяком случае, разговоров — относительно смещения Сталина подтверждается и в недавно вышедшей биографии Кирова.

Таким образом, «старые ленинские кадры», в том числе «замечательный ленинец» Киров, планировали ограничить власть Сталина; они намеревались ослабить диктатуру и содействовать примирению с оппозицией; Сталин же, узнав об этих планах, видел в них «решительное препятствие» своим намерениям расширить собственную власть. Политически в 1934 году дело выглядело так, что хотя Сталин и не был побежден, но его стремление к неограниченной власти было до некоторой степени заблокировано. Это было верно, во всяком случае, в том, что касалось собственно политики.

Для победы над старыми оппозиционерами потребовались целые годы маневрирования. Новая группа, стоявшая теперь на пути Сталина, была не так уязвима, не так наивна. Допустить теперь стабилизацию, в то время как оппозиционеры были еще живы и люди типа Кирова становились все популярнее в партии — такая политика выглядела опасной для Сталина. Рано или поздно ему пришлось бы столкнуться с появлением нового, более умеренного руководства.

Что же оставалось делать Сталину? С этими тенденциями можно было справиться только силой. Сталин давно приставил к террористической машине своих надежных механиков. Но было необходимо, чтобы высшие партийные органы разрешили ему пользоваться этой машиной

террора, а они отказали. Создать ситуацию, в которой эти высшие органы можно будет запугать и склонить к террору,— вот какая задача стоила перед Сталиным.

Пока, однако, ни одна из сторон не предпринимала решительных действий. Был избран Центральный Комитет, состоявший почти исключительно из ветеранов сталинской внутрипартийной борьбы, но включавший Пятакова, а в числе кандидатов — также Сокольникова, Бухарина, Рыкова и Томского. «Из 139 членов и кандидатов ЦК партии, избранных на XVII съезде, 98 человек, то есть 70 % или больше, были арестованы и расстреляны (большинство в 1937—1938 гг.)».

Состав избранных новым ЦК руководящих органов отразил то же странное равновесие. Новое Политбюро устраивало Сталина не больше, чем тот состав, который не позволил ему в 1932 году расправиться с Рютиным. Теперь, в частности, Киров был избран не только в Политбюро, но также в Секретариат, где он присоединился к Сталину, Кагановичу и еще одному зловещему сталинскому протеже Жданову.

Центральная Контрольная Комиссия (ЦКК), принявшая решение не в пользу Сталина в 1932 году, была ограничена в правах и потеряла последние остатки независимости; Каганович был поставлен во главе ЦКК. Однако прежний председатель ЦКК Рудзутак вернулся в Политбюро, хотя и не на самый высший уровень. Он был членом Политбюро перед тем, как занял пост председателя ЦКК. Теперь же он стал всего лишь кандидатом. Еще одним изменением состава Политбюро было избрание в его кандидаты Павла Постышева — «высокого и худого, как щепка, с потрясающим басом». Постышев, которого один источник описывает как «неглупого, но равнодушного к чувствам окружающих», был последним и наиболее твердым сталинским эмиссаром в украинской кампании.

В годы, последовавшие за XVII съездом, важная роль предстояла не только вновь избранным органам партийного руководства. Все десять лет, от смерти Ленина до XVII съезда, пока в партии шла открытая политическая борьба, зловеще развивалась и, так сказать, техническая сторона деспотизма. Основанная в 1917 году тайная полиция стала крупным и высокоорганизованным формированием; она приобрела солидный опыт в беззаконных арестах, репрессиях и насилии. Никто из оппозиционеров не возражал против существования тайной полиции; а Бухарин, например,— так тот даже расточал неумеренные восторги по поводу ее роли.

В 1934 году ОГПУ было распущено и заменено новым всесоюзным Наркоматом внутренних дел — НКВД. Во главе этого наркомата был поставлен узколицый ветеран террора Генрих Ягода. Первым заместителем Ягоды стал старый соратник и друг Сталина Я. Д. Агранов, в свое время руководивший жестокими допросами участников кронштадтского восстания.

В последующие годы деятельность этой новой организации развернулась весьма эффективно. Ее все более привилегированные и все более могущественные офицеры постепенно добивались того, что эмблема НКВД — щит и меч — стала повсеместно заменять даже серп и молот. Никто, в том числе члены Политбюро, не мог избегнуть внимания этой организации. А сама организация должна была оставаться под контролем высшего партийного авторитета — Сталина.

В дополнение к чисто полицейской организации в тот период возникли и другие такого же рода. После того, как в январе 1933 года было объявлено о предстоящей чистке партии, была сформирована центральная комиссия по чистке (29 апреля), куда входили Ежов и М. Ф. Шкирятов.

В тот же период появился орган, во многих отношениях наиболее важный из всех — так называемый «особый сектор» Центрального Комитета партии, возглавляемый Поскребышевым. Фактически это был личный секретариат Сталина — орган, непосредственно выполнявший его волю. Этот секретариат иногда сравнивали с «личной Его Императорского Величества канцелярией», действовавшей при Николае I. Все наиболее щекотливые вопросы — например, убийство Троцкого — эффективно решались при помощи этого секретариата.

По-видимому, был организован также и особый комитет государственной безопасности, действовавший в тесной связи с личным секретариатом Сталина. Главными фигурами в этом комитете, вероятно, были Поскребышев, Шкирятов, Агранов (из ОГПУ) и Ежов — в то время заведующий отделом партийного учета ЦК партии. О ключевой роли Шкирятова говорит официальное описание его деятельности как «представителя Центральной Контрольной Комиссии в Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б)» [1].

20 июня 1933 года был установлен пост генерального прокурора СССР. Главную роль в прокуратуре СССР уже тогда играл Андрей Вышинский, хотя он был лишь первым заместителем генерального прокурора СССР. Были установлены соответствующие связи между прокуратурой и ОГПУ, «законность и правильность» чьей деятельности прокурор обязан был контролировать.

К тому времени был уже известен и еще один элемент сталинского государства — показательный суд. По иронии судьбы, первый такой суд, организованный Лениным с явной целью сокрушить партию социалистов-революционеров, состоялся в 1922 году под председательством Пятакова. Хотя на этом суде важная роль принадлежала агентам-провокаторам и их фальсифицированным показаниям, все же настоящие социалисты-революционеры имели определенную свободу защиты. К тому же, под давлением западных социалистических партий, к великому неудовольствию Ленина, пришлось отказаться от смертных казней.

Но вот в 1928 году состоялся показательный суд нового типа — так называемый шахтинский процесс, на котором председательствовал Вышинский. Этот процесс явился своеобразным испытательным полигоном для новой техники — для обвинений, основанных на так называемых «признаниях» подсудимых, т. е. ложных самооговорах, добытых террористическими методами. В последующие годы состоялись три сходных суда-спектакля — над так называемой «промпартией» в 1930 году, над меньшевиками в 1931 году и над инженерами фирмы Метрополитен-Виккерс в 1933 году. Ни один представитель оппозиции, даже находившийся за рубежом Троцкий, не протестовал публично против всех этих ужасающих фарсов.

Так создавалась определенная механика деспотизма — вне официальных политических органов и независимо от них. Потенциальный аппарат грядущего террора существовал уже повсеместно, и состоял этот аппарат не из союзников Сталина, которые могли бы упираться, но из соучастников, на которых можно было положиться и против врагов и против друзей как внутри, так и вне партии.

Тем временем официальное руководство продолжало оставаться у власти. Сталинский писатель Александр Фадеев говорил, что члены сталинского ЦК «связаны мужественной, принципиальной, железной и веселой богатырской дружбой». Половину из этих «богатырей» ожидали смерть или позор в ближайшие четыре года. Первой жертвой должен был стать Киров.

Очень немногое в послужном списке Кирова наводит на мысль, что он мог стать крупным вождем. Даже если бы Сталин внезапно умер, в Политбюро нашлись бы люди по крайней мере столь же влиятельные, к тому же более опытные, и они вряд ли охотно подчинились бы Кирову. По мнению Пятакова, в случае ухода Сталина власть могла бы перейти к Кагановичу. Даже предположив поражение всего сталинского крыла, невозможно прийти к определенному выводу, что Киров сумел бы справиться с более старыми партийцами из «умеренных». И тем не менее, с точки зрения Сталина, именно Киров, по-видимому, представлял наиболее трудную и неотложную проблему, был своеобразным бельмом на глазу.

Киров был самым лучшим партийным оратором со времен Троцкого. После полной победы сталинистов он стал проявлять заботу о положении ленинградских рабочих, и это начинало создавать ему определенную личную популярность. А в самой партии популярность Кирова была подлинной и несомненной. Но наиболее существенным был тот факт, что Киров управлял определенным источником власти — ленинградской парторганизацией. Когда ленинградская делегация демонстративно продолжала аплодировать Кирову на XVII съезде партии, это могло напомнить Сталину о такой же поддержке, оказанной предыдущим поколением ленинградских партийцев Зиновьеву.

На протяжении всей своей карьеры Сталин рассматривал это сильное «удельное княжество» — ленинградскую организацию — как гнездо недовольства. Настороженное отношение Сталина к ленинградской парторганизации видно на многочисленных примерах — от отстранения Зиновьева в 1926 году до истребления третьего поколения руководителей ленинградских коммунистов в 1950-м. Здесь верно только то, что в «Северной Пальмире», переставшей с 1918 года быть столицей государства, все еще существовало определенное отчуждение от остальной массы населения страны. Русское «окно в Европу» всегда было чем-то вроде прогрессивного форпоста. Жители этого города традиционно считали себя далеко впереди, иногда даже в опасном отдалении, от остальной страны — в культуре вообще и западных искусствах в частности. В этом самом молодом из великих городов Европы — основанном, кстати, позже Нью-Йорка, Балтиморы, Бостона и Филадельфии — Киров поистине выказывал признаки определенной независимости.

Сталину было не так легко напасть на Кирова за какой-нибудь уклонизм. Киров никогда не принадлежал ни к какой оппозиции, а напротив, твердо боролся с оппозициями различного толка. Но он был великодушен к побежденным. НКВД уже собрал факты о том, что многие некрупные члены оппозиции или люди с оппозиционным прошлым свободно работали в Ленинграде. На вопрос, как они допустили к работе таких людей, ленинградские руководители могли отвечать, что Киров распорядился об этом лично. Поощряя культурную жизнь города, Киров разрешил особенно многим бывшим участникам оппозиции занять посты в издательствах и тому подобных организациях.

[1] БСЭ, 1-е изд. М., 1933, с. 62.

Киров работал в Ленинграде в относительном согласии с партийными ветеранами, которые, строго говоря, не были в оппозиции, но чьи взгляды были значительно правее партийной линии. Если бы Киров и члены Политбюро, разделявшие его точку зрения, пришли к власти, они вряд ли смогли бы управлять партией без обращения к старым оппозиционерам и без примирения по крайней мере с правыми. Можно было представить себе ситуацию, при которой Киров, Орджоникидзе и Куйбышев сидели бы в Политбюро вместе с Бухариным и Пятаковым, может быть, даже и Каменевым, осуществляя умеренную программу.

Между тем Киров использовал свое положение в Ленинграде и для других действий, неприемлемых с точки зрения Москвы. Он расходился со сталинским крылом в Политбюро по многим вопросам, а в особенности по поводу продовольственного снабжения ленинградских рабочих. Киров бранил Микояна за дезорганизацию в этой области и однажды реквизировал без разрешения Москвы часть продовольственных запасов Ленинградского военного округа. Против этого протестовал Ворошилов, называя действия Кирова попыткой завоевать дешевую популярность. Киров горячо отвечал, что если ленинградский рабочий должен производить, то надо его кормить. Когда Микоян заявил, что ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране, Киров ответил, что это более чем оправдано повышением производительности труда и созданием материальных ценностей. Затем в конфликт вмешался Сталин, принял сторону Микояна, и Кирову оставалось только подавить свой клокочущий гнев.

Избрание Кирова в Секретариат было проведено с намерением перевести его в Москву, где он работал бы под присмотром Сталина. В августе 1934 года Сталин пригласил Кирова в Сочи, где проводил отпуск со Ждановым. Там они обсуждали предстоявший перевод Кирова в Москву, и, в конце концов, Сталин получил согласие Кирова перебраться в Москву «в конце второй пятилетки» — т. е. в 1938 году. Но Сталин был убежден, что стоявшие перед ним политические вопросы должны были быть разрешены тем или иным способом в ближайшем будущем. Изложенное подтверждается многими источниками, в частности советской биографией Кирова, изданной в 1964 году, на которую мы уже ссылались [1].

Должно быть, именно около этого времени Сталин и принял самое поразительное в своей жизни решение. Решение состояло в том, что лучшим способом утвердить свое политическое превосходство, а заодно и способом справиться со своим старым товарищем — секретарем ЦК, членом Политбюро, первым секретарем ленинградского обкома — было убийство.

[1] С. Синельников. Сергей Миронович Киров — жизнь и деятельность. М., 1964, с. 194—195.

Глава вторая

ДЕКАБРЬ, 1934

1 декабря 1934 года в пятом часу убийца Кирова, Леонид Николаев, проник в Смольный — в здание, где размещалось руководство ленинградской партийной организации. Дневной свет, скупо балующий ленинградцев в это время года, уже уступил место темноте. В Смольном, в этом бывшем «институте благородных девиц», откуда Ленин организовал «десять дней, которые потрясли мир», светились окна, давая возможность разглядеть колоннаду, сад перед фронтоном и пространство к востоку от здания, в сторону замерзшей Невы.

Вахтер наружной охраны проверил пропуск Николаева, который был в порядке, и пропустил его без всяких недоразумений. На внутреннем посту никого не было, и Николаев свободно ходил под богато украшенными сводами здания, пока, наконец, нашел коридор третьего этажа, куда выходили двери кабинета Сергея Кирова. У этих дверей убийца и стал терпеливо дожидаться.

Киров был занят составлением доклада о ноябрьском Пленуме ЦК, с которого только что возвратился. Вскоре он должен был сделать свой доклад активу ленинградской парторганизации, собравшемуся в конференц-зале на том же этаже. В 4 часа 30 минут Киров вышел из своего кабинета и пошел по направлению к кабинету второго секретаря ленинградского обкома, своего доверенного помощника Михаила Чудова. Он сделал всего несколько шагов, а потом Николаев вышел из-за угла, выстрелил ему в затылок из нагана и упал без чувств рядом с ним.

Услышав выстрел, в коридор выбежали партийные работники. Их удивило полное отсутствие охраны. Не было даже главного личного охранника Кирова Борисова, который, согласно инструкции, должен был всегда находиться рядом с первым секретарем обкома.

Это убийство можно с полным правом назвать преступлением века. В последующие четыре года сотни советских граждан, включая наиболее известных политических руководителей революции, были расстреляны как непосредственно замешанные в убийстве Кирова; буквально миллионы других были уничтожены как соучастники некоего гигантского заговора, который якобы существовал за кулисами убийства Кирова. Фактически же смерть Кирова стала фундаментом всего исполинского здания террора и насилия — здания, выстроенного Сталиным для того, чтобы держать население СССР в абсолютном подчинении.

На Западе давно уже имеются сравнительно надежные свидетельские показания об этом убийстве. Однако до недавнего времени все эти показания не подтверждались, а наоборот — энергично оспаривались советскими источниками. Хотя в Советском Союзе и по сей день не появилось полного отчета об убийстве Кирова, но были сделаны ясные намеки, дано подтверждение или новое толкование ряда деталей и, наконец, прозвучали заявления, вполне совпадающие с имевшейся на Западе версией убийства.

Вначале официальная советская версия утверждала, что Николаев был последователем Зиновьева, и что Зиновьев и Каменев были косвенными вдохновителями преступления. Потом, в 1936 году, этих двоих обвинили уже в прямом соучастии — в том, что они приказали убить Кирова. И наконец, в 1938 году советская точка зрения приняла ту форму, в какой она преподносилась до самого 1956 года: Зиновьев и Каменев, действуя в контакте с Троцким, дали приказ об убийстве. А Ягода, глава НКВД, помог убийце тем, что по инструкции руководителя правых Енукидзе приказал второму человеку в ленинградском НКВД, Запорожцу, устранить все препятствия на пути Николаева.

Эти изменения официальной линии, содержавшие элементы правды, были рассчитаны на то, чтобы замаскировать или нейтрализовать реальную версию. А эта подлинная версия начала циркулировать в кругах НКВД спустя несколько недель после преступления. Состояла версия в том, что Николаев был единоличным убийцей, и его действия направлял Сталин. Даже теперь в Советском Союзе об этом никогда не говорится прямо, хотя молодой советский историк Л. П. Петровский в своем письме в ЦК КПСС от 5 марта 1969 года как нечто само собой разумеющееся включал имя Кирова в число жертв Сталина. Тем не менее, сомневаться не приходится: объяснение правильное. Мы теперь можем восстановить все детали.

Проблемы, стоявшие перед Сталиным в 1934 году, не давали возможности удовлетворительного для него политического решения. Но он видел один выход из положения. Выход был крайне необычный, но на этом примере ясно, что у Сталина не было никаких моральных или иных сдерживающих факторов. Убить Кирова означало убрать ближайшее препятствие; это позволяло в то же время создать атмосферу насилия; создать возможность обвинения противников Сталина в убийстве и стереть их с лица земли без тех споров, какие ему пришлось вести по поводу судьбы Рютина.

Не исключено, что на Сталина произвела впечатление и резня в нацистской Германии 30 июня 1934 года. Но он не пошел той же дорогой, что Гитлер. Твердый принцип нацистской партии — «воля вождя есть высший закон» — еще не имел эквивалента в партии коммунистической. Даже позже, когда Сталин практически мог уничтожать своих критиков по меньшей мере столь же свободно, как Гитлер, это всегда делалось либо в форме какого-нибудь суда с подобием мотивировок, либо выполнялось в полной тайне. Единственный случай, когда удар Сталина был нанесен в стиле гитлеровской «ночи длинных ножей», произошел в июне 1937 года при уничтожении генералов.

Стоит заметить, что Гитлер действительно опасался Рема и отрядов СА как претендующих на власть. Он считал, что против таких конкурентов рискованно применять какой-либо другой метод уничтожения. Подобные аргументы можно приводить и по поводу уничтожения Сталиным высшего руководства Красной Армии. (Возможно, Сталин извлек еще один урок из гитлеровской чистки в июне 1934 года, хотя, конечно, нет оснований думать, будто Сталин сам не мог дойти до этого. Мы имеем в виду общую для Гитлера и Сталина тактику: уничтожая одну группу противников, привлекать к делу и обвинять в том же заговоре ряд других враждебных фигур, никак не связанных с первой группой.)

Во время процесса над Зиновьевым и другими говорилось, что убийство Кирова якобы планировалось обвиняемыми на лето 1934 года. Конечно, все это было неправдой, но дата сама по себе выглядит весьма вероятной, ибо приблизительно в это время, как мы уже говорили, Сталин фактически начал организацию убийства. В августе Сталин беседовал с Кировым о его будущем, а затем Киров уехал в Среднюю Азию и вернулся в Ленинград только первого октября. К этому времени подготовка его убийства зашла уже достаточно далеко.

Согласно одному надежному свидетельству, первоначальный план Сталина включал замену Филиппа Медведя на посту главы ленинградского НКВД закадычным другом самого Сталина Е. Г. Евдокимовым. Этот человек был одним из организаторов шахтинского дела и находился в довольно прохладных отношениях с остальным руководством НКВД. Однако замена Медведя Евдокимовым не

удалась: этому аоспрепятствовал Киров, считавший, что такие шаги не могут быть предприняты без ведома ленинградского обкома.

Сталин мог действовать только через Ягоду. Но обращаться к наркому внутренних дел за содействием в убийстве члена Политбюро представлялось делом необычным и щекотлиаым, даже если не было иного аыбора. Естественное объяснение такой возможности в том, что Ягода был, так сказать, «на крючке» у Сталина. Это полностью согласовывалось со сталинским стилем работы. Известны несколько случаев, когда Сталин обеспечивал себе поддержку чем-то вроде шантажа такого типа (например, поведение Ворошилова в 1928 году убедило Бухарина, что командарма шантажировали). Ходили слухи о том, что Сталин обнаружил нечто компрометирующее в дореволюционном прошлом Ягоды, вплоть до сотрудничества с царской охранкой. В кругах НКВД упорно говорили, что в 1930 году тогдашний заместитель Ягоды Трилиссер исследовал прошлое наркома и нашел, что Ягода полностью фальсифицировал свою дореволюционную биографию. Когда Трилиссер доложил об этом Сталину, тот просто оборвал его и выгнал. Но фактически Сталин был рад иметь такую информацию и держать у руководства тайной полицией человека, против которого он кое-что имел в запасе.

Так или иначе, Ягода «включился в работу». Он нашел подходящего человека в ленинградском НКВД. То был заместитель Медведя Запорожец. Разумеется, даже Запорожец не принял бы такого приказа от Ягоды, ему нужны были прямые инструкции от Сталина. Вот прекрасный пример того, как для более молодого партийца идея партийной дисциплины уже выродилась к тому времени в нечто извращенное и неузнаваемое. Что касается Ягоды, то для него, конечно, могли играть роль и соображения честолюбия.

Когда сам Ягода попал на скамью подсудимых с так называемым «правотроцкистским блоком» в 1938 году, он показал, что получил инструкцию от Енукидзе содействовать убийству Кирова. Он сказал, что возражал, но Енукидзе настаивал. Если кто-то в советском политическом руководстве и был полностью неспособен настаивать на чем-либо, так это Енукидзе — фигура куда более слабая, чем сам Ягода. Если же мы попробуем подставить на место Енукидзе имя другого человека — который поистине мог настоять на своем,— то нам не придется долго искать это имя.

Ягода продолжал: «В силу этого, я вынужден был предложить Запорожцу, который занимал должность заместителя начальника Управления НКВД, не препятствовать совершению террористического акта над Кировым».

Однако во время перекрестного допроса Ягоды дело пошло не так гладко. Не выдавая ничего конкретного, Ягода все же сумел намекнуть, что во всем ходе событий было немало сомнительных элементов. Так, например, на вопрос: «Какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов?» — бывший нарком внутренних дел ответил: «Во всяком случае, не такими, какими он здесь рассказывал».

Когда же дело дошло до убийства Кирова, между Ягодой и Вышинским произошел следующий странный диалог:

Ягода: Я дал распоряжение...

Вышинский: Кому?

Ягода: В Ленинград Запорожцу. Это было немного не так.

Вышинский: Об этом будем после говорить. Сейчас мне нужно выяснить участие Рыкова и Бухарина в этом злодействе.

Ягода: Я дал распоряжение Запорожцу, когда был задержан Николаев...

Вышинский: Первый раз?

Ягода: Да. Запорожец пришел и доложил мне, что задержан человек...

Вышинский: У которого в портфеле?

Ягода: Были револьвер и дневник. И он его освободил.

Вышинский: А вы это одобрили?

Ягода: Я принял это к сведению.

Вышинский: А вы дали потом указания не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?

Ягода: Да, дал... Не так.

Вышинский: В несколько иной редакции?

Ягода: Это не так, но это неважно.

В поисках подходящего «метода» Запорожец в Ленинграде натолкнулся в делах местного НКВД на рапорт о Николаеве — разочарованном и озлобленном молодом коммунисте. Согласно рапорту, Николаев сказал своему другу, что в знак протеста намеревался убить какого-нибудь видного партийного работника. Друг донес на Николаева. Через этого доносчика Запорожец вступил в контакт с Николаевым и сделал так, что Николаева снабдили револьвером. И наконец, Запорожец через все того же друга-доносчика убедил Николаева, что в качестве жертвы надо выбрать именно Кирова.

Согласно одному свидетельству, револьвер был украден у соседа Запорожца, бывшего члена ЦК Авдеева, принадлежавшего к зиновьевской группе. Но если так, то этот пункт выглядит совершенно не расследованным, хотя вскоре после убийства украденный револьвер был поставлен Авдееву в вину в связи с так называемыми «ошибками» Общества старых большевиков.

Следующей задачей Запорожца было дать убийце доступ к Кирову, которого строго охраняли. Но, как часто случается в жизни, план осуществлялся не гладко. Револьвер Николаеву передали, психологическую подготовку убийцы провели. Но попытки Николаева проникнуть в Смольный сперва не удавались. Он дважды был задержан чекистами (теперь об этом рассказано) около Смольного. В первый раз, по словам Хрущева на XX съезде партии, за полтора месяца до убийства, т. е. примерно через две недели после возвращения Кирова из Казахстана — причем Николаева даже не обыскали. Во второй раз, всего за несколько дней до убийства, Николаев проник до наружной охраны Смольного. После этого охранник нашел у него «револьвер и маршрут Кирова» (по показаниям Ягоды на суде 1938 года) или «записную книжку и револьаер» (по показаниям секретаря Ягоды Буланова на том же процессе). Так или иначе, «у него было обнаружено оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он освобождался».

Тот факт, что Николаев все же предпринял третью и на сей раз успешную попытку, красноречиво свидетельствует о его выдержке.

Помимо указаний наружной охране пропустить Николаева без обыска, Запорожец распорядился «временно» снять посты внутренней охраны на каждом этаже. Он сумел также задержать личного телохранителя Кирова Борисова. И вот, после всех срыаов, сталинский план удался: его соратник лежал мертвым в коридоре Смольного. Однако оставалось сделать еще многое.

Как только новость достигла Москвы, она была объявлена вместе с выражением глубокой скорби о покойном друге со стороны Сталина и Политбюро. В тот же вечер Сталин вместе с Ворошиловым, Молотовым и Ждановым выехали в Ленинград, чтобы провести расследование. Их сопровождали Ягода, Агранов и руководитель экономического отдела НКВД Миронов.

Сталин со свитой занял целый этаж в Смольном. И еще до начала расследования были предприняты определенные политические шаги.

В 1961 году делегат XXII партсъезда З. Т. Сердюк заявил, что «...уже в день убийства (разумеется, в тот момент еще не расследованного) по указанию Сталина из Ленинграда принимается закон об ускоренном, упрощенном и окончательном рассмотрении политических дел. После этого сразу же начинается волна арестов и судебных политических процессов. Как будто ждали такого повода, чтобы, обманув партию, пустить в ход антиленинские, антинародные методы борьбы за сохранение руководящего положения в партии и государстве».

Последняя фраза правильно суммирует и передает отношение к делу Сталина. Западные историки, поверившие, что убийство Кирова удивило Сталина, вывернули наизнанку весь ход событий. Так, например, Дейчер («Stalin», p. 355) утверждает, что «Сталин [...] вывел из этого заключение, что прошло время для полулиберальных концессий». На самом же деле сталинское «заключение» предшествовало убийству и было причиной его, а не наоборот.

Трудно понять, как мог Сталин дать указание из Ленинграда в день убийства. Ведь он ехал поездом, а Ленинград отстоит от Москвы на 650 км. Он вряд ли мог прибыть в Ленинград раньше, чем на рассвете 2-го декабря — время, указанное новейшим источником. Между тем вышеупомянутый закон (постановление Президиума ЦИК СССР) действительно датирован 1 декабря. Ясно, что Сталин подготовил его п е р е д отъездом, а после прибытия в Ленинград позвонил по телефону, распорядившись, чтобы постановление было подписано и доведено до сведения надлежащих органов.

Постановление это, исходящее от Сталина без консультации с Политбюро, стало своего рода хартией террора на последующие годы. В силу него «предлагалось»:

«1. Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2. Судебным органам — не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступникоа о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3. Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».

Политбюро, которому новое постановление было представлено в готовом виде, утвердило его лишь два дня спустя.

Здесь Сталин впервые применил новую политику, с помощью которой исключительные обстоятельства использовались для того, чтобы оправдать его личные неконституционные действия. При таких обстоятельствах любая попытка несогласия была исключительно трудной. Этим способом были разрушены даже те скудные гарантии, какие советский закон предоставлял «врагам советского государства». Уже 10 декабря были введены в действие новые статьи 466—470 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, отражавшие новое постановление. Есть сведения, что именно в этот период были организованы так называемые «особые» судебные органы, положение о которых разработал Каганович.

Сталин начал затем свое ленинградское следствие, которое, как нам теперь говорят, проводилось «в обстановке сложившегося к тому времени культа личности Сталина» [1]. Он сразу же натолкнулся на некоторые затруднения. Во-первых, Борисов, чья преданность Кирову была хорошо известна, стал что-то подозревать. С этим справились сразу же. Второго декабря «Запорожец организовал дело так, что когда Борисова везли в Смольный, автомобиль попал в катастрофу. Борисов был убит, и таким путем они освободились от опасного свидетеля» (показания Буланова на процессе 1938 года). Гораздо позже это было весьма интересно объяснено Хрущевым [2]:

«Когда начальника личной охраны Кирова везли на допрос — а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и Ворошилов,— то по дороге, как рассказал потом шофер этой машины, была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить начальника охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровождающими его лицами.

Таким путем был убит человек, который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела.

Оказалось, что жив шофер, который вел машину, доставлявшую начальника охраны С. М. Кирова на допрос. Он рассказал, что когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине сидел работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, очень странно, почему именно на грузовой машине везли этого человека на допрос, как будто в данном случае не нашлось другой машины для этого. Видимо, все было предусмотрено заранее, в деталях.) Два других работника НКВД были в кузове машины вместе с начальником охраны Кирова.

Шофер рассказал далее, что когда они ехали по улице, сидевший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и направил машину прямо на дом. Шофер выхватил руль из его рук и выправил машину, и она лишь бортом ударилась о стену здания. Потом ему сказали, что во время этой аварии погиб начальник охраны Кирова.

Почему он погиб, а никто из сопровождавших его лиц не пострадал? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо было сделать так, чтобы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы».

Почему Сталин освободился от Борисова таким кружным путем? Похоже, что преданность Борисова Кирову была очень хорошо известна, и расстрелять его или «убрать» как соучастника Николаева — значило бы немедленно возбудить недоверие в ленинградской парторганизации. Лишь в 1938 году, во время суда над Бухариным, когда подобные соображения были уже недействительны, Борисов был объявлен соучастником преступления.

Здесь следует заметить, что хрущевская версия дела Кирова, будто бы проливающая новый свет на события, не содержала никаких фактов, противоречащих окончательной сталинской версии. Что касается, например, Борисова, то Буланов дал об этом показания в важнейших деталях на суде 1938 года; на том же суде оглашены почти все детали участия в убийстве Ягоды и Запорожца. Можно спросить: почему Хрущев излагал тот же самый материал — с несущественными дополнительными деталями — так, как будто делал великие разоблачения? Напрашивается ясный ответ, что Хрущев имел в виду намекнуть на нечто более глубокое. Этот способ подхода к делу — с помощью намеков — упорно применялся в Советском Союзе, начиная с 1956 года.

В своем докладе на закрытом заседании XX съезда в феврале 1956 года Хрущев говорил:

«Необходимо заявить, что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования».

Это было сказано в ходе нападок на Сталина. Но ничего так и не было расследовано. На XXII съезде партии, в октябре 1961 года, Хрущев сказал — на сей раз публично:

«Надо еще приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов... Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела».

Той же осторожной линии придерживались и другие ораторы. А результатов «изучения» видно не было. Очередной намек появился в «Правде», в статье к 30-летию XVII съезда ВКП(б), опубликованной 7 февраля 1964 года. Заметив, что Киров был препятствием для честолюбивых устремлений Сталина, автор статьи добавлял:

«Но не прошло и года после окончания XVII съезда, как преступная рука оборвала жизнь Кирова. То было заранее обдуманное и тщательно подготовленное преступление, обстоятельства которого, как сообщил Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС, до конца еще не выяснены».

Даже не говоря конкретно об ответственности Сталина за убийство (такое определенное заявление все еще, по-видимому, застревает в советской глотке), поистине трудно выразиться яснее. Ведь если до сих пор все еще нужно найти действительного виновника, то очевидно, что все предыдущие обвиняемые — Зиновьев и Каменев, а потом и правые уклонисты, оказываются ни при чем. Остается лишь один главный подозреваемый. И дочь Сталина, Светлана Аллилуева, уже находясь за рубежом, в 1963 году не случайно спрашивает: «Не лучше ли и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают?». После всего, что стало к тому времени известным, люди, естественно, стали связывать убийство Кирова с именем Сталина. Оснований для этого было вполне достаточно. Аналогичное соучастие Сталина в убийстве крупного еврейского актера и режиссера Соломона Михоэлса в Минске в 1948 году ныне, как кажется, точно установлено. Считавшееся в свое время несчастным случаем, оно было признано при Хрущеве операцией МГБ.

После ликвидации Борисова Сталин стал лицом к лицу с главной проблемой — Николаевым.

Разумеется, Леонид Николаев был марионеткой Сталина, Ягоды и Запорожца. Но он действовал также и по своим убеждениям. Естественно, все поколения комментаторов как советских, так и оппозиционных, до самых последних дней подходили к личности Николаева самым недружелюбным образом. К тому же, его поступок, не принесший России никакой пользы, стал оправданием самой худшей тирании. По этой и другим причинам нелегко разобраться с полной ясностью, что же представлял собой этот 30-летний «тираноубийца».

Подобно многим революционерам, Николаев был в известном смысле неудачником. Подростком он принимал участие в гражданской войне, а затем не смог найти себе места во все более бюрократизирующемся обществе.

Он — типичный представитель молодого и энергичного, но буйного и неподатливого поколения, которое было сломлено новым режимом в партии. В отличие от других, Николаев решил действовать.

Вступив в партию в 1920 году, Николаев, насколько известно, никогда не принадлежал ни к какой оппозиции. В 1925 году практически все голоса ленинградской партийной организации были отданы Зиновьеву. За него, несомненно, голосовал и Николаев, однако он никогда не подвергался репрессиям — значит, не был активен, не был и неприятен победителям.

С марта 1934 года Николаев не имел работы. Он ушел с последнего места работы потому, что протестовал против понижения в должности. Он считал, что его понизили в должности в результате бюрократических интриг. За нарушение дисциплины его исключили из партии, но за два месяца до преступления восстановили, ибо он сделал заявление, что раскаивается.

Тем временем он много и мрачно размышлял о перерождении партии. Он воображал себя мстителем в старом героическом русском духе. Говорят, что когда Сталин сказал Николаеву, что «ведь он теперь — погибший человек», Николаев ответил: «Что ж, теперь многие гибнут. Зато в будущем мое имя будут поминать наряду с именами Желябова и Балмашева!». Он имел в виду знаменитых террористов «Народной воли» и партии социалистов-революционеров.

Сталин вел допрос лично. Свидетели говорят, что сперва он обратился к Николаеву исключительно мягко: «Почему вы убили такого прекрасного человека?».

Николаев твердо ответил: «Я стрелял не в него. Я стрелял в партию».

Действительно, как уже понял Запорожец, торопливо допросивший Николаева до приезда Сталина, убийца был не слабым неврастеником, потрясенным своим поступком и арестом, а представлял собой спокойного и бесстрашного фанатика. Николаев сразу догадался, как Запорожец его использовал. Он категорически отказался давать какие-либо показания об участии Зиновьева в преступлении. Но даже если бы можно было пытками довести Николаева до временного подчинения, то не могло быть и речи об открытом суде над ним.

Приказав Агранову всячески нажимать на «зиновьевскую» линию в деле, Сталин возвратился в Москву. Ему пришлось удовлетвориться другими мерами по нагнетанию атмосферы террора.

Гроб с телом Кирова поместили в Колонном зале Дома Союзов в Москве, и высшие руководители страны стояли у гроба в почетном карауле. Советская пресса сообщала, что когда Сталин увидел тело, он не мог справиться со своими чувствами, вышел вперед и поцеловал труп в щеку. Было бы интересно поразмышлять о его чувствах в тот момент.

Есть некая ирония в том, что Зиновьев тоже выразил свое соболезнование по поводу смерти Кирова. «Правда» отвергла некролог Зиновьева, а на суде в 1936 году Вышинский говорил об этом в таких выражениях:

«Злодей, убийца оплакивает свою жертву! Видано ли такое? Что сказать, какие подобрать слова для описания всей ни-

[1] А. Н. Шелепин в речи на XXII съезде КПСС (*ред.*).

[2] В заключительном выступлении на том же съезде (*ред.*).

зости и мерзости этого? Коцунство! Вероломство! Двуличие! Коварство!» *.

4 декабря было объявлено, что начальник ленинградского областного управления НКВД Медведь снят с поста и заменен Аграновым; что его и семерых его подчиненных будут судить за то, что они не сумели уберечь Кирова. Однако среди этих людей не было Запорожца. В то же время был обнародован длинный список «белогвардейцев», арестованных в связи с этим делом в Москве и Ленинграде. В течение нескольких дней над ними были проведены «судебные процессы» в соответствии с новым законом. Судья, сталинец И. О. Матулевич, председательствовал на выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде. Он приговорил 37 «белогвардейцев» к смертной казни за «подготовку и организацию террористических актов против работников советской власти». В Москве военная коллегия под председательством еще более отъявленного типа В. В. Ульриха вынесла 33 смертных приговора за такие же «преступления».

13 декабря Ульрих отправился в Киев, чтобы председательствовать на суде и приговорить к смерти 28 украинцев. И их обвинили в «организации подготовки террористических актов против работникоа советской власти». Было сказано, что «при задержании у большинства обвиняемых изъяты револьверы и ручные гранаты».

Об этом украинском деле известно больше, чем о процессах над первыми жертвами в Ленинграде и Москве. Хотя во всех трех случаях говорилось, что большинство обвиняемых тайно прибыли из-за границы с террористическими целями, мы видим, что почти все казненные на Украине были хорошо известными писателями, культурными и общественными деятелями. За исключением одного младшего дипломата и одного поэта, который бывал в Германии, они все не покидали Украины в течение многих лет. В «Правде» 10 июня 1935 года появилась небольшая обвинительная статья по поводу одного из них — глухого поэта Влыско.

Эти официальные казни сопровождались множеством других, проведенных с гораздо меньшими формальностями. В ленинградском управлении НКВД были этим весьма довольны по технической причине — место в тюрьме было на вес золота. Согласно надежному свидетельству, арестованные ждали очереди у лифта, их по одному свозили вниз, в подвал, и расстреливали с интервалом от двух до двух с половиной минут на протяжении всей ночи. Утром в подвале лежало 200 трупов. Тем не менее в тюремных камерах стало свободнее лишь на короткое время.

По всей стране прокатилась огромная волна арестов. Хватали тысячами — арестовывали всех тех, кто был на заметке в НКВД как политически подозрительный. Период относительного послабления внезапно пришел к концу.

Последнее крупное убийство и попытка к убийству имели место в августе 1918 года, когда социалисты-революционеры убили Урицкого и ранили Ленина. Тогда Свердлов издал истерический призыв к беспощадному массовому террору, добавив, что, без сомнения, убийцы окажутся наемниками англичан и французов. После событий 1918 года были расстреляны сотни заключенных заложников. И большевики (за исключением храброго Ольминского) не протестовали. Теперь, когда возникла аналогичная ситуация, как могли они протестовать против уничтожения нескольких групп «белогвардейцев» в Ленинграде и Москве?

Есть одно типичное различие между этими двумя волнами террора. Сталин делал вид, что жертвы его террора были прямо связаны с преступлениями, тогда как в ленинские времена откровенно признавалось, что расстрелянные были не более чем классовыми заложниками.

На фоне этой оргии расстрелов советская пресса повела кампанию «бдительности». Одну из тех кампаний с призывами к беспощадности по отношению к скрытым врагам, которые время от времени вспыхивали на всем протяжении сталинщины. Была фактически создана атмосфера, в которой невозможен был никакой голос умеренности или просто трезвости. В 1933 году резко пошли на убыль «чистки» — собрания со взаимными обвинениями, на которых коммунисты боролись за свое пребывание в партии, а фактически за свои жизни. Эти панические, подхалимские взаимные обвинения начались теперь вновь. «Умеренная» линия по отношению к рядовым членам оппозиции превратилась в свою противоположность. Тысячи людей, еще недавно восстановленных в партии, исключались опять.

В декабре 1934 года Центральный Комитет разослал закрытое письмо по всем партийным организациям. Письмо было озаглавлено: «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова». Содержание письма сводилось к призыву выявлять, исключать и арестовывать всех бывших членов оппозиции, еще оставшихся в партии. К концу месяца письмо было обсуждено во всех партийных организациях, и это обсуждение сопровождалось потоком огульных доносов.

Однако на этой ранней стадии террора еще делались некоторые различия в отношении применяемых наказаний. Дружба с разоблаченным «троцкистом» обычно влекла за собой строгий выговор, а не исключение из партии. Лишь несколькими годами позже столь мягкое наказание стало рассматриваться не просто как исключительный либерализм, но как ясное указание на соучастие самих судей в контрреволюционной деятельности.

На всем протяжении декабря 1934 года печать нападала на троцкистов, обнаруженных в различных районах страны, клеймила партийные организации за «гнилой либерализм» и призывала к бдительности. Начались массовые высылки в Сибирь и Арктику. За несколько месяцев было схвачено 30—40 тысяч ленинградцев.

Схвачены были все, кто мог иметь какое-либо отдаленное отношение к участникам убийства. Известна история одной женщины, работавшей библиотекарем в «Клубе коммунистической молодежи» в Ленинграде. Клуб этот был распущен в середине 20-х годов, но до роспуска Николаев был в какой-то степени связан с этим клубом. И вот арестовали не только бывшую библиотекаршу, но также сестру, с которой она вместе жила, мужа этой сестры, секретаря ее партийной организации и всех тех, кто рекомендоаал ее когда-либо на работу.

Газета «Вечерний Ленинград» рассказала о случае, каких в то время происходили десятки. Речь шла о писателе Александре Лебеденко, арестованном в Ленинграде в январе 1935 года и вскоре высланном. Через два с половиной года — т. е. в середине тридцать седьмого — его приговорили без суда и следствия, решением тройки НКВД, к 20-ти годам изоляции. Лебеденко освободили лишь после XX съезда партии, в 1956 году.

Между тем Агранов продолжал работать над вскрытием «зиновьевских» связей. Он проследил связи между Николаевым и теми, кто руководил ленинградским комсомолом в зиновьевский период. Наиболее важным из них был И. И. Котолынов — в прошлом член ЦК комсомола. Он в свое время смело протестовал против сталинских «мальчикоа», захвативших власть в молодежных организациях. О них Котолынов говорил так: «У них такие настроения — если ты не сталинец, будем на тебя давить, будем жать, будем тебя преследовать, чтоб ты не смел и рта открыть». Котолынов действительно был членом оппозиции — да еще имел массу завистников и недоброжелателей. В период чисток это было скверное сочетание.

Агранов установил, что Котолынов и другие местные комсомольские руководители встречались и вели дискуссии в 1934 году. Предметом дискуссий была история ленинградского комсомола, задуманная местным Институтом истории партии. Собрания были вполне открытыми, проводились под контролем партии, на них присутствовал и Николаев. Агранов превратил все это в «заговор». Были арестованы еще 9 челоаек, присутствовавших тогда на обсуждениях, в том числе еще один бывший член ЦК комсомола — Румянцев. Уже 6 декабря 1934 года эти люди или, по крайней мере, часть из них находились под арестом. К ним были применены «жесткие» методы допроса.

Несмотря на это, большинство молодых оппозиционеров отказались капитулировать. Сам метод подобного обращения с членами партии был тогда ноа, и у подследственных не было еще того чувства безнадежности, которое позднее в таких же обстоятельствах играло решающую роль. Наоборот, все происходившее казалось им опасным и ужасающим безумием следователей, которое вот-вот прекратят. Тем не менее, к 12—13 декабря Агранов имел одно или два готовых признания. И этого было достаточно, чтобы связать бывших оппозиционно настроенных комсомольцев Ленинграда с Каменевым и Зиновьевым, которые раз или два встречались с их бывшими сторонниками при самых невинных обстоятельствах. В докладе Агранова Сталину дело было представлено так, что Каменев и Зиновьев отошли от их многочисленных обещаний «политически разоружиться» и что существовал некий заговор.

Когда доклад этот был представлен в Политбюро, где обсуждение прошло «в очень напряженном настроении», большинство все еще держалось либерального курса, линии Кирова. Сталин охотно принял этот курс, но добавил, что требуется одно изменение: поскольку оппозиция, дескать, не разоружилась, партия в порядке самозащиты должна предпринять проверку всех бывших троцкистов и зиновьевцев. С некоторыми колебаниями Политбюро согласилось, а что касается самого убийства, то заниматься им предоставили следственным органам.

Еще в первой половине месяца были арестованы Г. Е. Евдокимов — бывший секретарь ЦК партии, и Бакаеа, состоявший руководителем ленинградского НКВД при Зиновьеве. После этого Зиновьев составил письмо к Ягоде с выражением беспокойства по поводу арестов Евдокимова и Бакаева. Зиновьев просил вызвать его, чтобы установить, что он ни в какой степени не причастен к убийству. Однако Каменев отговорил Зиновьева от отправки этого письма.

16 декабря начальник оперативного отдела НКВД Паукер и личный помощник Ягоды Буланов арестовали Каменева. Одновременно начальник секретного политического отдела Молчанов и заместитель начальника оперативного отдела Волович схватили Зиновьева. (Все четыре сотрудника НКВД — Паукер, Буланов, Молчанов и Волович — были впоследствии расстреляны как заговорщики. Паукер и Во-

лович были, кроме того, объявлены немецкими шпионами.)

Есть общая деталь в этих двух арестах, свидетельствующая о том, что старые большевики, даже оппозиционно настроенные, все еще пользовались в партии своеобразным уважением: при арестах не было произведено обысков.

В первые 4—5 дней после убийства печать была заполнена так называемыми требованиями рабочих об отмщении. Печатались рассказы о жизни Кирова, описания почетного караула в Колонном зале и похорон, списки казненных «белогвардейских» террористов и т. п. Потом наступила любопытная пауза, длившаяся неделю или десять дней. А затем, 17 декабря, московский комитет партии опубликовал приветствие тов. Сталину, в котором утверждалось, что «на предательский выстрел контрреволюционных последышей зиновьевской антипартийной группы единым голосом отвечает вся партия, вся страна: „Да здравствует тот, кто повел нашу великую партию в бой со всеми врагами ленинизма!“». Это было первым открытым признаком политических настроений на верхах после убийства.

Ленинградский обком партии, который только что, 16 декабря, «избрал» Андрея Жданова на место убитого Кирова, отправил аналогичное приветствие.

До сих пор НКВД не делал заявлений, прямо обвиняющих в убийстве кого-либо, кроме Николаева. Казненные «белогвардейцы» неоправданно обвинялись в терроризме. Следствие закончено было 20-го декабря, а 22-го декабря «Правда» опубликовала официальное заявление, что Киров убит «ленинградским центром». Во главе «центра» стоял якобы Котолынов, а кроме него членами организации были Николаев и шестеро других — обо всех было категорически сказано, что «...все эти лица в разное время исключались из партии за принадлежность к бывшей антисоветской зиновьевской оппозиции, и большинство из них было восстановлено в правах членов партии после официального заявления о полной солидарности с политикой партии и советской власти». На следующий день впервые был дан список арестованных зиновьевцев, причем разъяснялось, как будут вестись дела каждого из них.

Среди них были выдающиеся имена: Зиновьев и Каменев — в прошлом члены Политбюро; Евдокимов — в прошлом член Секретариата; еще трое членов и кандидатов ЦК — Залуцкий, входивший вместе с Молотовым и Шляпниковым в первый большевистский комитет в Петрограде после февральской революции, Куклин и Сафаров.

На первых порах были выдвинуты частичные обвинения. По поводу семерых арестованных, в том числе Зиновьева, Каменева, Залуцкого и Сафарова, было сказано, что НКВД, не имея достаточных оснований для предания их суду, передаст их дела в особое совещание на предмет административной высылки. Другим, во главе с Бакаевым, предстояло дальнейшее расследование. Это был типично сталинский ход, направленный на то, чтобы постепенно приучить коллег по партии к мысли о виновности Зиновьева, и в то же время достаточно сложный и запутанный, чтобы затемнить истинные намерения Сталина.

Из пятнадцати человек, перечисленных в списке, десять предстали перед судом в первом процессе Зиновьева—Каменева, начавшемся уже в следующем месяце. С ними были еще деаять подсудимых, ранее не названных. Пять имен из первого списка более нигде и никогда не появлялись. Имя Сафарова, впрочем, мелькнуло в январе 1935 года в качестве свидетеля на процессе, а на процессе Зиновьева в 1936 году он уже был назван соучастником преступления. Его судьба оставалась, однако, неизвестной вплоть до недавних советских справок, в которых сказано, что он был исключен из партии в 1934 году, осужден и умер в 1942 году. Залуцкий тоже был исключен из партии в 1934 году, также обвинен в преступлениях и умер в 1937 году. Возможно, оба они были в числе девяноста семи оппозиционеров, тайно присужденных в начале 1935 года к максимальному сроку, выносимому в то время особым совещанием — пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Правда, по окончании срока могло последовать новое и более жестокое наказание. В то же время были отправлены в Верхнеуральский изолятор: Шляпников и Медведев из бывшей «рабочей оппозиции», Сапронов из «демократических централистов», троцкист Смилга и другие.

Отметим в скобках, что из девятнадцати обвиняемых на январском процессе 1935 года только четверо появились вновь в 1936 году на открытом процессе. Восемь из числа остальных были упомянуты в обвинительном заключении, причем о двух было сказано, что над ними предстоит суд (никакого отчета о таком суде опубликовано не было). Об остальных семи просто никто больше не слышал. Это означает, что независимо от причины из каждых трех арестованных один, так сказать, «исчезал из поля зрения» между декабрем 1934-го и январем 1935 года. Эта пропорция еще возросла между январем 1935 года и августом 1936 года. Это стоит отметить потому, что такое исчезновение может означать либо невозможность исторгнуть из человека нужные «признания», либо смерть под следствием. Это позволяет лучше понять в перспективе всю организацию так называемых «показательных судов с признаниями».

27 декабря было опубликовано формальное обвинение против группы Николаева. Было сказано, что эта группа, теперь уже в составе четырнадцати человек, действовала в августе, ведя наблюдение за квартирой Кирова и за Смольным для выяснения его обычных маршрутов. Были названы также «свидетели» — жена Николаева, его брат и другие. Заговорщики обвинялись в намерении убить Сталина, Молотова и Кагановича — так сказать, в дополнение к Кирову. Про Николаева еще говорилось, что он передавал антисоветские материалы какому-то не названному иностранному консулу. Позднее выяснилось, что имелся в виду латвийский консул Биссенек, хотя, как утверждали, НКВД сначала намеревался обвинить его финского коллегу[1]. А уже казненные «белогвардейцы» были туманно внесены в дело путем упоминания о каких-то связях Николаева с «деникинцами». Группа Николаева обвинялась в том, что «ставила прямую ставку на вооруженную интервенцию иностранных государств».

Упоминался также «ряд документов», включая дневник Николаева и подготовленные им заявления. По-видимому, эти документы ясно показывали, что соучастников у Николаева не было. Невозможно было полностью замолчать документы на той стадии, поскольку их видело много всевозможных следователей и других сотрудников. Поэтому официальный отчет, упоминая о документах, говорит, что они были специально подготовленными фальшивками, предназначенными создать впечатление об отсутствии заговора и о существовании лишь протеста против «несправедливого отношения к живому человеку».

Полная версия обвинения по этому пункту гласит: «В целях сокрытия следов преступления и своих соучастников, а также в целях маскировки подлинных мотивов убийства т. Кирова, обвиняемый Николаев Л. заготовил ряд документов (дневник, заявления в адрес различных учреждений и т. п.), в которых старался изобразить свое преступление как акт личного отчаяния и неудовлетворенности, в силу якобы тяжелого своего материального положения и как протест против несправедливого отношения к живому человеку со стороны отдельных государственных лиц».

Были упомянуты три тома показаний, каждый по 200 страниц. Из всего этого можно было сделать вывод, что обвинение готовит открытый процесс. Но такого процесса не было. Суд под председательством вездесущего Ульриха заседал 28—29 декабря за закрытыми дверьми.

Наиболее вероятно, что обвиняемые в соучастии в деле Николаева отказались давать признания, несмотря на суровые допросы. Ходили упорные слухи, что арестованные видели Котолынова во время допросов, избитого и в шрамах. Но и он и другие бывшие комсомольцы и зиновьевцы, насколько известно, сопротивлялись до конца. В опубликованном сообщении о суде говорилось, что заговорщики убили Кирова, чтобы «добиться таким путем изменения нынешней политики в духе так называемой зиновьевско-троцкистской платформы». В том же сообщении сказано, что Николаев и все другие были приговорены к смерти и казнены 29 декабря.

Во всяком случае предполагается, что они были казнены именно тогда. Но вполне возможно, что многих из них к моменту суда не было уже в живых. В частности, говорят, что Николаева казнили вскоре после того, как с ним говорил Сталин. С другой стороны, на суде над Зиновьевым в 1936 году Вышинский упомянул некоего Левина — одного из так называемых соучастников Николаева. Вышинский сказал про этого Левина, что он был расстрелян в 1935 году. Если это не оговорка, то это могло означать, что его держали в живых позже официальной даты казни, имея в виду получить от него показания против других обвиняемых. (Есть свидетельство, не очень, правда, определенное, что Котолынова тоже видели в феврале 1935 года в Нижегородской тюрьме в Ленинграде.)

Исход всего этого пока не мог полностью удовлетворить Сталина. Партия в целом все еще вряд ли была готова принять прямое обвинение Зиновьева и Каменева в убийстве без того, чтобы услышать показания убийцы, публично данные против них. Больше того, после первого шока, вызванного убийством Кирова, очень многие и в Политбюро и вне его продолжали вести кировскую линию на примирение и послабление.

Шли переговоры с руководителями оппозиции, находившимися в тюрьме. Предполагалось вынудить у них признание полной вины под предлогом соблюдения партийной дисциплины. Однако эти переговоры ни к чему не привели. С другой стороны, оппозиционеры стали понимать, что в их интересах сделать все, чтобы предотвратить новые возможные акты террора. Если бы террористические акты произошли, то на руководителей оппозиции и их последователей обрушились бы еще худшие репрессии. Поэтому в конце концов руководители оппозиции согласились принять на себя «моральную ответственность» за убийство Кирова — ответ-

[1] Густав Герлинг (Gustav Herling), сам бывший з/к, упоминает, что в его лагере сидел финн, арестованный в Ленинграде как связной, передававший секретные инструкции из Финляндии убийце Кирова.

ственность в том смысле, что убийца мог бы быть вдохновлен на преступление и их, руководителей оппозиции, политическими взглядами.

15—16 января Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Куклин и 14 других предстали перед судом в Ленинграде в качестве так называемого «московского центра». Опять Ульрих председательствовал, а Вышинский обвинял. Смысл обвинений сводился к тому, что, зная террористические склонности котолыновского «ленинградского центра», москвичи оказывали ленинградцам политическую поддержку.

Отчеты об этом суде не были, однако, опубликованы полностью. В печати появилось только сообщение на три четверти страницы с несколькими цитатами из показаний Зиновьева и других обвиняемых, признававших свою частичную вину. Говорилось, что вся группа была «разоблачена» Бакаевым, а также Сафаровым, которого на суде не было. Бакаев, которого допрашивали больше месяца, дал, вероятно, наиболее подробные показания.

Зиновьев, как сообщалось, заявил на суде: «В силу объективной ситуации прежняя деятельность бывшей оппозиции могла вести только к вырождению этих преступников» *.

Он принял на себя полную ответственность за тех, кого он ввел в заблуждение, и подытожил свои показания следующими словами: «Задача, которую я вижу перед собой в данный момент,— раскаяться полностью, открыто и искренне перед судом рабочего класса во всем, что было, как я теперь понял, ошибкой и преступлением, и я обязан высказаться так, чтобы покончить с этой группой раз и навсегда» *.

Однако, приняв на себя общую моральную ответственность, обвиняемые отвергли приписываемые им более зловещие преступления. Евдокимов твердо отрицал какую бы то ни было прячастность к убийству. Каменев выражал свое недоверие «свидетелю» Сафарову; он также определенно заявил, что не знал о существовании «московского центра», активным участником которого его теперь объявили. Однако Каменев добавил, что поскольку такой центр существовал, он готов принять на себя ответственность за него. Зиновьев также сказал, что многие из сидевших на скамье подсудимых ему не знакомы, и добавил, что он узнал о роли Котолынова только из обввинительного заключения по делу «ленинградского центра». Итак, несмотря на частичное признание ответственности участниками оппозиции, можно считать ясным, что их поведение Сталина не вполне удовлетворило и что открытый процесс не сыграл бы ему на руку.

16 января 1935 года Зиновьев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Евдокимов и Бакаев — к восьми, Каменев — к пяти. Остальные получили сроки от 5 до 10 лет. Длительность сроков, как выяснилось, не играла никакой роли, поскольку никто из обвиняемых, главных или второстепенных, никогда больше не появился на свободе.

Через два дня после процесса (18 января 1935 года) ЦК партии выпустил новое «закрытое письмо» о бдительности. Это было официальное указание всем партийным организациям «покончить с оппортунистическим благодушием», причем весьма знаменательно, что отсутствие бдительности объяснялось в этом письме «отрыжкой правого уклона». На местах разразилась новая волна арестов, захватившая десятки тысяч бывших участников оппозиции и всех других подозреваемых.

По кировскому делу властям предстояло еще расправиться с последней кучкой заключенных — с руководителями ленинградского НКВД, о предстоящем суде над которыми было объявлено еще 4 декабря 1934 года. 23 января 1935 года они в конце концов предстали перед судом, где председательствовал, как всегда, Ульрих. Вместо девяти человек, чьи имена были объявлены вначале, теперь было 12 подсудимых — и среди них Запорожец. Медведь и Запорожец обвинялись в том, что, «располагая сведениями о готовящемся покушении на тов. С. М. Кирова, проявили не только невнимательное отношение, но и преступную халатность к основным требованиям охраны государственной безопасности, не приняв необходимых мер охраны».

Приговоры были исключительно легкими. Один сотрудник, Бальцевич, получил 10 лет за то, что в дополнение к основному обвинению вел себя как-то не так во время следствия. Медведь получил три года, остальные — 2 или 3. Сроки, как было сказано в приговоре, осужденные должны были отбывать в концлагере (концентрационном лагере). Это прилагательное — «концентрационный» — вскоре полностью перестали применять.

Приговоры поразили наблюдательных сотрудников НКВД своей явной непропорциональностью обвинениям. Естественной реакцией Сталина на преступную халатность охраны по отношению к настоящим убийцам — к убийцам, которые могли выбрать его следующей жертвой,— должна была бы быть примерная казнь всех провинившихся офицеров НКВД. Да и действительно, трудно было себе представить, каким образом они могли бы избежать обвинения в соучастии в преступлении. Но когда стало ясно, что приговоры Медведю и Запорожцу были вынесены чуть ли не как простая формальность, ситуация стала особенно странной и зловещей.

Как было позднее признано на процессе 1938 года, Ягода проявил исключительную и необыкновенную заботу об их судьбе. Его личный секретарь Буланов заявил, что «лично мне он поручил заботу о семье Запорожца, о семье Медведя, помню, что он отправил их для отбывания в лагерь не обычным путем, он их отправил не в вагоне для арестованных, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой он вызывал к себе Запорожца и Медведя».

Невозможно, конечно, считать все это личной инициативой Ягоды. Обвиняемые находились под более высокой протекцией. Больше того, сотрудники НКВД узнали, что Паукер и Шанин (начальник транспортного управления НКВД) посылали пластинки и радиоприемники высланному Запорожцу — вопреки строгим сталинским правилам, по которым связь даже с ближайшим другом обрывалась немедленно, если друга арестовывали.

Эта дополнительная странность кировского дела, после всех других, убедила многих сотрудников, что Сталин одобрил, если не организовал убийство Кирова. Постепенно истинные обстоятельства дела просочились наружу через аппарат НКВД. Даже тогда об этих обстоятельствах говорили с исключительной осторожностью. По словам Орлова, и ему и Кривицкому было сказано: «Дело настолько опасное, что лучше о нем не слишком много знать».

Один заключенный из лагерей строительства Беломорканала вспоминает, что Медведь прибыл в штаб лагерного комплекса поездом, в специальном купе, и начальник строительства Раппопорт устроил его в собственном доме, пригласив по случаю гостей. Медведь был одет в форму НКВД без знаков отличия. В таком виде он был послан дальше, в Соловки.

Запорожец был отправлен в лагеря золотых приисков комбината Лензолото на Дальнем Востоке и скоро, как говорят, стал начальником управления дорожного строительства Колымского лагерного комплекса с другим сотрудником ленинградского НКВД — Фоминым в качестве заместителя. К ним позднее присоединился, кажется, и Медведь, который в промежутке между Беломорканалом и Сибирью имел даже возможность посетить Москву.

Что же касается окончательной судьбы этих ссыльных сотрудников НКВД, то 20 лет спустя Хрущев заметил:

«После убийства Кирова руководящим работникам ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли.

Можно предполагать, что их расстреляли для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова».

Намек Хрущева, в общем, ясен, хотя сделан слишком грубо. Нет сомнения, что вообще Сталин предпочитал затыкать рты всем, кто знал его секреты. На процессе Зиновьева—Каменева 1936 года говорилось, будто обвиняемые планировали после захвата власти поставить Бакаева во главе НКВД с целью «замести следы» путем убийства всех сотрудников, знавших о заговоре, а также с целью дать возможность заговорщикам уничтожить своих собственных активистов и террористов. Поскольку весь этот заговор был просто выдуман Сталиным, с соответствующим образом подтасованными свидетельствами, это показывает, что Сталин считал естественным расстреливать сотрудников НКВД и всех других, кто знал слишком много.

Однако, с другой стороны, Сталин вряд ли мог ликвидировать всякого, кто знал или подозревал о его преступлениях. Было непрактичным казнить подчиненных Ягоды до тех пор — или почти до тех пор,— пока Сталин не был готов уничтожить самого Ягоду. И даже когда оперативники секретной полиции уничтожалв эшелон за эшелоном, сведения всякого рода успевали просачиваться. Если уж на то пошло, то несколько человек, знавших худшие сталинские секреты — вроде Шкирятова, Поскребышева, Вышинского, Берии и Мехлиса,— уцелели до 1953—55 годов, а Каганович жив и сейчас.

Верно, что в 1937 году в рядах колымского НКВД прошла гигантская чистка. Его начальник Берзин, большинство ведущих инженеров, а с ними Медведь и все другие бывшие сотрудники ленинградского НКВД были расстреляны. Необычное исключение состаалял лишь Запорожец. Так что, хотя Сталин, быть может, и считал удобным затыкать рот опасным свидетелям, просто убивая их, это ни в коем случае не было естественным и необходимым ходом, как намекал Хрущев. Ибо что могли они сказать или сделать? Если бы стало известно, что они обронили хоть малейший намек из своей тайной информации, на них бы немедленно донесли. Возможно, невинный Медведь и мог согрешить. Но Запорожец, который действительно з н а л, имел все основания молчать.

Больше того, даже если бы эти люди могли сбежать на Запад, если бы они опубликовали свои разоблачения в британской, французской или американской прессе, это не имело бы большого значения. Действительно, ведь правда просочилась на Запад через многих оставшихся за границей сотрудников НКВД; тем не менее убедила эта правда весьма немногих.

Во всяком случае, Запорожцем вскоре пришлось пожертвовать. Как только было решено разоблачить роль Ягоды в убийстве Кирова и рассказать все о соучастии НКВД в преступлении, пришло время принести в жертву всех замешанных. На

процессе 1938 года роль Запорожца была описана ясно; и было объявлено, что он не появился в числе обвиняемых, поскольку его дело было выделено в особое производство. По-видимому, все это подтверждает, что к тому времени он был еще жив, однако если так, то в живых ему оставалось быть недолго.

С окончанием январского процесса 1935 года над руководителями ленинградского НКВД «дело Кироаа» было на время свернуто. Старые участники зиновьевской оппозиции были уже все за решеткой. Ленинград был передан из-под независимого руководства в руки преданного сталинского сатрапа Жданова. Террор, выражавшийся главным образом в массовых высылках, но частично и в массовых казнях, обрушился на город и, в меньшей степени, на всю страну.

Тем не менее Сталин все еще не мог полностью сокрушить своих противников или даже преодолеть сопротивление своих менее восторженных союзников. Окончательный удар не был еще нанесен. А между тем среди низовых партийных организаций снова назревало недовольстао его действиями.

В комсомоле, например, еще в 1935 году наблюдалось удивительно сильное сопротивление сталинизму. Секретные архивы Смоленской области (они были захвачены немцами во время войны и позже попали на Запад) выявляют степень этого сопротивления. На комсомольской дискуссии по поводу убийства Кирова один член организации говорил: «Когда убили Кирова, то разрешили свободную торговлю хлебом; когда убьют Сталина, то распустят все колхозы». Директор школы, комсомолец и пропагандист, объявил: «Ленин написал в своем завещании, что Сталин не мог работать руководителем партии». Другой учитель обвинил Сталина в том, что он превратил партию в жандармерию, надзирающую над народом. Есть рапорт о девятилетнем пионере, который кричал: «Долой Советскую власть! Когда я вырасту, я убью Сталина». Об одиннадцатилетнем школьнике сказано, что он говорил: «При Ленине мы жили хорошо, а при Сталине мы живем плохо». А 16-летний студент якобы заявил: «Кирова они убили; пусть теперь убьют Сталина». Время от времени высказывались даже случайные симпатии к оппозиции. Рабочий-комсомолец говорил: «Достаточно уже клеветали на Зиновьева; он очень много сделал для революции». Комсомолец-пропагандист, отаечая на вопрос, отрицал какую бы то ни было причастность Зиновьева к делу Кирова и говорил о Зиновьеве, как об «уважаемом руководителе и культурном человеке». Один инструктор комсомола «выступил открыто в защиту взглядов Зиновьева».

Итак, чтобы достичь нужного Сталину положения в стране, предстояло сделать еще очень многое.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ИСПОВЕДЬ
СЫНА
ВЕКА

И. МЕТТЕР

СУЖУ И СУДИМ БУДУ

Не пойму, стариковское ли это, но появилось во мне лишь недавно, в последние годы: острое любопытство к детям, совсем маленьким детям, годовалым и даже меньшим. Чаще всего это случается на улице: увижу коляску с ребенком подле магазина или в скверике, матери около нет, никого из близких ему нет, ребенок один-одинешенек, не спит, глаза его настежь распахнуты, они живут глубоко сосредоточенной жизнью — не на себе сосредоточенной, а на всем окружающем. Он сознательно поводит ими в разные стороны, следя за происходящим вокруг. Он смотрит и понимает что-то, чего я уже не в силах понять, ибо он видит это впервые, а я уже ослеп от привычки и вижу только выборочно, а он — все подряд. И лицо его не задумчивое, не рассеянное, а *думающее*, вырабатывающее некие выводы из своих наблюдений, быстрые разнообразные версии, из которых, вероятно, следует, как ему надо себя повести, если очередная версия подтвердится. Он пока еще чувствует себя чужим здесь, как среди инопланетян, ибо там, откуда он прибыл, где долго-долго жил, всю свою жизнь жил, все было иначе, ближе, уютнее, безопаснее.

Я подхожу к коляске, он впивается в меня, сперва на мгновение настороженно, а затем начинается подробный благожелательный осмотр того, что я собой представляю. Тщание этого осмотра поразительно и совершенно не похоже на ту мимоходность, с которой я оглядываю его. Мне абсолютно достаточно скользящего фиксирующего взгляда: лежит ребенок, похожий на всех младенцев подобного возраста — в общем-то, что-то еще дочеловеческое, по правде сказать, это пока еще не мыслящий тростник, пока еще ничем к себе не привлекающий. Можно, конечно, умилиться, вот, дескать, вырастет и так далее. То есть привнести можно эмоции из своего жизненного опыта. Однако надобности, необходимости в этом никакой нет. Заглянул мимолетом в коляску и проследовал далее, сиюсекундно забыв об этом.

А я для него — явление, огромный мир, который должен быть как можно скорее постигнут; его мозг, ничем лишним не обремененный, обладает неслыханной впитываемостью — впечатления, наблюдения откладываются в его просторной, чистой, гулкой памяти, свободной от всякой житейской чепухи, и потому все, что сейчас в нее загружается, пребывает в аккуратнейшей сохранности на всю жизнь.

Сто́ит лишь внимательно всмотреться в его лицо, и вы увидите эту невидимую пульсирующую работу всё постигающей памяти.

Но почему же именно сейчас меня так остро влекут к себе эти случайные младенцы в попутных колясках?

Единственное объяснение, которое я могу наскрести: во мне кончается жизнь, а она, по сути, бесконечна и потому требует продления уже в иной оболочке,— вот я и примериваюсь к тому, что мне предстоит, озирая одновременно и то, чем я был когда-то. Мое прошлое и мое будущее — в этих колясках.

Не потому ли любовь бабок и дедов к внучатам так безоглядна и так отчаянно безрассудна? Быть может, запрограммирован в людях инстинкт переселения души. Разумеется, это свойство не всеобщее — у кого-то есть, а у кого-то нету. И слава богу, что не у всех. Жутко представить себе, что любая подлая душа может бесконечно переселяться из рода в род.

В рассказе Чехова «Припадок» молодой человек, студент, впервые попадает в публичный дом. И от стыда и ужаса ему становится дурно, с ним случился нервный припадок.

А вот представить себе такого же чистого молодого человека, впервые случайно угодившего году в 1950-м, либо годом раньше, годом позже, скажем, на писательское собрание — на такое собрание, где уничтожают прекрасного честного писателя, говорят о нем лживые грязные мерзости, охаивают всё, что он создал, и многолюдное собрание с улюлюканьем одобряет негодяев-ораторов или трусливо, хором молчит, а затем дружно голосует за его уничтожение,— разве такое зрелище не страшнее для чистого душой юноши, чем посещения борделя?

Бордель-то, хоть и грязно, но объясним какой-то физиологией — уродливой, извращенной, но природой; и идя в публичный дом, юноша знал, хоть примерно, на что и куда он идет, ничего хорошего никогда и нигде он об этом не слышал и не читал.

А вот уродство общественного мероприятия, нравственный разврат собрания интеллигентных людей — вот это должно бы привести в припадочное состояние молоденького студента, подобного чеховскому.

Но где его было тогда сыскать, наивного и чистого,— после школы, института, радиопередач, газет и журналов, комсомольских слетов, после всего горького социального опыта!.. Уже не говоря о том, что нервный припадок в борделе может вызвать сочувствие и жалость в окружающих. А забейся он в нервном приступе на подобном собрании, еще неизвестно, как бы потом обернулась судьба наивного юноши.

То, о чем более всего спорят сейчас, чего требуют, и что в ответ обещают — сбыточно ли? Сбыточно ли разделение функций партийных и государственных?

Не осмеливаюсь судить глобально, применительно к промышленности, к сельскому хозяйству, ко всей нашей социальной сфере; я лишь о том обещании, что было неоднократно дано нам касательно литературы: устранение вмешательства райкомов, горкомов, обкомов и даже ЦК в писательские проблемы.

Убежден: сегодня это обещано совершенно искренно. Но не могу себе представить, как же это может получиться. Даже если умозрительно, для стерильности эксперимента, отбросить все дьявольские механизмы сопротивления, которые несомненно вступят в смертельную битву за свое партийное владычество, то я все-таки совершенно не понимаю, возможно ли это при нашей системе. На мои сомнения мне терпеливо объясняют: партия, ее высшие органы должны и будут заниматься идеологией. Это, разумеется, касательно литературы и искусства.

Сегодня в пору духовного раскрепощения провозглашается: пожалуйста, действуйте в духе революционной перестройки, решайте сложнейшие нравственные, социальные, политические проблемы — сами! Не робейте, если вы оказываетесь в меньшинстве — многажды случалось, что большинство заблуждалось. Смелее, отважнее!.. Единственно, что следует при этом неукоснительно соблюдать: ваше творчество, ваша деятельность должны быть направлены на пользу социализму.

И вот тут я спотыкаюсь. Спотыкаюсь потому, что это неукоснительное условие — политическое. Следовательно, те люди, которые будут наделены полномочиями, а значит, и властью, определять, что́ идет на пользу социализму, а что́ ему во вред, неминуемо окажутся на самой вершине партийной иерархии, в том числе — и городской и областной. Их позиция будет политически директивной.

Я же не убежден, что высший аппарат (а ведь без аппарата все равно никуда не деться), во-первых, сможет четко разграничить в сложных литературных произведениях политику от неполитики, ибо границы между этими категориями размыты ныне до совершенной неопознаваемости; во-вторых же, когда речь заходит об искусстве, то какой же неслыханной компетенцией и высотой общей культуры надо обладать, чтобы при помощи этого неточного инструмента — политики — определять истинную ценность подлинной литературы, которая по самой своей сути всегда впереди своего времени, противореча ему в той мере, в какой грядущее противостоит былому и настоящему, хотя и продолжает их.

Наша юриспруденция оказалась ныне в сложнейшем состоянии: похоже, что ничего подобного еще нигде не бывало. Дело не столько в том, что у нас совершенно разрушенное правовое государство,— неясно, как его создать.

И вот почему.

Возникли уголовные дела невиданного доселе масштаба, главное же — феноменальной специфики. Речь идет о преступлениях, длившихся десятилетия, и — это самое неслыханное! — совершались эти преступления высочайшими представителями правительства и партии. Я не имею в виду императорство Дракона-Сталина. Я говорю о том недавнем периоде, который мы крайне неудачно и на редкость неточно называем почему-то «периодом застоя». Уместно ли полагать его застойным, то есть неподвижным, топтавшимся на месте? Ведь он бесконечно и безнадежно длился, скатываясь к всеобщему маразму, отлично осознаваемому решительно всеми, социальному маразму; наша страна катилась даже не вспять, а в помойную яму взяточничества и коррупции. И творилось это бесстыдно, безнаказанно республиканскими и всесоюзными верхами. За минувшие двадцать — двадцать пять лет народ был ограблен на миллиарды.

Специфика этих преступлений не укладывается ни в какую ранее известную формулировку. В прессе их настойчиво и, по-моему, для данного вида преступления легкомысленно называют мафиозными. А это вопиюще неверно. По самой сути неверно, ибо под уголовным термином мафиози разумеются организованные преступники, которых и народ числит преступниками, да они и сами отлично знают, что являются преступниками.

В нашей же стране народу было положено — и он это соблюдал — считать глубокоуважаемым и любимым правительством тысячные банды злоумышленников во главе с председателями Верховных советов и первыми, вторыми, третьими партийными секретарями.

Вот с подобным феноменом юридическая наука столкнулась, кажется, впервые, и потому-то ей до сих пор никак не опомниться.

Удивительна трагическая судьба знаменитой семьи Вознесенских — двух братьев и двух сестер. Эта трагедия могла бы числиться рядовой: счет ведь шел на миллионы загубленных. И дело даже не в том, что Вознесенские занимали особо выдающееся место в партийно-государственном конусе власти,— выжигались дотла семьи и повыше рангом.

Удивляет, изумляет не их гибель. Поразительно поведение двух высокопоставленных братьев (один — член Политбюро, председатель Госплана СССР, второй — ректор ЛГУ), поражает их отношение к тому, что творилось совсем рядом с ними и уже проникло в их семью. Казалось бы, люди подобного масштаба и жизненного опыта должны были усомниться в праведности происходящего хотя бы в тех случаях, когда «врагами» оказывались самые близкие родственники, которых братья отлично знали; если я говорю — должны были усомниться, то вовсе не имею в виду публичный протест или письменное ходатайство в защиту репрессированного родича — это уже был бы поступок, по тем временам, на уровне геройского и, пожалуй, безнадежно-геройского. Я же о другом, о самом мало-мальски малом: усомниться хотя бы мысленно, бессловесно, с помощью абсолютно безопасного коротенького внутреннего монолога — накрыться с головой одеялом и подумать: произошла неслыханная ошибка, я уверен, конечно же, вскорости разберутся, освободят, выпустят...

Но братьям Вознесенским и в голову не приходили подобные греховные сомнения. Вот как обстояло дело в их семье.

Сперва арестовали одну сестру. Мотивы ее ареста и ее дальнейшая судьба была им неизвестна. Примерно через год был арестован муж другой их родной сестры — он работал первым секретарем обкома комсомола. И на этот раз была обнародована причина репрессии: он обвинялся в покушении на убийство Сталина.

Какова же была реакция братьев Вознесенских на это совершенно бредовое обвинение человека очень близкого им не только по родству, но и по убеждениям, по избранному им жизненному пути.

Член Политбюро и председатель Госплана Николай Вознесенский гневно набросился на свою родную сестру: «Ах, вот с каким подлецом ты связалась!»

И сестра втихомолку, в строжайшей тайне от своих братьев, отправляла репрессированному мужу, покуда еще знала, что он жив, деньги и посылки. Оба брата внушали своим сестрам с девических лет, что родственных чувств у подлинного коммуниста не должно быть, ибо превыше всего — родство с партией, беззаветная вера в партию. И по сравнению с этой верой извечное человеческое доверие к своим близким, самым любимым людям, за честность которых ты можешь поручиться головой,— ничто. Даже менее нежели ничто, подобное доверие подозрительно. Никаких сомнений. И никакой жалости...

Вот с этой своей убежденностью братья Вознесенские были арестованы своими соратниками, жестоко пытаны в тюрьме и расстреляны по обвинению в попытке свергнуть Советскую власть и восстановить капитализм.

Судьба семьи со всеми этими ошеломляющими деталями опубликована в ленинградской молодежной газете «Смена». Я только пересказал то, что прочитал там. Последняя подробность: в тюремную камеру к Николаю Вознесенскому пришли Булганин и Маленков. Поваленного на пол члена Политбюро бил ногами, обутыми в маршальские сапоги, Булганин. Так и напечатано в «Смене».

Не пойму, почему не ощутил я, читая все это, жгучего сострадания, которое неизменно охватывает нас при знакомстве с подобными трагическими судьбами,— сколько бы их ни накапливалось, привыкнуть к этому немыслимо.

Здесь же что-то мне мешало. Гибель братьев была ужасающей. Но их убежденная беспощадность, вера в справедливость зверств Сталина, холопское преклонение перед ним — всего этого я не мог постичь. И потому, коря себя за непривычную черствость, думал: вы получили то, чего желали другим.

Парадоксальна участь литературы в России. Во все времена при самых разнообразных правительствах принято ориентировать, советовать, «нацеливать» писателей, как и о чем им надлежит писать. Их учат сперва менторски спокойно, затем все строже и раздраженней, а в завершение жестоко наказывают ослушников и щедро поощряют тупиц-отличников.

Потом проходит лет пятнадцать — двадцать, от силы — пятьдесят (пустяк в масштабах истории человечества, но трагически длинно для судьбы писателя), и всегда с тоскливым постоянством обнаруживается, что судить об эпохе, представить себе, как я чем жили люди, чаще и точнее можно по той литературе, что была в свое время гонима.

Социальные, нравственные и политические уроки, которые дает народу честная, праведная литература, всегда учитывают-

ся лишь задним числом; и получается — сперва писателей занудливо поучают, а потом оказывается, что не учить их следовало, а прислушиваться к ним.

Воистину колдовским свойством великой русской литературы всегда было — *провидчество*. Она разгадывала грядущее. Один из сверкающих примеров, уже ставший ныне расхожим,— «Бесы» — гениальное пророчество Достоевского. А я бы рискнул добавить, по принципу, что ли, смежности, еще и другое произведение иного, гораздо более позднего и, конечно же, не столь грандиозного автора: его небольшая повесть почти совсем не поминается в нынешнем литературоведении, критике и публицистике, хотя, по-моему, психология, характер деятельности и поступков главного героя этой повести были эпидемически распространены среди нас в долгие десятилетия советской действительности. Я говорю о Передонове, о «Мелком Бесе» Федора Сологуба.

Молодой Верховенский Достоевского и учитель Передонов Сологуба — два типа, сыгравшие и несомненно продолжающие играть роковую роль в истории нашей страны. Пряжа их психологии плотно вплелась в ткань характеров не только всего окружения Сталина, но и стала основой натуры широчайших социальных слоев нации.

Вот как далеко метнула в своем чародейском пророчестве наша давняя дореволюционная словесность!

А уж советская русская литература с самых ее истоков проявила поразительную отвагу и проницательность такой бездонной глубины, что мы до сих пор не всегда понимаем, как же нам выкарабкаться из когда-то предсказанной, а сегодня реально осуществленной пропасти.

Советская литература провидела немало катастрофических извилин истории. Но к тревожным звукам ее колоколов — а колокола, как известно, звонили и по нам, нынешним,— все еще и сейчас не принято прислушиваться. Положено считать, что куратор, приставленный к писательской продукции, разбирается в ней лучше, и в его перстах штамп ОТК. И сколько бы раз ни случалось, что даже самые поднебесные кураторы оказывались впоследствии уму непостижимыми невеждами, либо просто политическими авантюристами, циниками и ничтожествами, а иногда и теми и другими в одном лице,— это не мешало всякий раз начинать руководство литературой с того же самого обрыдлого места. И новый куратор снова молча сидит на собрании писателей, и опять у него таинственно глубокомысленное выражение бесцветного лица (мне никогда и никак не удавалось его запомнить),— и снова он лишь изредка в конце собрания, непременно в самом конце, произносит свои загодя написанные либо заученные, легко отскакивающие от зубов банальности, не имеющие никакого отношения к тому главному, что волнует нашу душу.

Сколько их было у нас в Ленинграде! Разувшись, не сочтешь по пальцам. И куда они все подевались? Самых-то главных вывели на всесоюзные безразмерные пенсии, правда, обезопасив этим отечественное наше искусство, надолго искалеченное их руководством.

Ныне, к счастью, предстоит крупное сокращение и подобных аппаратчиков, но мне, человеку незлобивому, как-то беспокойно: ведь всех их надо куда-то трудоустраивать, а специальности у них никакой нету, они же ничегошеньки не умеют делать. Не напихали бы их куда ни попадя!..

Я был делегатом двух последних съездов Союза писателей РСФСР, они состоялись с промежутком в четыре года. От ленинградской организации избирались человек пятьдесят. И вот перед самым отбытием в Москву нас всегда приглашали в Смольный для традиционной встречи с секретарем обкома по пропаганде. В Ленинграде они довольно часто меняются, поэтому ничего зазорного нет в том, что я забыл фамилию секретаря семилетней давности, а помню того, кто напутствовал нас на съезд три года назад,— сейчас он министр культуры; возможно, только поэтому я и запомнил его фамилию — Захаров.

В небольшом зале в первом этаже Смольного мы не заполнили всех рядов, нас было меньше, чем кресел, раза в три. Вся процедура встречи была недолгой, она состояла лишь из коротенькой речи товарища Захарова — желающих высказаться после него среди нас не оказалось.

И вот почему. Выступление секретаря обкома Захарова, как и предыдущего давнишнего секретаря, фамилию которого я запамятовал, состояла из информации, которую мы, делегаты Всероссийского съезда писателей, должны были засечь в своей душе. Товарищ Захаров сообщил нам, что Ленинград и Ленинградская область перевыполнили план по сдаче молока и картофеля, по повышению производительности труда и объему валовой продукции, по строительству жилой площади и новых станций метро.

Быть может, в этом победном перечислении я что-то и упустил, но уж то, что решительно все напутствие секретаря обкома на писательский съезд состояло лишь из этих реляций и ни одного слова о литературе не было сказано,— за это я отвечаю головой.

Думаю, товарищ Захаров полагал, что эта статистика возбудит нашу ленинградскую патриотическую гордость, а уж она, гордость, поможет нам в сочинении идеологически правильных произведений; кстати же, заодно и повлияет на дисциплинированное поведение на съезде. В заключение своего напутствия он даже сказал, что надеется на наше дружное голосование при выборах руководящих органов Союза писателей. А для того, чтобы закрепить это в делегатской памяти, выступил тут же секретарь нашей организации и строго попросил, чтобы в залах съезда мы, ленинградцы, сидели не вразброд, где кому вздумается, а кучно, дабы можно было видеть друг друга.

Очевидно, предполагалось, что при таком порядке рассадки мы сможем зафиксировать, кто ведет себя дисциплинированно, а кто нарушает.

На съезде мы, естественно, сидели вразброд. А голосовали, естественно, дисциплинированно: избрали всех тех, кого сами заслужили своей равнодушной покорностью.

Собрались в дождливую погоду в санатории человек десять: ученые, писатели, композиторы, кинематографисты. От скуки затеяли нехитрую игру-эксперимент: предположили, что каждый из нас получил сказочную возможность передвигаться во времени — в грядущее и в былое, в любые годы любого века. На листочках бумаги, не показывая друг другу, мы записали, в каком именно времени нам хотелось бы сейчас очутиться.

И оказалось, все мы, десятеро, совершенно различные по возрасту, образованию, нравственному уровню, выразили единое стремление — перенестись в прошлое, более всего в Россию девятнадцатого века.

Я рассказал об этом Анне Андреевне Ахматовой. Спросил, не может ли она объяснить это странное единство — почему никто не пожелал перенестись в будущее?

Анна Андреевна ответила легко, быстро, словно играла в эту игру неоднократно:

— Будущее страшит нас: все мы можем превратиться в пыль.

В нашем поселке, на пыльной площади у Дома культуры, 1 Мая проходит демонстрация.

Обряд, по которому первомайские демонстрации устраиваются в больших городах, в точности блюдется и в нашем поселке.

Сколачивается трибуна — точно такая же по форме, как и в областном центре. Она состоит из трех отделений, из трех, что ли, отсеков — центрального, несколько выдающегося вперед и вверх, и двух крыльев пониже, правого и левого. Размеры всего этого сооружения настолько невелики, что оно похоже на три неуклюжих больших ящика, приставленных друг к другу.

В центральном ящике стоит во время демонстрации руководство поселка, оно как бы изображает поселковое правительство, а в двух ящиках справа и слева от него группируются знатные люди поселка. Всего в трех этих ящиках человек тридцать. Роли и места распределяются загодя чрезвычайно серьезно — имеет большое значение, кто куда попал: в центр или в крыло. Самое же важное — кто именно будет произносить, то есть читать вступительную речь, а кто именно будет выкрикивать первомайские призывы в ходе демонстрации.

На борту центрального ящика установлен микрофон, хотя особой нужды в нем нет: расстояние от трибун до проходящих мимо них людей не более двух-трех локтей — можно поздоровкаться с правительством за руку.

Из деревянного здания милиции — оно расположено в метрах двадцати — выходит почти весь наличный состав в парадной форме, человек шесть-семь, они устанавливаются напротив и рядом с трибунами, изображая оцепление.

Демонстранты накапливаются неподалеку, за домами. Соблюдается строгая очередность прохода мимо трибун. Подается команда в микрофон — кричит чаще всего местная библиотекарша, секретарь парткома сельсовета:

— На площадь выходят герои труда!

Из-за дома выходят два старика: аптекарь и звероввод, им лет по семьдесят, у них красные банты на груди. Идут они немножко смущаясь, уж очень их мало, хотя, в общем, им это нравится, им приятно — один раз в году в течение одной минуты быть на виду.

Библиотекарша продолжает выкрикивать:

— На площадь выходит наша смена!

Ученики младших классов поселковой школы, малыши с флажками, нестройно проходят мимо трибун, а библиотекарша уже кричит им призывы:

— Долой колониализм!

— Свободу Луису Корвалану!

Затем появляется группа людей, человек двести — я всех их знаю в лицо,— о них тоже проорано в микрофон:

— Идет колонна трудящихся!

Эти поселковые жители работают на единственном в нашем населенном пункте предприятии — фабричке пластмассовых пуговиц и игрушек, штампующихся прессами. Продукция этой фабрички почти тотчас уходит в ларьки уцененных товаров.

Библиотекарша продолжает призывать из своего центрального ящика:

— Да здравствует научно-техническая революция!

В поселке нет канализации, нет в домах водопровода — здесь впору провозглашать цивилизацию, самую рядовую цивилизацию, чтобы жителям зимой в тридцати-, сорокаградусные морозы не приходилось выбегать из домов в вонючие гробики-сортиры и присаживаться там орлом.

На уровень колониализма в Африке и освобождение из тюрьмы Луиса Корвалана не могут повлиять ни поселковые малыши, ни даже местный сельсовет. А вот требовать, чтобы старое деревянное здание школы, сгнившее, совершенно неприспособленное для занятий, было наконец заменено новым,— требовать это следовало и 1 Мая и во все остальные дни года.

Девятнадцатилетний убийца приговорен к высшей мере. Он долго сидит в одиночке смертника — много месяцев,— покуда решение горсуда, обжалованное кассацией адвоката, дойдет до Верховного суда. И если этот суд утвердит расстрел, то адвокат еще пишет прошение о помиловании, оно адресуется в Президиум Верховного Совета СССР. Иногда на все это уходит полгода, год и даже более.

Убийца в полосатой робе, надетой на голое тело, без трусов, в ботинках жесткой кожи, без носков, получает в одиночке еду лучшую, чем в общей камере. Но жалуется адвокату, что аппетита нет. Его навещает только адвокат. Беседа ведется в присутствии конвойного офицера. Убийца в наручниках.

Его преступление: втроем, вместе с двумя приятелями, привели трех девушек из ресторана, где только в тот вечер познакомились с ними. Привели в квартиру, продолжали пить вшестером, затем зверски убили этих девушек — били и убивали долго, часа два, одну изнасиловали, уже избитую, беспамятную, предварительно раздев ее и обмыв с нее кровь в ванне.

Младшему убийце семнадцать лет, он внук профессора. Самому старшему 21 год, он студент. Третьему девятнадцать лет — сын майора милиции. Наиболее жестокий из них, затеявший и начавший всю эту чудовищность — 17-летний внук профессора. Он получил по суду 10 лет, максимум для несовершеннолетнего. Двое других — расстрел.

Мне рассказывали,— это происходит так. Если отклонены и кассация и просьба о помиловании, то осужденного ведут в помещение, где сидит начальник следственного изолятора и еще несколько служебных лиц. Начальник изолятора сообщает осужденному, что ему отказано в помиловании. Приговоренному указывают на дверь, через которую ему следует выйти. Он думает, что его куда-то поведут. Позади него идет офицер для особых поручений — так называется человек, исполняющий приговор. И тотчас, как только осужденный переступает порог, входя в специально для этого акта уготованную комнату, офицер стреляет из пистолета с глушителем в затылок осужденного. Врач осматривает его, свидетельствуя смерть.

Офицер для особых поручений — фигура особо секретная. Самый узкий круг сослуживцев осведомлен о нем. Его семья понятия не имеет об его обязанностях.

Сообщили мне о всех этих обстоятельствах; рассказ этот свинцово запал в мою душу, и я как-то пересказал его одному славному молодому работнику милиции, юристу по образованию. Человек он мягкий, стеснительный, думающий в меру сил. Я знаю его давно, лет десять, знаю его прелестную интеллигентную жену и двух маленьких детей.

Разговор наш происходил как раз в тот день, когда в «Ленинградской правде» были опубликованы подробности суда над тремя убийцами и приговор по их делу.

Я заметил, что лицо моего молодого приятеля, юриста, жестко застыло. Он сказал:

— Если бы на меня возложили эти обязанности офицера для особых поручений, то я исполнял бы их без всяких комплексов. Приговор выносит суд. Кто-то же должен выполнять его.

Это стройное и вполне логическое рассуждение болезненно хлестнуло меня, оно не увязывалось с моим представлением об этом молодом человеке. Прежде чем что-то возразить ему, я на мгновение увидел, как он после очередного исполнения своих обязанностей приходит домой к жене, к детям; он по-прежнему ласков с ними; они садятся обедать всей семьей, а потом жена уложит детей спать, а он откроет книгу по философии — через месяц ему сдавать кандидатский минимум.

Я увидел, как он в очередной раз приходит под выходной ко мне в гости, приходит с женой, мы разговариваем о литературных новинках, о правде и справедливости, хлещущих сегодня со страниц нашей печати. Он горячо возмущается тем, что делалось, он искренне не хочет, чтобы это когда-нибудь повторилось.

Но как же все это увязывается с его готовностью быть офицером для особых поручений? Готовность только потому, что «кто-то должен выполнять эту обязанность»? Нет, конечно же нет, не только потому! Просто я не знаю данного молодого человека, мне неведомы глухие закоулки его души. А может, я не в силах анализировать те социальные причины, которые взрастили подобный характер? В одном я все-таки убежден: он готов к этой должности не потому, что жесток биологически — он довел себя до этого какой-то системой рассуждений, изуродовавших его.

В общем виде схема его рассуждений проста: преступник, совершивший особо тяжкое преступление, приговорен по закону к высшей мере. И нет ничего безнравственного, если я лично застрелю его. И еще один довод: ведь вы же все вопите, что зверского убийцу надо расстрелять, вы же готовы подписать ему смертный приговор, вы требуете для него высшую меру? Следовательно, все дело лишь в том, что я исполняю вашу волю. Не столь уж велика разница.

В сущности это рассуждение гораздо доказательнее, нежели доводы Раскольникова, зарубившего старуху-процентщицу. И справедливее, ибо расстрелянный зверь-убийца уже больше никогда никого не убьет.

Вот я и довел себя до оправдания моего молодого приятеля-юриста, будущего кандидата наук.

Но почему же после этого разговора с ним я уже не могу относиться к нему так, как относился прежде? Чем же вызвано мое иное отношение? Эмоционально это изменение понятно. А вот логически?

Ведь этот молодой человек вправе спросить у меня:

— Вы против смертной казни?

Поколебавшись, я бы ответил, что, к сожалению, в некоторых крайних случаях, казнь, вероятно, необходима.

И он бы сказал:

— Хорошо. Возьмем именно такой крайний, необходимый случай. Ведь если бы я, спрятавшись в засаде, убил из охотничьего ружья тигра-людоеда, наверное, вы даже восхитились бы мной?

— Но речь идет не о тигре — о человеке.

— Значит, вы считаете этого опасного, безнадежно тупого и жестокого убийцу человеком?

— Пожалуй, нет,— затруднившись еще более, ответил бы я.

— Тогда почему же я не могу его казнить?

Ну как же мне объяснить ему, что, беря на себя обязанности палача, пусть даже справедливого, он обнаруживает те свои душевные свойства, которые ужасают меня. Они, эти свойства, не могут быть одинокими — рядом с ними в душе его должна таиться какая-то тьма, из которой внезапно может выплеснуться нечто отвратительное, уже не имеющее прямого отношения к профессии офицера для особых поручений.

Забрался я в какие-то дебри, но меня ведь поразило и мне ведь жаль, что хороший парень внезапно предстал передо мной в таком зловещем свете. Он ничего худого еще не совершил в действительности, возможно, и ничего скверного не сделает и в дальнейшем, однако то, что его психология и нравственность приуготованы, созрели в этом направлении, ужасает меня.

И как назло еще один разговор, с другим молодым юристом, уже сдавшим кандидатский минимум. Его я тоже хорошо знаю. Это отлично воспитанный, сдержанный, милый молодой человек, интеллигент во втором поколении; десятилетнего своего сына он учит двум языкам, музыке и теннису. Он десять лет работал следователем в районном отделении милиции. Был отличным, честным следователем.

И вот он рассказал об одном случае, поразившем его самого.

Как-то оказалось, что в дежурке отделения, в его присутствии, милиционеры били задержанного. Задержали его совершенно правильно, а он при этом сопротивлялся, и теперь они его били. И мой знакомый юрист-следователь, случайно присутствующий тут, поймал вдруг себя на том, что ему захотелось, чтобы они ударили задержанного еще посильнее.

Я спросил:

— Он что́, очень буянил в милиции?

— Да нет, при мне нисколько.

— Почему же вам захотелось, чтобы его стукнули посильнее?

— Я и сам не понимаю. Это случилось со мной впервые и больше никогда не повторялось. Я изумился этому своему чувству, до сих пор не пойму его. Кстати, уходя тогда с работы домой, я доложил дежурному офицеру об этом возмутительном избиении.

Значит, снова оказалось, что я плохо разбираюсь в людях. А может, точнее: разбираюсь, скажем, в десятке слоев человеческой души, а их — сто. Или тысячи. Или бесконечное множество.

А с этим моим добрым знакомым юристом я продолжаю вполне дружелюбно общаться, однако нет-нет да и вспомню, что он хотел, чтобы «ударили посильнее»...

Никак не могу понять отсутствия интереса нынешней молодежи к прошлому. Она и не пытается скрывать своего равнодушия к тому, что предшествовало ее появлению на свет. Иногда это даже не равнодушие, а помесь недоверия с брезгливостью, с агрессивным нежеланием погружаться в то, чем жили и в чем участвовали их отцы и деды. По сути, и споров между поколениями не возникает. То есть отцы, деды силятся достучаться до своих молодых потомков, делая это чаще всего неуклюже, раздраженно, банально, а потомки в ответ не хамят, не возражают, а лишь иронически улыбаются и пожимают плечами — для них отсутствует предмет спора. И речь ведь идет не о зеленых юнцах — это бы еще куда ни шло — прошлым не интересуются три-

дцатилетние, сорокалетние, то есть уже весьма условная молодежь.

Думая обо всем этом, изо всех сил стараюсь обуздать свою, к сожалению, неизбежную возрастную брюзгливость. Изо всех сил пытаюсь хотя бы понять, чего же она хочет — молодежь. Ну хоть бы примерно сформулировать ее устремления. Мне отлично известны все широко бытующие определения ее негативных качеств: прагматизм, бездуховность — все это давно осточертело перечислять, и от частого употребления этот перечень утратил точность: без объяснения причин возникновения эти качества превратились в нечто прейскурантное.

Однако я не собираюсь вникать в них. Вникало уже немало компетентных психологов и социологов.

Меня сейчас волнует иное. Не точка зрения нашего вымирающего поколения, не наши оценки, пусть даже верные и глубокие — я хочу вслушаться в доводы молодежи и тех умных людей, кому кажется, что они эту молодежь понимают.

Очевидно, и при очень приблизительном анализе все-таки следует говорить не вообще о молодежи — достаточно расплывчатом понятии,— а об определенном ее слое, умозрительно вычленяя его из бесформенной массы и представляя себе этих молодых людей мыслящими, умеющими объяснить свое мироощущение, как бы иной раз вздорно или даже цинично, на наш стариковский взгляд, оно и ни выглядело.

Начну, пожалуй, снизу, с самой вульгарной позиции, впрочем, достаточно бойко живучей и в интеллигентской среде.

Формулируется позиция так:

— Я не хочу жить так, как вы.

Это сын или дочь говорят своим родителям.

Без грубости.

Вежливо.

С чувством морального превосходства, с ласковой снисходительностью.

Говорят не фарцовщики, не наркоманы, не выпивохи, не состоящие на учете в милиции — говорят славные молодые люди, во всяком случае, на привычный взгляд славные: и по дому матери помогут, и за картошкой на рынок смотаются, и посуду иногда сполоснут.

Отец спросит:

— А что это значит — ты не хочешь жить так, как мы?

Последует охотное подробное пояснение:

— Я не желаю вскакивать затемно по будильнику, мчаться стремглав к троллейбусу, где мне отдавят ноги, оборвут пуговицы; не хочу жить от получки до получки, лихорадочно пересчитывая рубли и копейки; не хочу дремать у ящика, глядя программу «Время»...

— Но ведь ты учишься в институте, через год кончаешь, будешь инженером...

— Не обязательно. Получу диплом, а там видно будет.

— Кем же ты собираешься работать?

— Мало ли.

— Ну, например?

— Завербуюсь. Заработаю, как нормальные ребята зарабатывают. Не воровать же я собираюсь. Ты газет, батя, не сечешь: сейчас идет перестройка — хорошо получать теперь не стыдно. Лешка в монастыре каменщиком оформился, четыреста чистыми, трудовая книжка, стаж идет — все чисто, без туфты. А у него, между прочим, диплом с отличием...

Переубедить этого молодого человека невозможно: в его доводах нет ни малейшей формальной ошибки. Он имеет полное право так рассуждать. Мне не раз приходилось выслушивать подобных молодых людей, и я терялся не потому, что соглашался с ними, а от убожества возникавших в моей душе возражений. Для меня они совсем не были убогими, они были главными, святыми, но, произнесенные, облекались в на редкость пошлую форму. И даже не так. Мои доводы обессмысливались от одного лишь соприкосновения со взглядами этого молодого человека.

Он убежден, что сперва надо построить свое материальное благополучие — солидное, крепкое,— обеспечить себе независимость выбора пути, а затем уж бодро вышагивать по загодя облюбованному маршруту.

Ему невдомек, что построение крепкого материального благополучия *в первую очередь* — это уже и есть выбор жизненного пути. И не только свернуть с него будет трудно, но даже приостановиться и осмотреться — невозможно. А облюбованный когда-то загодя маршрут, если он и был ранее, что вряд ли,— растает, как дым от давно погасшей сигареты.

Испытывая тоску и унылое отвращение к этому спору, десятки раз давая себе слово не ввязываться в него, отлично сознавая, что толковому молодому парню гораздо легче разбить меня наголову, нежели мне переубедить его — ага, значит, Вы против роста материального благосостояния, против плюрализма, против решений XIX партконференции! — я все-таки снова и снова тычусь им под ноги, этим бравым, начитанным ребятам.

Из моего довольно подробного, многолетнего общения с поселковыми жителями — до Ленинграда полтора часа электричкой — выводы грустные: волнение, желание вмешаться в ход нынешних событий или хоть пассивное любопытство, к чему же нынешние радикальные процессы могут привести,— ничто это не задевает сердца здешнего населения. Враждебности в этой безучастности нет. Есть желание жить как живется. Ну, естественно, чтоб продукты были, и подешевле, водка непременно, промтовары, чтоб жилье было подходящее. А каким путем все это должно быть достигнуто, это вы там, наверху, решайте, вы для того туда и поставлены.

Особой веры, что все решится по справедливости — нету. Несправедливость, она всегда у нас была, она есть и никуда от нее не деться. Ну, а раз так, то на кой черт я стану башку об нее лохматить.

Что же касается реабилитации невинно репрессированных и восстановления правды Истории, то подавляющее большинство поселковых жителей вообще относится к этому краем уха: кое-что слышали, где-то написано, по телику болтают; молодежи — без интереса, для них эти сведения вроде бы из учебника, если будет экзамен — подзубрим. У тех же, кто сильно постарше и кто все-таки читает газеты, а порой и журналы, реакция на грандиозные исторические сообщения однообразная: сперва они долго не хотят, вернее, не могут отказаться от своей былой веры, но под давлением неопровержимых воспоминаний, документов, которыми заполнена нынешняя пресса, они вынуждены заколебаться, однако к выводу приходят досадливо раздраженному: значит, нам всегда, всю нашу жизнь врали, каждый новый руководитель врал про предыдущего — ну и сейчас, наверное, врут; раньше хоть боялись так воровать, как сейчас воруют и кто ворует; раньше таких взяток не хапали, а сейчас повсюду... И наконец, решающее, обессиленное, всей грудью, с выдохом: да надоело мне, устал я про все это читать и слушать!

И это умозаключение той части поселка, что проявляет интерес к нынешнему перестроечному курсу. А молодежь, повторю, школьники старших классов, работяги разных возрастов и местные служивые разночинцы живут как бы вне сегодняшнего времени.

Иногда мне кажется, что это безучастность выжидающая. Безучастность, копящая нечто непредсказуемое. Пока — бессознательно накапливающая.

У меня никогда не было такого, как сегодня, ощущения, что я отчаянно отстал в своих литературных устремлениях.

От чего же отстал?

От происходящего вокруг.

Почти всегда бывало так: мне чудилось, что я видел несколько дальше существующего рядом и мог уловить детали современности, на которых вроде бы никто до меня не заострял внимания. Изредка даже, очень изредка и не на слишком продолжительное время во мне возникало ощущение первооткрывательства. Естественно, оно вскорости гасилось, но минутные радости доставляло.

А сейчас журнально-газетная публицистика, зачастую превосходная, распахнула запретные створы, сквозь которые ринулись потоки событий, теорий, предположений, требующих и моего участия, однако а этот процесс соучастия уже включено столько знающих, компетентных специалистов, что я со своими доморощенными домыслами робею.

И дело не только в робости. Мне никогда не хотелось включаться в хор. В прежние времена потому не хотелось, что были отвратны ноты, по которым хор пел. Сейчас — иное дело. Острой необходимости оголтело врать уже нет. Ныне даже наблюдается нечто вроде соревнования: кто из публицистов, прозаиков, поэтов копнет горькую правду поглубже, пусть иногда и во вред художественности, лишь бы заколотить свой заявочный столб подальше от уже разведанных участков, истощенных лопатами предыдущих старателей-авторов.

Ко всему этому у меня мучительно двойственное отношение.

Я счастлив, что дожил до сегодняшнего дня: возможность читать, слышать, говорить то, о чем ты вынужден был бесконечно длинные годы лишь потаенно шептать, зорко вычисляя собеседников; окончание срамоты, оглушительного бесстыдства, в котором даже если ты сам лично не участвовал, то все равно участвовал, ибо молчал; желание приобщить сейчас к твоим чувствам и мыслям онемевшие и оглохшие поколения — я счастлив, что дожил до сегодняшнего дня.

И вероятно, если бы моя профессия была иной, меня не тяготила бы никакая раздвоенность.

Я не могу заставить себя иллюстрировать происходящее. Не могу установить дистанцию между мной и тем, что мне хотелось бы изобразить — эта дистанция всегда необходима, автор должен стоять на некотором расстоянии от своих персонажей, а я сейчас в толпе их. Мне необходимо видеть и предполагать нечто, о чем они пока не догадываются.

Есть выход, к которому не в силах прибегнуть, он мне противопоказан: можно ведь писать и так, словно ничего не случилось, намеренно уклониться от сегодняшнего дня. Но подобная позиция, мне кажется, органична и естественна более для поэзии, нежели для современной прозы. Во всяком случае именно в поэзии немало гениальных произведений, сочиненных вне конкретного времени их создания. А существовали и существуют и такие большие поэты, которые как бы настаивают именно на этом. И они оставались победителями: их стихи вне времени оказывались и оказываются великими для всех времен.

С прозой несравненно сложнее, она связана пуповиной со своей эпохой — конечно же, не поверхностной злободневностью, а глубинными капиллярами и густой сетью нервных окончаний, волокон. Социальные потрясения сообщают современной прозе тектонические, подземные толчки. И случается, иному автору трудно устоять на ногах, не рухнуть под собственными обломками.

Нынешняя моя раздвоенность состоит в том, что я счастлив быть свидетелем зарождения пока еще не подсчитанного статистически, но безусловно уже не рептильного, не ползающего, а прямоходящего общественного мнения; я испытываю мстительное удовлетворение — что поделаешь, мне не подобрать иного, более пристойного прилагательного,— читая литературные произведения, глядя спектакли, фильмы, в которых постыдные по своей жестокости и тупости черты нашего лихолетья изображены беспощадно, во всей своей уродской наготе. Я понимаю, что мстительность — мерзкое чувство, но упрямо повторяю: человеку свойственно испытывать его, когда после позора унижения и давящего страха не только за свою судьбу, но и за все, что тебе дорого в судьбе твоего народа; когда тебе давно были известны имена палачей, а портретами их ты обязан был любоваться на площадях и улицах, на обложках тетрадок твоих детей; когда все это, пусть постепенно, но невозвратимо исчезает, и не только молча, втихаря исчезает, но имена их гневно произносятся — меня остро пронзают два туго сплетенных друг с другом чувства: неубывающая, а все нарастающая боль за поруганных и невинно погибших, и рядом с ней — мстительное желание, чтобы вся виновная в этом сволочь... И вот тут-то я не знаю, чего я хочу.

Не тюрьмы для них.

Не лагерных ледяных бараков.

Не пыток ночных.

Не смерти их.

Всенародного библейского проклятия. Библейских мук совести.

Покаяния, в которое мы бы поверили.

Дмитрий
ПРИТУЛА

ЗАМЕТКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДОКТОРА

Да, именно провинциального, потому что иной медицины, непровинциальной, я не знаю.

Долгие годы ездил консультантом по сельским больницам. С этого и начну.

1. Сельский врачебный участок

Что прежде всего бросается в глаза в работе сельского врача? Зависимость от всех и ощущение собственной второсортности.

Известно, что на сельского жителя медицина отпускает денег в три раза меньше, чем на горожанина. Возможно, сельские жители поздоровее горожан (что вряд ли), но зубы у них одинаково вылетают или нет? Протезист положен один на десять тысяч горожан и 0,7 на десять тысяч сельских жителей.

Если в райцентре живет свыше двадцати пяти тысяч жителей, то району положена врачебная «Скорая помощь», а если меньше двадцати пяти тысяч, только фельдшерская.

Соответственное и отношение. К примеру, сельской больнице положена машина, но ведь не новенькую же отправлять, а ту, что несколько лет поездила,— вот ее и отдать на село, там отремонтируют (у них, говорят, с запчастями получше) и будет бегать как миленькая.

То же самое и с лекарствами. А зачем там хорошие и потому редкие лекарства? Перетопчутся.

Теперь о зависимости. Зависит сельский врач от всех — от медицинского начальства и от совхозного, он ничего не может требовать, он может только просить. Собственно, на это уходит его жизнь — на просьбы. Он просит главврача районной больницы — машину, запчасти, бензин, он постоянно просит место в районной больнице (и как просит, какие жалостливые ноты, оно и понятно, в райбольнице мест постоянно не хватает, хорошо, если на участке есть своя больничка, тогда возможен обмен — вы у меня свежую пневмонию, а я у вас онкобольного, нет, парализованного не могу, хорошо, но за это возьмите язву).

И постоянные просьбы у совхозного начальства — опять машину (своя-то все время ломается), доски, гвозди, самые разные мелочи быта, без которых трудно работать.

Мой друг много лет проработал на одном участке. Когда он ходил к директору просить доски, бензин, водопроводчика, у директора была замечательная отговорка: дорогой мой человек, вот когда на высоких совещаниях про меня будут говорить, молодец, Пал Иваныч, не выполнил план по картошке, мясу и молоку, зато заболеваемость у тебя стала на три и семь десятых процента ниже, тогда другое дело, тогда будете получать все в первую очередь.

Для моего друга постоянное это пробивание, суета кончились так. На вызове он сделал старушке укол, и старушка уснула. Ночью просыпается, что такое, свет горит, а доктор спит, лбом упершись в стол. Подошла, а доктор вовсе и не спит, а он мертв. Инфаркт. Пятьдесят один год.

Нет, требовать врач ничего не может. Только просить. И раз в год он уговаривает бригадиров, чтобы людей отпустили на профосмотры: процент осмотра важен для участкового врача — один из показателей его работы.

Об этом стоит рассказать особо — профосмотры проводят врачи районной больницы. Если, к примеру, по нормативам положено осматривать пять дней, то эти дни уплотняются до трех — врачи, приехавшие сюда, нужны и в райцентре.

Да, а амбулатории, как правило, устраиваются в первом этаже нового дома, выделяется двухкомнатная или трехкомнатная квартира, или соединяются две двухкомнатных — и вот в коридоры трехкомнатной квартиры набивается человек восемьдесят, и никак не менее, потому что тут не только люди, пришедшие на профосмотр, но и больные, но и пенсионеры, пользующиеся редким случаем показаться специалистам из района, и начинается гонка.

Оно и понятно: люди сорваны с работы, их торопят на рабочее место, и в коридоре ссоры и выяснение, кто больше спешит, кто меньше, а комнат в квартире три, врачей же поболее, потому их можно разместить парами в одном кабинете, к примеру, терапевта и невропатолога, ухо-горло-нос и хирурга — и помчался поток.

Именно поток: тот человек только раздевается, а этот уже на подходе к врачу, а того врач уже слушает, а этот уже одевается. Тут главное, чтоб не схлестнулись разнополые потоки, это и есть главный предмет спора в коридоре — кого запускать, мужчин или женщин.

Ладно. О качестве говорить не будем.

Предположим, больные люди выявлены, и в карточку записывается — доярка такая-то нуждается (заметим, нуждается, то есть это просьба, рекомендация, но, упаси боже, не требование) в переводе на легкий труд (у нее, к примеру, руки болят). А ее не переведут — руки болят у многих, и где ж ты на всех наберешь легкий труд. А что врач? А ничего. До следующего осмотра. Врач же знает, что ничего требовать не может.

И тут уже дело в его терпеливости: захочет ради больного человека ходить и кланяться, какое-то время выдержит эту работу, а если заговорит в нем гордыня — а почему, собственно, он должен ходить и кланяться, унижаться и рвать из горла, он же врач, а не добытчик, почему он должен полагаться на свои пробивные способности — ну, так и не будет ничего, и сам он покрутится, покрутится да рванет отсюда, если, понятно, будет куда рвануть. А нет — смирится и будет покорно тянуть ту лямку, что отпущена судьбой.

Перед кем я всегда преклонялся — перед толковыми сельскими врачами. Потому что им труднее всех. Сохранить собственное достоинство в жизни, где ты от всех зависишь, очень непросто. И я не согласен с общим мнением, что в массе своей городской участковый врач знает поболее сельского. Думаю, ничуть не более.

Потому что сельский врач должен (вынужден) знать не только амбулаторную работу, но и больничную, но и «Скорую помощь».

Но вот и главная отрада в деревенской работе. В деревне толковый врач — это человек. Не «тоже человек», а вот именно человек. Конечно, отечественная цивилизация коснулась и деревни, но все же отношение к сельскому врачу несомненно лучше, чем к городскому. Больной покуда не считает, что он понимает в медицине побольше доктора, а доктор все же доброжелательнее и спешит поменее врача городского (приемы поменьше — это раз, ну, и все друг друга знают — это два, и это главное).

2. Районная поликлиника

Казалось бы, она, как и театр, начинается с вешалки. Но нет, начинается она с толпы, которая собирается у входа часов с шести. А поликлиника открывается в восемь. И вот в любое время года и в мороз, и в дождь люди терпеливо ждут открытия поликлиники. И в этой очереди люди ждут не хлеба и не зрелищ, но жаждут они достать номерок к нужному врачу. Или, привычным языком говоря, к специалисту, то есть к невропатологу, окулисту, ЛОР-врачу. К своему участковому они попадут и так.

В восемь часов они ворвутся (или впол-

зут — у кого какие возможности) и на стеклянной двери увидят квиток, где написано, к каким именно специалистам нет сегодня померков. Даже и причина указана будет — уехал в деревню или, к примеру, в отпуске.

Если же врач на месте, то к нему будет очередь — это точно. Поликлиника — значит, очередь. Еще к участковому врачу она может быть умеренной, но уж к специалисту непременно огромной. Что делается у кабинета хирурга, невозможно представить. В небольшом закутке разом может собраться человек тридцать — тут и травмированные, и с больным животом, и на перевязку. Сортировка производится уже в кабинете: этого туда, этого на перевязку, вон в тот кабинет, этого сразу этажом выше — на рентген, ничего, какнибудь и на одной ноге допрыгает.

Самые большие очереди, понятно, в дни профосмотров, особенно в летние месяцы, когда молодежь собирает справки для дальнейшей учебы.

Не поверите, но однажды я принял 180 (сто восемьдесят) человек. Июль, жара, духота, люди в ожидалке прямо-таки спрессованы, и понятно негодование человека, когда ему, наконец, удается оторваться от спресованной массы и влететь в кабинет. Ты и сам после такого осмотра долго приходишь в себя, пребывая в полуобморочном состоянии.

Но это ладно, случаи особые, профилактика — основное направление нашей медицины. Но и в обычный день очереди большие. Когда ты входишь в поликлинику, особенно на утренний прием, такое чувство, что тебя рвут на части. Срочная консультация, «скорая помощь» кого-то привезла, человеку срочно нужно на ВТЭК, инвалид войны, просто знакомый и твой давний больной — это все без номерков. А у кабинета, понятно, сидят законные больные, то есть те, у кого номерки.

Первые два часа ты мечешься, ты в мыле, у тебя ощущение, что сейчас лопнет в тебе какая-то жила. Правда, надрыв от цейтнота с годами уменьшается — должен ведь организм иметь защитные реакции — и первые часа два ты функционируешь как бы с отключенным сознанием, как у нас говорят, на автопилоте, то есть на одной сноровке и профессиональной выучке, и ты что-то там слушаешь, стучишь молоточком и пишешь, но это на автопилоте и сноровке. И если ты не промахиваешься грубо, то это значит, что у тебя неплохая выучка и спасибо твоим учителям.

И лишь когда ты разделался с неотложным и время помаленьку начинает соответствовать тому времени, что указано в номерке, ты как бы расслабляешься и начинаешь замечать цвет лица пациента и чувствуешь его настроение и с удивлением отмечаешь, что это не так и худо нормально работать и никуда по гнать, и внимательно слушать больного, с легкой даже надеждой, что чем-то ему поможешь.

Если случай сложный, ты предупреждаешь человека — приходите к концу приема. То есть когда ты не очень уже спешишь.

Потому что за шесть часов ты обязан принять тридцать больных. Номерки так и пишутся — с первого по тридцатый. Нечетные раздаст регистратура, с четными ты волен поступать, как захочешь, они для твоих повторных больных. Стараешься раздать не все, чтоб к концу приема и вышел тот резерв времени, когда ты почти волен.

Оно и понятно, почему ты постоянно торопишься — существуют ведь нормы приема. Мне, к примеру, в среднем на одного больного отпущено двенадцать минут. Номерки, напомню, пишет регистратура, она и исходит из этих самых норм. Считается, что люди будут идти только по номеркам. Но такого не бывает и быть не может.

Вот больной входит, здоровается, на что жалуетесь, и он охотно жалуется, он, собственно, и пришел, чтоб пожаловаться, ему ведь, в общем, и некому пожаловаться (некоторые даже по бумажке читают жалобы, чтоб уж ничего не пропустить), я слушаю и задаю вопросы, вернее, мы вообще разговариваем, что за семья у него, жилье, работа да обстоятельства жизни, затем я предлагаю раздеться, измеряю давление, слушаю сердце и легкие (врач все-таки, верно?), стучу молоточком (узкий специалист!), высказываю свое мнение о его здоровье, даю советы по дальнейшему поведению, уверяю, что если он сделает то-то и то-то, все будет хорошо, говорю медсестре, что выписать, сам в это время пишу карточку, затем передаю рецепты больному, объясняю, как принимать лекарства, продлеваю или закрываю больничный лист, и мы прощаемся.

Одно только перечисление моих обязательных дел заняло у меня две минуты. Это если я не смотрю анализы, рентгенограммы, прочее.

Как умудряются терапевты за это же время разобраться с кардиологическими больными, пересмотреть груду старых и новых кардиограмм, из десятков лекарств, которые больной принимал за последнее время, выбрать те, которые следует принимать и далее — это для меня загадка. Хирурги же, умудряющиеся за шесть минут сделать амбулаторную операцию или поставить сложный диагноз, представляются мне волшебниками.

Значит, одна причина гонки — время, отпущенное министерством на прием одного больного. А вот и вторая причина.

Много поколений врачей должно было

смениться, чтоб, наконец, выковался тот тип современного врача, который мы имеем. Это тип врача вечно спешащего, загнанного в цейтнот, прихватывающего в совместительстве все, что можно прихватить, невысыпающегося, утомленного, не успевающего да и не желающего читать медицинские новинки.

Вот передо мной длинный список всех отраслей народного хозяйства, и медики по среднемесячной зарплате прочно удерживают одно из последних мест.

Когда я впервые сел на прием, мне платили 90 рублей. Несколько раз за последние двадцать лет зарплата повышалась. Сейчас участковый терапевт, как и врач «Скорой помощи» получает 135 рублей. Да, но жизнь за эти годы не стояла на месте, она раза в два подорожала. Начальная ставка медсестры сейчас 80 рублей. Фельдшер «Скорой помощи» получает побольше — 95 рублей. Чистыми, после высчетов, остается 82 рубля. Интересно, может молодая женщина, исходя из цен на товары, прожить на такую зарплату? Если она незамужем или не помогают родители.

Несколько лет назад санитара нашего морга судили — он вымогал деньги у родственников умерших. Судили его в нашем красном уголке. Все клокотали от негодования — опозорил, стервец, нашу профессию. Тут адвокат повела знакомые такие речи, мол, если государство здоровому мужчине (а он здоровый парень, иначе не смог бы ворочать трупы), у которого жена и двое детей, за такую малотворческую работу платит 80 рублей, оно тем самым говорит человеку — соображай, кумекай. Вот он и соображает, кумекает.

И возмущение, надо сказать, после такой речи поутихло, все понимали, что выдавая ежемесячно на руки 82 рубля фельдшеру и 115 доктору, государство тоже говорит — соображай, кумекай.

Да, но в нашем деле много не насоображаешь. Напомню, я пишу только о той медицине, что знаю — о провинциальной. Что происходит в крупных клиниках, и какие деньги там берут за операции, и что сестры просят за укол, а санитарки за чистое полотенце — этого я не знаю, только слышал, хотя и много слышал, конечно. Возможно, где-то торгуют больничными листами и отказываются оперировать бесплатно даже на самом низком уровне, в наших местах массового распространения это покуда не получило.

И вообще должен сказать, что почти четверть века отработал в хорошей больнице, которая считается одной из лучших в области. Которая, к примеру, входит в 35 процентов тех райбольниц страны, где есть горячая вода и канализация.

Да, государство говорит — соображай, и соображение медика устремляется в одну сторону — в сторону совместительства.

Вот! У тебя полторы ставки и теперь ты типичный медик. До совместительства ты был исключением из правил, везунчиком.

А что это такое полторы ставки? На «скорой» это десять суток. То есть ты сутки работаешь, сутки приходишь в сознание и сутки нормально живешь со сравнительно проснувшейся головой.

Хирурги полторы ставки набирают дежурствами — ночными, заметим. Участковые терапевты обслуживают два участка — свой и чужой (там или вызовы, или прием).

Это к вопросу, почему врач торопится, не шибко вникает в подробности наших жалоб, почему он загнан.

Как-то появились результаты исследований, сколько времени необходимо организму, чтоб восстановиться после суточного дежурства. Исследователи были западные, и потому они имели в виду, что человек не по магазинам будет ходить, или стирку затеет, или встанет у плиты, а так это выедет на дачу, или же на яхте покатается. Глядите, сказал я городскому начальнику, французы уверяют, что не то пять, не то семь дней надо восстанавливаться. Французы — слабаки, был ответ, они лягушек кушают.

У нас все проще. У нас хирург — не француз и не слабак, он лягушек не кушает, он после ночного дежурства продолжает работать в отделении — у него обход или плановая операция.

Помню, разговорились со знакомым нейрохирургом — всю жизнь он, разумеется, работает на полторы ставки. Как все офонарело, сказал он, я люблю хирургию, мне интересно сделать что-то новое и сделать профессионально, но где мера, я за отпуск не успеваю раздышаться, я не успеваю читать книги, и голова всю жизнь несвежая.

Это мне было понятно. За долгие годы в больнице я привык, что голова у меня свежая только в первые три-четыре месяца после отпуска, а потом ты медленно вплываешь в какое-то оглушение, голова чем-то залита, и это мешает подумать хоть о чем-то постороннем, что не относится к сиюминутной обстановке.

И я сказал нейрохирургу, мы бедные и несчастные, а плати тебе четыреста рублей, ты был бы счастлив?

Да при чем здесь счастье, ответил он, я работал бы на одну ставку, а не на полторы, и брал бы себе два дежурства в месяц, а не десять.

Потому давайте не удивляться, что врач торопится, что он хмур и не очень-то разговорчив.

И наивно надеяться, что больные ничего этого не замечают. Все они замечают и превосходно помнят всех своих врачей. Особенно участковых терапевтов. И непременно больной расскажет, что вот десять лет назад была доктор — большая

крикуха, и она с порога выговаривала, чего это опять вызвали, совесть-то надо иметь, вы же не один на участке; потом приходил молодой доктор — внимательный, но прижимистый на больничный лист; его сменила пожилая женщина, которая любила обменяться рецептами — она тебе медицинский, а ты ей кулинарный; а сейчас у нас мужчина средних лет, ничего плохого про него не скажу, а вот только не любит он меня, ну, не любит, да и все тут.

И это при том, что наши больные до изумления неприхотливы. Это ложь, что они стали капризными, потому что читают журнал «Здоровье» и шибко грамотные. Только выслушай его и будь доброжелательным, и если еще и профессиональная подготовка у тебя сносная, так ведь цены тебе не будет, особенно в провинции. Пройдет много лет, а больной вздохнет, мол, когда у нас на участке была Валентина Владимировна — вот это было да! Или ты приезжаешь на вызов, больной покажет тебе лекарства, которые принимает, и скажет гордо — мне их выписал Владимир Иванович, и скажет в том смысле, что вот он такой человек, что лекарства ему выписал сам Владимир Иванович, участковый терапевт.

3. Районная больница

Все-таки нужно быть большим художником, чтобы описать наши больницы. Нет, не ведомственные, не закрытые (в них никогда не был и описывать не берусь), не только что построенные большие клиники, а привычные любому человеку больницы. Что называется, общедоступные и широко распахнутые.

Первое: всегда забиты коридоры. Это обязательно. Особенно хирургия и травма, особенно после праздников. Так что нужна сноровка, чтоб протиснуться к нужному больному.

Коек не хватает всегда. Понятно, в случае необходимости в коридор вгоняют и койку, и топчан, и раскладушку.

Так что человек, который лежит в восьмиместной палате, считает себя существом рангом выше человека коридорного. А человек в четырехместке понимает себя прямо-таки аристократом.

Как-то в ординаторской мы затеяли что-то вроде игры — кто работал в самой населенной палате. Восьми- и двенадцатиместки в счет не шли — кого этим удивишь. Я, к примеру, работал в палате, в которой лечилось семнадцать человек. Победила женщина, которая работала в палате на тридцать два человека. Возможно, это не предел.

Я обещал писать лишь то, что знаю, но, видно, без цифр, которые стали появляться в печати в последнее время, никак не обойтись. Правда, нужно оговориться, что цифры эти очень и очень условны. Как любила говорить одна начальница: «С цифрами надо уметь работать».

Несколько лет назад я записал монолог опытного заведующего отделением (мы вместе учились). Вот этот монолог.

Недели за две до нового года заведующий перестает смотреть больных — началась пора отчетов. Вот это и есть самое трудное в моей работе. Казалось бы, чего проще — усади старшую сестру, прихвати еще кого-нибудь из сестер, они сядут и все посчитают.

Но тут главная сложность — врать надо толково.

Ведь от чего все зависит? От цели, которую перед собой ставит человек, составляющий отчет. К примеру, начмеду до пенсии два года, он человек опытный и не собирается лезть в передовики, ему желательно так прокатить дело, чтоб быть в серединочке.

Другое дело, когда молоденький главврач рвется в небеса,— ему выдвигай передовые показатели, чтоб он попал в первые ряды.

Но и тут свои сложности: сегодня ты в числе первых и выскочил в намеченную точку, а что ж на следующий год? Цифры, как ни крути, а все ж по кругу должны совпадать.

У нас как раз проще: больничное начальство вышло на предпенсионную прямую, и ему желательна именно гладенькая серединочка.

Главное: иметь не так даже сноровку, как нюх. Ты должен угадать среднеобластные показатели, чтоб их и держаться в своем отчете. Разумеется, есть данные прошлых лет, но ты, поди, угадай койко-день и средний оборот койки по области. Конечно, тебе поможет всеобщая установка на уменьшение койко-дня и, следовательно, увеличение оборота койки. Это все серьезно: если у тебя большой койко-день — миндальничаешь (нет, конечно, скажут, что не внедряешь новые средства лечения), а малый койко-день — выписываешь недолечившихся (липу гонишь, голубчик). А сроки лечения год от года срезаются.

При этом держи в голове коэффициент поправки, то есть помни, под каким углом ты гнал прошлогодний и позапрошлогодний отчет. И тут опасно промахнуться: если попадешь в хорошие — нагрянут комиссии, а в плохие — станут ругать.

Что утешает: скоро кончится эта фигня, на год отбой, и снова можно будет заняться делом.

И еще: примерно в эти дни все заведующие и все главврачи по всей стране трепещут: как на этот раз пройдет отчет. Из этих отчетов и будет составлен отчет облздрава. Ну, там, понятно, масштабы повыше, в облздраве будут прикидывать заболеваемость, да койко-день, да смертность по всей стране, чтоб тоже не промахнуться, но их заботы очень высоки и недоступны для районного человека.

Так вот о цифрах. Они стали просачиваться лишь в последнее время. А то все таинственность, секретность, специальные коды. Сколько вензаболеваний — тайна, сколько опасных инфекций — просто немыслимая тайна (эти тайны, впрочем, продолжают оставаться тайнами).

Значит, если человек вдруг спросит, а чего это у нас больницы такие обшарпанные, прямо скажем, занюханные больницы, отчего в районе как самое неухоженное здание, так это непременно больница, и штукатурка обвалилась, и стены закопченные, и сырость на стенах проступила, ответ будет прост: на ремонт одного квадратного метра любой поверхности больницы полагается 6 (шесть) копеек. Хоть ты кафель в операционной меняешь, хоть напрочь прогнивший пол — все одно, шесть копеек.

И не нужно удивляться, что палаты у нас большие, и в них коек напихано сверх всякой меры. Оно и понятно: если по норме на одну койку полагается семь квадратных метров, то у нас приходится лишь четыре (это при том условии, что об относительности цифр мы уже договорились)

Однажды увидел картинку, которую запомнил, конечно же, навсегда. Пришли в отделение после Нового года (там вышло два дня праздников). Вижу: коридоры забиты до невозможности, все пущено в ход: раскладушки, топчаны, даже кушетку из физиокабинета вынесли. И больные лежат на голых матрасах (о них лучше помолчать, они старые и в таких разводах, что описать это невозможно, это уж, как говорится, пускай Художник, паразит, другой портрет изобразит),— нет белья, так как запила сестра-хозяйка. Но главное, лопнули трубы, так как дежурный кочегар решил в новогоднюю ночь не отставать от сестры-хозяйки. И мои парализованные старушки мерзнут под легкими казенными одеялами. А на окнах толстая наледь, никак не желающая пропускать свет. Нет, правда, запоминающаяся картинка. И поэтому, думая о разных календарях, иной раз вспомнишь и век пещерный.

Нет белья. С ним повсеместно большие трудности. Прачечные его рвут, а нормативы существуют еще с тех пор, когда и прачечных-то не было, да белье и подорожало за последние десятилетия.

И вот время от времени «Скорой помощи» дается указание везти рожениц в роддом только со своим бельем, если, разумеется, она не желает после родов лежать на несвежем, в желтых разводах матраце.

Этой зимой я привез роженицу в наше родильное отделение. В медицине, как нигде, важны подробности. И они в данном случае таковы, что родильное отделение берет только сельских жительниц, а городских мы должны везти в тот роддом, что укажет бюро госпитализации.

Да, но тут, к сожалению, еще одна подробность. Роды повторные, схватки через три минуты, а мороз двадцать восемь градусов. Не то беда, что не довезу и роды придется принимать в машине, а то беда, что младенца поморожу.

Привез роженицу в наше родильное отделение. А доктор дежурит строгая и принципиальная. Не возьму, и все. Вы городские, а у меня нет белья. Я, чтоб припугнуть, говорю, а вы напишите отказ в карту. И ведь смелая женщина, так и написала: в госпитализации отказано из-за отсутствия белья.

И что удивительно: смелость победила — довез я-таки женщину.

А то дали указание везти роженицу в Пушкин, а там не берут — что-то наш диспетчер напутала с резус-фактором, и в Пушкине сказали, чтоб я ехал в роддом на Петра Лаврова. Роженица, понятно, недовольна, как ни крути, хоть у нее и первые роды, хоть и довезу я ее нормально, но ведь она же не колабашка, чтоб с трех часов ночи возить ее из одного города в другой, а из другого в третий. Было время белых ночей, и виден был уже собор Растрелли, и когда мы проезжали мимо Смольного, женщина зло сказала: вы остановите машину, я прямо на этой площади и рожу. Я отговорил ее простым соображением: во-первых, роддом рядом, а во-вторых, и это главное, на площади непременно стоит милиционер, и он не позволит хулиганить.

Да, положение с роддомами незамечательное. Да и как быть ему замечательным, если в стране не хватает 30 тысяч коек в роддомах. И что требовать от провинциальной больнички, если в столице, по словам Е. И. Чазова, из тридцати трех роддомов санитарным нормам отвечают лишь двенадцать.

И надо сказать, мы помаленьку ко всему привыкли. Мы перестали удивляться грязи в отделениях (иногда клопам и тараканам, или даже крысам, которые, по недавнему сообщению газеты, чуть было не загрызли младенца в каком-то южном роддоме), но люди неопытные всему этому изумляются.

Недавно к нам на станцию зашли две женщины — они посетили замечательные дворцы и парки, и у одной из них заболела голова. Одна женщина говорила, другая молчала. Доктор, который был в диспетчерской, поставил чемодан на стол, достал тонометр, и уже собрался измерить давление, как вдруг та женщина, что все время молчала, подняла клеенку, ткнула пальцем в нечистый стол и как затараторит по-

английски. А первая, говоруха, достала из сумочки маленький фотоаппарат и ну им щелкать все подряд: и эту клеенку, и наши сумки, и стены, и кушетки. Мы обомлели: то есть шпионки. Предложение померить давление женщина сразу отмела: нет-нет, только не это. Так и не доверила нам свое здоровье.

А мы долго рассуждали: ну, шпионки — не шпионки, а напечатают снимки, и нам будет на орехи — зачем дозволили снимать. Но потом успокоили себя простым соображением: а чего там, мы не хуже других станций, а многих так даже и получше.

Сейчас бытует такое мнение, что у нас некому лечить, негде лечить и нечем лечить.

Вот, к примеру, «нечем лечить». Зайдите в аптеку — лекарств полно. И в больничной аптеке тоже полно. Здесь только одна подробность: плоховато именно с теми лекарствами, которые нужны вот в этот момент и вот этому человеку. Нет, глюкоза там или магнезия есть. Но по стране заявки на важнейшие средства — сердечно-сосудистые препараты и антибиотики — удовлетворяются лишь на 40—60 процентов. Впрочем, для перечисления того, что у нас в дефиците, лучше всего дать слово нашему министру. «Острый дефицит сохраняется в снабжении наиболее эффективными антибиотиками, противотуберкулезными препаратами, препаратами для лечения злокачественных заболеваний, рентгеноконтрастными веществами, лекарственными формами для детей и так далее. Низко качество инсулина, некоторых вакцин».

Так обстоят дела с лекарствами а целом по стране. Но мы понимаем, что есть и конкретности. В столице снабжение получше, чем в областном центре, а в областном получше, чем в районе. А уж что остается сельским больницам, можно только догадываться.

И нигде, в том числе и в столице, невозможно запланировать, какое лекарство станет дефицитом. То вдруг исчезнут, правда, на короткое время, папаверин, анальгин, ношпа, но это, пожалуй, перебои местного значения. А то вдруг начнутся перебои с кислородом, так что на станциях родится лозунг: «Лучший кислород — форточка».

Хотя теоретически все вроде бы в порядке. Вот недавно прошел кардиологические курсы в институте «Скорой помощи», и там меня научили пользоваться десятками замечательных препаратов только по борьбе с аритмиями. Но действительность сурова, и в моей сумке два-три препарата, не самых новых, но зато самых дешевых. И вообще эта сумка заполняется точно так же, как четверть века назад.

С техникой дела обстоят точно так же, если не хуже. Вот я привожу больную с тяжелой травмой черепа, ее осмотрел нейрохирург, и поняв, что предстоит трудная операция, сказал мне: «Ну, сейчас начнется — того нет, этого нет. Чем я буду кровотечение останавливать? Диатермия от сырости испортилась. Чем останавливать? Языком?»

И мне понятно, почему хирург должен затачивать скальпель после нескольких операций. И мне понятно, почему травматолог для своих аппаратов болтики-винтики достает через знакомого слесаря.

Было бы интересно узнать, почему мы машины для реанимационных бригад покупаем у финнов. То есть, нет, сперва, как известно, финны покупают наши РАФы, потом все выбрасывают из салона, устанавливают свою технику и продают машины нам (понятно, за валюту, и немалую). Там все установлено так, что почему-то удобно работать, и там современная аппаратура, которую я знаю только теоретически — сдавал экзамены.

Впрочем, это я хватил — машина! А почему такие неудобные и дорогие у нас электрокардиографы, и почему они так быстро портятся, почему у нас такие отвратительные тонометры, почему люди должны их добывать с таким трудом? Нет, это я опять хватил — тонометры. Почему нет хороших отечественных фонендоскопов, то есть, понятно, чем-то врачи больных выслушивают, но ценятся, к примеру, польские, а наши — так, бросовый материал, для студента-третьекурсника — он и так слышит то, что ему скажет учитель.

И снова я хватил — не хватает ламп операционных, почти нет в провинции функциональных кроватей.

Эти вопросы можно задавать бесконечно, и ответ прост: по одежке протягиваем ножки. Сколько отпущено денег, столько и купишь лекарств. Ведь есть отделения, где на одного больного в сутки выделяется 10—20 копеек. Отпущенным деньгам соответствует и качество койки.

Известно, что по количеству коек мы впереди планеты всей. Никаким американцам или европейцам и не снилось такое количество коек. Особенно если взять длинный барак, загнать туда максимальное количество коек, и тем самым перевыполнять самые шустрые планы. Но тогда не надо обижаться, что у нас лечиться негде, голые стены и железные койки сами по себе не лечат. Мы на технологию тратим 15 процентов от стоимости больницы, а во всем мире от 40 до 80 процентов. И если, к примеру, клиника в США стоит пять миллионов, то один миллион — здание, а четыре — внутреннее содержимое. У нас же главная цена — само здание, внутри которого — пустота. Это при том, что мы уже говорили об относительности

цифр. И в эти средние 15 процентов входит и современный диагностический центр, и обшарпанный районный барак. Если же снова вспомнить, что в России разные календари, то центры, скажем, С. Н. Федорова работают в двадцатом веке, моя сумка укомплектована, значит, на уровне средневековом, а какой век в дальней глубинке, где в больничном бараке нет ни воды, ни канализации, мы можем только гадать. Подтверждение? Вот цитата из Е. И. Чазова: «В ряде социалистических стран стоимость койки составляет от 40 до 80 тысяч рублей. В Таджикистане удосужились построить больницы со стоимостью койки меньше 5 тысяч рублей — столько, кстати, стоит одно место в современных животноводческих комплексах».

4. Реформа

Я не встречал ни одного человека, кто был бы удовлетворен состоянием дел в нашей медицине. Все признают положение это бедственным и даже катастрофическим.

Тут, мне кажется, нетрудно дать ответ на традиционный российский вопрос: кто виноват? Надо ответить прямо: виновато государство (правительство, строй, Административная система — это можно называть по-разному, но виновато государство). Виновато оно в том, что многие десятилетия ворочая понятиями «классы», «народ», «массы», как-то теряло из виду отдельного человека. Нет, с лозунгами все как раз было хорошо. Ну, человек у нас звучит гордо, и все в человеке, все для человека, и даже человек человеку друг, товарищ и брат, но более верна была поговорка: «Без бумажки ты букашка». Впрочем, с бумажкой или без бумажки ты все одно букашка. И государство в первую очередь интересует твой труд и еще раз твой труд, а твое здоровье и жилье, твое питание интересует его гораздо меньше.

Если нужны деньги на что-то неотложное — индустриализация, подготовка к войне, курчатовский проект, королевский проект, «семь в пять», «количество в качество», деньги можно брать у медицины, образования и культуры. Взять, что необходимо, а медицине пойдет то, что останется, то есть одни горькие слезки. Это и есть остаточный принцип.

Впрочем, ради справедливости надо сказать, что так было не всегда. Государство вправе гордиться достижениями медицины в двадцатые годы. Все-таки медицина у нас тогда была очень отсталая. До революции умирал каждый пятый ребенок до года. На десять тысяч жителей было всего два врача. И за короткий срок покончили с эпидемиями чумы, холеры, оспы, трахомы и др. И недаром из всех организаторов здравоохранения мы помним только двух: Соловьева, автора проекта организации здравоохранения, и Семашко, наркомздрава в двадцатые годы.

Но потом победил остаточный принцип. И было бы странно, если бы он не победил. Потому что когда идет уничтожение собственного народа, вопросы здоровья отдельного человека уходят на самый дальний план. Человек, как я понимаю, боялся не так за свое здоровье, как за свою жизнь, которая в любой момент могла оборваться, и не в больнице, но в лагере. Да и весь последующий опыт учил человека, что он никому не нужен, и с ним никто всерьез не считается.

К нему, этому отдельно взятому человеку, обращаются лишь при исторических катаклизмах, и вот тогда он осознает себя хозяином не только своей судьбы, но и своей земли, и тогда он выпрямится, и спасет, и защитит, и устроит.

Вне же этих потрясений он никому не нужен, он мусор, пылинка, красиво говоря, тень песчинки. Да, но ведь человеку внушали, что он венец творенья и хозяин своей судьбы, и он непременно хочет быть тем, что ему обещано — он хочет быть вершителем судеб, и покуда этого нет, человек будет находить заменители страстей — вот, на мой взгляд, причины падения нравственности и, соответственно, причины пьянства и наркомании. Окружающая жизнь, что бы человек себе ни внушал, все равно возьмет свое, и она сумеет доказать человеку, что его здоровье, плоть — дело десятое. Иной раз думаешь привычно, а потому вяло, господи, с какой же нелюбовью и даже ненавистью относимся мы к своей и чужой плоти.

Я наблюдал красивую картинку, как в дежурной больнице, куда свозят со всего города пьяных травматиков, вместо того, чтоб занести больного на носилках в полуподвальное помещение, шоферы и санитары для ликвидации очереди брали бедолажку за руки — за ноги и, раскачав, закидывали в это самое полуподвальное помещение.

Это неуважение к чужой плоти. А вот к собственной. Восемь вечера, вызов к сорокалетней женщине, у которой восьмые роды. Женщина ожидает машину возле барака. Объясняет, что вызов к ней. На удивленный вопрос врача, мол, вы что, на улице собираетесь рожать, отвечает, что уже родила, и ребенок у нее в штанах. И точно — ребенок у нее в штанах, пуповина еще не перерезана. Только побыстрее увозите меня, торопит женщина, а то мои узнают, что я снова навострилась рожать, убьют.

Оказывается, ни муж, ни старшие дети не подозревали о близких родах, да и она сама тоже начала догадываться в последние два-три месяца, но скрывала — на

учет не встала, декретный отпуск не оформляла.

Доктор усадила женщину в машину, перерезала пуповину, запеленала младенца, а потом уже удивилась — что за смысл скрывать, вы же все равно придете домой с младенцем, не в капусте же вы его нашли?

Я в роддоме переночую, а завтра утром сбегу, был ответ, как они меня найдут, если я без документов. А мои гопники даже не хватятся, что меня нет.

И когда я удивляюсь этому отношению к своей и чужой плоти, я понимаю, что удивление наивно. Потому что наплевательски относится к человеческой плоти государство. Интересно знать, почему у нас такие замечательные общественные клозеты? Особенно в провинции и особенно на вокзалах (правда, в провинции они только при вокзалах и существуют, словно бы в иных местах провинциал не бывает).

Отчего у нас такие замечательные столовые? С неподдающимися описанию скатертями, запахами пищи и невыветриваемого желудочного сока? О пище, которую мы там заглатываем, чтоб задержать в себе, нечего и говорить.

А что мы вообще едим! Нет, по объему мы, возможно, превосходим любые нормы, но картошка и хлеб не могут заменить мясо, овощи и фрукты.

А как безжалостна медицина к женщине. О состоянии роддомов мы уже говорили, но нельзя не сказать об абортах. Из-за отсутствия контрацептивов мы делаем 7 млн. абортов в год. Да практически без обезболивания. Хотя во всем цивилизованном мире эта операция считается пережитком варварства.

А теперь о том, что всем нам представляется самым опасным для человеческой плоти. Я понимаю, что преувеличиваю, но что поделаешь, я доктор, и мне иногда кажется, что происходит некий гигантский эксперимент, и все достижения науки направлены на то, чтоб испытать, сколько же может вынести человек. Мы травим человека пестицидами и прочей химией, мы испытываем его радиацией и загазованностью, мы ловим рыбу в отравленных реках и озерах, мы организовали ядовитые дожди и озонные дыры. И вот мы слышим уже разговоры отдельных, правда, генетиков-пессимистов, что если дело и дальше будет идти подобным образом, то через пятьдесят лет мы наполовину станем мутантами, а через сто лет мутантами будут все.

Да, презрение к человеческой плоти мстит за себя.

Но что было, то было: медицина долгие десятилетия была в загоне. И хорошо, что пришли новые времена, и хотя бы можно назвать вещи своими именами.

Да, реформа необходима, потому что медицина наша нищая. И если от эмоций перейти к фактам, то резонно спросить: а какой она могла быть, если процент бюджета на развитие медицины у нас самый низкий из сколько-нибудь развитых стран, если на медицину тратилось в среднем 17 млрд. рублей в год (для сравнения, в США — 175 млрд., в Англии — 60 млрд.). И если процент этот год от года падал, и упал до 3,9 процента, и тут мы занимаем место в седьмой десятке в мире (для сравнения, доля расходов на здравоохранение в США составляет 10,9 процента, и Австрии — 10, в Боливии — 6).

Состояние нашей медицины стало просто угрожающим. Падала продолжительность жизни. Разумеется, известно, что продолжительность жизни зависит не только от состояния медицины, но и от наследственности и от образа жизни, но все-таки и от медицины.

Продолжительность жизни снизилась у нас до 65 лет у мужчин (в Японии средняя продолжительность жизни: 75 лет у мужчин и 81 год у женщин).

И наконец, главная наша боль — детская смертность. Пока цифры не публиковались, мы все думали, что здесь у нас полный порядок, но теперь выяснилось, что детей до года мы теряем в пять раз чаще, чем в Японии, в 2,5 раза чаще, чем в США, Англии, ФРГ. И что дети в нашей стране умирают чаще, чем в пятидесяти странах мира.

И это при том, что в статистике детской смертности у нас есть заведомое лукавство. Так, новорожденным мы считаем ребенка, начиная с 28 недель, а в большинстве стран с 22 недель. Правда, более показателен вес, у нас новорожденным считается младенец больше 1000 граммов, меньше — выкидыш, выхаживать его, разумеется, положено, но в статистику детской смертности он не идет, во всем же мире новорожденным считается младенец свыше пятисот граммов.

И это при том, что мы договорились об относительности цифр. Мой друг много лет проработал педиатром в одной южной республике, он уверяет, что там в лучшем случае показывают только треть смертей. Причем методы сокрытия столь хитры и требуют такого изощренного ума, что если б направить этот ум на лечение детей, мы выглядели бы несколько лучше.

Поэтому никого не нужно уговаривать в необходимости реформы, всякий понимает, что больше с такой медициной жить невозможно.

Какие надежды были полтора года назад!

Участковый врач, если будет хорошо лечить и, следовательно, если пациенты будут им довольны, станет независимым и будет получать ну уж очень много — рублей, что ли, пятьсот. Сколько часов он

будет находиться на участке я сколько в кабинете — его дело.

Конечно, тот распад нравственности, который наблюдается в нашем обществе, не мог не коснуться и медиков. К примеру, когда я начинал работать, хорошим тоном считалось называть больных по имени-отчеству, на каждом вызове мыть руки, жалеть и щадить больных и постоянно помнить о заповеди «не повреди!»; дурным же тоном считалось заискивать перед нужными людьми и даже перед начальством, думать не о больном, не о себе, а о прокуроре, произносить фразу «нечего их жалеть, они нас не жалеют», — да тогда еще не было разделения на «мы» и «они».

Отношение к больному сейчас стало менее милосердным, а попросту говоря, стало более жестоким. То доктор возьмет, да и резанет онкобольному правду-матку (ну, чем именно тот болен). А то, вместо того, чтобы ввести лекарство в вену («пустить по жилам»), нарочно введет в ягодицу, зная, что это больно и что лекарство долго не рассосется. На вопрос, не жалко ли больного, он ответит: а они как к нам! Да, это новинка последнего десятилетия: «мы» и «они», как бы две враждебные силы.

И на этом фоне особенно выделяются врачи настоящие, то есть добрые, милосердные и знающие.

Но рядовой житель не может идти именно к ним, потому что он лишен права выбора. И реформа как раз обещает, что это ненормальное, даже противоестественное положение будет исправлено.

И мы, придурки со «скорой», тоже надеялись, что плата за наш труд (качественный, разумеется) будет такова, что человеку не нужно будет молотить на полторы ставки (десять суток в месяц), он сумеет выжить и на ставку, и он будет выходить на работу отдохнувшим, а не раздраженным, принимающим каждый вызов как личную обиду.

Да, наивные надежды имели место, это уж конечно, но они довольно резво улетучились. Потому что оказалось, что не всякая реформа — благо, но лишь разумная.

Прежде всего, мне кажется, неудачно был выбран полигон для эксперимента. Сказалось наше привычное желание все решить сразу, одним махом, практически без примерки, ну, и разумеется никуда не ушла наша гигантомания: если экспериментировать, то сразу на многомиллионном городе. А почему? Кемерово выбран, на мой взгляд, правильно. А Ленинград — нет. Потому что нарушен главный принцип эксперимента — от малого к большому. Каждому известно, как экспериментируют на кроликах: сначала кроликов мало, потом их больше, еще больше. Думаю, на людях так же следовало экспериментировать: взять небольшой город (к примеру, Псков), посмотреть, во что выливается эксперимент, и лишь потом, в случае удачи, перенести его на большой город. То, что сейчас называется реформой ленинградского здравоохранения, мне представляется очередной мистификацией. Я думаю, что наши начальники пытаются залатать тришкин кафтан и выдать его при этом за новый модный костюм. Я так думаю потому, что принцип, положенный в основу реформы, не кажется разумным. А кажется мне этот принцип — хозрасчет при бесплатной и нищей медицине — ханжеским.

К тому же не следует называть реформой стремление навести хотя бы элементарный порядок.

Если, к примеру, человека положили в больницу в пятницу, и он два дня мается, ожидая понедельника, когда ему назначат обследование и лечение, то это безобразие и перевод денег налогоплательщиков.

Если, как мы видели, поликлиника открывается в восемь, а толпа собирается в шесть, чтоб раздобыть номерок к специалисту — это тоже безобразие.

Если на линию выезжает десять машин вместо положенных двадцати, и врачи работают за двадцать человек, то и платить им, вероятно, следует соответственно (прежде — ни копейки лишней). Но не надо называть экспериментом появление простого здравого смысла (к тому же, частичного здравого смысла — в порядке эксперимента за переработку разрешено доплачивать до тридцати процентов).

Нет, не нужна реформа и не нужно быть жуткими новаторами, а нужно начальству просто навести порядок, то есть честно отработать свою зарплату.

Думаю, не стоит называть реформой смену вывески: вместо райздрава становится ТМО и даже РТМО (хорошо звучит, правда ведь?), а экономист будет называться главным экономистом, завхоз — заместителем по АХЧ. Штаты при этом никак не уменьшатся. Так это и надо называть своими именами — смена вывески, красивые наши игры.

Когда туман надежд рассеялся, проявились удивительные конкретности. Участковый врач, если у него все в порядке на участке, и если у него хорошие отчетные показатели, и если он согласится принимать больных с других участков (есть и процент, как иначе), сможет получать сорок, что ли, рублей лишку.

А вот как выглядит, с моей, разумеется, колоколенки, принцип хозрасчета. Нужно было вывезти больную, и я заказал городской сантранспорт. Мне сказали, что если больная откажется от больницы (то есть ей станет лучше), платить за холостой пробег сантранспорта будем мы. И даже и, тертый, можно сказать, калач, пере-

живший немало реформ, подумал: только бы она не отказалась от больницы. Согласитесь, странная эта штука, хозрасчет: врач не желает, чтоб больному стало лучше.

А то нужно было положить в больницу девочку, и бюро госпитализации сказало — сегодня по городу дежурит вот такая больница. Мать девочки говорит, что дочь лечилась в другой больнице, лечащий доктор дал телефон и велел звонить, если станет хуже. Я позвонил, доктор помнил девочку (там было редкое заболевание), но сказал, что взять рад бы (я чувствовал: рад бы), но не может — сегодня не их больница дежурит по городу. Да что ж это, спросил я? Это у нас хозрасчет, ответил доктор. А я вспомнил песню: «Мой адрес — не дом и не улица».

Но более всего удивительно то, что на хозрасчет перевели и «скорую». Хотя каждому понятно, что «скорая», которая не готова в любой момент выехать на вызов — это не «скорая». Платить ей с вызова, это все равно, что платить пожарникам с пожара, спасателям на водах с тонущего, а милиционерам с драк.

Но перевели. И в первый же месяц мы влезли тысяч на двадцать в долги. Так что у пригородных станций появилось что-то вроде соревнования — у вас шестьдесят тысяч долга, а у нас, значит, только двадцать.

А потому что нажимно-волевые методы вполне живы, и о них надо помнить, переводя экономику на новые рельсы. Долги не могли не появиться, потому что цифры, спущенные на одного человека и на один вызов, взяты с потолка. К примеру, один вызов «скорой помощи» может стоить и 11, и 12, и 15 рублей (нет, там для убедительности есть и какие-то копейки). Но вряд ли кто-нибудь, кроме, надеюсь, начальства, может понять принцип этой оплаты.

А вот еще один пример нажимно-волевого метода. Нет, убежден, на свете работы труднее, чем работа на московской и ленинградской «скорой помощи». И дело не в характере работы (это понятно — труд медика горек), а именно в условиях работы. Тут заколдованный круг: из-за нехватки врачей каждому достается вызов сверх всякой мыслимой меры, а из-за каторжных условий — нехватка врачей. Да, это редко кто выдерживает: сутки без продыху мотаться по загазованному городу, в среднем 20—22 вызова. Еще до двенадцатого—четырнадцатого вызова врач как-то держится, но уж дальше он работает на одной выучке. Понятны жалобы больных на отсутствие у доктора душевного участия.

Вот недавно разделили «Скорую помощь» на «скорую» и «неотложку». Сейчас решается вопрос, делить или не делить пригородные «скорые». Казалось бы, нет задержек с выездами, дело налажено, коллектив против разделения, население против, так не вмешивайся, не экспериментируй — будет хуже. Но нет. Всех так всех, удобнее будет управлять. Это единственный резон. Экономический счет здесь ни при чем: станции маленькие, несколько машин, при разделе нужны будут дополнительные помещения, диспетчера, рации и прочее. Потом снова придется объединять (начнутся жалобы), зато сейчас можно доложить: дело исполнено. Тут привычная закономерность: Минздрав предложил разделение из соображений экономии (конечно, сделать укол онкобольному должна не спецбригада с дорогим оборудованием, и именно «неотлога»), но на местах вполне здравая мысль доводится до абсурда.

Я привожу эти примеры только для того, чтоб назвать вещи своими именами. И не следует, мне кажется, дожидаться конца эксперимента, чтоб потом утешать себя, мол, отрицательный опыт — тоже опыт.

И что еще настораживает: с кем бы я ни говорил про реформу (а говорим мы о ней много), никто из врачей всерьез ее не принимает, у всех отношение ироническое, дескать, посмотрим, что еще придумают начальники. Вера и изобретательность начальства безгранична.

И ведь они правы, врачи. Все понимаю: что-то не завязалось с финансами, просили под реформу много денег, дали меньше, но в этом случае и обещания должны быть соответственными. И не нужно очень уж сильно гордиться теми 190 млрд., что будут вложены в здравоохранение за восемь лет. Гордиться здесь ровным счетом нечем. Следует помнить, что эти деньги будут вложены в медицину не процветающую, а запущенную. Нужно помнить, что примерно такую сумму (разумеется, в долларах) американцы (при благополучной медицине) тратят за год.

Следует говорить правду и не обольщать понапрасну. Обещания должны быть меньшими. Потому что, когда наши надежды не сбудутся (а они не сбудутся), людям тяжело дадутся разочарования. Люди ведь не любят, когда с ними обращаются, как с Каштанкой: дадут проглотить привязанное за веревочку мясо, а потом его вытаскивают.

Человек так уж устроен, что он все на что-то надеется. Вот и мы надеемся, что придет время настоящей реформы, когда в здравоохранение будут вложены не те деньги, что есть, а те, что необходимы. Откуда они возьмутся? Нам остается только надеяться, что когда-нибудь управление нашей экономикой станет более дельным. Вот цифры из последнего доклада министра финансов. В руки спекулянтов и самогонщиков ушло 40 млрд. (как раз нынешнее двухлетнее денежное обеспечение медицины)... На ликвидацию последствий аварии в Чернобыле потребовалось свыше 8 млрд. рублей... Непроизводительные расходы и потери составляют в среднем 24 млрд. рублей в год... Вспомним дамбу... Вспомним, наконец, о миллиардах, потраченных Минводхозом на борьбу с родной природой. И многое что еще можно вспомнить.

Но главное: необходимо изменить взгляд на медицину. Наше руководство должно (нет, обязано) смотреть на подъем здравоохранения, наряду с Продовольственной программой, как на самое главное дело. Не только не отрывать у медицины деньги, но и вернуть те, что оторвали прежде. Пока заботы об армии, госбезопасности, космосе идут впереди забот о здоровье человека, все разговоры о том, что наше общество создано для счастья человека, следует считать демагогией и пропагандистскими трюками.

Понимаю наивность слов о слезинке ребенка, но разве не безнравственно содержать такую гигантскую армию, пока дети умирают оттого, что в стране не хватает 130 тысяч детских коек.

Разве не безнравственно время от времени вводить в соседние страны ограниченный контингент войск (кто скажет, во что нам обошелся Афганистан, сколько десятков миллиардов не пошло на развитие медицины?), когда женщины рожают дома, в условиях, близких к пещерным, только оттого, что в стране не хватает 30 тысяч коек в роддомах. Убежден, что ничего не случится, если мы высадимся на Марс, скажем, пятью годами позже, а аппарат госбезопасности будет максимально сокращен. Ничего худого не случится, как говорится, выживем, а вот с нынешней медициной жить позорно.

Лишь при условии, что руководство изменит взгляд на медицину, мы дождемся настоящей — без мистификации — реформы нашего здравоохранения.

Понимаю, что нарисовал картинки не очень веселые и не самые радостные, и все-таки я пользуюсь случаем, чтобы признаться в любви к медицине. Да, вот этой самой, убогой, бедной, теряющей свой престиж. И иной раз, утешая себя, я говорю высоким словом — а как иначе, провинциальный ведь лекарь — ты все же вытянул счастливый билет, и судьбе было угодно, чтоб ты стал именно лекарем, не душегубом, не карьеристом, и не честолюбцем, а вот именно провинциальным лекарем, и ты был счастлив оттого, что избрал именно этот хлеб, скудный и горчайший, но вечный и повсеместный, и ты надеешься, что не подличал, не унижался и не убивал, и в молодости, начитавшись наивных философских книжек (к примеру, Мечникова), смешно вспомнить: ты надеялся, что застанешь время, когда люди будут умирать не от болезней, но исключительно от старости, дожив до инстинкта смерти и принимая смерть чуть не восторженно.

Но ты дожил лишь до времени, когда тебе говорят — начнем сначала, и ты согласен, и только просишь, чтоб не иссякла надежда на лучшие перемены и лучшие времена, потому что люди, это, конечно, не ангелы, нравственность их, как никогда, далека от идеальной, но их, любых, без различия, кто-то ведь должен защищать от преждевременной смерти, так ведь? Так, конечно, так. Да, если при этом надеешься, что где-то бродит паренек, начитавшийся наивных философских книжек, который верит, что люди доживут до времени, когда станут умирать не от болезней, а от старости — и непременно «удовлетворенные жизнью». И с этой прекраснодушной верой, вернее, с этой надеждой мне будет не так и страшно умирать. Пусть даже не от старости. Пусть от болезни.

А. БАХВАЛОВ,
генерал-майор милиции

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

Сорок четвертый День Победы встретили нынче мы, ленинградцы, вместе со всей страной. В этот священный день с каким-то особенно обостренным чувством долга перед памятью людей, заслонивших своими жизнями свободу и независимость Родины, вспоминаются вот эти клятвенно торжественные слова: «Никто не забыт и ничто не забыто!»

Слова эти родились в Ленинграде — на многострадальной земле, познавшей весь ужас фашистского нашествия. Мы свято чтим героев обороны города на Неве, павших в открытом бою с врагом и сраженных блокадным голодом и холодом, но гораздо реже вспоминаем о тех, кто как мог сопротивлялся, оказавшись не по своей вине в плену, в оккупации, кто самим фактом своей смерти от руки врага зачислил себя в единый строй борьбы с фашизмом.

Время неумолимо. Уходят из жизни живые свидетели этой борьбы, и наш священный долг сделать все возможное (пока не поздно!), чтобы не было безымянных могил, забытых имен. Это — веление сердца и долга перед их памятью. Тем более, что многое начинает забываться, а то, что было сделано для увековечения павших,— зачастую сделано наспех, непродуманно, не получило должного воплощения.

Имеются памятники, но нет надгробий с именами многих погибших партизан, подпольщиков, их связных, людей, со смертельным риском для собственной жизни помогавших им в их борьбе. Горько признавать, но приходится: до сих пор нет у нас уважительного, благодарного отношения к живым людям, проявившим героизм в годы оккупации Ленинградской области.

В запущенном состоянии находятся отделы Великой Отечественной войны в краеведческих музеях многих районов — Луге, Волосове, Гатчине. Здесь нет углубленной патриотической работы на основе имеющихся материалов, шаблонно и вяло ведется поиск новых, ранее неизвестных, неизученных. Экспозиции на стендах совершенно не отражают даже сотой части событий и фактов, относящихся к жизни районов в годы немецко-фашистской оккупации.

В Лужском краеведческом музее такой отдел расположен в двух небольших комнатах. Патриотические материалы его убедительно рассказывают о героизме жителей района в годы оккупации, а вот какие жертвы понесли лужане, сколько расстреляно, угнано в рабство, какие деревни сожжены дотла, какой материальный ущерб нанесли оккупанты государству, гражданам — об этом почти ничего не сказано. Нет обобщающих сведений? Почему же? Сколько угодно. Еще в 1944—1946 годах специально созданные комиссии очень подробно учли ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в каждом районе Ленинградской области. Материалы эти мертвым грузом лежат в архивах и, безусловно, должны быть переданы (хотя бы их фотокопии) в районы. Ведь сейчас большинство людей даже старшего поколения наверняка не знает о том, что в нашей области полностью или частично было уничтожено свыше двух тысяч сел, деревень и других населенных пунктов. Народному хозяйству причинен ущерб на сумму более 19 330 миллионов рублей. Неимоверны людские страдания: расстреляно 6165 челоаек, умерло после истязаний и пыток свыше двадцати трех тысяч, повешено принародно, для устрашения других, 876 человек.

Не многие сейчас знают и о том, что участь белорусской Хатыни разделили и несколько деревень Ленинградской области. 3 февраля 1943 года немцы сожгли деревню Ильжо в Лужском районе, в которой заживо сгорели тринадцать стариков и детей. В деревне Карож в запертых домах было сожжено двадцать три человека, а в Глумицах Волосовского района фашистские изверги загнали в дом тридцать шесть жителей, отказавшихся выезжать в Германию, и заживо их сожгли.

Уничтожение советских граждан было методичным, каждодневным, что видно, например, из отчетов оберштурмбанфюрера СС Реммерса коменданту тыла армии А «Север» (материалы на немецком языке хранятся в Ленинградском архиве Октябрьской революции и соцстроительства).

За 20.VI — 30.VI.42.
казнено: евреев — 6 человек
цыган — 33 чел.
за враждебные настроения — 12 чел.
коммунистов — 3 чел.
за хранение оружия — 3 чел.
за распространение венер. заболеваний среди солдат — 2 чел.
за переход запретной зоны — 3 чел.

С 1.VII по 10.VI.42.
казнено: коммунистов — 15 человек
б/работников НКВД — 5 чел.
евреев — 52 чел.
в/пленных, пытавшихся бежать — 6 чел.
за коммунистическую пропаганду — 14 человек.

Подобные отчеты делались за каждые десять дней, они составлялись с бухгалтерской пунктуальностью и, как видно из архивных материалов, были обязательными для всех служб немецких комендатур, полевой жандармерии и полиции. Другими словами, эти страшные и по числу жертв, и по бесстрастности их расистской «классификации» отчеты были для оккупантов неотъемлемой сутью пресловутого «нового порядка», заранее разработанного плана уничтожения «низших рас».

Хранятся в архиве и сотни протоколов допросов жителей Ленинградской области. Они, эти протоколы, последние свидетели мужества советских людей, их, зачастую пусть и скромного, но все же вклада в нашу общую победу над врагом.

«Петров Александр, 1891 года, бывший священник в Ленинграде и Урицке. Расстрелян как неблагонадежный».

«Васильеи Петр, Гусев Прокопий, Будулин Алексей в момент отступления отстали от части, спрятались, были задержаны и расстреляны».

«Васильев Павел Степанович, бургомистр с. Извары, 5 марта 1943 года был вызван немцами на допрос по подозрению о сотрудничестве с НКВД. На допросе оказал вооруженное сопротивление и был расстрелян иа месте».

Даже эти лаконичные строчки, на мой взгляд, заслуживают того, чтобы войти в историю, остаться в ней как документальное свидетельство жизни и борьбы тысяч и тысяч советских людей, которые, останься они в живых, вынуждены были долгие годы отвечать в анкетах и на такой вопрос: «Находились ли Вы или Ваши родственники на оккупированной территории?»

Этот вопрос — одно из печальных наследий нашего прошлого, несправедливого недоверия, подозрительности к людям. Подозрительности к миллионам честных граждан за вину отдельных тысяч. В былые годы считалось чуть ли не нормой каждого подозревать в измене лишь за то, что он оказался на оккупированной врагом территории. А если еще был угнан в Германию — значит подозревать вдвойне! Это «двойное» подозрение определял еще один пункт анкеты: «Находились ли Вы за границей?»

«Счастье» находиться за границей во время войны испытали миллионы советских граждан. Ведь только из Ленинградской области было угнано в немецкое рабство 254 тысячи 230 человек, то есть почти все взрослое население!

Конечно же, далеко не все советские граждане в годы оккупации проявили себя патриотами, далеко не все нашли в себе силу и мужество подняться на борьбу с врагом. Были, к сожалению, среди них и предатели, и пособники фашистов, и просто «нейтралы», пытавшиеся остаться над схваткой, пережить войну. Но большинство людей связей с фашистами избегали, они кристально чисты и совсем не повинны в том, что гитлеровцы ворвались в Ленинградскую область так молниеносно. Ну, а те, кто погиб в открытой борьбе, кто расстрелян, сожжен пусть даже за одно только подозрение в неблагонадежности — таких людей следует признать жертвами фашизма.

На Ленинградской земле свыше 600 памятников и памятных знаков героям — защитникам Ленинграда, бесстрашным, героическим партизанам, подпольщикам. Они воздвигнуты не для красоты. Созданные для памяти и бессмертия погибших, они должны заговорить.

В Гатчине в парке «Сильвия» есть памятник комсомольцам-подпольщикам, расстрелянным фашистами 30 июня 1942 года. Двадцать молодых парней и пять девушек отдали жизнь за свободу Родины, не покорились фашистам. Стою у памятника, спрашиваю проходящих: что совершили эти молодые люди, кто был их руководитель, где сейчас проживают родные и близкие погибших, кто из свидетелей остался в живых, кто хоть что-то может рассказать о красногвардейцах (это же молодогвардейцы!). Но никто из проходящих судьбы героев не знает. О них не знают ни в Гатчинском горкоме комсомола, ни в отделе культуры исполкома, ни и инспекции охраны памятников истории и культуры.

Обидно и стыдно. Между тем и том же архиве Октябрьской революции и соцстроительства за семью замками и печатями хранится дело, которое вел штурмбанфюрер СС Зейдель. Требуется хороший переводчик, чтобы детально изучить это дело, подробнее узнать о каждом участнике этой патриотической группы.

Пока лишь ясно, что в группе Александры Дринкиной, помимо военнопленных, были люди самых мирных профессий. Но в тяжелый для Родины час они встали в ряды бойцов, вооруженные только одним оружием — любовью к Родине. Они решили бороться с немцами, но были выданы и разоблачены. Во время допросов применялись пытки. Никто из героев не признался! Никто никого не выдал! Все были расстреляны. Санкционировал казнь известный палач, начальник штаба лагеря № 154 Молиенеус.

На территории Ленинградской области в годы Отечественной войны погибли со-

ти разведчиков, многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести. А между тем их деятельность и гибель во имя долга заслуживают гораздо большего, чем «пропал без вести». Это были смелые, мужественные люди, сделавшие все, что было в их силах, во имя грядущей победы и отдавшие этому свою жизнь. Вот несколько отчетов немецких офицеров перед вышестоящим органом — СД:

«5.03.43 близ с. Подмошье задержана группа советских разведчиков: Гранин, Федоров Владимир, Докторов Николай, радистка Михайлова Татьяна, Бойков убит при задержании».

«В камере покончил с собой задержанный Дятлов, он же Журавлев. Он разоблачен как разведчик».

«Задержан Михаил Васильевич Нестеров, 1911 г. р., 2 августа 1943 г. в районе оз. Черное сброшен с парашютом. Руководитель Данилов».

Читаю протокол допроса Виноградовой (девичья фамилия Гусева) Зинаиды Егоровны и Булыниной Марии. 7 июня 1942 года они были сброшены на парашютах в немецкий тыл близ села Вруда Волосовского района. Задание диверсионное: подрыв железнодорожных путей. Взрывчатку и оружие закопали и пришли с заготовленными для них документами для регистрации в комендатуру. Но фашисты паспорта опознали как фальшивые и разоблачили их. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Таких примеров можно привести немало. Все документы хранятся в архиве, ознакомиться с ними нельзя. Не настала ли пора их рассекретить и вызвать из небытия имена ныне безымянных героев?

Есть еще одна нераскрытая страница книги печальной памяти: погибшие в лагерях военнопленные. Вся область была покрыта густой сетью концлагерей и лагерей смерти. Каждый имел порядковый номер: Любань — № 17, Красное Село — 18, Котлы — 101, Саблино — 134, Рождествено — 140, Кингисепп — 200, Луга — 320 и так далее. Таких лагерей было более десяти, и в каждом свой режим уничтожения.

Вдохновителем этого режима в концлагерях Ленинградской области был бригаденфюрер СС генерал-майор полиции Штеллекер, в марте 1942 года убитый в Гатчине советскими патриотами. Незадолго до этого акта возмездия он направил во все лагеря инструкцию «О чистке лагерей военнопленных и гражданских лиц». В ней говорится:

«...среди заключенных нужно отбирать... политически оппозиционно настроенных людей, присутствие которых в лагере недопустимо... Прежде всего отбирать: всех государственных и партийных деятелей из центральных и областных комитетов и народных комиссариатов и их заместителей, бывших комиссаров Красной Армии, всех руководящих лиц центральных и средних инстанций госучреждений, советских и русских представителей интеллигенции и всех, кого можно отнести к категории коммунистов-фанатиков...

Случаи особого обращения (читай расстрел) должны учитываться в документах по особой форме...

Чистку предлагается проводить регулярно с помощью расположенных по соседству подразделений полиции безопасности и СД».

О том, как выполнялась эта инструкция, свидетельствуют расследования, проводимые Областной чрезвычайной комиссией по изучению зверств над русскими военнопленными.

«В 1941/42 гг. в лагере в/пленных пос. Волосово путем голода, холода и непосильного труда ликвидировано свыше 6 тысяч советских военнопленных».

«За период немецкой оккупации в Гатчинских лагерях военнопленных погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожено не менее 80 000 человек».

«В месте захоронения с надписью на немецком языке „кладбище только для русских в/пленных" установлено на основании вскрытия могил и исследования находившихся в них трупов как мужчин, так и женщин, с пулевыми отверстиями и травматическими повреждениями, что в данной могиле захоронено около 2300 человек. Ширина могилы 1,5 м, длина 120 м, высота холма 20—30 см. Кладбище расположено в северо-восточной части города Гатчина».

Данные эти весьма точны, они подтверждаются в том числе и захваченными у немцев отчетными документами руководства концлагерей. Вот один из таких отчетов — лагеря № 154, который являлся пересыльным лагерем:

«Пересыльный лагерь № 154.
Содержится 11 500 чел.
Умерло — 7198 чел.
Отправлено в Германию — 800 чел.
Завербовано в русскую роту — 180 чел.».

Печальную известность имел лагерь военнопленных в селе Рождествено. По свидетельствам работавших там врачей Розенберга А. П., Матвеева Я. В. и других, в нем содержались советские военнопленные и гражданские лица. Свидетель Крицин А. Г., житель села Рождествено, рассказал, что люди содержались в холодных, неотапливаемых помещениях скотных дворов. Согласно регистрационному журналу, который вел военнопленный врач Самоваров, в лагере погибло от казней, истощения и болезней не менее восьми тысяч человек. После освобождения Рождествена комиссия вскрыла 15 могил, каждая длиной 30 и шириной 2 метра, в которых были обнаружены трупы с множественными пулевыми и другими повреждениями.

В лагере было немало военнопленных, ранее оборонявших лужский рубеж, бойцов 2-й ударной армии. Здесь содержались военврач 2-й ударной армии Бабарыкин Константин, начальник артиллерии 327-й дивизии 2-й ударной армии Поддубняк Семен, штабные работники этой же армии полковники Голоштьяров, Горюнов и многие другие. Как сложилась в дальнейшем их жизнь, какова их судьба? Попытки разыскать родственников этих командиров Красной Армии, чтобы узнать их судьбу, к успеху не привели. На мой запрос в Центральный архив Министерства обороны поступил категорический отказ со ссылками на запретительные инструкции. Спрашивается: а какой смысл в этих запретах?

В лагере в селе Рождествено находился бывший сотрудник газеты «Отвага» 2-й ударной армии Муса Джалиль. Именно в этом лагере он писал:

Я разве знал ва воле цену воле!
Узнал в неволе цену воли я!

Сломленный голодом, он был насильственно зачислен в татарский легион, создал в нем подпольную патриотическую группу, но разоблачен и казнен фашистами.

Да, многие, очень многие безвестно погибли в немецких лагерях смерти и концлагерях на территории Ленинградской области. Фашисты старались не оставлять «автографов» своих преступлений. На месте бывшего лагеря в северо-восточной части Рождествена, за давно не крашеной деревянной оградкой, как мне сказали, «для обозначения» этого страшного места, лежит цементная плита в виде надгробия. На ней краской написано: «Здесь захоронены советские граждане, погибшие в фашистском концлагере, который находился в с. Рождествено в 1941/43 гг.». Дальше такого увековечения не пошли — кругом непролазная грязь, неухоженная окрестность. Неужели и впредь здесь будет такое же запустение?

А что знаем мы, ленинградцы, например, о деревне Натальевке, находящейся в том же Гатчинском районе, где был лагерь смерти для гражданских лиц, подозреваемых в связях с партизанами, подпольщиками, всех тех, кто враждебно был настроен к немцам, не желал с ними сотрудничать? Это был страшный лагерь, из которого дорога была одна — в безымянную могилу.

А может быть, все-таки стоит попытаться узнать, кто же захоронен в этих безвестных могилах? Мне, например, кое-что удалось узнать.

«В феврале 1943 г. за связь с партизанами был немцами арестован житель дер. Замостье Лужского района Архипов Федор Иванович и в лагере Натальевка был расстрелян». (Показания жены Архиповой, ф. 9421, д. 180, ЦГООР.)

«В пос. Волосово арестован Крюков и направлен в лагерь смерти Натальевку, откуда не возвратился» (фонд 9421, д. 21, ЦГООР).

Был я и на месте, где располагался этот лагерь. Жительница Натальевки Л. А. Новожилова, которая в дни оккупации видела обреченных пленников своими глазами, показала мне огромную территорию, заросшую бурьяном. Другая трава там почему-то не растет. Именно здесь, тесно примыкая друг к другу, стояли зловещие бараки, куда привозили людей и увозили только с одной целью — на расстрел. Место, где погибли тысячи советских граждан, до сих пор даже не «обозначено».

Задумаемся теперь, сколько же соотечественников погибло, защищая наш город: при отступлении, при наступлении, в годы партизанской войны, в концлагерях, в оккупированных городах и селах? 500, 600 или 700 тысяч? Или гораздо больше? Не верю, что нельзя установить. И не ради любопытства, а для того, чтобы знали все, сколько жизней стоила наша победа. Может быть, в честь погибших есть смысл воздвигнуть мемориал, достойный этой Великой битвы под Ленинградом. Тогда в День памяти (надеемся, такой памятный день будет) мы будем знать, где возложить цветы, в том числе и в память о безымянных героях.

Сейчас еще не упущено время для того, чтобы в книгу народной памяти включить поименно тех, о ком остались не смываемые временем следы в протокольно лаконичных архивных папках. Надо только заставить их заговорить. Память повелительно требует широко открыть двери архивов, привлечь для изучения материалов о войне работников военкоматов, ветеранов войны, комсомол, школьников-старшеклассников, всех тех, кто готов исполнить последний наш долг перед погибшими. «Никто не забыт и ничто не забыто!» должно быть высечено не только на их памятниках, но и на наших сердцах.

блокноте два рисуночка: «Вот подохнет Ларионов и скажут — какой был художник». Он знал, как я относилась к его вещам, но его явно раздражало, если нравились другие художники, кроме него. Я ему об этом сказала.

М. Ф. получил приглашение в полпредство на прием. Н. С. не пошла и сказала, чтоб он пошел со мной. «Наточка, дай деньги на шляпу»,— он пошел ее покупать; мы ждали на улице, и Гончарова, улыбаясь, смотрела в дверь, как он это делает. Ларионов вышел в красивой серой шляпе, берет такси. «Наточка, тебе не кажется, что на Гердочке много нацеплено?» — «Нет, все очень хорошо». На мне действительно было многовато надето... По дороге мы с ним немного поссорились. (Я спросила: «Вот Вы меня везете, а вдруг у меня бомба?» Кроме того, у такси, которое он взял, был облезлый вид, а я была к этому чувствительна.)

Была ретроспективная выставка Делакруа. Мих. Фед. спрашивает: «Как Вам?» Я говорю Ларионову, что есть художники, которые делают большие головы или наоборот, имея в виду восприятие пропорций; он раздражился и долго со мной спорил. На другой выставке висел холст Кирико. Кирико мне всегда нравился и нравится. То был один из вариантов «Археологов»: «Это просто подражание французам XVIII века, гравюрам». Ларионов любил Хуана Гриса, Константина Гиса — я помню, он рассказывал мне его биографию. «Почему Вы боитесь быть несовременными, все равно Вы из времени не выскочите...»

Говорили Гончарова и Ларионов — она бегло, он почему-то нет — оба с сильным русским акцентом; он просто как будто намеренно выговаривал французские слова, как русские, и вообще он ребячился и всякий повод служил ему как бы для какой-то игры. А необходимость — я знала только мелочи — им еле преодолевалась. Нат. Серг. нужен был лимон — мы находились в одной из их квартир с темными, как будто копчеными обоями и темным потолком. «Наточка, я не смогу купить лимон,— он почти ушел, вернулся.— Наточка, я, может быть, куплю лимон»,— и так много раз возвращался, не помню, чем это кончилось. Она не раздражалась и, по-моему, даже смеялась: вот он такой. Они обедали в маленьком шоферском ресторанчике «Маленький Бенуа» близко от мастерской,— все это было на Монпарнасе. Там же обедали Корбюзье и его кузен Жаннере [1]. Вначале Гончарова и Ларионов брали меня с собой, потом я ходила по их настоянию и сама. У Михаила Федоровича были больные почки. Он заказывал хлеб без соли и тут же ел какую-нибудь особо острую пищу. Иногда происходили гастрономические сюрпризы. «Вот Вы знаете, ведь Вы сейчас ели лягушек»,— сказал Михаил Федорович. Я вяло ответила: «Похоже на тощих цыплят в сухарях». Они мне предложили замечательное медового цвета вино: «Это испанское Порто». Я заказала еще и еще. «Встаньте»,— сказала Гончарова. Встать я не смогла, и мы ждали около получаса.

Ларионов меня знакомил с разными людьми, с Корбюзье и Жаннере, конечно. «А это автор „Трехгрошовой оперы“»,— он делался суетливым [2]. «Это Лифарь»,— с ним они очень дружили, их связывал Дягилев, о котором Михаил Федорович без конца вспоминал и мне много рассказывал [3]. Попутно он меня воспитывал: никаких разговоров о неправильном пользовании языком и так далее. После обеда Наталья Сергеевна обычно шла работать, а ему говорила (правда, это было не так часто): «Ну, иди с Гердой смотреть картины». Эти прогулки с Ларионовым не на специальные выставки, а в магазинчики или магазины были необычайно интересны. Иногда мы заходили внутрь, иногда смотрели выставленное наружу. Раз или два ко мне приходила Наталья Сергеевна, а Ларионов заходил чаще и смотрел работы у меня дома. Помню, как-то я рассказывала о таинственной мясной, прохожем и голубых сумерках к вечеру. «Напишите это». Когда я принесла холстик, Н. С. сказала: «А Вы лучше рассказывали, чем написали». «Нет, не без прелести»,— сказал Ларионов, но он, вероятно, иногда видел то, что хотел. Но это была мягкость поверхностная, он при недовольстве делался резким и жестким. Н. С. была добра, такой мрачноватой и скромной добротой. Она любила Цветаеву и мне даже читала «Расставаться — такое слово...». Мне тогда эти стихи не понравились, я привезла из Ленинграда Б. Пастернака.

С самого начала я должна была рисовать в Лувре римские гробницы. Нат. Серг. объяснила, что сделать, чтоб платить мало или вообще ничего. Я ходила месяцами в Лувр рисовать и показывала им. Затем — в Grande Chaumiere [4], студию с обнаженной натурой. Жетоны покупались заранее, пока были деньги. Затем один художник посоветовал мне выставиться в Осеннем Салоне. Вначале я думала отправить два холста. «Выставляйте только равноценное, разве Вам все равно, что именно возьмут?» — сказала мне Гончарова. Затем она указала мастерскую, где оформляли холсты. «Надо стекло». Когда я пришла, мне сказали: «Madame Гончарова заплатила». Это было дорого, и я очень расстроилась, но поняла, насколько она ко мне хорошо относится. Я носила ей цветы — она их любила и очень хорошо писала. Я ходила неважно одетая — Н. С. сосватала мне какое-то красивое и недоступное платье очень дешево.

Живопись Герты Михайловны НЕМЕНОВОЙ



Парижские мансарды



Голубь в клетке



В кафе



Чайные розы



Сквозь окно



Этюд к автопортрету



Стакан пива



Люксембургский сад (этюд)

«Работы нельзя дарить, только продавать. Если за плохую вещь заплачен рубль, ею дорожат больше, чем дареной хорошей...»

По-моему, она не спорила с Ларионовым, а только убеждала...

Раз произошло то, чего мне очень хотелось: Михаил Петрович Кристи [5], Ларионов и я пошли к самому крупному маршану Полю Розенбергу. Магазин находился напротив дома, где жил Пикассо. Ларионов и Кристи прошли вперед, а я застряла у окна, где обычно рассматривала «Девушку в зеленой шляпе с вишнями» Ренуара. Но я заметила, что они задержались в дверях с каким-то невысоким человеком, вероятно, Пикассо. Так оно и было. «Вот Вы так хотели увидеть m-r Пикассо, познакомьтесь». От восторга я хотела закурить: «Спички!» — «Спицки», — сказал Пикассо. Он, кажется, и дал мне прикурить. Ларионов: «Жена m-r Пикассо русская». Я стала говорить с Пикассо. «Вот, видите, как наша молодежь Вас тонко воспринимает», — сказал Ларионов. Пикассо, с которым мы шли и говорили, был явно доволен. «Вы любите Руссо, вот когда Вы ко мне придете, у меня висит очень хороший Руссо над кроватью». А в магазине он просил показать нам свои последние работы. Он дал свою карточку Кристи, с тем, чтобы мы к нему пришли, и ушел. На Михаила Федоровича я боялась посмотреть: «Ну и девочка» и так далее. Михаил Петрович сказал, что, конечно, никуда со мной не пойдет. Потом Ларионов повел меня к Гончаровой, наверное, прямо силой. Открыл дверь. «А Гердочка твоя дура порядочная». Я взревела, она сразу сказала, почему. И под этот рев Ларионов уговаривал меня, что бал, макет которого я клеила, он обязательно попросит Корбюзье посмотреть — то, чего я совершенно не хотела. Через некоторое время Ларионов мне сказал: «Вчера обедал у Пикассо» и, кажется, что-то вроде, что Пикассо знает его, Ларионова, качества художника. Еще вскоре на театральной выставке: «Что ж Вы опоздали, был Ваш Пикассо с собакой и сыном, уже ушел».

Как-то Ларионов мне сказал: «Я воспитывал такого помора, волчонка. Очень талантливый. Его фамилия Татлин». Я очень обрадовалась, что ему нравится Татлин, и рассказала, что о нем знала [6].

Кажется, Ларионов посоветовал мне поступить в academie-moderne к Леже. Я пошла на плакатное отделение.

Как-то в кафе продавец-итальянец принес изделие из какого-то розоватого вещества под мрамор, нечто рыночное и очень сладостное. Я купила такую вазу, в нее втыкались на металлических стержнях четыре голубка. Я ее написала с розами. Ко мне зашел Ларионов и сказал, чтоб я оставила холст в том состоянии, в котором он и сейчас находится. Перед моим отъездом он попросил или я ему предложила эту вазу (она ему нравилась, и я при нем ее купила), но одного голубя увезла, он у меня и сейчас. Михаил Федорович настаивал, чтоб я не забирала птицу. Наталья Сергеевна положила конец спору: «Миша, тебе же отдают всю вазу». Об этом Михаил Федорович упоминает в письме, которое он мне написал в Ленинград. На фоне этой вазы я еще написала небольшой портрет моего тогдашнего приятеля художника Карзу [7] (портрет у вузу). Карзу нравился Наталье Сергеевне: «Вот у него искреннее лицо». В кафе я сделала набросок с Карзу на мраморном столике, и мне было жаль его там оставить. Карзу уже ушел, я не уходила. Ларионов, нетерпеливо: «Идите и купите кальку». — «А если сотрут?» — «Мы подождем». Михаил Федорович просил оставить ему холст — балерину, которая выставлялась в Осеннем Салоне. Опять Наталья Сергеевна прекратила спор и решила, что я сделаю копию: «Знаете, у Михаила Федоровича архив». Копию я сделала акварелью. Ему понравилось, как будто, и, кажется, он говорил с одобрением о растеках. Михаил Федорович попросил подписать. «Я не знаю, не умею, что надписать такому ужасному Ларионову». — «Так и напишите: такому ужасному Ларионову». Так и написала.

У Натальи Сергеевны при мне была выставка натюрмортов, очень красивая, и постановка в Гранд-Опера, которую я не видела. Михаил Федорович рассказывал мне, как ему надоедала билетерша и что он ей сказал, на что я ему предложила более едкий вариант. Разговор происходил на квартире при Наталье Сергеевне. Тогда я еще не читала Рабле, теперь я понимаю, до чего ему были сродни герои «Пантагрюэля». Я допытывалась о степени успеха Натальи Сергеевны, и мне влетело от него за мои выяснения. А успех был очень большой. Как-то Гончарова сделала для одной танцовщицы костюм и показала мне эскиз. По-моему, она поняла, что мне не очень нравится. «Посмо́трите». Я была на этом вечере, там было много хороших костюмов, но костюм Гончаровой был вне сравнения.

Ларионов написал лимон. Я не помню среды этого натюрморта, но это было великолепно, это была формула, симфония лимона. Потом он ввел этот лимончик в триптих — с женской фигурой (насколько я помню, красная охра + белила) и веточкой винограда без ягод. Это были очень узкие небольшие холсты в деревянной окантовке (возможно, женская фигура была на доске). Когда я приходила в мастерскую, он без конца тер окантовку тряпочкой.

Еще была выставка Дягилевского русского балета. Эскиз Ларионова про Лиса

был хорош и при всей его остроте умилен — на его, Ларионова, лад.

Раз я была у них в мастерской, и он менял дату в подписи. Я спросила, зачем, и мне здорово опять влетело. Он хвалил Якулова, чего я не могла понять. Это когда я рассматривала книжку, которую он мне подарил,— «Русские балеты Сергея Дягилева».

Как-то вечером меня позвали смотреть испанок Гончаровой. На панно были женская фигура и собака. Мне тогда не понравилось, что разные формы у женщины и собаки были одинаково нарушены одним и тем же приемом. «Вот видишь, Наточка». Гончарова написала много этих испанок. И совсем на днях я смотрела английский журнал и узнала испанок. Теперь они принадлежат киноактрисе Софи Лорен.

Гончарова и Ларионов были в разводе, может быть, и не официально, я не знаю. Во всяком случае, у Натальи Сергеевны был приятель, кажется, журналист, он мне не нравился. А Ларионов дружил с девицей, мне тоже малосимпатичной, на которой после смерти Гончаровой и официально женился. Я не скрывала своих антипатий. С девицей я мало сталкивалась, а журналист иногда приходил обедать в «Petit Benois» [8], и я не была с ним слишком вежлива. Ларионов с удовольствием пользовался случаями, и когда тот уходил, говорил: «Смотри, Гердочка совсем обиделась. Надо взять груши и поехать прокатить ее на извозчике». Что и делалось. Не зная ничего точно, я совершенно явно показывала, что мне хочется видеть их вместе и, кажется, ей об этом сказала, а может быть, только думала сказать. Как-то в теплый вечер, была луна, в обществе одного знакомого я выслеживала красивого кота с колокольчиком на шее. По-видимому, он заблудился, а мне хотелось его взять с собой. И вдруг появилась Наталья Сергеевна — не то она меня искала или, встретив, хотела удержать. Она была очень расстроена и беспокойна, но скоро мы расстались.

Приезжал мой отец. Он пригласил Наталью Сергеевну, Ларионова и Кристи, с которым они дружили, и мы пошли куда-то обедать. Пили наполеоновское вино. «А пирожное надо пойти есть в Палеройаль»,— сказал Ларионов. Пирожные отдавали кокосом и вообще этот вечер был не в моем вкусе.

Я уезжала из Франции. Наталья Сергеевна плакала при прощании. Я везла какую-то пуховую подушку от Ларионова его, кажется, тетушке. Из подушки падали иногда пушинки, и какой-то неприятнейший немец устраивал мне из-за этого сцены. У меня сохранились только два письма Михаила Федоровича, но их было больше. Я старалась послать все, что он просил (книги, фото). Вскоре переписка наша прекратилась.

За год до смерти Натальи Сергеевны Гончаровой я отправила через дипломатическую почту на имя нашего посла во Франции Гончаровой и Ларионову письмо и литографию, так как послевоенного адреса их я не знала. Ответа не получила, а через два года умер и Ларионов.

1971 г.

---

[1] Шарль Эдуард Корбюзье и его двоюродный брат Жаннере — художники, основатели школы пуристов.

[2] Автор «Трехгрошовой оперы» — неясно, кто имеется в виду: драматург Бертольт Брехт или композитор Курт Вайль.

[3] Серж Лифарь — настоящее имя и отчество Сергей Михайлович — артист, балетмейстер и педагог.

[4] «Большая хижина».

[5] Михаил Петрович Кристи — художник.

[6] Татлин Михаил Евграфович — московский художник.

[7] Жан Карзу — художник-сюрреалист.

[8] Ресторан «Маленький Бевуа».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К. ВИНОГРАДОВ

ПОЛЕЗНО СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ДЮМА...

Заметки на полях исторического романа

Нетрудно предсказать, что новому произведению Валентина Пикуля уготована большая популярность. Порукою тому — решительность, темперамент, броская манера письма, да и самое имя автора. Действие романа развивается стремительно, одно приключение следует за другим...

Центральная его фигура — офицер Генерального штаба России, произведенный в генералы перед февральской революцией и еще раз ставший генералом — уже Красной Армии — в сороковые годы. Писатель ведет рассказ от его лица (генерал-разведчик гибнет в 1944 году при спасении руководителей партизанского движения в Югославии; остается его рукопись). Поскольку такой офицер «не должен иметь имени» (выражение немецкого генерала фон Секта, с которым солидарен герой книги), читатель так и не узнает, как же величать его. Однако не раз подчеркивается, что герой — будем и мы так его называть — отпрыск одной из древнейших российских фамилий. По отцу. А по матери — пылкой, «своевольной» красавице — он серб, родственник Карагеоргиевичей и других именитых югославянских семей.

Одна из первых сцен: с балкона петербургской квартиры герой — еще находясь на руках матери — смотрит на марш русских войск, вернувшихся после побед в турецкой войне 1877—1878 годов. Символ того, что ему суждено связать свою жизнь с армией! Но сначала будут Училище правоведения, знакомство с литературной богемой, разочарования... На юге Африки наш герой воюет с англичанами, учится метко стрелять у их противников-буров. Первая поездка в Европу, неожиданное участие в кровавом перевороте 1903 года в Белграде — власть переходит к Карагеоргиевичам. Впрочем, молодой человек сознательно направил свои стопы в Сербию — его мать покинула стареющего и обедневшего отца, ее заточили в темницу коварные Обреновичи, правившие до переворота. В ходе штурма дворца герой близко сходится с сербским заговорщиком Д. Димитриевичем (в романе он Дмитриевич, сразу и поручик и полковник).

После возвращения в Россию безымянный герой оканчивает академию Генштаба и секретную школу разведчиков. Открывается главное поле деятельности доблестного офицера. Через притоны Гамбурга его внедряют в Германию, где он добывает важные сведения. Будучи опознанным, герой не теряет присутствия духа и лихо — на паровозе! — бежит из Кенигсберга. Следующий тур похождений разведчика переносит нас в Австро-Венгрию и Сербию. По настоянию Дмитриевича и с ведома петербургских начальников герой вступает в сербскую тайную организацию «Черная рука», а в боснийском городе Сараево становится свидетелем убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда. Опять приходится бежать... Мелодраматическая встреча с матерью в Вене... Начинающаяся мировая война застает героя — он уже подполковник — в Петербурге.

Нет нужды подробно останавливаться на дальнейшем ходе событий. Скажем только, что в канун свержения самодержавия анонимный генерал служит в царской ставке, осенью 1917 года правильно определяет свое место в новой жизни — отбывает вместе с В. Д. Бонч-Бруевичем на переговоры с немцами в Брест... Каждой главе книги В. Пикуля предшествуют «отрывки из дневника» героя периода 1934—1944 годов. Он и тогда был проницателен (не опасался резко характеризовать «хозяина»!), продолжал схватки с немецкими — теперь уже гитлеровскими шпионами, выполнял ответственные задания за рубежом...

Итак, перед нами — динамичный сюжет, позволяющий, казалось бы, заглянуть за кулисы военно-политической истории нашего отечества первых десятилетий века. Однако по мере чтения романа «Честь имею» возникает все больше недоуменных вопросов.

Пожалуй, прежде всего настораживает язык, каким изъясняется герой произведения: «загнулся», «заткнулся», «валтузил», «стибрить», «втемяшивать», «падраться», «трепаться»... Читателя, знакомого с романами В. Пикуля, жаргонными словечками и оборотами не удивишь. Однако в данном сочинении они особенно неуместны, поскольку рассказ ведет потомственный дворянин, получивший ве-

---

В. Пикуль. Честь имею. «Наш современник», 1988, № 9—12.

ликолепное образование и светское воспитание. В предуведомлении к роману писатель сообщает, что «перекроил» попавшие к нему «записки» на свой лад и поясняет: «читатель и сам догадается, когда говорю я, беллетрист, а где говорит автор воспоминаний». Выходит, задача «беллетриста» состоит в максимальном опошлении языка?!

Но грубейшие промахи допускает автор и в области географии, политики, истории. Галиция (Западная Украина) граничит у него с Сербией, Босния расположена к северу от Сербии (а не к западу, как на самом деле). Предводитель гуннов Аттила объявлен вождем вандалов, а лидер октябристов Гучков возглавляет у В. Пикуля кадетов. Россия заключает союз с Румынией в 1914 году (это случилось в действительности лишь в 1916-м), гитлеровцы вступают в Прагу в 1938 году — тут романист тоже забежал вперед, они вошли туда в следующем. Искажены многие имена и связанные с ними обстоятельства. Так, любовница императора Франца Иосифа артистка Катарина Шратт названа Екатериной Шраат, акушеркой, а ее влияние при дворе Габсбургов изрядно преувеличено.

Поражают безапелляционные оценки событий и лиц, образующих систему взглядов, странную для офицера, сформировавшегося в царское время, и тем более для нашего современника.

С пренебрежением отзывается анонимный герой В. Пикуля о целых народах. «Покорные немцам» хорваты, следующие за «Ватиканом и Габсбургами», не только не «жалуются» на свое положение, но даже предпочитают разговаривать по-немецки. Трусливые турки дружно бегут от любых противников. А как прикажете воспринимать такие вот строки: «...кровожадная Албания, многовековой поставщик для султанов башибузуков и головорезов...». В романе описан трагический отход сербских войск и части населения к Адриатике через Албанию в 1915 году. Тут — по В. Пикулю — их поджидали албанцы, которые «убивали и грабили ослабевших людей, ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар». Напомню: взаимная вражда веками насаждалась местной реакцией и агентурой великих держав на Балканах; ее пережитки и сегодня мешают налаживанию добрососедских отношений между странами и народами региона. Не к лицу писателю на исходе XX века — даже устами старого офицера — высказывать допотопные суждения!

В. Пикуль не жалеет язвительных замечаний по адресу Габсбургской монархии, ее государственных деятелей и населения. «Австриец смолоду не умел самостоятельно мыслить»,— утверждает он. Суровый приговор вынесен прекрасной Вене. Тогда она переживала свой «серебряный век», была одним из ведущих центров мировой культуры. Однако для В. Пикуля австрийская столица — лишь фасад «мрачного и торжествующего зла», где пируют «только еврейские банкиры да международные жулики». Шаржированными выглядят правители Австрии, о которых автор рассуждает на уровне бравого солдата Швейка. Министра иностранных дел Берхтольда занимают одни лишь «гривуазные приключения» (запомним это!). Франц Иосиф — ничтожный, выживший из ума старик. Между тем австрийский монарх сохранял ясность ума, вполне осознанно принимал ответственные решения. Наследник престола Франц Фердинанд являлся еще более сложной фигурой. Напрасно В. Пикуль приписывает ему планы преобразования государства в духе уступок либо чехам, либо хорватам (это воплощено в элегантном пассаже: «Желая развить идеи „триализма“, эрцгерцог сошелся с чешской графиней Софьей Хотек, от которой имел трех детей...»). На самом же деле намерения такого рода он отбросил задолго до 1914 года, переключившись на разработку иных планов укрепления позиций династии. Могу засвидетельствовать на основе собственной архивной работы, что меняющиеся замыслы Франца Фердинанда были достаточно хорошо известны в России не только разведчикам, но и гражданским осведомителям. В. Пикуль именует эрцгерцога «отчаянным русофобом». Однако новейшие исследования показали, что как раз он предпочел бы обойтись без войны с Россией, опасаясь, что она приведет к свержению как Романовых, так и Габсбургов.

Герой В. Пикуля на дружеской ноге с создателем Советской школы Генштаба Б. М. Шапошниковым. В конце 20-х годов вышел в свет труд Шапошникова «Мозг армии», в котором всесторонне рассматривалась габсбургская армия, давалась высокая оценка стратегическим дарованиям начальника австрийского штаба Ф. Конрада. Увы! Ни герой романа — работник Генштаба! — ни автор не удосужились, по-видимому, ознакомиться с книгой Шапошникова, как и другими полезными для дела сочинениями. Не только генералу Конраду, но и всей австро-

Виноградов Кирилл Борисович — доктор исторических наук, профессор Ленинградского университета.

венгерской армии они дают примитивную, во многом несправедливую оценку. Бесспорно, габсбургское войско разъедалось внутренними противоречиями, порожденными рознью между народами империи. Но все же это была внушительная сила, что и обнаружили жестокие бои в августе — сентябре 1914 года. А у В. Пикуля читаем: тогда произошел «разгром генералом Брусиловым всей австрийской армии, которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями». Здесь что ни слово, то вымысел, начиная с Брусилова: он в ту пору командовал только одной из армий Юго-Западного фронта. Австро-венгерская армия сохранила боеспособность, на итальянском и румынском фронтах она в 1916-м и 1917 годах поведет успешные наступательные операции, да и для русских войск останется серьезным противником. Я задержался на этих подробностях потому, что В. Пикуль, видимо, считая себя знатоком русской военной истории, претендует на роль своеобразного хроникера и знаменосца славы русского оружия. Но описывать битвы 1914—1917 годов с такими передержками, как в данном произведении,— значит принижать эту славу.

Операции в августе 1914 года в Восточной Пруссии, куда вступили русские армии Самсонова и Ренненкампфа, давно привлекают внимание военных историков и литераторов. Не только немецкие авторы, но и авторитетный британский специалист Б. Лиддл Харт не скупились на похвалы германским генералам и офицерам. Этой традиции следовал и А. И. Солженицын в своем «Августе Четырнадцатого». Литературный корабль В. Пикуля накренился в другую сторону. Писатель правильно акцентирует значение первоначального успеха русских у Гумбиннена, вероятно, предопределившего исход битвы под Парижем в пользу французов. Но дальше очередные фантазии — о бегстве германского корпуса, о четырехкратном превосходстве немцев в пехоте под Танненбергом. Если предатель Ренненкампф не пришел на выручку попавшему в ловушку Самсонову, то — по Пикулю — не только из давней к нему ненависти, но и потому, что приятно проводил время с обольстительной шпионкой. Большинство же историков полагает, что подлинными причинами поражения русской армии в Танненбергском сражении стали крайняя измотанность войск Самсонова, плохой подвоз боеприпасов и продовольствия, уязвимость флангов, обрыв коммуникаций с тылом и соседней армией. Этими обстоятельствами умело воспользовались немцы, которые, кроме всего прочего, обладали и сильным офицерским и генеральским корпусом, чего никак не

хочет признать В. Пикуль. Рассказывая, например, о Гинденбурге — позже фельдмаршале и президенте Германии,— его отношениях с генералом Людендорфом, романист буквально повторяет то, что писала Б. Такмен в знакомой советским читателям книге «Августовские пушки». Из этого бойкого, но не слишком надежного сочинения он заимствует и другие сведения, дополняя их собственными, еще более сомнительными замечаниями о послевоенной судьбе известных полководцев. Так, Людендорф становится «приятелем Гитлера», коему он посвящает свою жизнь. Это упрощение, граничащее с искажением. Честолюбивый Людендорф недолюбливал ефрейтора, но надеялся — тщетно! — использовать в своих целях его молодчиков.

В романах по истории XVIII—XIX веков В. Пикуль подчас неприязненно писал о политиках, чиновниках, эмиссарах германских государств; доставалось и «простому немцу». В книге «Честь имею» автор творит себе своеобразное алиби — его герой декларирует: «Я всегда уважал Германию — родину великих мыслителей, поэтов и ученых» (простим офицеру, занятому неотложными делами, если он немного путается среди этих титанов, называя, скажем, «великим поэтом» критика и переводчика Августа Шлегеля). Попробуйте теперь приписать персонажу и его творцу субъективизм в оценках! Но мы все же дерзнем.

Быстрый рост могущества кайзеровской Германии наш герой объясняет лишь огромной контрибуцией, полученной с побежденной Франции в начале 70-х годов XIX века. Но впрок немцам это не идет — и в начале нового века живут они плохо, дети тут рождаются рахитичные, слабые, «беспросветная нищета», хуже, чем в России. Повторяя не лучшие образцы антантовской пропаганды времен первой мировой войны, автор уверяет, что средний немец, не слишком склонный к труду, делает ставку на завоевательные войны. «Вертеры поверили, что грабеж соседей законен». Их варварство побило рекорды Аттилы: так, в оккупированной Бельгии в 1914—1915 годы — по В. Пикулю — «немцы убивали... всех мужчин (!!), убивали детей на глазах у матерей, чтобы потом убить и матерей». Уже в июле 1914 года немецкие власти и население обрушились на несколько десятков тысяч русских, которых начинавшийся международный кризис застал в Германии. Кровь стынет в жилах, когда узнаешь из романа о бесчисленных расстрелах и изнасилованиях! Однако все это — плод воображения автора. Ибо по крайней мере до объявления состояния войны (1 августа) никаких массовых репрессий в Германии не предпринималось.

Не исключено, что подобные домыслы

нужны романисту для подкрепления его более чем спорных противопоставлений: «роковая ошибка немцев,— пишет он,— в том, что они всегда (?!) хотели бы завоевать Россию», тогда как «мы, русские, всегда изучали Германию». Характеризуя обстановку 1911—1913 годов, герой романа излагает такую версию: поскольку «русский народ войны не хочет», то и «русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять ее мощный потенциал, русский Генштаб, как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период ее начального вызревания». Чем не лубочная картинка? Царские шпионы — неизменно именуемые разведчиками — прямо-таки оберегают вероятного противника! Да и петербургское правительство заботится только об укреплении мира во всем мире! Запомним эту идиллию, так как автор вскоре бросится в другую крайность.

Важнейшим обстоятельством, побудившим меня откликнуться на роман В. Пикуля, являются его претензии обнаружить тайну, «в которой война рождается». Речь идет, разумеется, о все той же первой мировой войне.

Писатель склонен преувеличивать роль масонства в политике той эпохи. Масонская вина велика! Так, русский посол в Париже Извольский «разжигал войну в Европе», будучи связан «по рукам и ногам французскими масонами». Или другое, еще более ответственное (безответственное?) утверждение: «из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства». Автор забывает пояснить изумленному читателю — чего же именно добились тогда загадочные космополиты-масоны (да и о их существовании больше не упоминает). Но Белград фигурирует в этой фразе не случайно — истоки войны 1914 года В. Пикуль настойчиво ищет на Балканах, всячески выпячивая роль сербских заговорщиков в убийстве австрийского эрцгерцога в Сараеве. Столица Сербии в изображении героя романа становится вулканом, выбрасывающим «множество заговоров». Здесь находится штаб-квартира «Черной руки», здесь обитает ее руководитель, начальник осведомительного отдела генштаба сербской армии Димитриевич, прозванный за свою физическую мощь Аписом (священным быком). Судя по В. Пикулю, «Черная рука» являлась страшной, непреоборимой силой во всей Юго-Восточной Европе. Любая просветительская или спортивная ассоциация, даже братство трезвенников в югославянских землях безоговорочно подчинялись распоряжениям Аписа.

Автор не жалеет красок и эпитетов, описывая главаря этой офицерской организации. Он — сущий демон, профессиональный террорист и заговорщик. Если верить В. Пикулю, в Белграде в канун мировой войны все плясали под дудку Аписа, включая и регента Александра (его Димитриевич фамильярно именует «наш друг Саша»). Участники покушения на эрцгерцога — члены молодежной боснийской организации — превращены в бессловесных исполнителей воли Аписа. Впрочем, не вполне бессловесных — они иногда произносят громкие слова о том, что они «сербы» и борются за «Великую Сербию». Г. Принцип и его товарищи не внушают симпатий герою романа «Честь имею». Допуская немало неточностей в рассказе о роковых событиях в Сараеве 28 июня 1914 года, В. Пикуль даже утверждает, будто Принцип стрелял в ехавшую вместе с Францем Фердинандом эрцгерцогиню (на самом деле — это давно признано историками — Гавро пытался помимо эрцгерцога убить сидевшего в том же автомобиле ненавистного губернатора Потиорека, но в волнении промахнулся).

В полном противоречии с упомянутым выше суждением о благородстве российского Генштаба и его разведки В. Пикуль многократно говорит о причастности генштабистов, а также посланника в Белграде Н. Г. Гартвига к заговору. Русский военный атташе В. А. Артамонов оказывается ближайшим другом Аписа. Он не только одобряет его зловещие деяния, но и сам провозглашает (где-то в начале июня 1914 года): «именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией». А раньше Артамонов вместе с Димитриевичем намеревается прикончить (заодно) и болгарского царя Фердинанда. Подстать этим монстрам и «отчаянный славянофил» Гартвиг, диктующий свою волю сербскому кабинету министров. Своего рода венцом путаных рассуждений автора можно считать «признание» героя книги о причастности «людей из России» «к событиям, послужившим *причиной* (курсив мой.— К. В.) великой войны. Нашу причастность уже невозможно отрицать...».

В прошлом В. Пикуля не раз справедливо упрекали в пренебрежении к документам и историческим монографиям. В романе «Честь имею» он демонстративно перечисляет немало имен и книг и при этом делает поразительные «открытия», уверяя, например, будто похищенные в 1915 году австрийцами документы ведомства иностранных дел Сербии безвозвратно утрачены (тонет перевозивший их катер, чтобы историки не докопались до истины). Таинственно исчезают протоколы состоявшегося в октябре 1914 года в Сараеве суда над участниками покушения на Франца Фердинанда; уничтожает все (!) свои бумаги граф Берхтольд. Весь этот мистический ансамбль, быть может, связан с тем, что автор разделяет обывательские представления о наличии каких-

то «решающих» документов, обнаружение которых позволило бы в один миг распутать самые сложные узлы и секреты. А кроме того — если не сохранились столь важные тексты, то открывается простор для фантазий на исторические темы...

Не мудрствуя лукаво, сведения о соперничестве на Балканах и начале войны в 1914 году В. Пикуль черпает из двух-трех книжек, изданных в давние года. А скорее всего — из одной, вышедшей в 1930 году книги Н. П. Полетики «Сараевское убийство». Я могу ошибиться, но представляется маловероятным, чтобы наш автор сам листал страницы фальсифицированного «Отчета» о Салоникском процессе 1917 года, когда клика Александра Карагеоргиевича обрекла на смерть Д. Димитриевича, или журналы «Кларта» (в романе именуется «Глартэ») и «Федерасьон Бальканик». Из опуса Полетики берутся данные о «разоблачениях» 20-х годов, другие сомнительные сведения и даже перевранные фамилии (террорист Чабринович фигурирует как Габринович). С незначительными модификациями и вся «концепция» возникновения первой мировой войны, преподнесенная современным читателям В. Пикулем, тоже лишь воспроизводит обветшалые версии шестидесятилетней давности.

Однако судьба упомянутых документов была совсем иной, нежели это представляется В. Пикулю. Многие сохранившиеся материалы личного архива габсбургского министра Берхтольда вошли в солидный двухтомник, изданный в Австрии. Они свидетельствуют, что сей — по В. Пикулю — «ветреный бонвиван» был трудолюбив и последователен в осуществлении внешнеполитического курса, неизменно враждебного Сербии и Черногории.

После первой мировой войны документы сербских архивов довольно быстро вернулись в Белград. Но в 1941 году после нападения гитлеровской Германии на Югославию многие из них вновь были увезены оттуда. На конгрессе историков в Вене в 1965 году югославский общественный деятель, автор монографии «Сараево» Владимир Дедиер рассказывал нам, советским делегатам, о трудностях, с какими пришлось столкнуться ему и его коллегам, когда они добивались возврата этих текстов из Австрии и ФРГ. Но в конце концов ученые Югославии получили их в свое распоряжение и, проделав кропотливую работу, издали многотомную коллекцию дипломатических документов королевства Сербии на сербо-хорватском и французском языках. Последний, седьмой том (1981), о существовании которого, кажется, не подозревает В. Пикуль, особенно важен для правильного понимания предыстории империалистической войны.

Немало злоключений произошло и с протоколами Сараевского процесса 1914 года. Но вполне надежным можно считать лежащее сейчас передо мной французское издание 1930 года, а полный текст стенограмм опубликован в 1954 году в Сараеве.

Когда молодой ленинградский историк Н. П. Полетика писал свою первую книгу, он, разумеется, не имел возможности опереться на эти и другие надежные первоисточники. В сороковые годы я был аспирантом профессора Николая Павловича Полетики. К тому времени он частично пересмотрел свои взгляды и признавал изъяны своего раннего сочинения о Сараеве. А в нем Полетика беззаботно повторял ходкие версии германской и австрийской пропаганды о возникновении войны 1914 года. Тем удивительнее, что сейчас, когда отмечается уже семьдесят пятая годовщина ее начала, В. Пикуль предлагает нам не менее поверхностную и предвзятую картину развития событий.

Почему сигналом к первой мировой войне стал относительно локальный австро-сербский конфликт? Здесь не место давать подробный ответ на этот вопрос. В Берлине, Париже и Лондоне он некогдв звучал приблизительно так: если уж идти на «большую» войну, то пусть она возникнет на Балканах и Ближнем Востоке. Здесь затронуты «жизненные интересы» российской и габсбургской империй, и они не останутся в стороне от схватки.

Итак, стрелка компаса указала на Балканы. Их в начале нашего века все чаще именовали «пороховым погребом Европы». Политические, социальные, религиозные противоречия осложнялись тут поднимавшейся волной национализма, интригами великих держав. В этой взрывоопасной зоне правителям и дипломатам Берлина или Лондона легко было найти повод для вмешательства в самый подходящий с их точки зрения момент. И когда грянули выстрелы в Сараеве, то они стали, конечно, не причиной — как у В. Пикуля,— а великолепным *предлогом* для начала великой трагедии.

Мировая война началась для Сербии в самое неподходящее время. Страна еще не оправилась от двух предыдущих войн. Не только осторожный премьер-министр Пашич, но и другие сербские политики, даже те из них, кто считал поединок с Габсбургской монархией неизбежным и необходимым, сознавали, что пока надо избежать войны, во всяком случае, максимально ее отсрочить. В борьбе за власть влияние авантюриста Димитриевича заметно падало. В противовес «Черной руке» королевич Александр сколачивал свою преторианскую гвардию — «Белую руку». «Сараево,— сообщал 10 июля из Белграда российский поверенный в делах,— спутало все карты Сербии...» В Пе-

тербурге и раньше были хорошо информированы о неготовности сербской армии. А перевооружение русской предполагалось завершить лишь к 1917 году. Было бы нелепо, исходя из этого, перечеркивать рост агрессивных тенденций в политике российского правительства, приписывать Петербургу пацифистские устремления (напомню, что именно так сперва и поступает В. Пикуль). Однако столь же ошибочно утверждать, будто генштабисты и дипломаты России весной и летом 1914 года вопреки здравому смыслу собирались немедленно спровоцировать войну. Бесспорны свидетельства — их, к сожалению, игнорирует В. Пикуль,— что российский посланник поддержал Пашича против Аписа. Не случайно даже австрийский представитель в Сербии Гизль считал, что Гартвиг совершенно не причастен к заговору против эрцгерцога.

Югославский ученый В. Дедиер и советский историк Ю. А. Писарев убедительно показали ошибочность преувеличения роли Димитриевича — Аписа. Но В. Пикуль не просто выдвинул его на авансцену, он изрядно исказил и укрупнил эту колоритную фигуру. Сразу после своего появления на страницах романа при штурме королевского дворца в 1903 году Димитриевич начинает убивать всех направо и налево. И уже здесь писатель допускает отступление от истины, так как Апис был ранен еще в воротах дворца и в дальнейших событиях не участвовал. Последующее его всезнание и всемогущество в романе тоже не соответствует фактам. Люди, хорошо знавшие полковника, свидетельствовали о его скрытности и молчаливости. А у Пикуля он то и дело выбалтывает свои кровожадные замыслы.

И самое главное. Апис действительно одно время планировал покушение на Франца Фердинанда, стремясь использовать антигабсбургское освободительное движение в Боснии. Но совершенно неправильно представлять Г. Принципа и других боснийских парней послушным орудием в руках сербского заговорщика или сторонниками «Великой Сербии». Будущие «аттентаторы» — как их потом будут называть в Югославии — молодые, неискушенные в политике люди, оказавшиеся под влиянием модных анархистских теорий, жаждали прежде всего поскорее сбросить иго Габсбургов.

Я хорошо помню свои встречи с «последним аттентатором», последним из остававшихся в живых членом младобоснийской организации Васо Чубриловичем. 28 июня 1914 года семнадцатилетний Васо вместе с братом Велько, Принципом, Чабриновичем и еще несколькими юношами караулил проезд машин Франца Фердинанда на набережной в Сараеве. После суда, казни брата, тюрьмы было в его жизни много и трудного, и хорошего. Он стал известным ученым. В весьма преклонном возрасте на заседаниях и в «кулуарах» научных конференций 1974-го и 1975 годов академик Чубрилович о давних трагических днях в Сараеве говорить не любил. И только однажды гневно поправил одного из коллег:

— Нет! Мы боролись не за Великую Сербию, а за свободную Югославию!..

Уместно вспомнить ответы Васо на процессе 1914 года:

— Ваши замыслы?

— Я помышлял о политическом и духовном единстве сербов и хорватов.

— Кто Вы: серб или хорват?

— Я сербохорват.

В годы первой мировой войны австрийские военные власти и пропагандисты, стремясь не допустить образования единого фронта сопротивления в югославянских землях, принялись разрабатывать тему об особой ответственности белградского правительства, объявленного виновником постигшей Европу катастрофы. После окончания войны оценка ее причин и характера на долгие годы стала предметом острой идеологической и политической борьбы. Теперь уже могучий отряд германских историков и журналистов, поддержанный несколькими английскими и американскими авторами, принялся акцентировать особую ответственность Сербии и «Черной руки», учинивших не без ведома Петербурга заговор против эрцгерцога с целью провокации европейской войны. Шумная полемика о возникновении войны 1914 года не затихает и по сей день. Вот несколько ее фрагментов, непосредственно связанных с тематикой романа «Честь имею».

1925 год. Э. Дарэм выпускает в Лондоне книжку «Сараевское преступление». В истории Сербии она узрела одни заговоры и убийства; сербы не способны к «восприятию западных идей», являются — подобно ирландцам! — подрывной силой. Э. Дарэм обрушивалась на белградское правительство и «влиятельные слои» русского генералитета, которые «одобрили заговор» против эрцгерцога...

1931 год. Австрийский писатель В. Брем, позже активно служивший нацистам, выпустил роман «Апис и Эсте». В одной из его сцен Димитриевич—Апис вручает в Белграде оружие Гавро Принципу, а из соседней комнаты выходит русский военный атташе В. Артамонов и благословляет боснийского юношу на убиение герцога из рода Эсте...

Середина 30-х годов. Германия вооружается; убийство в Марселе (описанное у В. Пикуля). Молодой советский дипломат под псевдонимом Эрнст Генри публикует книгу «Гитлер над Европой». Но оказывается — не фашисты грозят миру: в Англии француз А. Поцци печатает сочинение с совсем иным акцентом — «Черная рука над Европой»...

1943 год. Разгар новой войны. В июльском номере германского журнала «Аусвертиге политик» с санкции Риббентропа печатается статья «Решающий документ к вопросу об ответственности за войну 1914 года». Ее автор, австрийский историк Г. Юберсбергер, заявляет: теперь у нас есть бесспорные доказательства, что Генштаб России, петербургское правительство, вообще русские готовили убийство в Сараеве и хотели начать войну. Козырной картой Юберсбергера стал прямой подлог — он изменил текст предсмертного письма Димитриевича таким образом, будто тот сообщал Артамонову о планах покушения.

1953 год — фальшивка разоблачена при пересмотре в Югославии Салоникского процесса; в подлинном тексте письма Димитриевич категорически подчеркивал, что не сообщил «господину Артамонову... ничего о... замыслах касательно покушения».

1958 год. Г. Юберсбергер признается, что его «расшифровка» почерка Аписа была «неправильной»... Но если русские и не при чем, то сербы остаются злодеями. Об этом сочиняет специальный опус австрийский архивист Ф. Вюртле — «След ведет в Белград» (1975).

В заключение этого экскурса приведу сбалансированный вывод историка из ФРГ И. Гейса: «Сараево отнюдь не было делом сербского правительства», боровшегося тогда с «Черной рукой»; боснийские заговорщики «были в куда меньшей степени слепыми марионетками „Черной руки“, чем это до недавнего времени считалось в Германии и Австрии». Покушение «лишь косвенно можно приписать „Черной руке“ и ни в коем случае — сербскому правительству (не говоря уже о сербском народе)». Однако и поныне ряд западных историков продолжает утверждать, будто война Германии с Англией, Францией и США — побочный продукт национальных и расовых конфликтов в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Как видим, канвой для исторического романа могут послужить не только бурные события военной поры — полна внутреннего напряжения и последующая дискуссия об «ответственности». Тоже тема для писателя! Во всяком случае, этапы и промежуточные итоги этого спора следует принять во внимание каждому, кто считает себя вправе описывать катаклизмы начала нашего столетия. Приходится с сожалением констатировать, что В. Пикуль избрал неверный путь.

Ознакомление с романом «Честь имею» наводит на грустные размышления. Быть может, возникновение и ход первой мировой войны относятся к пресловутым белым пятнам истории, и писатели призваны помочь спасовавшим ученым? Рискну ответить на эти вопросы отрицательно. Многие относящиеся к войне проблемы изучены с привлечением архивных текстов.

Должен ли автор исторического романа забираться в архивохранилище? В давнее время Александр Дюма основательно поработал в архивах Неаполя. Это позволило ему создать свой самый правдивый роман «Сан Феличе», в котором предстает история Южной Италии конца XVIII века, нарисованы яркие портреты патриотов-республиканцев, фанатиков-монархистов, заносчивых британских моряков. (При всех конкретных исторических несообразностях в других, более знаменитых романах этого писателя, их персонажи — все-таки герои именно *своей* эпохи, духу которой французский романист верен). Когда В. Пикуль писал книгу о Горчакове, ему было бы небесполезно тщательно изучить письма и другие неопубликованные бумаги русского канцлера, хранящиеся в Государственном архиве Октябрьской революции. Тогда бы он, по крайней мере, не нарек свое произведение «Битвой железных канцлеров» — А. И. Горчаков был кем угодно, только не «железным». (Ученый из Новосибирска В. Л. Глебов пишет мне, что и название «Честь имею» крайне неудачно. Напрасно герой романа столь часто употребляет это выражение — честь не провозглашают, ее «имеют» либо не имеют. В. Пикуль, заключает В. Л. Глебов, «не уловил ни духа языка, ни социальной психологии среды, о которой пишет».)

Как-то даже неловко рекомендовать маститому писателю больше времени уделять подготовительным занятиям, изучению не только архивов, но и вполне доступной литературы, однако приходится завершать эти заметки именно на такой скучной ноте.

* * *

Уже после того, как мои заметки были представлены в печать, я познакомился с «Диалогом» В. Пикуля и критика С. Журавлева («Наш Современник», 1989, № 2).

Относительно романа «Честь имею» В. Пикуль горделиво сообщает, что задумал его еще в 60-х годах, писал пять лет (!) на основе большого количества «малоизвестных исторических материалов». Выходит, я был не совсем прав, объясняя грубые промахи в романе «Честь имею» его поспешным изготовлением. Но тем поразительнее выглядят явные изъяны во взглядах автора на историю и «разухабистый» стиль этого произведения.

ИСКУССТВО

Е. СОКОЛИНСКИЙ

ТОЩАЯ КОРОВА И ХИМЧИСТКА

Заметки о театральном репертуаре

Бежал я как-то мимо Театра эстрады и наткнулся на афишу с броским названием: «Тощая корова или белые, серые, черные пятна истории, возникшие в период гласности и перестройки. Политическое кабаре». Название застряло в памяти. Захотелось написать о том, как мы «отчищаем» пятна нашего многострадального театрального репертуара и еще более многострадального общественного сознания. «А при чем тут корова?» — спросит читатель. Но разве театр не похож на корову, от которой постоянно требуют повысить надои? А как она — тощая, некормленая, грязная — может их повысить, если некому доить?

Впрочем, оставим метафоры. В начале прошлого года на творческой конференции во Дворце искусств Владимир Арро говорил о современной драматургии и ее насущных задачах. По его мнению, драматургия слишком долго выполняла несвойственные ей функции. Сейчас, радовался Арро, исчезают производственные пьесы, скоро исчезнут и пьесы — политические диспуты. Так ли это? Пока театр едва ли не более, чем прежде, ощущает требования «политического заказа». Театр привык заниматься политическим образованием публики и ныне хочет демократизировать сознание зрителя, дать ему возможность пройтись по верхним этажам власти «с ревизией». Другой вопрос, как он понимает демократизацию и какими средствами располагает.

КТО ТАМ НАВЕРХУ?

Первым на ленинградской сцене рапортовал о перестройке Театр драмы имени А. С. Пушкина, представляя зрителю пьесу О. Перекалина «Чужая ноша». От «перестроечной» пьесы мы ждем прямого публицистического высказывания. Что же хотят высказать молодой драматург и театр вместе с ним? То, что депутат, слуга народа, не должен от последнего отрываться. Новизной мысль не пропазет. Может быть, герой перестройки нов? Рабочий Кормилицын (И. Горбачев) сочетает горячность и наивность розовских мальчиков (крушит стеклянные парники, добытые по блату) с учительством кочетовского старика Журбина. Городское и заводское руководство вынуждено уговаривать строптивого рабочего на кладбище (!). И хотя у романтической могилки под деревом в цвету действуют не граф Альберт с безумной покойницей, а знатный стеклодув с секретарем партбюро (Н. Ургант), так и видится, будто они исполняют смертельно утомляющий танец давно отошедших персонажей.

У Пушкинского театра своя жизнь со специфическим способом формирования репертуара. Министерство культуры заказывает Перекалина и с удовлетворением его получает. Резонно ожидать, что в свободном творчестве нового хозрасчетного театра мы встретим иные сюжеты, иную эстетику. Ну что ж, давайте заглянем на спектакль ленинградского экспериментального театра-студии «Глобус».

В качестве программного произведения театр выбрал комедию В. Котенко «Железный занавес». Какими узами «Глобус» ленинградский связан с шекспировским, можно только предполагать. Одно несомненно: театру с таким названием необходима масштабная пьеса. И в масштабности «Железному занавесу» не откажешь. Я бы определил комедию воронежского автора как энциклопедию перестроечных тем. Нет проблемы, муссируемой в прессе, которая хотя бы в одной реплике не отражена у Котенко. И повороты рек, и общество «Память», и 37-й год, и награды Брежнева, и проституция, и семейный подряд. Лес жалко на бумагу переводить, а то бы я все перечислил!

Собственно, фабула для сатирической комедии неплоха: в одном центральном регионе решили отделиться от перестройки «железным занавесом». Связь с Москвой прервали, поезда и самолеты отменили, центральные газеты в киосках не продают. Но в конечном итоге все сводится к знакомому лозунгу: во всем начальство виновато. Возглавляет область некий Плюсов (Ю. Булгаков), грубоватая пародия на Брежнева. А окружают его и вовсе ничтожные люди. Если раньше любили показывать, как разлагается Запад, теперь изображают оргии отечественных аппаратчиков. В сауне или номенклатурном «бункере» в одежде не стесняются, «нрав» не сдерживают. Герои перестройки тоже шутят в пикантном стиле: «страну спасать надо, а Вы штаны снять не можете». Вероятно, худсовет театра и режиссер эстрады Н. Мокроборо-

дова всерьез убеждены в собственной смелости. Вынужден разочаровать «глобусян». Художественная пошлость не бывает смелой. В качестве громоотвода она даже желанна. Плюсовым и им подобным.

При всех содержательных, жанровых, стилистических различиях спектакли этого ряда тешат зрительский «комплекс подчиненного» и тем не менее удовлетворения не приносят. Нельзя сводить обновление социальной психологии к обличению начальства как особого класса или прослойки. Это метод оценки человека периода сталинщины и брежневщины, когда важна не личность, а социальная функция. И не только на уровне «Железного занавеса». Поскольку одним фельетонным обличительством жив не будешь, возникает потребность в элементарной философии власти. Философия предлагается довольно мрачная. Взять хотя бы спектакль «Дракон» по Е. Шварцу (Театр имени Ленинского комсомола). Предельно упрощенная режиссером Г. Егоровым трактовка свела на нет глубокую, мудрую авторскую идею. В финале рыцарь справедливости Ланцелот, получив власть, сразу становится злым чиновником. Напрашиваются два (действительно ли два?) вывода. Либо человек, став руководителем, автоматически превращается в бюрократа, аморального типа. Тогда смена руководства бессмысленна, и всякого рода отклонения, искажения следует принимать как непременную суровую плату за организацию общества. Либо всякая власть плоха, поэтому ее нужно свергнуть и прийти к анархии. Обе версии мне не близки, ибо они — две стороны одной медали. А ничего другого зрителю не предлагают.

Ассортимент театральной перестроечной тематики сравнительно невелик. По сути, вторая значительная тема политического воспитания — антикультовская — тоже вариация обличения плохого начальства. От Сталина сегодня очень хочется избавиться. Но, как известно, историческую фигуру не сбросишь с пьедестала, пока она не оказалась фигурой комической. И вот московский поэт В. Коркия, автор пьесы «Черный человек, или Я — бедный Сосо Джугашвили», и студенческий театр МГУ сделали первый шаг в этом направлении. Сталин и Берия, зловещие фигуры мировой истории, предстали в виде гротескных клоунов. Можно увидеть в череде бесчисленных репрессий нелепость и абсурд, но абсурд трагический. Коркия же, скорее, хочет позабавить нас, когда говорит о подвалах НКВД или о чудовищном замысле Берии уничтожить всю страну. Происходящее на сцене нельзя воспринимать всерьез — в пьесе есть многое от чисто литературной игры. Жанр «Черного человека» — паратрагедия — производится и от пародии, и от парафразы. Сталин и Берия обмениваются перефразированными строками из «Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери», «Демона», «Гамлета», «Черного человека» С. Есенина и... мультфильма «Бременские музыканты». Литературные «призраки» понадобились автору как будто бы для развенчания претензий Сталина и Берии на величие, гениальность. Фактически происходит иное. Коркия наделяет своим остроумием «клоуна»-Сталина, и вместо комического снижения получается возвышение. Сталин, проводя «дружеский» допрос своего подручного, настолько изобретателен, так безошибочно загоняет Берию в угол, что мы невольно им восхищаемся. И финал, когда таинственные субъекты загоняют самого Сосо в бетонный саркофаг, этого ощущения не сбивает. Бесспорно, Коркия — человек даровитый. Достигнуть же масштаба трагического балагана «Смерти Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина он не сумел, ограничившись уровнем оригинального политического капустника.

Разумеется, тема сталинских репрессий звучит сегодня не только в комедийной тональности. «Колыма» И. Дворецкого — первая и пока что наиболее серьезная пьеса о лагерях 30—40-х годов. Скажу откровенно, Театр имени Комиссаржевской сделал по «Колыме» один из лучших своих спектаклей последних лет. Однако есть еще высота проблемы, от которой только и следует вести отсчет.

Не отдельных подробностей лагерной жизни мы ждем от театра. Мы ждем истинности целого. А в пьесе и в постановке Р. Агамирзяна сама композиция искусственно геометрична: плохому следователю Солодухе (М. Матвеев) противостоит добрый (А. Дельвин), злому уголовнику — добрый уголовник. Если уж Солодуха в первом действии ударил по лицу арестованного генерала Рыбакова (И. Конопацкий), то во втором обязательно наступит возмездие. И освобожденный Рыбаков, пышущий здоровьем и оптимизмом, вернет пощечину Солодухе. «Начальник конвоя — добрый, наивный, чистый татарин» (рецензия Г. А. Лапкиной). Еще бы — роль поручена самому обаятельному актеру труппы В. Дегтярю.

Справедливость требует сказать: пьеса принадлежит 60-м годам, когда был написан первый вариант. Мы живем в 1989-м, читали то, что написали о Колыме В. Шаламов, Г. Жженов. Придуманное драматургом и режиссером обрамление старой драмы — якобы актеры народного театра играют спектакль про лагерь — положения существенно не меняет. Мы так и не узнаем про сегодняшние ожесточенные споры вокруг Сталина, зато прикрытие народным театром дает право на неточность. Некоторые рецензенты радуются героической интонации «Колымы». Ла-

герь становится школой мужества, испытанием, где проверяются на прочность идеи, характеры. Но ведь речь идет не о подвигах во славу отечества — о страшном преступлении, о массовом уничтожении и подавлении миллионов людей. Автор «Колымских рассказов» В. Шаламов, пробывший в сталинских застенках семнадцать лет, подчеркивает: лагерь — отрицательный опыт для человека. «Ни один человек не становится ни лучше, ни сильней после лагеря». И еще: «важно воскресить чувство... Только при этом условии можно воскресить жизнь». Работа комиссаржевцев потрясения не рождает. Грустные размышления, да. Не более.

Театр, какой он есть, пока не знает, что ему делать в условиях тотальной политизации общества. И при нынешнем состоянии режиссуры наивно было бы требовать неожиданного обновления. Есть у нас прекрасные режиссеры. Правда, они не создают новой школы (в отличие от лидеров 60-х годов) и к тому же заняты другими делами. Публицистическая драма их не привлекает. Разочаровавшись в отечественной драматургии, театр в основном ищет в трех направлениях. Первое: усложнение философского содержания и эстетической формы сценического действия (Э. Некрошюс, А. Васильев, отчасти Г. Яновская, Р. Виктюк). Второе направление: «внелитературные» композиции (например, по песням А. Галича и В. Высоцкого), свободные коллажи из прозы, поэзии, воспоминаний («На изломе бытия» в Студии-87, «Возвращенные страницы» в Малом драматическом). И наконец, третье направление — традиционная палочка-выручалочка: инсценировка.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

«Уничтожим белые пятна в истории!» — провозглашаем мы. Легко сказать! Иногда кажется: весь период от 17 до 53 года — сплошное белое пятно. Только художественная информация из романов и повестей, опубликованных за последние два-три года, помогает хотя бы частично его ликвидировать. И здесь перед театром неминуемо встает вопрос взаимоотношений со временем. Додиным в «Братьях и сестрах» и «Доме» предложены многие принципиально важные приемы работы с прозой. Но развитие искусства не обязательно идет по спирали вверх. Иногда вниз, иногда вбок. В последние сезоны прозаическую структуру нередко ломают без возмещения — время представляется режиссеру податливым и легко трансформируемым.

Не надо коленопреклоненно взирать на время снизу вверх — надо его внимательно слушать. Мы же чаще сталкиваемся с легковесностью антиисторического мышления. Обозначается внешняя атрибутика эпохи, не более. Так уж получилось: нас сегодня преимущественно интересуют 30-е годы. Непременным музыкальным штампом спектаклей о 30-х годах стали песни «Все выше, и выше, и выше», «Марш энтузиастов». Вот, мол, как прикрывали творящиеся беззакония! В гастрольном спектакле Одесского русского драматического театра имени А. Иванова «Дети Арбата» (постановка А. Чернядева) атмосфера времени была передана с помощью «угрожающе» двигающихся серых кулис и падуг — на них помещены портреты репрессированных и расстрелянных. Стоило успокоиться кулисам и отзвучать мрачным звукам симфонии Шостаковича, начиналась бытовая драма, причем лица исторические (в частности, Сталин) тоже превращались в персонажей «коммунальной» истории. Непомерно разросшийся в инсценировке С. Коковкина сюжет с зубным врачом Липманом наводит на мысль, будто бы от зубной боли «великий вождь» и озлобился.

Тема намеренного и непреднамеренного комизма в изображении 30-х годов — особая. Скажем, в повести «Васька» С. Антонова пародийный слой достаточно органичен. И вполне оправдан эпизод Васькиного сна, придуманный режиссером Д. Астраханом (ТЮЗ имени А. А. Брянцева). Васька размечталась о дивном празднике: красные энкавэдэшники «красиво» расстреливают злодея Осипа, и он томно падает в вагонетку, выставив на публику большие босые ступни. Бригадир Митя с десятком младенцев является в качестве жениха, а начальник Метростроя Лабода в красной короне катит на жениха и невесту. Здесь все перемешано: жестокость и благодушная мечтательность, религиозное сознание и приметы нового, представления городского жителя и деревенского. С большим или меньшим успехом тюзовский спектакль пытается эти противоречия отразить. В нем много иронии, однако вызывают ее не люди 30-х годов, а эстетика, впитанная и развитая молодыми писателями вроде Гоши, возжелавшего вселенской славы любой ценой. Перетекания из жизни пародийной, выдуманной гошами, в жизнь подлинную, трагическую, с ее подозрительностью и арестами и составляют жанровую особенность «Васьки».

Хуже, когда спектакль, претендующий на раскрытие психологии людей 30-х годов, чуть ли не полностью выстраивается в стиле пародийном. Театр имени Ленсовета одним и тем же приемом пытается раскрыть и комедию Константинова — Рацера, и документальную «Блокадную книгу», и драматическую повесть Б. Васильева «Завтра была война». Ключевым словом постановки, определяющим предвоенные годы, оказывается «нелепость». Ребята и девушки (за исключением Вики — А. Алексахиной) и большинство их родителей слова не скажут, чтобы не ляпнуть чего-либо невпопад, шагу не шагнут, чтобы не оказаться неловкими. Это не мешает им попутно заниматься физкультурой. Искра, задумываясь об истине, залезает на шведскую стенку, отец Зины входит в комнату, предварительно делая кувырок на кольцах. Очевидно, режиссурой (И. П. Владимиров) ставилась задача стилизации в духе спортивных кинокомедий 30-х годов. Да, и в 39-м молодежь веселилась, влюблялась, поэтому многого вокруг не замечала. Но почему спустя 50 лет мы должны довольствоваться уровнем обыденного сознания, упиваться наивностью персонажей? Я не призываю рассматривать ту эпоху лишь сквозь призму нашего знания о сталинских репрессиях. Но когда водевильная сцена «любовного» свидания Зины перерастает в такую же нелепую сцену ареста Люберецкого под песенку «Моя Марусечка», поражаешься художественной бестактности решения. Во втором акте, правда, властвует стихия мелодрамы, однако общий стиль театрального примитива сохраняется.

Кому-то «лубочная» стилистика спектакля импонирует. Приятно испытывать чувство превосходства по отношению к людям 30-х годов, увидеть, насколько мы тоньше, умнее. Казалось, стереотип изображения наивных живчиков и оптимистов после фильма А. Германа «Мой друг Иван Лапшин», после опубликоввния повестей А. Платонова, А. Жигулина, документальных свидетельств должен бы отойти в прошлое. Нет, жив курилка! Спрашивается, полезно ли воспитание у зрителя чувства исторического высокомерия? Если нам и известно нечто большее, чем людям 30-х годов, то это не всегда наша заслуга. Нам это знание передали в готовом виде. Нет у нас прав и оснований судить наших отцов и матерей, тем более смеяться над ними. Как правило, «историческое высокомерие» свидетельствует о серьезных пробелах в образовании, в том числе пробелах литературных. И здесь театр вновь торопится прийти на помощь, избавить публику от этого пятна.

А НОСОРОГ-ТО ГОЛЫЙ!

В одном из интервью Г. А. Товстоногов поделился мыслями о современной театральной ситуации. Сегодня, когда новых значительных советских пьес еще не появилось, считал руководитель АБДТ, самый реальный способ обновления репертуара — ставить Дюрренматта, Фриша, Беккета, то есть авторов, которых мы не по своей воле «пропустили». Идея Товстоногова нашла отзвук во многих режиссерских сердцах, но мне согласиться с ней трудно. А должен ли театр выполнять функцию иллюстратора истории мировой литературы? Да, мы «пропустили» много славных имен и в далеком прошлом, и в настоящем, но задача избавляться от «серых» пятен в познании литературы — не главная для театрального искусства. Пусть будет больше публикаций, пусть выходит больше книг, открывающих забытые имена. Театр же говорит о том, что отзывается болью в конкретный момент общественной жизни. Однако не исключено: именно «В ожидании Годо» звучит набатом в режиссерском сердце. Давайте все же обратимся к сценической практике.

Самый популярный среди «забытых» писателей, печатавшихся за границей,— Владимир Набоков. Публиковать Набокова начали сразу в нескольких журналах — в ленинградском же театре пальма первенства принадлежит Льву Рахлину, руководителю театра-студии «Народный дом» при Ленинградском мюзик-холле. Первая постановка в СССР комедии Набокова «Событие» — это звучит эффектно.

Принадлежит ли пьеса, написанная 38 лет назад, истории литературы, или от «События» тянутся нити к настоящему — вопрос спорный. Одно несомненно: Набоков требует режиссуры и исполнения «высшего пилотажа». «Событие» — пьеса для литературных гурманов. Есть в ней признаки салонной парадоксальной комедии уайльдовского типа и постоянное балансирование на грани условности театра и театральности жизни, изящная ирония над собственными художническими метвениями.

Под силу ли передать такую многослойность недавно созданной труппе молодых, в основном, актеров? В данном случае чуда не произошло. Рахлин, правда, задает верный тон знаменитой песенкой А. Вертинского «Пани Ирэна». Но чтобы его держаться, нужен тонкий музыкальный слух, слух на стиль. А «слухом» в спектакле обладает, пожалуй, только художник И. Бируля. Самому Рахлину не удается «попасть в жанр». То перед нами разыгрывается мелодрама из жизни продавшего свое искусство художника, то адюльтер из светской жизни, то грубый фарс о мещанских нравах. Но сугубой серьезности не отвечает текст пьесы, о светской жизни артисты имеют представление отдаленное, а для фарса надобен вкус. Его нет. И зритель «голосует ногами» против несостоявшегося «урока эстетического воспитания».

Однако есть события и поинтересней, чем первая постановка Набокова на советской сцене. Пришла пора и нам разобраться с абсурдизмом. В застойные годы руководящие товарищи абсурдистов не

жаловали. Прекрасно помню гневную отповедь Н. П. Акимову в одной из ленинградских газет середины 60-х годов: режиссера отчитывали за возмутительное желание поставить «Носороги» Э. Ионеско. И вот через какие-то двадцать лет мы увидели известную всему миру пьесу в родном городе. Спектаклю предшествовала умопомрачительная реклама в популярной телепрограмме «600 секунд». Заинтригованным зрителям показали сцену стриптиза крупным планом. Придирчивый критик напомнит, что такой сцены в пьесе нет. Это несущественно. На следующий день народ валом повалил во Дворец молодежи, привлеченный сенсационной премьерой.

Слов нет, абсурдистская «логика» близка начинающему постановщику В. Колесникову. Однако мысль об абсурдности бытия, к сожалению, недостаточна для большого представления.

Драматурга интересовало другое. В первом акте он демонстрирует, как завораживающе действует на человека формальная логика. Жан и Беранже ведут искрометный диалог, жонглируют фразами, естественная же логика тем временем полностью нарушена. Диалог в театре Ленинградского Дворца молодежи разрушается по другой причине: вследствие непрофессионализма актеров и режиссера. Становится нестерпимо скучно. Зато в финале второго акта терпеливые получают обещанную награду. Из-за кулис выпархивают несколько почти обнаженных девушек. Занавес падает. Наиболее чувствительные зрители тоже. Для непонятливых поясню: «голизна» обозначает превращение в носорогов, возвращение в первобытное животное состояние. Надо оценить парадоксальное остроумие Колесникова. Вместо того, чтобы надевать на очаровательных актрис грубые панцири, он раздел их совсем.

В последнем действии заняты только три человека, пространство сужено железным занавесом, и режиссер чувствует себя более уверенно. Тут-то и начинает проклевываться смысл происходящего. Оказывается, вся беда в эгоистичности и словоблудии главного героя пьесы — Беранже. К больному Беранже приходит сослуживица Дэзи. Пытаясь отвлечь Беранже от тягостных размышлений, она раздевается догола. Это не производит на любящего мужчину ни малейшего впечатления. Девушка повисает вниз головой, держась миниатюрными ступнями за уши своего избранника. Он продолжает размышлять о нравственных проблемах. Оскорбленная Дэзи покинула Беранже и превратилась в носорожицу. На героя падает страшная вина — ведь оставалось только двое людей в целом мире! Если бы Беранже не поддался излишней рефлексии, человечество продолжило бы свой род и было спасено! А так остались одни носороги.

Показанное в театре приближается к бреду, хотя вполне логичному с носорожьей точки зрения. Вместе с тем «Носороги» могли бы прозвучать очень злободневно. Разве проблема манипулирования общественным мнением, проблема конформизма не волнуют нас сегодня? Но об этом говорить сложно. Гораздо проще привлечь зрителя раздеванием, добавить в качестве музыкального фона «Помилуй мя» С. Рахманинова, К. Пендерецкого, Нино Рота. И назвать получившийся компот экспериментом.

Впрочем, настоящий эксперимент угнездился-таки под гостеприимной крышей ЛДМ. Группа «Дерево» (руководитель А. Адосинский), наконец, полностью порвала со сковывающим текстом и сквозной идеей. Единственная примета, объединяющая сюрреалистические картины,— бритые наголо черепа мужчин и женщин. Не возьмусь объяснить, какой импульс привел к тотальному облысению актеров: знаменитая пьеса Ионеско «Лысая певица» или некоторые полотна Филонова, но, конечно, для изображения «возни новорожденного», «чувства равновесия лупатиков» (так заявлено в философской программке к спектаклю) бритые черепа совершенно необходимы! Поэтику «Дерева» трудно постичь умом — только кожей. Говорят, студия исходит из древнекитайской философии «дао». Пусть так. Замечу лишь: не каждый ощутит прелесть долгих судорог, долгого чавканья в темноте. Не знаю также, сопрягается ли с восточной философией явное заигрывание с публикой, особенно в игре самого Адосинского?

Радует, правда, предельная самоотверженность участников группы. Надо висеть голому под потолком вниз головой — висят; надо ерзать опять-таки нагишом по мокрому мыльному полу — ерзают; надо бить друг друга водосточной трубой — бьют. А уж такого жуткого вопля, который издала девушка в ватнике, скатываясь по ступенькам зрительного зала, я не слыхивал никогда. Приятно сознавать: группа не переоценивает свои силы. На двери в зальчик висит скромная табличка: «Уважаемые зрители! Ни спектакль, ни сегодняшний просмотр никакого значения не имеют». Создателям виднее...

И все-таки подобные эксперименты не слишком характерны для нынешнего студийного движения. Беккета, Ионеско и других западных новаторов с многолетним для нас стажем воплощают, как правило, теми же средствами, что Софронова, Володарского, Варфоломеева и прочих крепких реалистов. Формальные поиски, как ни парадоксально, если и проводятся, то на более традиционном материале. Конечно, хочется не отстать от прогресса, оказаться в первых рядах. Увы, для того, чтобы оказаться первым, желательно обзавестись собственным мировозрением. С этой позиции не столь уж существенно, кто первым сказал «э». Видимо, нельзя брать интеллектуальную драму наскоком.

«А что же прикажете играть? — спросят меня.— Публицистика конъюнктурна или недостаточно публицистична, инсценировки примитивны, для зарубежной драматургии не хватает европейской культуры. Или ограничиться одноактовками из Библиотечки „Репертуар художественной самодеятельности“?» Думаю, между Кафкой, Джойсом и Л. Синельниковым существует много промежуточных этапов, почему-то театру неинтересных. Его влечет к картинам из «ненашей» жизни или вообще не из жизни. Очевидно стремление отстраниться от реальности тем или иным способом. Странно напоминать, что нельзя достоверно изобразить чужую жизнь, не зная собственной. Хотя как раз театр-студия намного лучше любого заматеревшего профессионального коллектива способен изобразить наш быт и бытие в натуре. Однако существует объективная потребность искусства в более высоком уровне жизненной правды. Подгоняют и конкуренты: кино, телевидение. Правда, «первое» знакомство с жизнью приводит чуть ли не к шоку. Обсуждая такие фильмы, как «Маленькая Вера», «Соблазн», «Дорогая Елена Сергеевна», «Легко ли быть молодым», Ст. Рассадин говорит о «хорошем чувстве ужаса», испытанном им. И театр предлагает нам свои «фильмы ужаса» в сочетании с русским вариантом абсурдизма.

АБСУРД «А ЛЯ РЮС»

В принципе русская душа отзывчива на любое новое веяние. Отмечая седьмое десятилетие существования государства, мы «неожиданно» открыли, что у нас существуют проституция, наркомания, коррупция и тому подобные приятные вещи. Назвать эти явления родимыми пятнами капитализма не позволяет совесть. Остается признать их черными пятнами социализма. На литературно-театральном жаргоне — «чернуха». Впрочем, «чернухой» называют любое изображение мучительных противоречий действительности без радостного воздевания рук в финале. Раньше заниматься «чернухой» было зазорно. Теперь вроде и престижно. Потому нисколько не удивляюсь появлению пьесы А. Дударева «Свалка».

В «Свалке» драматург решил расправиться со всеми социальными пороками общества сразу. Для этого требуются ударные средства. И Т. В. Доронина пригласила на постановку в свой МХАТ В. Беляковича, умеющего выстроить броское, динамичное зрелище в бит-ритме. Режиссер создал атмосферу некоего полумистического кошмара. По огромной вращающейся конструкции, изображающей стадион, бегают уголовного вида молодчики и люди в противогазах — «очистители скверны» опрыскивают сцену и публику непонятной дымящейся химией (зрителям противогазов не дают). На заднике сквозь дым виднеются искореженные фигуры с картин Сальвадора Дали. И какая-то женщина в развевающихся одеждах корчится в экстатическом брейке.

Постепенно из «дыма» выплывают фигуры, популярные у средств массовой информации: бомж, афганец (парень, служивший в Афганистане), проститутка, изнасилованный охранник зэков (вспомним Сакалаускаса), смещенный с должности начальник, палач, расстреливающий в застенках невинных людей. Каждый пришел на свалку истории, чтобы исповедаться и покаяться. Автор с очевидной симпатией относится к грешникам, ибо тот, кто покается, будет прощен. К примеру, чистоту и добродетельность проститутки Русалки трудно описать. У кого не навернется слеза, когда эта героиня (ее играет актриса Т. Шалковская) с пафосом опытной общественницы рассказывает публике о своей заветной мечте: сварить гороховый суп для афганца?

Однако есть люди, которые мешают каяться. На свалку приходят юноши-экстремисты типа люберов (в пьесе их называют бригадистами). Тут уж, как выражаются персонажи драмы, «города горят и кровь пузырится». После очередного распятия, изнасилования проститутки и жестокого избиения «мудрый» афганец с невозмутимостью вождя краснокожих открывает вентиль баллона с газом и отравляет себя и связанных бригадистов. Музыкальная вакханалия, красный свет, ужас, мрак!

И пьеса, и спектакль чрезвычайно претенциозны и невнятны. Какая идея вела автора? Единственный вывод, который можно сделать из этого неосимволистско-неоабсурдистского представления: не трогайте кающихся и заблуждающихся — они сами себя замучают. Конечно, к абсурдизму как направлению философско-эстетическому Дударев отношения не имеет. По природе своей он дидактичен и прост. Но театральная мода требует многозначительности, шоковых приемов, брейка, секса — и автор вместе с режиссером смешивает указанные ингредиенты в свободных пропорциях. Мне скажут: жизнь смешивает, сталкивает и не такое. Согласен. Только художник в жизненном хаосе ищет закономерности. Констатация хаоса сама по себе бесперспективна. Лю-

бое изображение жестокости оправдано лишь тогда, когда оно освещено любовью к людям. А в «Свалке» есть какая-то перечислительность интонации: «и это у нас имеется, и то; мы еще и такое можем!». Дело ведь не в нагнетании ужаса. Реальная, жестокая правда тоже вызывает потрясение.

В этом смысле единственный наш «жестокий абсурдист» — Людмила Петрушевская. В ее пьесах никого не насилуют, не пытают, не убивают, вообще ничего экстраординарного не происходит. В основном люди сидят, пьют, разговаривают. Ощущение чудовищности рождается из обыденного. Петрушевская человечна, и в то же время она жестче, чем представители направления «шоковой терапии». Широкому зрителю, режиссуре, да и ряду критиков трудно примириться с отсутствием у нее малейшей поэтизации чувств, патетики. И лучшие наши режиссеры стремятся как-то подправить Петрушевскую хотя бы в стиле мхатовского Чехова, опоэтизировать то, что поэзией не является, приподнять над бытом пошлое и страшное. Единственным, кто избежал соблазна, был Кирилл Датешидзе.

По-моему, пришла пора воздать должное Датешидзе, этому рыцарю Петрушевской и других запретных и полузапретных авторов. В трудные годы, задолго до перестройки и репертуарной свободы, он ставил и играл эрдмановского «Самоубийцу», «Мать Иисуса» А. Володина, «Сырую ногу», «Стакан воды», «Любовь» Петрушевской. «Сырая нога» сейчас восстановлена К. Датешидзе и актерами Театра имени Ленсовета, играется под эгидой ВОТМ (Всероссийское объединение «Творческие мастерские»).

«Сырая нога, или Встреча друзей» — пьеса странная. То есть ничего вроде бы удивительного в ней не случается. Никакого дна общества. Напротив, персонажи — средний слой так называемой интеллигенции с высшим образованием, есть даже кандидат наук. Обыкновенная семья: муж, жена и свекровь, приятели и приятельницы мужа и жены. Заботы у них очень простые: достать денег, еды, выпивки, найти, где переночевать и к кому приткнуться. Однако воплотить эти, в большинстве своем, естественные желания практически почти невозможно. Тут-то и начинается наш русский абсурд!

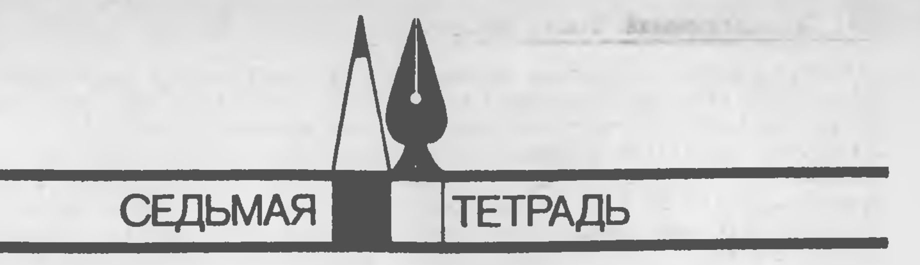
Хочется понять — ради чего собираются «друзья»? Регулярные пирушки требуют денег, которых у большинства нет; расходятся после вечеринки недовольными; но вот собираются же — без видимой цели чуть ли не каждый вечер, «треплются» и обижают друг друга. Петрушевская не «обличает». Она исследует психологию компании (вспомним ее страшный рассказ «Свой круг», пьесы «День рождения Смирновой», «Чинзано»). Откуда берется компания, бессмысленно и пошло проводящая время, часто — жестокая? Вероятно, дело в чувстве бездомности и экономической несамостоятельности. Отсюда и подавленность. Перед нами, независимо от возраста, «социальные дети», испорченные, злые, но дети. Со свойственной детям непоследовательностью, неспособностью довершить начатое и безответственностью.

Ах, как хотелось бы думать, будто Петрушевская вместе с театром показывает слой выродков, не имеющих к нам никакого отношения! К сожалению, это не так. Петрушевская лишь довела то, что существует в большей части общества, до предела, до абсурда. Вам не нравится нарисованная «картинка»? Что делать? Наши родители были детьми «великого кормчего», а потом мы — детьми другого кормчего, правда, не слишком великого, затем детьми третьего. Сегодня пытаемся повзрослеть.

Конечно, и театр, тоже «испорченное дитя», желает повзрослеть. С энтузиазмом первооткрывателя бросается на выделяющиеся пятна: белые, серые, черные. Слов нет, их надо уничтожать. И все же функция химчистки для театра — не основная. Пятна без поверхности, на которой они сидят,— вещь неубедительная. Любая избирательность ведет к искажению общей картины. Неожиданный переход из одной крайней позиции к другой органичным быть не может. Появляются надсадность, кликушество. Кто виноват в сегодняшнем положении театрального искусства? Время? Нерешенность управленческих, экономических вопросов? Да.

Но, может быть, права Г. Яновская, поставившая в Московском ТЮЗе комедийный и грустный спектакль «Соловей»? В новой версии андерсеновской сказки речь идет о людях, зациклившихся на одной мысли, фразе, на самих себе. Для таких людей искусство шарманки — самое прекрасное. Автомат, уверенно декламирующий одну и ту же пастернаковскую строчку «Свеча горела на столе...», гораздо интереснее искусства подлинного, непредсказуемого. Пока мало что изменилось в театральной психологии в целом. Правда, в шарманку вложили новую мелодию, более залихватскую.

А хочется увидеть на сцене живых, да еще пробудившихся от сна людей, хочется страстной объективности! Не в плане уравновешивания черного белым, идей сталинизма — идеями перестройки, а в плане многообразия и сопряженности жизненных проявлений, тем, характеров. Полезно ли кормить «корову» театра одними пряностями? Ей ведь нужно полноценное питание. Тогда и мы перестанем пробавляться порошковым молоком искусства.



Ю. СКОРИКОВ

ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ — ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Литературная газета» в минувшем году организовала встречу деятелей культуры «за круглым столом». На ней с болью и надеждой говорилось о «великом городе с областной судьбой». А вскоре после этого состоялась беседа корреспондента «Ленинградской правды» с Даниилом Граниным: «О наболевшем».

В фокусе общественного внимания оказались вопросы о судьбе Ленинграда, его застарелых проблемах, культурных и духовных ценностях. Прозвучал призыв восстановить былую славу и традиции прошлого. Но все же очень наивным выглядит вопрос одного журналиста, заданный на пресс-конференции ленинградских делегатов XIX Всесоюзной партийной конференции Гранину: «Оправдала ли конференция Ваши надежды? Станет ли после нее Ленинград — великий город с областной судьбой — великим городом страны?». Писатель ответил: «Во многом мои надежды оправдались!.. Что касается Ленинграда, то вопрос специально на конференции не поднимался... надо поставить проблему города в практическом плане в масштабах всей страны...».

Ответ исчерпывающий. Остается лишь определить, когда и что смогут предложить ленинградцам, какие крупномасштабные неординарные меры приведут к революционному повороту в архитектуре и строительстве Ленинграда, разовьют, продолжат лучшие традиции прошлого.

Сегодня площадь города около семисот, а вместе с подчиненными Ленсовету районами в пригородной зоне — тысяча четыреста квадратных километров! Вот в пределах этой цифры и происходит так называемое «повышение плотности застройки при сохранении существующих границ», или, называя все своими именами,— дальнейшее расширение территории Ленинграда.

Но мы отдаем себе отчет, что, осуществляя неотложные социальные задачи, в том числе строительство более семисот тысяч новых квартир, нельзя поднимать вопрос о пересмотре утвержденного генерального плана развития Ленинграда до 2005 года. Поэтому не мешает задуматься — а что ожидает нас после этой даты?

В следующем столетии будут продолжены работы по сохранению центральной части города и модернизации промышленности. Настанет пора замены физически и морально устаревших жилищ. А это означает, что потребуются площади для нового строительства и продолжится наступление на остатки лесов и сельскохозяйственные угодья...

Надо полагать, что в будущих районах найдут применение лучшие достижения в области архитектуры и строительства, но трудно представить, как будут развиваться архитектурные ансамбли без Невы, ее протоков и каналов, на значительном удалении от исторического центра. Даже при удачном решении транспортных проблем мегаполис не предстанет единым целым, а архитектурная сердцевина города останется большим музеем.

Именно как альтернатива такой концепции дальнейшего развития города возникла идея — превратить акваторию Невской губы в новые районы Ленинграда.

Невская губа расположена в восточной части Финского залива от острова Котлин до дельты Невы. Ее средняя ширина около пятнадцати, протяженность почти двадцать пять километров, а площадь — около четырехсот квадратных километров. Максимальная глубина (в западной ее части) немного превышает пять метров, а средняя — менее четырех. Объем воды в губе около полутора кубических километров. Берега в основном равнинные, заболоченные. Лишь на участке от Стрельны до Ломоносова имеется невысокая терраса. По данным гидролога В. В. Барсукова («Ленинградская панорама», 1987, № 12), в Невской губе происходит постоянный процесс дельтообразования. Нева — сравнительно молодая река: ее возраст не превышает трех-четырех тысяч лет. Вначале она впадала в залив одним рукавом, затем образовалась дельта, насчитывавшая до ста островов. Анализ промеров глубин с 1747-го по 1983 год показал разность отметок в среднем один метр. Среднегодовой сток Невы — 78 кубических километров воды из

Статья печатается в порядке обсуждения.

Ладожского озера, до предела насыщенной кислородом. Она более пятидесяти раз в год замещает весь объем воды в Невской губе, где создается огромный потенциал для процессов самоочищения. Это позволило превратить водоем в естественное «очистное сооружение», куда столетиями направляли без очистки промышленные и бытовые воды. Однако теперь годовой сток достиг объема в два кубических километра, и без соответствующей обработки он способен умертвить все живое. Губа ранее сливалась с Финским заливом через северный и южный проходы у острова Котлин. А в процессе строительства защитных сооружений от наводнений ее устье стало напоминать дельту реки с основным руслом и семью протоками.

Итак, Невская губа превратилась в закрытый водоем, который правильнее назвать мелководным и пресноводным озером. А если учесть, что оно непосредственно примыкает к исторической центральной части города, становится понятным появление идеи о застройке бывшей «Маркизовой лужи».

Архитектор Л. Б. Дмитриев предложил возводить новые районы города на искусственных островах в Невской губе («Ленинградская панорама», 1986, № 8), а для этого необходимо получить для этих островов грунт, углубляя незастраиваемые участки акватории. Что это даст? Прежде всего — приближение мест проживания к местам приложения труда, сокращение затрат на инженерные коммуникации, сохранение существующих сельскохозяйственных угодий. Но при этом неизбежно появятся широкие, пятикилометровые водные протоки, разделяющие кварталы. Они не позволят обеспечить целостность и компактность города, создать оригинальные ансамбли в духе исторических традиций. К тому же намывные острова займут примерно половину акватории. Около двухсот квадратных километров поверхности губы не только пропадут втуне, но еще и будут способствовать созданию неблагоприятного микроклимата в этих районах.

Кандидат географических наук Е. Г. Шеффер предложил другой вариант освоения Невской губы («Ленинградская панорама», 1988, № 5): выгородить дамбами северный и южный протоки, а затем осушить пространство между дамбами и островами Котлин и Васильевским, чтобы использовать его для развития города. Такое решение, по мнению автора, значительно сократит потребность в строительных материалах для образования территории. Но... Наличие широких протоков неизбежно и при этом варианте, а вдобавок возникнет опасность появления смога в районах, расположенных в котловане на несколько метров ниже уровня залива.

Третье решение предложено инженером-строителем Ю. А. Скориковым («Ленинградская панорама», 1987, № 12): застроить всю площадь Невской губы без создания каких-либо искусственных территорий, русло Невы продлить до судопропускных ворот, а рукава реки направить в водопропускные отверстия защитного комплекса. В этом случае откроется перспектива создать в непосредственной близости от исторического центра города новые многофункциональные районы, которые продолжат лучшие традиции зодчества прошлых веков и достойно представят современную эпоху. Зодчие получат уникальную возможность использовать Неву как историческую композиционную ось города, изменяя ее положение сообразно своим замыслам.

А какие доводы приводят противники застройки Невской губы?

Главный — «Не лишайте город моря!». Эмоционально настроенные горожане считают, что совершается покушение на все созданное Петром Великим и последующими поколениями. И при этом не затруднют себя ни серьезным анализом фактов, ни учетом существующей обстановки. Но ведь Петр-то Первый заложил город *на Неве*, а не на берегах Финского залива! Петербург никогда и не стремился выходить фасадами к морю, а расширялся *вдоль Невы*. На побережье строили только заводы, склады и портовые сооружения.

«Застраивая Невскую губу, мы лишаемся торгового порта»,— снова возражают оппоненты. И здесь все не так. С момента зарождения Петербурга именно Невская губа стала серьезным препятствием для развития торгового судоходства. Незначительные ее глубины делали невозможным подход к городу даже средних по величине кораблей. Потому-то Петр и вынужден был построить купеческую гавань на Котлине, где разгружались и загружались иностранные и русские торговые суда. А между Кронштадтом и Петербургом перевалка всех грузов осуществлялась на небольших каботажных судах. Значительное удорожание и замедление торговых операций заставили петербуржцев в конце прошлого столетия прорыть в Невской губе Морской канал, защищенный дамбами от заносов песком и илом. Его и сегодня приходится постоянно чистить, чтобы обеспечить проводку судов с осадкой до десяти метров. Вот и передвигаются корабли пятьдесят километров в сопровождении лоцманов по узкому фарватеру, а затем каналу.

Нынешняя пропускная способность Ленинградского торгового порта не позволяет в полной мере удовлетворить потребности города и прилегающих к нему регионов. Современный крупнотоннажный флот требует не только непрестанной заботы о Морском канале, но и значительного расширения территории самого порта. Можно ли в таких условиях говорить о создании морского торгового порта, соответствующего реалиям будущего столетия? Разве что — об усугублении экологических и градостроительных проблем Ленинграда, ибо огромный транспортно-складской комплекс разрастается чуть ли не в центре города. Это понимали еще в конце тридцатых годов, когда возникла идея вынести Ленинградский торговый порт в одну из глубоководных бухт на южном берегу Финского залива. Там было начато строительство военно-морской базы, но надобность в ней отпала. Туда или в другое место переводить порт — дело обстоятельных расчетов и проработок. Но давно уже никто не спорит о том, что Ленинграду нужен торговый порт с глубокой акваторией, не стесненный городскими кварталами, оснащенный самой современной технологией по складированию, переработке и транспортированию грузов.

У тезиса «не лишайте город моря» существует и другой аспект: «Застраивая губу, вы лишаете ленинградцев мест отдыха, занятий спортом и плеска волн у подножия зданий».

Ну, с местами отдыха городу на Неве не повезло с самого начала. Довольно унылые ландшафты на берегах Невской губы, отсутствие пляжей и болотистые испарения никогда не привлекали горожан. К тому же после волнения и дождя вода у берегов смешивается с илом и глиной, создавая широкую рыжевато-черную полосу. Именно поэтому царские летние резиденции и дачные поселки возводились на возвышенных и сухих местах — в Петергофе, Царском Селе, Гатчине, Павловске, Сестрорецке, Ораниенбауме... Кстати, до сегодняшнего дня ни Петродворец, ни Ломоносов не имеют пляжей. Да и сами их жители предпочитают Сестрорецк или Большую Ижору: там природа щедро одарила людей и сосновыми лесами, и песчаными пляжами, и целебным озонированным воздухом с запахами «настоящего моря». Застроенная Невская губа со скоростными подземными автомагистралями и линиями метрополитена позволит горожанам попадать туда значительно быстрее. По южному же берегу Финского залива «прописались» в основном любители яхт. Этот спорт — сезонный (а на Балтике сезон ох как короток!). Так что перенос спортивной базы яхтсменов на двадцать пять километров к западу вряд ли будет воспринят как трагедия.

И наконец, о «плеске волн у подножий зданий». В конце шестидесятых годов, застроив «спальными» жилыми районами наиболее удобные для производства работ территории, градостроители вышли на берег Невской губы и провозгласили создание на двадцатипятикилометровой дуге от Лахты до Стрельны морского фасада города. Но поскольку срочно требовалось как можно больше жилых квартир, было решено формировать его из кварталов типовой застройки. Уже почти завершена приоритетная его часть на Васильевском острове. Нельзя сказать, что фасад сей выглядит плохо, но почти такой же можно встретить в равнинных областных центрах у какого-нибудь озера. Нет, не получилась у нас «морская визитная карточка»...

Может быть, горожане испытывают радость, любуясь красотой моря, делая утреннюю пробежку по набережной, вдыхая бодрящий морской воздух? Отнюдь. Мы пренебрегли опытом формирования приморских городов, расположенных в аналогичных рельефных и более мягких климатических условиях. Достаточно взглянуть на Ригу, Калининград, Гамбург, Лондон... и все станет ясным. Там нет парадных морских фасадов, а на берегу виднеются сооружения производственного назначения. Жилые кварталы прячутся от ветра и волн где-то в глубине территории. Именно этот опыт был учтен Петром и его последователями. Более того, мы, подражая таким городам, как Рио-де-Жанейро, Гавана и Одесса, вытягиваем жилые кварталы вокруг Невской губы, совершенно забыв, что Ленинград расположен в переувлажненном северном морском климате. Ученые подсчитали, что семьдесят процентов природного тепла уходит на испарение влаги. Почти вся остальная его часть расходуется на растапливание снега, льда, и лишь ничтожная доля остается для прогревания воздуха и почвы. По данным 1981 года поверхность рек, каналов и прудов в Ленинграде составляла сто десять квадратных километров — примерно пятую часть его площади. Поэтому микроклимат в жилых районах, вышедших к морю, значительно хуже, чем на остальной территории города. Типовые жилища нашего века не создали достойный Ленинграда морской фасад, не предназначены они и для противоборства с ветрами, дождями и метелями. Жители побережья мерзнут, страдают от простудных заболеваний и все чаще вывешивают объявления в надежде обменять свой «вид на море» пусть на более отдаленную от центра, но зато и подальше от морского берега квартиру. Не вызывает у них восторга и пейзаж, открывающийся из окон: пустынная водная поверхность серо-свинцового или темного цвета с еле заметной полосой другого берега губы; на горизонте по Морскому каналу размеренно фланируют торговые суда, а вдалеке изредка промчится «метеор» к Кронштадту или Петродворцу; на большом расстоянии от берега

продолжается мелководье с выступающими из воды валунами различного размера... Конечно, все преображается в погожий летний день: сияет солнце, вода отражает голубизну неба, привлекают взоры белые паруса яхт. Однако таких дней выпадает в году не более шестидесяти, и они никак не компенсируют ни длительных ненастий, ни многомесячного унылого вида сероватых ледяных торосов.

Остается констатировать, что застройка Невской губы исправит градостроительную ошибку с «морским фасадом» и значительно улучшит микроклимат в городе. Это не означает, что Ленинград будет лишен морского фасада. Он обязательно сформируется на берегу Финского залива между Сестрорецком и Ломоносовом.

Вторая группа противников застройки Невской губы может быть отнесена к категории прагматиков. Они оперируют расчетами, цифрами и конкретными проблемами. В частности, ими определен объем грунта, необходимый для застройки водоема. По их данным, он составляет один миллиард двести миллионов кубометров, и это позволило зачислить идею в разряд нереальных. Ссылаясь на опыт зарубежных стран по образованию искусственных территорий, можно, конечно, оспаривать подобное мнение. Но можно поступить и гораздо проще — изменить отношение к расточительному использованию городских земель. За последние сорок лет Ленинград увеличил свою площадь почти вдвое без достаточных на то оснований. Постоянный дефицит строительных мощностей позволил строителям диктовать свои условия. Застройка всемерно упрощалась, доминировали сравнительно малоэтажные дома, абсолютно не использовались возможности размещения под землей даже вспомогательных сооружений — как во всех развитых странах мира, где давно уже под жилыми домами или рядом с ними размещают гаражи и стоянки автомашин. А ведь в будущем столетии количество гаражей почти сравняется с количеством квартир! Это составит примерно шестую часть надземного объема жилых домов.

Уже сегодня под Парижем планируется устройство подземных автомобильных трасс. В крупных центрах Японии создано семьдесят шесть подземных городков общей площадью более восьмисот двадцати тысяч квадратных метров. В них на три, четыре, а иногда пять и более уровней уходят под асфальт предприятия торговли, бытового обслуживания, небольшие театральные и концертные залы, автостоянки, складские и иные помещения. Эти города возводятся очень трудоемким способом подземной проходки — и все-таки они быстро окупают себя и приносят прибыль. За рубежом очень редко встретишь на улицах больших городов котлованы и траншеи для перекладки или ремонта инженерных коммуникаций: они, как правило, размещены в проходных тоннелях, где и выполняются необходимые работы. В конечном счете это обходится для города дешевле, а главное — не нарушает нормального ритма жизни. Хотелось бы, чтобы в будущем столетии все это вошло в практику и у нас.

Особенно благоприятные условия открываются для этого при сплошной застройке Невской губы. Там самой природой подготовлен котлован со средней глубиной около четырех метров. Придется его углубить, а затем приступить к возведению фундаментов зданий, транспортных и иных тоннелей, подземных гаражей, автостоянок, малолюдных, экологически чистых предприятий. Все это будет сооружаться самым экономичным — открытым — способом, в объеме работ по нулевому циклу. Варьируя набором сооружений и планировочными отметками, можно получить оптимальный вариант с нулевым балансом земляных работ. Тогда при застройке всей площади Невской губы не потребуется завозить и вывозить грунт, а все сведется к перемещению его в пределах строительной площадки.

Но не слишком ли дорогую цену потребуется заплатить за осушение Невской губы? Вот ведь и Петр I, не справившись с притоком воды из залива, вынужден был прекратить строительство так называемых «мокрых доков» в средней гавани Кронштадта. Но время шло — и злополучные доки (Николаевские) все же построили в тридцатые годы прошлого столетия. После этого осушение котлованов для строительства сооружений Кронштадтской крепости на акватории залива стало обычным делом. Таким способом возводились основания казематированной батареи Кроншлота и эскарпной стены форта «Константин». Еще более упростилось производство аналогичных работ в наше время: об этом свидетельствует опыт возведения водопропускных сооружений и судопропускных южных ворот комплекса защиты от наводнений, где строительство осуществляется в больших котлованах, выгороженных в заливе. Грунты, образующие ложе Невской губы, состоят в основном из материковых, очень твердых глин, прикрытых небольшими слоями песка и ила. Поэтому нет надобности принимать защитные меры от грунтовых вод и закладывать сложные, дорогостоящие фундаменты под здания. А отсутствие какой-либо застройки и сетей на будущей строительной площадке позволит применить поточный метод и передовые технологии возведения сооружений. Все это откроет для строителей небывалые возможности и сулит значительную экономическую эффективность.

Конечно, оппоненты не прошли и мимо вопроса об экологии. Они опасаются, что Нева, чьи воды крайне загрязнены, после удлинения на двадцать пять километров и появления дополнительных источников загрязнения попросту превратится в мертвую реку.

Да, это очень больной вопрос. Но решить его можно не отменой строительства защитного комплекса или запретом на застройку территории Невской губы, а только ликвидацией сброса в Неву неочищенных промышленных, бытовых и прочих городских сточных вод. Созданы технологии промышленных предприятий нового типа — безотходные и с оборотным водоснабжением, существуют эффективные способы очистки от всех вредных примесей. Однако зачастую все сводится к разговорам и уговорам. Необходимы решительные действия — такие, как недавнее закрытие Приозерского целлюлозно-бумажного комбината. Например, ставить строителям первой строкой госзаказа возведение очистных и природоохранных сооружений. Надо, чтобы штрафные санкции за сброс неочищенных стоков превращали предприятия в банкротов и прямо отражались на зарплате персонала.

Видимо, жизнь приведет нас к этому, а на будущих берегах Невы или ее рукавов, на водоемах появятся городские пляжи наподобие Петропавловского. Многочисленные любители рыбной ловли смогут не покидать пределов города. Эта перспектива реальна, так как в Неву не будут попадать даже очищенные стоки: при возведении подземной части будущих районов вдоль русла реки проложат коллекторы и выведут их далеко от побережья в Финский залив.

И, наконец, о последнем возражении противников застройки Невской губы. Они утверждают, что Нева будет выходить из берегов во время наводнений, так как не будет обширной акватории, способной принять сток и предотвратить значительный подъем воды в реке при закрытии ворот и затворов в защитных дамбах на довольно продолжительное время. Здесь следует напомнить о втором, «восточном варианте» защиты Ленинграда от наводнений. Он предусматривает возведение защитных сооружений вдоль восточного побережья губы, непосредственно у города. А подъем воды в реке при наводнениях должен регулироваться затворами у ее истоков. Застраивая территорию, мы как бы создаем условия, аналогичные «восточному варианту», и для решения проблемы достаточно построить сооружения, регулирующие сток в верхнем течении реки.

Нередко высказываются сомнения в своевременности постановки и даже обсуждения этого вопроса. Но архитектурная судьба города должна решаться сегодня — пока не поздно. Кто способен подсчитать, сколь длительной окажется подготовка как в проектном, так и в производственном отношениях? Ясно одно: на это уйдут многие годы.

Мы уже сильно запаздываем и скоро, выражаясь языком шахматистов, попадем в глубокий цейтнот. И то, к чему мы должны приступить после 2005 года, не получит полноценной подготоаки. Опять в спешке мы многое упустим и тогда вынуждены будем снова и снова отодвигать начало работ. Но это только усугубит нашу вину перед будущими поколениями.

Пешком по старому Петербургу

Д. ЗАСОСОВ, В. ПЫЗИН

СОЗВЕЗДИЕ МАНЕВРОВ И МАЗУРКИ

Глубокий отпечаток на внешний облик города, его жизнь и быт накладывало то обстоятельство, что в Петербурге стояли гвардейские и другие воинские части, было много военных учреждений и учебных заведений. Гвардия считалась опорой престола, красой и гордостью империи. После 1905 года, когда произошел большой сдвиг в умах, эта опора стала призрачной, но и тогда в гвардию набирали здоровых, высокого роста людей. В Павловский полк брали рыжих и курносых; высоких стройных брюнетов — в кирасиры; с лихими усами — в гусары и другую кавалерию; с богатой бородой — в «вензельные» (первые) роты гвардейской пехоты; высоких и с широкой грудью — в гвардейский флотский экипаж. К столетию кампании 1812 года гвардия была одета в форму, близкую к гвардейскому обмундированию той войны. В гвардейских стрелковых полках зимой и летом носили барашковую шапочку, малиновую шелковую рубаху с пояском из трехцветных жгутов и кистями, поверх рубахи — безрукавку, обшитую золотым галуном. Но главная деталь — сапоги. Офицер, скажем, заказывал себе сапоги с голени-

щами наподобие охотничьих. Когда он спускал их нормально, до колена, на сапогах собиралась большая «гармошка». Сапоги с подобной «гармошкой» считались особым шиком и придавали «истинно русский» вид. Солдаты тоже носили такие и начищали их до умопомрачительного блеска.

Но насколько эта форма была красива в строю, настолько она казалась нелепой и грубой в обычной ситуации, когда солдат, к примеру, шел один по улице. Про кирасира (кираса не прилажена, в пояснице отстает) говорили: «Вроде медного самовара». Солдат Павловского полка в пирамидальном кивере получал в свой адрес: «Сахарная голова на глупой голове». Солдатам кавалерийских полков, у которых кивер болтался за спиной на страховочном шнуре — этишкете, кричали вдогонку: «Эй, голова на веревке! Смотри не потеряй!». Да и офицеры, несмотря на отлично сшитую форму и умение ее носить, обращали на себя в этой ситуации всеобщее внимание, поскольку их вид уже не вязался с современной жизнью, был чем-то архаичным. Вспоминается такая картина: хоронили какого-то генерала, гроб провожали военные в конном и пешем строю, в полной парадной форме. Два офицера лейб-гвардии драгунского полка вышли из процессии покурить и шли по панели в общей толпе. Их нарядные кивера с высокими султанами и свисающими кистями настолько не вязались с котелками, шляпами, картузами толпы, что, почувствовав себя неловко, они поспешили вернуться в процессию. Там они были на месте.

Любопытным зрелищем был развод новобранцев по полкам. Распределение производилось в Михайловском манеже. Каждый полк для встречи новобранцев давал оркестр и взвод солдат в полной парадной форме во главе с офицером. Забавно было видеть, как по Невскому проспекту гарцевали на черных конях оркестранты и взвод гвардейцев в медных касках, начищенных кирасах, белых колетах при длинных палашах и под бодрый кавалерийский марш. За ними вышагивала кто во что горазд разношерстная толпа испуганно озирающихся по сторонам, ошеломленных происходящим, спотыкающихся новобранцев: большинство в домотканой одежде, многие в лаптях, с узелками, котомками, сундучками. Следом гвардейские моряки с тесаками на белых портупеях и ленточками на бескозырках ведут за собой будущих матросов. За ними — преображенцы в высоких киверах с отличной выправкой, чеканя шаг, препровождают в казармы будущих товарищей. Простой народ, глядя на это, реагировал по-разному: некоторые совали новобранцам папиросы или деньги, женщины причитали, мужчины, особенно те, что сами отбыли солдатчину, отпускали шутки, подбадривали: «Теперь попробуешь шилом патоки», или: «Не унывай, брат, привыкнешь».

Начиналось учение-мучение. Деревенский парень, ходивший вразвалку, за два-три месяца должен был стать «справным» гвардейцем, «держать фрунт», «есть глазами начальство», «печатать шаг». Не усвоивших этой премудрости не допускали к присяге. Первое время они даже не имели полного обмундирования: матросы, например, носили бескозырки без ленточек, желтой кожи сапоги, которые не разрешалось чернить ваксой. В кавалерии молодые солдаты вначале и ели стоя, не могли садиться после верховой езды без седла. У некоторых руки были в рубцах. Если новобранец неправильно держал поводья, он тут же получал удар хлыстом. В пехотных гвардейских полках нужно было уметь четко печатать шаг, выпячивать грудь колесом (при этом «подбородок на себя, живот — подобрать»), при ходьбе размахивать правой рукой «вперед до пряжки», назад — «до отказу», винтовку держать «по-гвардейски», почти вертикально, из-за чего вся ее тяжесть приходилась на согнутую левую руку. Моряки считали особым форсом раскачиваться на ходу, как на палубе во время шторма, кавалеристы — подволакивать ноги, чтобы шпоры звенели громче.

Когда «фрунтовая» выучка кончалась, солдаты принимали присягу и после этого могли получить на несколько часов увольнение. На улице требовалось большое внимание, чтобы не запоздать отдать честь или встать «во фрунт» за три шага до генерала. Все это надо было сделать отчетливо, чтобы на лице отразилось «рвение», иначе можно было угодить на гауптвахту или получить другое наказание. В «царские дни» и по большим праздникам солдаты одевались в парадную форму, кивер давил голову, высокий жесткий воротник мундира тер шею. Гуляющих офицеров в такие дни было больше, и потому приходилось проявлять особую бдительность. «Медный лоб идет»,— кричали солдатам Павловского полка, у которых на кивере была большая медная пластина с вытисненным в ореоле лучей орлом.

В праздники солдат строем водили в церковь, где они стояли шеренгами. У каждого гвардейского полка была своя церковь. Если молились кавалеристы и артиллеристы, то слышалось бряцанье палашей, сабель, шашек. Моление строем, по команде, производило впечатление отбывания наряда. После церковной службы командир полка принимал короткий парад: солдаты, выходя из церкви, маршировали под духовую музыку повзводно мимо приветствовавшего их генерала и уходили в казармы. Такую картину мы наблюдали в церкви святой Троицы, известной теперь как Троицкий или Измайловский собор. Это был одновременно музей русско-турецкой войны 1877—1878 годов: по стенам — турецкие знамена, под ними на медных листах выгравировано, в каких сражениях они были взяты, в витринах — ларцы с пулями, извлеченными из ран. Солдаты, разглядывая расплющенные кусочки свинца, говорили: «Вот смерть-то солдатская». На Измайловском проспекте перед зданием стоял памятник славы — высокая колонна, сложенная из турецких пушек.

По праздникам особенно бросалась в глаза еще одна сторона армейской жизни: офицеры прививали своим подчиненным стойкий антагонизм к служивым другого рода войск. Гвардейцы говорили армейцам: «Эй, крупа, посторонись», иронизируя над их небольшим ростом. Кавалеристы, проезжая мимо пехотинцев, кричали: «Пехота, не пыли!». Те им: «Вам только кобылам хвосты подвязывать!». Солдаты отпускали всякие шутки-прибаутки, часто нецензурные, в адрес моряков, те тоже не оставались в долгу.

Так было и между юнкерами военных учебных заведений: пехотинцы терпеть не могли кавалеристов, те, в свою очередь, артиллеристов и пехотинцев, гардемарины считали, что любая военная служба, кроме морской, сущая ерунда, юнкера Николаевского кавалерийского училища с презрением относились к своим однокашникам из казачьей сотни. Существовало, особенно среди юнкеров-кавалеристов, «цукание», когда старший отдавал приказание младшему, часто самое нелепое, и тот должен был его беспрекословно исполнить: «Сосчитать число волос в хвосте моего коня и доложить», «Спичкой измерить длину манежа», «Встать во время дождя в походной форме под водосточную трубу!». Младший должен был обращаться к старшему «господин юнкер», хотя тот офицером еще не был, а самозваный корнет требовал по двадцать раз повторить обращение, подходя к нему по всей форме.

Правда, эти д'артаньяны были способны и на другое. Готовясь вместе со всей Россией достойно отметить в 1914 году столетие со дня рождения Лермонтова, воспитанники Николаевского кавалерийского училища решили поставить памятник знаменитому его выпускнику в сквере училища на Новопетергофском, ныне Лермонтовском проспекте. Чтобы собрать средства, они с разрешения начальства три дня подряд устраивали в Михайловском манеже конно-спортивные праздники, показывая искусство верховой езды, мастерство в упражнениях на гимнастических снарядах. Многие номера были настолько трудны, что сделали бы честь любому цирку. Демонстрировались лихая рубка, стрельба на полном скаку в цель, приемы с пиками, живые пирамиды на конях, а под конец — парадный выезд в исторических формах кавалерии. Билеты стоили от полтинника и дороже. Кое-кто, зная, на что пойдут деньги, платили по пять-десять рублей. Народ ломился на эти праздники, публика стояла в проходах, играли оркестры, гремели аплодисменты. Памятник Лермонтову был сооружен в срок, его и сегодня можно увидеть на том же месте.

В Санкт-Петербурге было и несколько кадетских корпусов, в том числе пажеский и морской. В Кронштадте — Военно-морское инженерное училище, готовившее корабельных инженеров и инженеров-механиков и игравшее заметную роль в жизни города. Конкурс среди поступающих был труден, и в училище собирались умные, серьезные юноши. Этих гардемаринов, как завидных женихов, охотно приглашали в семейные дома, на вечера, балы. Когда бал или иное торжество устраивались в самом училище, туда стремились попасть мамаши с дочерьми.

Пажеский корпус был привилегированным заведением. Оттуда выходили офицеры гвардейских полков. Форма в корпусе была своеобразная: черная двубортная шинель, белая портупея, каска германского образца с золоченым шишаком. Если они встречались на улице, многие удивлялись, так как видеть русского юношу в германской каске было непривычно. У пажей была и особая придворная форма: мундир с поперечными галунами, белые брюки, шпага, каска с белым султаном.

Настоящими маленькими солдатами были кантонисты при полках, набиравшиеся из сирот, незаконнорожденных, из бедных семей. Их принимали на казенное содержание и одевали в форму того полка, при котором они воспитывались. Кантонисты Измайловского полка жили в верхнем этаже здания Офицерского собрания (угол Измайловского проспекта и Первой роты). Для строевых занятий там был дворик, обсаженный желтыми акациями. Их обучали грамоте в пределах городской школы, игре на духовых инструментах и пению. Пели они в Троицкой церкви. По окончании учения отбывали военную службу в том же полку, большинство — музыкантами, писарями. Харчи у кантонистов были общие — солдатские, содержали их строго, наставниками были фельдфебели, унтеры. Провинившихся пороли. Иногда к ним приходили родственники. Смотришь, во дворике на скамейке сидит женщина, рядом с ней маленький солдатик. Женщина вынимает из узелка гостинец. Свидание скоро прекращает окрик унтера, и они поспешно расходятся...

Гвардейское офицерство, особенно аристократическое,— кавалергарды, конногвардейцы и стрелки держались особняком. Вращались они только в своей среде, хотя не гнушались и богатым купечеством, заводчиками, фабрикантами, иногда даже роднились с ними, чтобы браком подправить финансы. Служба в гвардейском полку, особенно в кавалерии, требовала много денег: на походную форму — летнюю и зимнюю, парадную, «полную парадную» для пешего и конного строя, бальную, шинель обыкновенную и «николаевскую», лошадь хороших кровей. В некоторых полках существовала традиция: при вступлении в него передавать в Офицерское собрание серебряный столовый сервиз. Перед женитьбой офицеры тоже должны были внести на семейный счет «реверс» — несколько тысяч рублей в обеспечение будущей совместной жизни.

В распоряжении каждого офицера был денщик, у высших чинов — два (на флоте они назывались вестовыми), выбиравшиеся из солдат, малоспособных к строевой службе, но уважительных и хозяйственных. Поднимались денщики рано, выполняли всю тяжелую и грязную работу в семье своего начальника, чистили платье, обувь, снимали с офицера сапоги, нянчили детей, бегали с поручениями, а ночью не ложились, пока «барин» не возвращался из гостей или Офицерского собрания. Жены офицеров помыкали ими, всякая «непонятливость» расценивалась как нежелание выполнить приказание, и науськанный муж отсылал их в часть для экзекуции или наказывал своей властью.

Совершенно особенное место занимал Кронштадт, поражавший порядком, чистотой, тишиной. Город-крепость, военный порт — это сразу чувствовалось во всем. Много моряков и артиллеристов. В столице в то время на улицах не было урн и мусорных ящиков, в Кронштадте — были. Петербургские скверы были затоптаны, цветы в них почти не росли. В Кронштадте сады, парки, бульвары содержались в идеальном порядке, масса цветов, особенно сирени и жасмина. Кирпичные стены и заборы, придававшие столице унылый вид, в Кронштадте были увиты диким виноградом, хмелем. Пьяных на улицах почти не встречалось. Хотя был в Кронштадте трактир под названием «Мыс Доброй Надежды». Тайком заходили туда и матросики. Бывали случаи, что и подерутся, получат синяк под глазом. На вопрос, где его так разделали, отвечали: «Потерпел аварию у мыса Доброй Надежды». Публичные скандалы тоже были редкостью.

Улицы Кронштадта были вымощены чугунными пустотелыми торцами. Нигде больше не было таких мостовых. И такого разнообразия храмов: знаменитый Андреевский собор известного архитектора Захарова, Морской собор — изумительное сооружение по проекту академика Косякова, напоминающее храм святой Софии в Константинополе, костел отличной архитектуры, несколько кирх с высоченными шпилями, деревянная мечеть с забавным минаретом на крыше и, наконец, великое множество церквей, каменных и деревянных (была даже особая деревянная церковь Общества трезвости с открытой звонницей), по утрам устраивавших веселый перезвон.

Знаменитостью всей России был настоятель Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев, или, как называл его народ, Иван Кронштадтский. Многие верили, что он способен творить чудеса, что молитва его «доходчива», и приверженцы его составляли даже отдельную секту — иоаннитов, а народ ломился слушать его проповеди. Его всегда сопровождали разные люди, по виду очень благочестивые, все приготавливавшие к молебну, высаживавшие его из коляски, помогавшие одеться, торговавшие образками. Иоанниты же (особенно иоаннитки), исступленные фанатики, истошно вопили, падали ниц, целовали сиденье, с которого он сошел, а хулиган-кучер, чтобы вырваться из их толпы, направо и налево стегал кнутом. Но те, в экстазе не чувствуя боли, еще громче восхваляли «батюшку».

Другой знаменитостью Кронштадта был вице-адмирал Вирен, главный командир портов и генерал-губернатор, отличный моряк, герой японской войны, получивший Георгия за то, что вывез на миноносце из блокированного Порт-Артура все знамена. Став главным командиром Кронштадта, он сделался грозой офицеров, матросов и солдат, требуя строжайшего выполнения устава и всяких правил. В случае нарушения наказание было неотвратимо. Родной брат одного из нас по окончании Военно-медицинской академии был назначен младшим лекарем в Первый Балтийский экипаж и должен был представиться кронштадтскому начальству, в том числе Вирену. Представление закончилось тем, что он угодил на гауптвахту на две недели за то, что надел штиблеты на резинках, а не ботинки на шнурках. Так началась его карьера.

В Петровском парке стоит памятник: Петр Первый с обнаженной шпагой, наступивший одной ногой на поверженное шведское знамя. На гранитном постаменте золотятся его слова: «Место сие хранить до последнего живота». Матросская служба на флоте до 1905 года длилась семь лет, после — пять, больше по сравнению с другими родами войск. Старые матросы в шутку говорили молодым: «Служить тебе еще долго, пока царь Петр другой ножкой ступит».

Библиофил

А. ПЕТРОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Можно, пожалуй, сказать, и не будет в этом никакой натяжки, что чтение этой книги, выпущенной в 1988 году Лениздатом (называется она «Под звездами Фракии»),— своеобразное путешествие во времени и пространстве. А вернее, продолжение такого путешествия, которое каждый из нас в свое время предпринял. В сущности все мы, хотя и в разной степени, чувствуем, понимаем и любим Болгарию. Празднуя ли 1000-летие введения христианства на Руси, отмечая ли дни славянской письменности и культуры, мы с благодарностью — кто мыслями, кто словом — обращаемся к истории русско-болгарских отношений, к сегодняшней жизни ее народа.

И вот книга «Под звездами Фракии» — сборник прозаических произведений болгарских писателей, чьи судьбы связаны с Пловдивом, городом-побратимом Ленинграда,— как раз и есть одно из свидетельств такого обращения.

Мне, например, хорошо знакомы ее составители — гражданин Пловдива Георгий Стоянов и ленинградец Александр Бранский, знаю я и сам Пловдив, древний город, раскинувшийся на холмах древней Фракии, помнящей римлян и хранящей в своей земле многочисленные следы античной цивилизации.

Из окон Дома творчества пловдивских писателей «Ламартин», куда поселили меня сотрудники журнала «Тракия», я смотрел по утрам на черепичные крыши старой части города, на кресты православных храмов, узкие улочки, сине-белые стены старинных домов, каменную статую знаменитого «Алеши». Мне хотелось как можно больше из увиденного запомнить, чтобы навеки запечатлелся в душе живой образ Пловдива. Я бродил по этому городу — один в пестрой толпе и старался наполниться его духом, меня водили и возили по нему братья-болгары — и я проникался чувством как бы вновь обретенного родства с древним народом. А когда горячая патриотка Пловдива Ваня Костоаа своими просветительскими лекциями во время наших экскурсий по музеям приобщила меня к святая святых национальной культуры, я осознал, что сердце мое окончательно разбито на две равные части, и одна из них останется здесь, на Фракийской равнине.

И теперь каждый приезд болгарских друзей с берегов Марицы на берега Невы — дли меня волнующее событие. Едва зазвучит болгарская речь, как перед глазами возникнет чудесное видение города на пяти холмах, необыкновенно красочное.

Лениздатовскую книгу я воспринял и как подобный дружеский визит, и как возвращение к подножию пловдивских холмов. Она значительно раздвинула границы моего знания. Произведения Петра Константинова, Янко Добрева, Николая Хайтова, Гепчо Стоева словно бы обнажили передо мною громадный исторический срез, идущий из глубины веков, процесс становления национального характера сделался более доступным моему пониманию. А вчитываясь в рассказы Рангела Игнатова, Лиляны Михайловой, Георгия Стоянова, я познал, что значит для болгар тема Освобождения, какой великий смысл имеет монумент «Алеша», этот каменный советский солдат, высящийся над Пловдивом. А то, что я здесь успел узнать о современном Пловдиве за краткое время своего пребывания,— было как бы предварительным эскизом, наброском к тому, что развернули в своих рассказах авторы сборника «Под звездами Фракии» — Георгий Алексиев, Коста Странджев, Здравко Попов, Величка Настрадинова...

Путешествие состоялось. Путешествие продолжается. А началось оно очень давно...

С. БЕЛОВ

ЕЩЕ РАЗ О ПЕТЕРБУРГСКИХ КНИЖНИКАХ

В статьях «Пешком в историю книжного дела» («Нева», 1982, № 10) и «Книжное дело в России в конце XIX — начале XX в.» (сб. «Историографические и исторические проблемы русской культуры». М., 1983) я выступил против вульгарно-социологического подхода к истории книгоиздательского дела в

России и на примере дореволюционных русских издательств, прежде всего петербургских, показал, что оно, это дело, такое же замечательное достижение великой русской культуры, как и русская литература, музыка, живопись, театр.

В «Федоровских чтениях 1982» (М., 1987) Е. А. Динерштейн в статье «Некоторые проблемы истории русского книжного дела второй половины XIX в.» полемизирует с таким подходом к истории русского издательского дела, к жизни и деятельности петербургских книжников. Вероятно, сама форма статьи Динерштейна, выходящая за рамки этики научного спора, объясняется тем обстоятельством, что именно с его работами я в основном спорю, рассматривая книгу прежде всего и главным образом как *культурный* факт.

Однако мой оппонент решил применить довольно прозрачную уловку, рассчитанную на неискушенного читателя, не знакомого с моими работами о петербургских книжниках. Он ухитрился ни разу не упомянуть, что именно с *ним* я спорю в своих статьях. Вот типичный образец полемики Динерштейна. «Автор,— пишет он обо мне,— не согласен с теми исследователями, которые считают, что журнал („Нива“ А. Ф. Маркса.— *С. Б.*) отличался „полнейшей аполитичностью“». Кто же эти исследователи? Оказывается, исследователь-то всего *один!* Его фамилия Динерштейн.

Конечно, можно было бы только приветствовать эту поразительную «скромность» моего ниспровергателя, почему-то величающего себя во множественном числе, если бы не его дальнейшие хитрости. Он умышленно обрывает цитаты из моих работ там, где ему выгодно, приписывает мне некие высказывания о «Русском вестнике», хотя я ни разу не упоминаю этот журнал, делает вид, что я пишу о самом А. Ф. Марксе, хотя я веду речь лишь о его издательстве и его журнале «Нива», умышленно скрывает, что идею «двух» Сувориных, то есть А. С. Суворина, выпускавшего одновременно черносотенное «Новое время» и прогрессивную демократическую литературу, выдвинул еще до меня профессор И. Е. Баренбаум в «Книжном Петербурге» (М., 1980).

Динерштейн пишет, что «вызывает удивление лишь та решительность», с какой я «отказываюсь от принятых в советском книговедении концепций», «призывая пересмотреть традиционное деление русских издательств на капиталистические и прогрессивные». Но о чем тут, кажется, спорить, когда сейчас даже школьник знает, что и капиталистические издательства могли быть прогрессивными, и наоборот.

Однако Динерштейн опять схитрил. Нет у меня никакой «решительности», с какой я бы «отказывался от принятых в советском книговедении концепций». Вот мой точный текст: «Необходимо, очевидно... пересмотреть традиционное деление в некоторых монографиях и учебниках русских издательств на „капиталистические“ и „прогрессивные“». Надо ли объяснять, что «очевидно» и «решительность» — далеко не одно и то же!

Что же касается «принятых в советском книговедении концепций», то, не говоря уже о том, что приклеивание ярлыков отдает временами не столь уж отдаленными, отмечу, что ряд мыслей, аналогичных моим, еще в 1920-х годах высказал такой крупный советский книговед, как М. Н. Куфаев, эта же идея о книге как культурном факте, об оценке прежде всего ее содержания, а не той прибыли, какую получал от ее издания тот или иной петербургский книжник, пронизывает всю книгу И. П. Видуэцкой «А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс» (М., 1977), об этом же неоднократно писал член-корреспондент АН СССР А. А. Сидоров, наконец, такой же подход к книжному делу лег в основу трудов И. Е. Баренбаума «Книжный Петербург», «История книги», «Книжный Петербург-Ленинград» (совместно с Н. А. Костылевой).

Важность, правомерность и плодотворность такого подхода к истории русского издательского дела как выдающемуся явлению русской культуры была отмечена и академиком Д. С. Лихачевым в предисловии к моим монографиям «Книгоиздатели Сабашниковы» и «Мастер книги» и такими рецензентами моих работ о русских издателях, как И. Е. Баренбаум, А. А. Сидоров, А. Турков, Вл. Лидин, В. Баранов, Е. Немировский. Такой подход вполне отвечает также ведущейся ныне работе в области духовной культуры, когда ей возвращаются имена, при оценке которых учитывается прежде всего положительный вклад, внесенный тем или иным автором (и здесь книговеды еще в большом долгу перед петербургскими книжниками).

Я стремился показать, что до тех пор, пока русское издательское дело будет изучаться как сфера экономики, а не как сфера культуры, мы постоянно будем обеднять и вульгаризировать всю сложную и многообразную издательскую палитру России. Надо учесть также, что только у нас в стране в начале XX века появилась, например, серия символистских издательств, чьи владельцы вообще не получали никакой прибыли от своей продукции, а действовали только лишь из любви к книге, литературе и искусству. Недаром же замечательнан советская писательница и революционерка А. Я. Бруштейн, встречавшаяся в те годы с многими петербургскими издателями, пишет об их фанатичной вере в высокую полезность книгоиздательского дела, в святость его предназначения (Динерштейн делает вид, будто этого высказывания нет в моих работах): «Для людей, не заставших уже дореволюционного прошлого, это, быть может, покажется даже странным, маловероятным, но люди моего возраста хорошо помнят, что среди книгоиздателей это встречалось, среди них бытовало такое отношение к своему делу, такая вера в его высокую чистоту. Нужно сказать, что это не было лишено смысла и основания. Ведь представлять себе книгоиздателя того времени только как некоего „капиталиста“ с единственной целью заработать деньги, обманывая потребителя и эксплуатируя своих рабочих, нелепо. Люди, главным стимулом которых была в жизни нажива, обращались, конечно, не к книге — были товары более выгодные (на книгах люди часто разорялись): можно было заняться производством любого товара, и любой был, наверное, выгоднее, чем книга в стране на 4/5 безграмотной!».

Большинство изданий петербургских книжников имело общечеловеческую ценность, играло бесспорно прогрессивную роль, и просветительские тенденции характеризуют деятельность многих из них на протяжении всей истории существования тех издательств. Возможно, петербургские издатели не всегда издавали вещи, нужные народу, если оценивать их с позиций сегодняшнего дня. Но В. И. Ленин не случайно писал в работе «К характеристике экономического романтизма»: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками».

Вот так и надо подходить к оценке деятельности русских издателей. И не к «отказу от принятых в советском книговедении концепций» (кем? Динерштейном или постановление какое было?) я призываю, а к отказу от догматического представления о русском книжном деле, ибо книжное дело, как, кстати, и литература, это живой процесс, живая жизнь, и ее невозможно втиснуть в догматические схемы и представления, как пытается это сделать Динерштейн.

Не буду сейчас говорить о том, что Динерштейн, очевидно, считает, будто именно ему принадлежит право решающего голоса в вопросе об истории петербургского книжного дела. Сошлюсь на замечательную статью доктора исторических наук В. Кобрина «Посмертная судьба Ивана Грозного» («Знание — сила», 1987, № 8), замечающего, что «при великой разноголосице мнений в науке никто не вправе присваивать себе роль хранителя истины в последней инстанции».

Не могу удержаться также, чтобы не отметить такое странное, я бы даже сказал загадочное обстоятельство, что статья Динерштейна, спорящая, в основном, с моей работой 1983 года, напечатана в «Федоровских чтениях 1982» — академическом сборнике статей-докладов, названном так, кстати, в честь первого бессребреника в русском книжном деле. Сборник этот, правда, вышел с пятилетним опозданием, но содержание-то его относится (должно относиться!) все же к 1982 году, а не к 1983-му. И с удовольствием повторю слова писателя Владимира Дудинцева в интервью корреспонденту «Правды»: «Безнравственность кроется не в существе ошибки, а в средствах, с помощью которых доказывается несуществующая правота. Тот, кто не прав, любит использовать в ы с о т у (разрядка наша.— *С. Б.*), чтобы легче стрелять в противника».

Память

Владимир ЖУКОВ

О СЕСТРОРЕЦКЕ, О ЗОЩЕНКО И ВООБЩЕ

Сестрорецк — чудесный город — расположен на берегу Финского залива, омывается его волнами, пронизан его ветрами. Как естестаенный космический спутник отдален от своей планеты, так Сестрорецк отброшен от мегаполиса к северо-западу. С Приморского шоссе Сестрорецк всегда предстает неожиданно.



Так выглядит дом Зощенко

Всякому городу естественно иметь свою биографию. И чем она обширней, чем глубже уходит корнями в историю своей страны, тем город интересней. Достопримечательности и музеи — необходимейшие атрибуты любого города. А если их нет, если нет биографии, то это не город, а обыкновенное поселение: рабочий поселок, мещанский поселок, что хотите, но только не город.

Многие ли знают, например, что Блок не единожды совершал пешие прогулки из Белоострова в Сестрорецк? Да, да, Александр Александрович Блок, великий поэт, с тростью, в запыленном костюме под палящим солнцем, под дождем из Белоострова в Сестрорецк! И это запечатлено в его дневниках. Как драгоценно сознавать это. И такой эпизод не входит ли в золотой фонд культуры и истории Сестрорецка? В его биографию?

Но сейчас речь не о Блоке. Как Тихвин связан с Римским-Корсаковым, Гатчина — с именем Куприна, а Комарово — с Ахматовой, так Сестрорецк неотделим от имени Зощенко.

Как-то я специально приехал в этот город, чтобы поклониться могиле Зощенко. Был пасмурный летний день, беспрерывно моросил дождь. На кладбище — ни души. Не у кого было даже спросить, в каком направлении начать поиск. Жутко ходить одному среди бесчисленных могил и разветвленных троп. Когда дождь ослабел, в дали кладбищенской аллеи обнаружилась одинокая фигура. Я с великой надеждой ускорил шаги навстречу бесценному привидению и... Едва не напугал бедную женщину в черном платке. Она шла с цветами и, увидев меня, как-то стала сторониться и сбавила ход. Интеллигентно и подробно она рассказала мне о дороге к Зощенко. Бедный Михаил Михалыч! Вот где Вы обрели свободу и покой... Опала, травля, унижения — вместе с плотью — все погребено здесь. А дух — жив! На могиле скромнейший памятник. И это спустя тридцать лет после смерти! Рядом — жена, сын.

Когда я, посетив дом 14-а по Полевой улице, с застывшей дурацкой улыбкой оскорбленного современника стал медленно ретироваться, на лиственничную аллею с улицы зарулила шумная ребячья стайка и засеменила навстречу мне.

— Куда, ребята?

— Грибы собирать, вон, в дом Зощенко... Подберезовики вчера там были.

Полная заброшенность, запустенье, забвенье — такие чувства я уносил с собой.

Обойдя дом и сад (сделать это несложно — забора и калитки нет), признаюсь честно, подберезовиков я не нашел, а вот свинухи в сгнившем крыльце при веранде и опята у березового пня при входе видел. Здесь явственно сочеталось старое доживающее великолепие с чудовищным равнодушием сегодняшнего дня.

Великолепие — это прежде всего дом, огромный и беспечный, с распахнутой створкой оконной рамы, с ржавыми толстыми бочками для слива дождевой воды, с подвешенной как-то наискосок лестницей на торцевой (наиболее гнилой) стороне дома. Это колодец с оторванной крышкой, опутанный сеткой паутины, доступный и для небесной влаги, и для осенней листвы. Это подсобное строение

рядом с сараем. Это сад с умирающими яблонями и кустами крыжовника. Это лиственницы по краю сада и аллеи. Это дубы, величественные тополя, старые березы... (Подбор деревьев — свидетельство высокого вкуса!)

Равнодушие — это трава в человеческий рост, это разбитые стекла окон, это заросшая, невидимая, все еще слабо пружинящая под ногой клумба, аккуратно окаймленная врытыми кирпичиками возле обрушившегося столика и полусгнивших скамеек напротив веранды. Это полуобвалившийся балкон. Это — с трех сторон наглухо стиснутый белым кирпичом подсобных строений Пограничного госпиталя участок дома. Это, наконец,— стыдно сказать! — какое-то странное пепелище с вбитым черным (обгорелым) крестом посередине сразу при входе на участок и изодранными и разметанными листами журналов. Что это? Агрессивность невежества? Тупое злопамятство обывателя? Символ?! Поставили крест на Зощенке?..

Я удалялся от дома, а неестественная улыбка все больше и больше искажала мое лицо. Знаете, когда человека оскорбят и он остается один на один с собой, он на лице своем вдруг обнаруживает улыбку. Вот с такой улыбкой оскорбления, предшествующей ярости, я уходил от дома...

Вернисаж «Седьмой тетради»

А. ХОДОРОВ

УСАТЫЕ «ЗВЕЗДЫ»

Пассажиры трамваев, маршруты которых пролегают по Московскому проспекту Ленинграда, видя длинные вереницы людей у станции метро «Парк Победы», прекрасно знают, в чем дело: в Спортивно-концертном комплексе имени Ленина — футбольный матч или концерт модной рок-группы. Но те, кто 18-го и 19 марта 1989 года ехал дальше — до Дворца культуры и техники имени Капранова,— были немало изумлены, увидя там отнюдь не меньшее скопление народа. Какой ансамбль здесь выступает? Оказалось, что «заезды», встречи с которыми жаждали многие и многие,— это... кошки, доставленные сюда на организованную клубом «Кис» при ленинградском Доме природы выставку. Конкуренцию с футболистами и рок-музыкантами они выдержали более чем успешно!

Их поклонники прямо здесь, в выставочном зале, могли убедиться, что для лицезрения красочного многообразия живой природы совсем не обязательно посещать леса, зоопарки, а тем более — экзотические страны. Иногда достаточно посмотреть под ноги — ведь недаром одна из статей о наших васьках и мурках называлась «Удивительное существо живет в вашем доме». Вот ослепительные Снежок (один из будущих лауреатов) и Белочка — тут ничего расшифровывать не надо. А рядом — Важик, побуждающий вспомнить киплинговское описание пантеры: «черная, как чернила, грозная, как демон», Чарли (булгаковский Бегемот?), огромный Яша — его ослепительно белой манишке мог бы позавидовать музыкант или дипломат! Отливающая матовым серебром Катя. Чудо выставки —



Поль



Яша

двенадцатикилограммовый Фитцджеральд с гранитно-бурой спиной, «кот-викинг». Волнисто-дымчатый элегический Казимир. Глядя на грациозного Поля, начинающие художники могут изучать всю гамму переходящих друг в друга оттенков желтого цвета: от огненно-рыжего до охристого и палевого. Четырехцветная мохнатая Чика, как и положено примадонне, позволила себе немного опоздать, но, появившись, сразу собрала вокруг себя толпу, и ее хозяйка И. С. Христич еле успевает отвечать на вопросы...

Волнений у посетителей хватает. Ведь нужно не только все осмотреть. Надо успеть посоветоваться со специалистами. Получить талончик с номером кошки и бросить его в «избирательную» урну (кроме официальных отличий, определяемых квалифицированными экспертами, будут и призы зрительских симпатий). Побывать на аукционе, где продаются кошки,— от непритязательных, вынужденных по тем или иным причинам искать себе хозяина до персидских аристократов (цены на них перевалили за сотню). И наконец — посмотреть парад победителей, гордо продефилировавших на сцене перед переполненным театральным залом.



Фитцджеральд



Чика

Что же побуждает членов клуба отдавать почти весь свой досуг этим удивительным существам?

Среди всех четвероногих спутников человека кошка сегодня — предмет самой бескорыстной его привязанности. Нет, ее обязанность бороться с мышами и теперь отнюдь не ушла в историю, однако ныне мы цениим кошку в первую очередь за согревающие наши души изящество, игривый нрав и преданность людям, совсем не уступающую собачьей. Не собираюсь недооценивать последнюю, но чем хуже кот? Тем, что не хочет ходить перед нами на задних лапах и выполнять команды? Да разве же это — первейший показатель верности в дружбе? (Впрочем, ведь и себе подобных люди нередко склонны ценить по этому принципу.) А вот для нас отношение к домашнему другу, не приносящему прагматической пользы,— не последняя проверка способности быть верным.

У ветерана клуба Капитолины Константиновны Тихоненковой и ее соратников проблем немало. Кошек любят многие, но мало кто знает, как их кормить и лечить. Надо организовать консультации, а в перспективе — курсы. Надо както устраивать животных, которым грозит одиночество, думать, как сохранить лохматых любимцев для тех, кто уезжает в отпуск, командировку или ложится в больницу. Надо бороться за защиту кошек перед законом — тут они в гораздо более тяжком положении, чем собаки, не говоря уже о сельскохозяйственных животных, тетеревах, зайцах или рыбах; убить или замучить кошку для поганого человека безопаснее, чем сорвать цветок в сквере. Надо, наконец, просто организовать досуг людей, объединенных отнюдь не худшим из человеческих увлечений.

Есть и преходящие проблемы. Нуждается в совершенствовании организация выставок. Хоть «кисовцы» в этом деле не новички (позади — вернисажи в Доме природы, Доме ученых, ДК имени Орджоникидзе), но и на сей раз не все прошло гладко — помещение не справилось с наплывом желающих туда попасть. А ведь «экспонаты» таких выставок, в отличие от минералов или стекла, устают и нервничают, что не всегда понимают и владельцы зданий, и зрители. Непросто складываются и отношения с другими клубами — есть ведь еще досаафоаский «Котофей», «Багира», «Фауна»,— но уже дают себя знать конкурентские страсти. Не забыть бы за ними объект забот! Иных почему-то больше всего волнует, на что идут деньги за билеты, аукционная выручка. Любопытно спросить: а откуда же берутся средства на устройство бездомных, помощь малоимущим хозяевам, аренду выставочных помещений, оплату в дни выставок кассиров, билетеров, уборщиц, охраны? Ведь дотаций у клуба нет! Эти объяснения — тоже «статья» траты сил и нервов...

Много хлопот. Но взгляните на тех, кому они посвящены,— разве они того не стоят? И в час, когда нам нужно ласковое внимание, не вознаграждают нас за время и усилия, которые мы на них тратим?

По праву памяти

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

В 50-е годы мне довелось работать на шахтах Ворошиловградской области. И вот теперь, спустя много лет, снова побывал в Ворошиловграде. Город заметно изменился. Одной из главных его достопримечательностей стал величественный памятник Ворошилову.

В конце 50-х — начале 60-х гг., когда партия, по инициативе Н. С. Хрущева, громила культ личности Сталина и разоблачала его приспешников (в их число обоснованно попал и Ворошилов), музей «Первого маршала» был закрыт, памятники ему демонтированы. Город переименован.

При Брежневе все воскресло. Я посетил вновь открытый музей. Теперь он уже не в избушке, как было раньше, а в купеческом особняке. Да и экспонатов и документов гораздо больше, чем прежде (с размахом!).

Экспонаты дореволюционного периода внушают посетителям, что Ворошилов был вожаком луганского пролетариата. История, однако, этого не подтверждает. Особая роль отведена Ворошилову в годы гражданской войны. На одной фотографии рядом сидящие Ворошилов и Буденный. Под нею подпись: «Организаторы и руководители Первой Конной армии». Так ли это? Трагическая история с Думенко опровергает это утверждение.

На отдельных фотографиях 30-х годов изображен сам вождь, а рядом с ним или чуть поодаль его верноподданный Ворошилов. Вот один из экспонатов — винтовка, из которой стрелял Ворошилов, рядом мишень с попаданиями только в десятку. Как метко стрелял нарком Ворошилов! Но кто теперь это докажет? А в те годы возник девиз: «Стреляй, как Ворошилов!», был учрежден знак «Ворошиловский стрелок».

В одном из залов установлена большая ваза, на которой Ворошилов изображен в маршальской форме и при всех регалиях. Подпись «4.02.1951 г. К. Е. Ворошилову — верному соратнику Ленина и Сталина в день 70-летия со дня рождения от конноармейцев». Но был ли Ворошилов соратником В. И. Ленина? Никогда! А вот верным опричником Сталина он был.

С ведома и согласия Ворошилова в период 1937/38 гг. было репрессировано сорок тысяч командиров и политработников армии и флота. В 1937 году, еще до начала суда, Ворошилов выступил с докладом о якобы контрреволюционной организации в Красной Армии, в которую входили Тухачевский, Уборевич, Гамарник и другие. Всех их расстреляли (Гамарник покончил с собой). С согласия Ворошилова были расстреляны Блюхер и Егоров. Командиры и политработники уничтожались без суда и следствия, достаточно было одного утверждения списка Ворошиловым. Уже этих фактов достаточно для того, чтобы определить, какие преступления против советского народа совершил «Первый маршал».

Среди экспонатов — награды Ворошилова: две звезды Героя Советского Союза, одна звезда Героя Социалистического Труда, восемь орденов Ленина, шесть орденов Красного Знамени и другие. Заслуженно ли получил Ворошилов эти награды? Нет, он их не заслужил. Он их получил по случаю разных юбилеев.

В «Литературной газете» (№ 52, 1988 г.) помещен снимок, сделанный в декабре 1936 года. На нем изображен Сталин со своими соратниками. В первом ряду справа от Сталина — Ворошилов, слева — Молотов. Подпись под снимком: «Завтра они разделятся на палачей и жертв». Судя по фактам, Ворошилов попал в число первых. В статье Ю. Карякина «Ждановская жидкость», или «„Против очернительства“» Сталин и Жданов названы палачами. Но ведь Ворошилов значительно превзошел Жданова в своих преступных деяниях.

Полководческий «гений» Ворошилова в годы войны, увы, не проявился. Об этом известно всем защитникам Ленинграда. В то время мне довелось служить в Ленинграде, Кронштадте, Таллине. Ситуация складывалась сложнейшая и опаснейшая. Все корабли Балтийского флота были подготовлены к взрыву на случай захвата немцами города на Неве. Значит, прорабатывался и этот вариант. И если бы Г. К. Жуков не поправил положение, неизвестно, как бы пошли дела на Ленинградском фронте. В музее помещена большая картина, изображающая подписание акта безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Вероятно, для того, чтобы показать: Ворошилов не имел к этому никакого отношения.

Смерть Сталина стала для Ворошилова трагедией. 5 марта 1953 года на даче в Кунцеве, когда Хозяин приказал долго жить, Ворошилов рыдал. То были первые симптомы страха неминуемой расплаты за содеянное. Ворошилов был трусом. Он испугался и не поддержал предложение об аресте Берии. Яростно противился решению июньского (1957 года) Пленума ЦК КПСС, не соглашался с решениями XX съезда партии по вопросу о культе личности Сталина. В своем неискреннем заявлении — раскаянии XXII съезду — Ворошилов признал, что он в свое время допустил ошибки... То были не ошибки, а преступления...

В нескольких сотнях метров от музея в центре города (напротив городского комитета партии) сооружен памятник Ворошилову. В доспехах периода гражданской войны, он гордо восседает на вздыбленном жеребце.

В музее имеется массивная книга отзывов. Записи разные. От воздержанных до восхваляющих. В зависимости от того, в какой мере тот или иной посетитель знает о действительных, а не мнимых заслугах Ворошилова.

На видном месте помещено Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, подписанное Л. Брежневым и А. Косыгиным, «Об увековечении памяти К. Е. Ворошилова».

Не пришло ли время отменить это Постановление и принять другое, подобное постановлению об А. А. Жданове?

П. КЛАДИЕВ

Сдано в набор 29.05.89. Подписано к печати 27.07.89. М-25013. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,56 усл. кр.-отт. 21,97+2 вкл.=22.68 уч.-изд. л. **Тираж 675 000 экз.** Заказ № 1992. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15